

C-23

Библиотека Н. Н. НИХАЙЛОСКОГО
шкафъ XVII полка 2 № 24



Библіот
шкафт

СБОРНИКЪ

ВЪ ПОЛЬЗУ

НЕДОСТАТОЧНЫХЪ СТУДЕНТОВЪ УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВЛАДИМИРА.

Библіотечна
шкаф

242

СВОБІДНИК

В. П. ПЕТРОВ



К. КУРСАН

242
6708

с-23

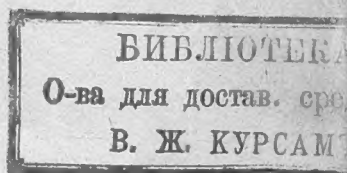
СБОРНИКЪ

ВЪ ПОЛЬЗУ

НЕДОСТАТОЧНЫХЪ СТУДЕНТОВЪ

УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВЛАДИМИРА.

провер 25/1 19482
ме



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1895.

2212



2377 .



ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТРАН.
Предисловіе	УП
I. В. Гольцевъ. Изъ воспоминаній. Отрывокъ	1
II. Е. Баранцевичъ. Двѣ главы изъ неоконченной повѣсти.	5
III. А. Шабельская. Наброски карандашемъ. Сверхштатный ординаторъ	24
IV. Н. Ге. Кіевская первая гимназія въ сороковыхъ годахъ	52
V. М. Лучицкая. Арнэ Гарборгъ	66
VI. Арнэ Гарборгъ. Подвигъ (перев. М. Лучицкой)	72
VII. О. Мищенко. О судѣ присяжныхъ въ Аѣинахъ (изъ <i>Аѣинской Политіи</i> Аристотеля)	83
VIII. Г. Мачтетъ. На могилѣ. Путевыя картинки.	97
IX. Г. Челпановъ. Зрѣніе и осязаніе	123
X. В. Мякотинъ. Крестьянское землевладѣніе въ Полтав. уѣздѣ въ 1767 г.	151
XI. Н. Михайловскій. Изъ романа „Карьера Оладушена“	187
XII. В. Лесевичъ. Сказки и присказки дѣда Чмыхала	211
XIII. Н. Гаринъ. Вальнекъ-Вальновскій. Изъ желѣзнодорожнаго быта.	235
XIV. Л. Личковъ. Въ Тунку. Изъ скитаній среди бурятъ В. Сибири	258
XV. Н. Карѣвъ. О сущности гуманитарнаго образованія.	282
XVI. П. Виноградовъ и Т. Грановскій. Задачи всеобщей исторіи.	308
XVII. И. Лучицкій. По поводу одной изъ историческихъ легендъ	325

MEMORANDUM

TO THE HONORABLE SECRETARY OF THE INTERIOR
FROM THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
SUBJECT: [Illegible]

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a memorandum detailing land matters, possibly related to the subject mentioned in the header.]

Возникшая уже болѣе полутора года тому назадъ мысль объ изданіи Сборника въ пользу недостаточныхъ студентовъ Кіевскаго Университета долго не могла получить осуществленіе за отсутствіемъ средствъ на его изданіе, пока прошлымъ лѣтомъ (1894 г.) П. М. Панкѣевъ не пожертвовалъ для этой цѣли чрезъ одного изъ участниковъ этого изданія 300 рублей на приобрѣтеніе бумаги. Только съ этого момента оказалось возможнымъ приступить къ изданію Сборника, войдя въ сношенія съ авторами, а также и съ типографіей М. М. Стасюлевича, которая согласилась взять на себя трудъ печатанія Сборника въ кредитъ — на условіи покрытія своихъ расходовъ изъ сбора отъ продажи Сборника. Всѣ авторы доставили редакціи Сборника свои произведенія безвозмездно; но такъ какъ нѣкоторые изъ этихъ произведеній доставлены были лишь осенью настоящаго года, то и выпускъ Сборника изъ печати могъ состояться только теперь.

Редакцію Сборника приняли на себя Н. И. Карѣевъ и И. В. Лучицкій; корректированіе всего изданія безвозмездно исполнилъ студентъ Петербургскаго Университета М. Г. Васильевскій.

Весь чистый доходъ отъ продажи Сборника будетъ переданъ въ распоряженіе г. ректора Кіевскаго Университета для оказанія помощи студентамъ, нуждающимся въ средствахъ къ существованію и къ уплатѣ за слушаніе лекцій.

Кіевъ.
Октябрь, 1895 г.

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

<i>Стран.</i>	<i>Строка:</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Слѣдуетъ читать:</i>
1	9 сверху	dispasues	disparues
2	6—7 "	пожажалуйста	пожалуйста
6	2 "	головну	голову
32	2 "	цинцетами	иницетами
33	5 снизу	опять	опять
34	13 "	штатнаго	штатнаго
60	7 "	Фодоръ	Федоръ
102	21 "	нееомнѣнно	несомнѣнно
117	10 "	кручи	кручѣ
118	13 "	подовины	половины
122	7 сверху	мы васъ	вы насъ
132	7 снизу	идеи	идей
241	6 "	сосредоточено	сосредоточенно
309	9 "	разсчетомъ	расчетомъ

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ.

ОТРЫВОКЪ.

Въ октябрѣ 1894 года я прочелъ двѣ статьи извѣстнаго историка и одного изъ вліятельнѣйшихъ руководителей нынѣшней французской молодежи Эрнеста Лависса. Статьи были напечатаны въ газетѣ и называются *Двѣ молодежи (Deux jeunesses)*, молодежь былыхъ временъ и молодежь современная ¹⁾.

Лависсъ приводитъ замѣчаніе Спюллера (изъ его книги *Figures disparues*) о томъ, что французская молодежь была счастлива въ печальную эпоху второй имперіи, хотя тогда свободы не было. Лависсъ на это отвѣчаетъ: это понятно, потому что молодость естественно стремится къ лучшему, а такимъ лучшимъ несомнѣнно была тогда во Франціи идея республики — теперь существующаго порядка вещей. Лависсъ вспоминаетъ молодыхъ людей, его сверстниковъ, съ которыми онъ встрѣчался, которые потомъ играли историческую роль: Гамбетту, Флоке, Клемансо... Франція для молодежи того времени была носительницею гуманности, передовымъ бойцомъ за нее. Республика, о которой мечтала тогда восторженная молодежь, въ ея глазахъ являлась божествомъ, возбуждала религиозный культъ. Гюго, Мюссе, Ламартины приводили въ глубокое восхищеніе.

Настала республика, и первое время, въ мужественныхъ усиліяхъ для восстановленія матеріальныхъ силъ Франціи и для ея духовнаго возрожденія, молодежь также была счастлива, говоритъ Лависсъ. Но въ послѣднія десять лѣтъ это измѣнилось. Все героическое въ борьбѣ прежнихъ поколѣній отошло въ область преданій, всѣ тяжело доставшіяся побѣды въ общественной жизни

¹⁾ *Journal des Débats*, 11 et 12 octobre (édition rose).

стали обыденнымъ совершившимся фактомъ. Недалекое прошлое кажется современной французской молодежи какимъ-то преданьемъ старины глубокой, о возвращеніи которой и рѣчи быть не можетъ.... Молодежь французская говоритъ старымъ вождямъ освободительнаго движенія: „Вы боролись, это очень хорошо; но борьба окончена, и такъ какъ вы стары, потрудитесь, пожалуйста, сѣсть на мѣсто“.

Передъ французскою молодежью нѣтъ теперь общаго идеала, и Лависсъ осуждаетъ за это не ее, а прежнюю систему воспитанія. Кромѣ того, не вся молодежь, а меньшинство ея, болѣе шумливое, даетъ о себѣ знать то скептицизмомъ, то мистицизмомъ, то декадентствомъ, то анархизмомъ. Очевидно, что ни предметами, ни приемами воспитанія не могутъ теперь служить образцы Людовика XIV или Наполеона.

Когда я читалъ статьи Лависса, мнѣ бросилось въ глаза сходство его опасеній и разсужденій съ тѣмъ, что, *mutatis mutandis*, приходится переживать въ Россіи людямъ моего поколѣнія. И наше поколѣніе, кажется, было *счастливе* современнаго, а жилось намъ не легко...

Когда-нибудь историкъ взвѣситъ „обстоятельства дѣла“. Теперь, я думаю, не лишены нѣкотораго интереса тѣ матеріалы, которые могутъ доставить наши воспоминанія, свѣдѣнія о томъ, какъ мы учились и воспитывались, почему мы *счастливе* нынѣшней молодежи.

Мнѣ не было девяти лѣтъ, когда началась итальянская война за освобожденіе. Отецъ читалъ вслухъ военныя извѣстія, давалъ читать газету и мнѣ. Я увлекался Гарибальди чрезвычайно... Десяти съ половиною лѣтъ я пережилъ великую вѣсть освобожденія крестьянъ, а лѣтомъ поступилъ въ гимназію, во второй классъ. Были у насъ, какъ я теперь понимаю и какъ мы тогда чувствовали, и хорошіе, и плохіе учителя, но въ общемъ намъ дышалось легко и занимались мы съ интересомъ, нерѣдко даже съ любовью. Учитель русскаго языка и словесности, теперь уже покойный, Николай Павловичъ Завьяловъ (извѣстный въ литературѣ предмета), увлекалъ насъ своимъ мастерскимъ чтеніемъ стихотвореній и другихъ художественныхъ произведеній, ихъ доступнымъ для насъ разборомъ. Это не мѣшало намъ хорошо зубрить грамматику и писать подъ диктанта весьма удовлетворительно. Когда мы стали по-старше, лучшимъ ученикамъ Николай Павловичъ предлагалъ иногда писать сочиненія на свободно выбранныя темы. Помню, мы вчетверомъ, не сговариваясь, написали *беллетристическія произведенія*. Они были прочитаны

вслухъ въ классѣ самимъ Н. П. Завьяловымъ. Было много смѣху, но не обиднаго. Однако больше съ нашею беллетристичею мы уже не обращались. Я разъ какъ-то поднесъ Николаю Павловичу довольно-таки толстую тетрадь своихъ стихотвореній. Онъ имѣлъ терпѣніе ее внимательно прочесть, кое-что похвалилъ и посоветовалъ мнѣ (искреннее спасибо за это!) писать... прозою.

Важно было то, что мы свободно подходили къ учителямъ, что они относились къ намъ сочувственно, искренне принимали къ сердцу наши маленькіе интересы. Конечно, не всѣ учителя были такими, но такихъ было не мало.

Живо помню другого учителя, — онъ теперь, если не ошибаюсь, директоромъ одной изъ гимназій за Кавказомъ, — Льва Львовича Маркова. Ему многіе изъ насъ были обязаны пробужденіемъ сознательной любви къ изученію природы. Ясно, толково, самъ увлекаясь, показывалъ намъ Л. Л. Марковъ приборы, производилъ опыты, давалъ объясненія.

Я не пишу *формальныхъ* воспоминаній, а вспоминаю лишь факты изъ *лѣтъ невозвратно мелькнувшаго дѣтства*, которые могутъ до нѣкоторой степени объяснить, почему наша молодость была счастливѣе молодости людей послѣдующихъ поколѣній. Не могу не сказать еще объ одномъ *классикѣ*, у котораго мнѣ пришлось экзаменоваться при переводѣ въ шестой классъ. Это былъ довольно высокій худощавый человѣкъ, съ необыкновенно вдумчивыми и добрыми, слегка печальными глазами. Онъ обворожилъ меня на экзаменѣ. Я до тѣхъ поръ не любилъ латинскаго языка, но у Ивана Ермолаевича Гераклитова началъ заниматься отлично. Греческаго языка тогда у насъ еще не ввели, и Иванъ Ермолаевичъ, замѣтивъ во мнѣ способности къ языкамъ, сталъ учить меня по-гречески у себя на дому даромъ. Я никакъ не забуду и этихъ уроковъ, и тѣхъ прогулокъ, которыя я и мой товарищъ Балашовъ совершали подъ руководствомъ Ивана Ермолаевича то по полямъ и лѣсамъ, то на лодкѣ, по тихой и красивой рѣкѣ. Когда я поступилъ въ университетъ, Иванъ Ермолаевичъ переписывался со мною, въ трудные дни присылалъ мнѣ деньги, и дѣлалъ это въ такой дружественной, мягкой формѣ, что принимать эту помощь было не обидно даже для почти всегда преувеличеннаго молодого самолюбія. Иванъ Ермолаевичъ скончался молодымъ, отъ чахотки, когда я былъ на первомъ курсѣ.

Не могу не упомянуть еще объ одномъ лицѣ изъ педагогическаго міра, которое играло большую роль въ моей судьбѣ и къ которому я чувствую глубокую благодарность. Лицо это —

Евгеній Львовичъ Марковъ, тогда нашъ инспекторъ гимназій, теперь — извѣстный беллетристъ, критикъ и публицистъ.

Въ пятомъ классѣ гимназій меня застигли семейныя бѣды. И прежде онѣ бывали, а тутъ стало ужъ совсѣмъ плохо. Въ гимназію я ходить не могъ. Сидѣлъ дома, читалъ, что попадалось, что приносили иногда товарищи, много мечталъ, нерѣдко меня съ неудержимою силою охватывала религіозная восторженность. Наступили рождественскіе праздники, а въ гимназій я не былъ еще ни разу, и это мучило меня, не давало покоя. Набрался я храбрости, и вечеромъ, въ моемъ пальто, которое служило вмѣстѣ съ тѣмъ и сюртукомъ, отправился въ квартиру къ Евгенію Львовичу... Результаты этой бесѣды превзошли всѣ мои ожиданія: мнѣ были даны книги, позволено ходить въ гимназію въ *рыжемъ пальто* (такъ меня самого нѣкоторое время, съ ласковою насмѣшкою, называли товарищи), а на слѣдующій годъ я былъ принятъ на казенный счетъ въ гимназическій пансіонъ.

Евгенія Львовича Маркова необыкновенно любили въ нашей (тульской) гимназій. Когда онъ зимою уѣзжалъ (на лошадахъ) директоромъ симферопольской гимназій, мы, гимназисты, по собственному почину, несмотря на препятствія (небольшія, правда) со стороны властей и родителей, образовали артели по классамъ, и тройкахъ на двѣнадцати провожали любимого инспектора до первой почтовой станціи отъ города... И теперь радостно вспомнить объ этихъ трогательныхъ проводахъ.

Такъ вотъ отъ чего мы были счастливы въ дѣтствѣ и въ ранней юности. Около насъ стояли и нами руководили люди, объянные тѣмъ духомъ возрожденія, который пронесся надъ русскою землею въ началѣ царствованія Александра II.

Подъ конецъ гимназическаго курса стало и у насъ похуже, но интересы къ знанію были возбуждены и сердце было согрѣто. Впередъ сіялъ университетъ. Многое онъ далъ намъ, но во многомъ и обманулъ тогда наши ожиданія...

В. Гольцевъ.

ДВѢ ГЛАВЫ

ИЗЪ НЕОКОНЧЕННОЙ ПОВѢСТИ

К. С. БАРАНЦЕВИЧА.

I.

Явленіе другого міра.

...Сентябрьскимъ вечеромъ, въ сумерки, часовъ около шести, мужчина лѣтъ 30-ти, средняго роста, наружности коренного петербуржца, шелъ по солнечной сторонѣ Невскаго проспекта, по направленію отъ Аничкова моста къ Полицейскому. День былъ праздничный, и хотя хмурое небо, покрытое темнолиловыми, клочковатыми тучами, грозило каждую минуту излиться дождемъ, — Невскій былъ оживленъ толпами снующаго взадъ и впередъ народа. Среди расфранченныхъ дамъ, франтовъ сомнительнаго разбора въ пенснэ и узенькихъ брючкахъ, среди горделиво-прогуливавагося офицерства, то и дѣло попадались либо мужикъ въ синей поддевеѣ съ бабою въ кафтанѣ и съ краснымъ платкомъ на головѣ, либо пьяненькій мастеровой въ блузѣ съ оторваннымъ воротомъ и лихо надвинутымъ на бекрень картузомъ, либо просто какой-нибудь субьектъ неопредѣленнаго вида въ выцвѣтшемъ пальто съ обтрепаннымъ шарфомъ на шеѣ.

Вся эта публика или прохаживалась, или торопливо шла по своему дѣлу; всякій изъ этой сотенной толпы думалъ свою думу, таилъ про себя свои цѣли и намѣренія, и никому въ отдѣльности не было дѣла до другого, какъ равно никто ни на минуту не взглянулъ и не поинтересовался мужчиной чахлой на-

ружности, который, въ свою очередь, также ничѣмъ и никѣмъ не интересовывался, шелъ медленно, опустивъ головну внизъ и даже иногда забывалъ посторониться.

Одѣтъ онъ былъ скромно, даже бѣдно, но прилично. Изъ-подъ кругленькой драповой шапочки высывались пряди довольно-длинныхъ каштановыхъ волосъ и ложились на выпѣтшій плюшевый воротникъ значительно поношеннаго осенняго пальто, которое плотно облегалo его тщедушное тѣло, рѣзко обрисовывая края высоко приподнятыхъ плечъ. На ногахъ его были старенькія резиновыя галоши, мягко шаркавшія по тротуару, а въ правой рукѣ онъ держалъ тоже старенькій и тоже значительно выпѣтшій шерстяной зонтикъ, на который, при ходьбѣ, слегка опирался.

Незнакомецъ дошелъ до Казанскаго собора и, повидимому, намѣревался продолжать путь въ томъ же направленіи, какъ вдругъ, бросивъ разсѣянный взглядъ налѣво, къ собору, остановился въ нерѣшительности.

— Pardon!

Какой-то франтъ, проходя мимо, слегка толкнулъ его въ плечо.

Онъ посторонился, не взглянувъ даже на того, и, стоя посреди улицы, словно застылъ въ неподвижности.

— Эй!—крикнулъ наѣзжавшій на него извозчикъ.

Незнакомецъ отошелъ въ сторону, къ фонарному столбу, и опять застылъ на мѣстѣ. Какая-то странная и вмѣстѣ мучительная дума легла на его лицо. Она сказывалась и въ скорбной складкѣ бровей, и въ опущенныхъ углахъ губъ, и въ задумчиво устремившихся въ одну точку сѣрыхъ, грустныхъ глазахъ, во всемъ блѣдномъ, худощавомъ, понуромъ лицѣ.

Наконецъ, незнакомецъ словно набрался рѣшимости и сталъ переходить улицу.

Издали желтѣли увядавшіе листья сквера. Мужчина съ рѣшительнымъ видомъ направился туда. Но только-что онъ вступилъ за рѣшетку сада и пошелъ по аллеѣ, задѣвая ногами цѣлые ворохи сухихъ листьевъ, какъ и этотъ слабый остатокъ энергии, съ которымъ онъ вошелъ сюда, оставилъ его, и онъ тихо, едва передвигая ноги, доплелся до скамейки, на которую сѣлъ въ полнѣйшемъ изнеможеніи, какъ человѣкъ, только-что перенесшій опасную, продолжительную болѣзнь.

На одной изъ ближайшихъ скамеекъ сидѣли двѣ востроглазья, востроносенькія, замѣчательно похожія одна на другую барышни. Обѣ что-то чертили зонтиками по песку, хохотали,

запрокидывали назадъ головы, увѣнчанныя шляпками въ видѣ мужицкихъ гречишниковъ, перешептывались о чемъ-то, зачерчивали то, что было начерчено раньше, и снова чертили.

— Ахъ, Маша, какая ты, право!.. — доносилось до незнакомца, — развѣ можно? Я не понимаю...

— Шурочка, да ты представь себѣ... Ха, ха, ха!

— Маша! Неужели? Не можетъ быть? Ха, ха, ха!

— Увѣряю тебя!.. Ха, ха!..

Въ моментъ появленія незнакомца барышни осмотрѣли его съ ногъ до головы и обѣ, какъ по командѣ, скорчили презрительныя гримасы. Потомъ одна изъ нихъ стала звать другую:

— Пойдемъ, да пойдемъ же, Маша! Какая ты, право! Сидишь и сидишь. Ну, что тутъ интереснаго? Пойдемъ же!

— погоди, — отозвалась та, которую звали Машей: — ты непосѣда! Нигдѣ не посидишь! Что это такое! Дай отдохнуть! Право!

— Ну, пойдемъ же, пойдемъ! Ну, посидѣла и довольно! Пойдемъ!..

Барышня довольно энергично стала тащить подругу за рукавъ пальто. Та отбивалась, но первая оказалась сильнѣе или настойчивѣе, и заставила вторую подняться. У рѣшетки обѣ натолкнулись на господина пожилыхъ лѣтъ, полного, съ просѣдью въ широкой бородѣ. Господинъ шель, выставивъ впередъ объемистое чрево, полупьяной походкой, слегка заплетаясь коротенькими ножками, облеченными въ свѣтло-сѣрые невыразимые.

Онъ улыбнулся обѣимъ барышнямъ блаженной улыбкой, распростеръ толстыя, какъ обрубки, короткія руки и приготовился заключить въ объятія обѣихъ. Тѣ фыркнули самымъ негодующимъ образомъ, отпрянули назадъ, и одна изъ нихъ, та, которая съ такой энергіей тащила подругу изъ сада, съ поднятымъ зонтикомъ стала въ угрожающую позу.

— Это что такое? Какъ вы смѣете? Нахаль!

— Те, те, те! Раскудаhtалась!.. — фыркнувъ въ свою очередь старичокъ: — ишь какія недотроги! Ну, пожалуйста! Проходите!

Онъ отошелъ въ сторону, широко разставивъ ноги и, снявъ шляпу, раскланялся самымъ предупредительнымъ образомъ.

— Пожалуйста... мамзели!

— Пожалуйста, мы не „мамзели“! — разсердилась энергическая дѣвица: — это что еще за дерзости! Мы порядочныя дѣвушки. Мы и городовому... Что это!..

— Цыцъ! Прочь! — совершенно неожиданно надтреснутымъ,

нагульнымъ баскомъ крикнулъ старичокъ, дѣлая чрезвычайно сердитое лицо.

— Старый чортъ! — крикнула энергическая дѣвица, увлекая подругу за рѣшетку сада. — Старый, противный чортъ!

— Я васъ, каналы! — послалъ имъ въ догонку старичокъ, грозя пальцемъ.

Онъ долго еще не могъ успокоиться. Ковыляя по саду, заложивъ руки въ карманы пальто, и поглядывая по сторонамъ своими черными, пронизательными глазками, онъ бормоталъ что-то объ „этихъ дряняхъ“, и еще что-то совершенно уже непонятное. Вдругъ на поворотѣ одной аллеи блуждавшій взглядъ его остановился на незнакомцѣ и такъ-таки и впился въ него. Онъ замедлилъ шагъ и подходилъ, не спуская глазъ, пристально всматриваясь въ того. Незнакомецъ тоже какъ бы встрепенулся и съ любопытствомъ разсматривалъ фигуру старика.

— Ба, ба, ба! — заговорилъ старичокъ, простирая впередъ руки: — ужъ не господина ли Снѣжина вижу передъ собою?

— Онъ самый, къ вашимъ услугамъ! — отвѣчалъ тотъ, приподнявъ шапочку: — а вы, если не ошибаюсь, г. Гнусаревъ?

— Да, да! — торопливо, захлебывающимся голосомъ, заговорилъ старичокъ: — Гнусаревъ, Гнусаревъ! Хай! Какъ вы, однако, перемѣнились! Ужасно перемѣнились. Господи! Едва узналъ!

— Къ худшему, конечно? — спросилъ Снѣжинъ, грустно улыбаясь.

— Да, пожалуй къ худшему: постарѣли, похудѣли... Ахъ, какой случай!..

— А вы вотъ наоборотъ: помолодѣли и потолстѣли.

— Да, помолодѣлъ! А это что? — Старичокъ дернулъ себя за бороду. — Сивая! Вотъ оно что! Да и то сказать, двадцать лѣтъ не шутка-съ! Но случай, случай-то каковъ? А?

— Какъ двадцать лѣтъ?

— Да такъ. Вѣдь двадцать лѣтъ не встрѣчались. Мнѣ вонъ ужъ шестьдесятъ два, — вотъ оно что, молодой человѣкъ!

„Молодой человѣкъ“ усмѣхнулся. Ему вспомнилась сценка заигрыванья Гнусарева съ дѣвушками.

— Да, это правда. Двадцать лѣтъ или около этого не встрѣчались! — подтвердилъ онъ.

— Вѣдь что удивительно-то, что въ одномъ городѣ живемъ и не встрѣтились ни разу! — воскликнулъ старичокъ: — или вы, можетъ быть, уѣзжали?

— Уѣзжалъ. А вы все тутъ?

— Безвыѣздно-съ! И все въ томъ же переулкѣ. Мнѣ вѣдь никакъ нельзя, сами знаете; мастерская!

— Ахъ, у васъ все еще мастерская?

— Хе, хе! Молодой человекъ! Да какъ же иначе? Кормится-то нужно чѣмъ-нибудь, какъ вы полагаете?

— Да, конечно! Супруга ваша какъ поживаетъ?

— Супруга, — разсѣянно переспросилъ старичокъ, впиваясь масляными глазками въ проходившую женщину: — супруга... Да вотъ что, пойдите-ко! Тутъ, въ двухъ шагахъ, ресторанчикъ очень приличный... *Blauer Esel*... Пиво шнитами и прекрасное, — могу похвастаться! А? Пойдите-ко, въ самомъ дѣлѣ, что тутъ сидѣть?

— Пожалуй, пойдите.

Оба встали и пошли къ выходу.

Ресторанъ „*Blauer Esel*“, бывшій, дѣйствительно, неподалеку отъ севера и помѣщавшійся въ первомъ этажѣ огромнаго дома, испещреннаго выѣсками: портного, сапожника, обойщика, не исключая даже гробовщика, пріютившагося гдѣ-то въ подвалѣ, — былъ самымъ зауряднымъ рестораномъ средней руки. Петры и Гаврилы, одѣтые нѣмецкими кельнерами при зеленыхъ передникахъ, такъ же одинаково обходились съ посѣтителями, какъ въ какомъ-нибудь „Петербургѣ“ или „Любимѣ“, такъ же, не стѣсняясь, вытирали зелеными передниками мраморные столики, облитые пивомъ съ надрызганными остатками снѣди, и съ такимъ же глубокомысленно-выжидающимъ выраженіемъ лицъ подавали на грязныхъ тарелочкахъ потребителю сдачу. Въ большой, прокопченной табачнымъ дымомъ комнатѣ, съ буфетной стойкой въ глубинѣ, — за которой въ клубкахъ табачнаго дыма и въ туманѣ всевозможныхъ трактирныхъ испареній мелькала лысая фигура буфетчика, — сидѣли нѣсколько человекъ посѣтителей съ лимонными фizioноміями и прихлебывали изъ своихъ шнитовъ, шурша газетными листами.

Старичокъ выбралъ мѣсто за однимъ изъ немногихъ свободныхъ столиковъ и усѣлся, точнѣе повалился на стулъ, не снимая шляпы.

— Эй, кельнеръ! — крикнулъ онъ, и шепнулъ Снѣжину: — тутъ ихъ всѣ кельнерами зовутъ, слугъ-то! Понимаете?

Снѣжинъ утвердительно кивнулъ головой.

— Два шнита! — приказалъ старичокъ подскочившему лакею. — И такъ-съ, вотъ мы съ вами и свидѣлись! Очень, очень пріятно, молодой человекъ! Знаете ли, воспоминаніе прошлыхъ лѣтъ, все-таки!..

Онъ взялъ одну изъ принесенныхъ кружекъ и стукнулся ею о край другой.

— Noch!

— Да вы совсѣмъ нѣмцемъ сдѣлались! — улыбнулся Снѣжинъ, подымая свою кружку.

— У нѣмцевъ я нѣмецъ, у своего брата русака — я русакъ, у татарина — татаринъ. Я, батюшка, ко всему примѣняюсь!

Снѣжинъ не нашелъ что отвѣтить, и только качнулъ головой. Чувство какого-то недовольства стало заползать ему въ душу. Онъ уже раскаявался въ томъ, что позволилъ старику затащить себя въ этотъ ресторанъ. Зачѣмъ ему было идти сюда? Къ чему бесѣдовать со старикомъ? И о чемъ? Что между ними можетъ быть общаго? Еще, пожалуй, навяжется на дальнѣйшее знакомство.

— Да, много воды утекло, много! — размышлялъ Гнусаревъ: — подумать только, двадцать лѣтъ! Вы вѣдь еще тогда, можно сказать, только-что изъ яйца вылупились! Да! А вотъ сижу я теперь, и смотрю, и кажется мнѣ, что ровно вотъ все это было вчера только, да и вы-то ужъ мнѣ теперь кажется не такимъ, какъ тамъ, въ садикѣ, — только что постарѣли немножко, а во всемъ прочемъ тотъ же Сережа, да и только. Выпьемъ, Сережа! Кельнеръ!

Старичокъ молча указалъ подсеочившему лакею на опорожненныя кружки, тотъ однимъ указательнымъ пальцемъ подхватилъ ихъ за ручки, умчалъ куда-то, и снова принесъ съ пѣною черезъ край.

— Эхъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ! Много воды утекло! — говорилъ старичокъ, прихлебывая пиво и впиваясь въ собесѣдника пронизательными глазами: — и папашу вы схоронили (хорошій былъ человѣкъ, Царство ему Небесное, умница былъ человѣкъ), и мамашу схоронили (строгая, серьезная была дама), а сестрица, сестрица-то ваша, какъ ее... Елена... Елена кажется? Леночка, да?

— Да, Елена! Она замужемъ.

— За кѣмъ?

— Ея мужъ чиновникъ.

— И дѣтишки есть?

— Какъ же! Четверо!

— Вонъ оно! Ну, а вы?

— Что я?

— Вы-то, спрашиваю, не женаты? Кельнеръ! Noch! Понимаете?

— Я не женатъ.

— Служите?

— Служу.

— Тоже на коронной?

— Нѣтъ, я на частномъ мѣстѣ.

— Такъ-съ! Отчего же не женитесь?

— Странный вопросъ! Оттого, что не хочу.

— Не хо-ти-те? Такъ, отлично! Вотъ это я люблю! Вотъ за это молодецъ! Не берите дурныхъ примѣровъ. Съ меня примѣра не берите. Я вотъ женатъ,—и дуракъ.

— Почему же это?—улыбнулся Снѣжинъ.

— Потому, что дуракъ! Женился, народилъ дѣтей (старшій-то вашихъ лѣтъ будетъ), и нигде не годны оказались.

— Какъ не годны?

— Такъ. Дрянъ вышли. Еще дочь, та замужемъ, про ту я ничего не могу сказать, а сыновья... Вотъ они гдѣ у меня сидятъ, сынки-то мои!

Старичокъ хлопнулъ себя по жирному, красному затылку и продолжалъ:

— Можете себѣ представить, до сихъ поръ оба на моей шеѣ сидятъ! Ужъ куда, куда я ихъ только не совалъ, случаи были, рука была, разные княгини да маркграфини протезировали, и все ничего не выходило, не уживаются! Одры, одрами и остались! Кельнеръ!

— Послушайте, г. Гнусаревъ, не много ли будетъ?

— Ну ужъ, ахъ оставьте! Въ кои-то вѣки встрѣтились, да не выпить лишней кружки пива!

— Я вѣдь почти не пью!

— Пива?

— Ни пива, ничего!

— Ну, а я пью, вотъ мы и выпьемъ! Да-съ, такъ сыновья мои одры, прошу замѣтить. Жена, вонъ, говоритъ, что всѣ въ отца пошли, какъ будто ужъ я такой дурной человѣкъ! Скажите, пожалуйста, молодой человѣкъ, дѣйствительно ли я дурной человѣкъ?

— Признаться, я васъ такъ мало знаю...—смѣшался „молодой человѣкъ“.

Теперь онъ думалъ только о томъ, какъ бы распрощаться и уйти. Чѣмъ долѣе сидѣлъ онъ въ ресторанѣ, тѣмъ противнѣе становились ему эти бури, прокопченныя табачнымъ дымомъ стѣны, грязныя оконныя драпировки, глупо нахальныя рожи слугъ, и этотъ старикашка, съ которымъ у него никогда ни-

чего не было общаго, котораго онъ едва помнилъ, будучи еще ребенкомъ, видясь съ нимъ всего нѣсколько разъ, и помнилъ больше съ дурной стороны, нежели съ хорошей, который, наконецъ, съ каждой минутой пьянѣлъ все больше и больше и становился противнѣе.

— Кельнеръ! Noch! — крикнулъ Гнусаревъ.

— Извините меня, я пить больше не буду. Мнѣ нужно идти, — сказалъ Снѣжинъ.

— Те, те, те! Нѣтъ, ужъ позвольте!.. Какъ это идти? Куда идти, позвольте васъ спросить? — всполошился Гнусаревъ.

— Домой!

— Пустяки! Отговорка! Полноте, пожалуйста, что вы мнѣ очки-то втираете. „Домой!“ Что вы тамъ будете дѣлать, дома-то?

— Я знаю, что буду дѣлать!

— Ну, вотъ, вотъ, тоже весь въ отца, вотъ ужъ и обидѣлся! Эхъ, молодой человѣкъ, — Сереженька, голубчикъ, зачѣмъ вы все обижаетесь? За что вы насъ, стариковъ, презираете? Неужели-же мы, старики, ужъ такіе худые люди? Презираете, презираете, нечего качать головой; ужъ я вижу, все насквозь вижу! Вотъ папенька вашъ, царство небесное, не такой былъ человѣкъ, онъ не презиралъ. Онъ былъ душевный, хорошій человѣкъ былъ...

— Да? — задумчиво спросилъ собесѣдникъ.

Пиво бросилось ему нѣсколько въ голову. Онъ приписалъ это непривычкѣ пить. Стоить, конечно, только выйти на свѣжій воздухъ и все пройдетъ. Но какъ противенъ этотъ ресторанъ и старикашка, который вцѣпился ему обѣими руками въ колѣни, не даетъ встать и смотреть на него такъ пристально, съ такимъ вызывающимъ видомъ, что неловко, нехорошо было бы сбросить эти руки и уйти!

— Знаешь ли что, Сережа, голубчикъ, (вы не обезсудьте меня, ради Бога, извините меня, что я васъ на *ты* называю, вы молодой человѣкъ, а молодые люди всѣ гордецы, всѣ ухъ какъ много о себѣ думаютъ. Вѣдь, правду говорю? а, что? правда? Ну, а я ужъ по-стариковски, по нашему, по глупому... Голубчикъ...) голубчикъ ты мой, вѣдь кабы мнѣ такого сына, какъ ты... ты уменъ, ухъ какъ ты канальски уменъ, у тебя сердце есть... золотое... тогда было, и теперь навѣрно есть... Ну вотъ, вотъ, улыбается, значить есть. Ей-Богу-же, я тебя люблю больше, чѣмъ своихъ этихъ одровъ... Сереженька, милый мой, ну, для меня, для меня выпей, ну, что тебѣ стоитъ, ну, плюнь да выпей! Они чокнулись и выпили.

— Знаешь ли что, Сережа, вотъ я тебѣ теперь что скажу...

Нѣтъ, такъ нельзя. Кельнеръ! Noch! Да, что я хотѣлъ? Да вотъ что: Я въ садъ-то когда пришелъ, у меня тамъ разныя другія намѣренія были. Хе, хе... И вижу, что-же!.. Вижу тебя! Ты сидишь на скамейкѣ, рядомъ дѣвица...

— Неправда, что вы говорите! Дѣвицы никакой не было!

— Ну да, не было, не было, это мнѣ такъ показалось, на скамейкѣ! Сережа, мальчикъ, въ рубашеночкѣ бѣгалъ, уроки училъ умница, умница моя сидитъ! У меня сердце выгратало. „Что“, думаю, „подойти или нѣтъ?“ Вопросъ такой у меня въ головѣ создался: „подойти или нѣтъ?“ И испугался. Сердце такъ вотъ и играетъ, а самъ боюсь, боюсь. Подойду, молъ, заговорю, а онъ мнѣ въ отвѣтъ: „я, молъ, васъ не знаю и знать не желаю“. А, каково! Вѣдь убьетъ, убьетъ наповаль! „Господи“, думаю, „Сережа-то, Сережа-то и тотъ противъ меня!“ Всѣ, всѣ противъ меня. Ну, я гадкій, развратный, пьяница старикашка, но Сережа... Господи, думаю, неужели Сережа противъ меня! Неужели Сережа съ ними заодно! Нѣтъ, думаю, не можетъ этого быть, Сережа мой умница, онъ понимаетъ, онъ все понимаетъ и проститъ... про-о-о-ститъ.

Гнусаревъ поникъ надъ опорожненной кружкой и захныкалъ. Последнее было совершенною неожиданностью. Нѣсколько человѣкъ обернулись въ его сторону, презрительно пожимая плечами. Буфетчикъ вытянулъ изъ-за стойки любопытную лысую голову. Кельнеръ подошелъ къ старику, и хотѣлъ взять его за плечо.

— Кельнеръ!—крикнулъ Снѣжинъ:—два шнита!

Онъ чувствовалъ себя словно въ какомъ-то хаосѣ. Голова его кружилась и мысли путались. Онъ никакъ не могъ сообразить, что собственно случилось, и отчего такъ сжалось его сердце, такъ жаль стало ему сидѣвшаго напротивъ старика. Почему эти слезы, эти безпрестанныя „Сережа, Сережа“, откуда пожалованіе въ „умницы“ и вообще, что за чепуха? Одно становилось ему яснымъ, что старикъ чѣмъ-то обиженъ, придрался къ случайной встрѣчѣ съ нимъ, расчувствовался подъ вліяніемъ пива и проливаетъ пьяныя слезы.

Кельнеръ поставилъ на столикъ два шнита.

Гнусаревъ поднялъ омоченное слезами лицо. На него взглянуть было страшно, до того оно было багрово, распухло, покрылось морщинами и потеками.

— Что, хорошъ? Хорошъ, говорю я? Красавецъ,—одно слово!—фыркнулъ Гнусаревъ, вынимая платокъ и отирая лицо,—есть на что поглядѣть: старая обезьяна разрюмилась! Куда какъ красиво!.. Ну, полно, довольно, выпьемъ!

Старичокъ залпомъ опорожнилъ свою кружку, и, стукнувъ доннышкомъ объ столъ, крикнулъ:

— Кельнеръ! Nach!

— Всѣ эти нѣмецкія рожи смотрятъ и думаютъ: напился русскій свинъ!—шепотомъ сообщилъ онъ собесѣднику, прихлебывая пиво и косясь маленькими глазками на посѣтителей:—а того понять не могутъ, что у меня душа разыграла, что у русскаго человѣка душа разыграла... Но ты меня понимаешь (ужъ извини, голубчикъ Сережа, тамъ ты хоть сердись, хоть бей меня, ну, вотъ хоть сейчасъ возьми при всѣхъ и ударь,—а я тебя иначе, какъ Сережа, и называть не буду), ты меня понялъ, голубчикъ Сережа, я по глазамъ вижу, по умнымъ глазамъ твоимъ вижу, что понялъ! Да, понялъ? Ну, скажи, понялъ ты меня?

— Да, понялъ!—отвѣчалъ Снѣжинъ:—вамъ излиться хотѣлось, передъ вѣмъ бы то ни было душу излить, да?

Гнусаревъ медленно покачалъ головой.

— Нѣтъ, другъ мой Сережа, не совсѣмъ такъ! Не совсѣмъ такъ, мой милый! Что мнѣ излиться хотѣлось, то правда, это ты вѣрно сказалъ, ну, а вотъ что при всѣхъ, или, какъ ты выразился, при комъ бы то ни было,—это, извини, вздоръ, страшный вздоръ, противъ этого я протестую!

Передъ тобой, передъ тобой однимъ, милый мой Сережа, понимаешь ли ты это! Передъ тобой, какъ передъ Богомъ, скажу,—жизнь моя горькая, постыдая, одинокая моя жизнь!..

Гнусаревъ всхлипнулъ и поникъ надъ столикомъ.

Его молодой собесѣдникъ почувствовалъ себя въ нѣкоторомъ затрудненіи. Съ одной стороны, ему было неловко, не по себѣ, и онъ хотѣлъ возможно скорого прекращенія этой пьяной сцены, на которую уже обратили вниманіе посторонніе съ видимымъ желаніемъ посмѣяться надъ пьянымъ хнычущимъ старичкомъ,—съ другой стороны, его чрезвычайно заинтересовало признаніе Гнусарева, и онъ желалъ, чтобы тотъ высказался.

Но старикъ вдругъ поклонился, нахлобучилъ съѣхавшую на затылокъ шляпу, ухмыльнулся, лукаво подмигнулъ собесѣднику и порывисто произнесъ:

— Пойдемъ!

— Куда?—вопросилъ Снѣжинъ.

— Пойдемъ! Прочь пойдемъ отсюда! Нечего намъ тутъ дѣлать!—горячился Гнусаревъ, дрожащими пальцами торопливо застегивая пальто на всѣ пуговицы и даже поднимая воротникъ.—Esel всегда былъ, есть и будетъ осель! Не такъ ли, другъ мой? И хотя онъ „голубой“ осель, да будь онъ даже красный, зеле-

ный, золотой, а все-таки осель, и тѣ, кто тутъ бывають—ослы. Сказано ясно! Больше ничего!

— Ого!—послышалось за однимъ изъ столиковъ.

— Сережа, милый другъ, пойдемъ!—тащилъ Гнусаревъ за рукавъ своего собесѣдника, едва-едва держась на ногахъ и каждый разъ натываясь на него.—Сереженька, милый, здѣсь даже неприлично, ей-богу же, неприлично оставаться. Вонъ, смотри, падшія женщины появились! Сереженька, бойся падшихъ женщинъ! Вонъ, посмотри, двѣ, вонъ какъ онѣ на тебя смотрять!.. Хе, хе! Узнали!

Снѣжинъ оглянулся и увидѣлъ за однимъ изъ столиковъ давишнихъ барышень, прихлебывавшихъ пиво и попрежнему чему-то смѣявшихся.

Старичокъ все тащилъ его за рукавъ.

— Сереженька, голубчикъ, сынокъ мой, родной мой!.. Погоди, наклонись! Вотъ такъ, вотъ такъ!..

Гнусаревъ ухватилъ его за голову обѣими руками, нагнувъ, притянулъ къ себѣ и запечатлѣлъ прямо въ губы мокрый, пьяный поцѣлуй. Отъ него такъ и рѣзнуло напитками.

Они уже стояли на лѣстницѣ. Гнусаревъ уцѣпился за руку своего друга и, тяжестью тѣла увлекая его внизъ по ступенькамъ, въ какомъ-то взволнованномъ забытѣ бормоталъ:

— Не покидай меня! Не оставляй! Голубчикъ, родной мой, не бросай меня, старика! Я погибшій, развратный, скверный старичишка, но я человѣкъ все-же, душа во мнѣ есть, чувства... Агафья Степановна не понимаетъ, она не понимаетъ всего этого. Она женщина прямая, хозяйка, труженица. „Марѳа, Марѳа, о чемъ печешеся...“ „Не единымъ хлѣбомъ...“ А впрочемъ... Шт!.. О женѣ моей, объ Агафѣ Степановнѣ ни слова, ни полслова, ни четверть слова! Молчокъ! Не такъ-ли, молодой человѣкъ, молодой другъ мой? Ну и конецъ! А затѣмъ... Урра!.. неожиданно завопилъ онъ, привскакивая и махая шляпой въ экстазѣ, — впередъ! Напредъ! Уррра!...

II.

„Вырвался на волю!“

На улицѣ уже горѣли фонари. Садикъ утопалъ во мракѣ, и изъ-за невысокой, желѣзной рѣшетки полуобнаженные деревья протягивали къ темному небу почернѣвшіе тонкіе сучья. Справа

суровой громадой высились колонады собора, съ черными между ними промежутками, а вдали тянулась шумная лента Невского, залитого фосфорическимъ свѣтомъ электрическихъ фонарей.

Было ли то слѣдствіемъ выпитаго пива, продолжительнаго ли сидѣнья въ душномъ, пропитанномъ спиртными испареніями ресторанѣ, странныхъ и оглушительныхъ рѣчей старика, — неизвѣстно, только прежній хаосъ, окружавшій Снѣжина, не проходилъ, онъ чувствовалъ себя какъ въ чаду, и подвигался впередъ безотчетно, отдавая всего себя во власть увлекавшаго его Гнусарева.

Послѣдній сѣменилъ дрябленькими шажками, толкая мужчинъ, раскланиваясь и галантно уступая дорогу дамамъ; просунувъ мясистую руку подъ руку Снѣжина, онъ тащилъ его по направлению къ Невскому проспекту и, хихикая и фыркая, трещалъ безъ умолку.

— Сережа, другъ, смотри и удивляйся! — кричалъ онъ, простирая свободную руку въ сторону Невского: — вотъ они плоды цивилизації! Сравни, что было въ то время, когда ты былъ юнъ и неосмысленъ, и что теперь?

Мракъ преисподній, тѣмъ предательская, казачьи патрули по площади разъѣзжали, — грабили, насиловали... Сереженька, милый, не вѣришь? Ей, ей; самъ былъ свидѣтелемъ, самъ!.. А теперь свѣтъ, „свѣтомъ просвѣтися“, свѣтъ Шандора!

— Какого Шандора?

— Милый, это я по старинѣ... Тогда Шандоръ, американскій гражданинъ Шандоръ явился и карсельныя лампы замѣнили керосиновыми. Но, другъ мой, сколь далеко мы шагнули впередъ! Шандоръ, чудный, изумительный Шандоръ оказался мальчишкой и щенкомъ. Пришли боги, боги прогресса, и... гляди, гляди только, сколько лунъ они намъ наставили. Развѣ это не луна, развѣ это дивное твореніе... А, вотъ Доминикъ! Сережа, милый, ты помнишь Доминика? Ты долженъ помнить, Сереженька. Онъ ходилъ сюда! Онъ, твой отецъ приходилъ сюда, и мы съ нимъ играли въ домино! Помнишь, разъ ты пришелъ за нимъ... О!.. Сережа, зайдемъ къ Доминику! Теперь его содержитъ какой-то Рицца-Порта, но дверь намъ всегда отперта! Ха, ха, ха! Каковъ каламбуръ!

— Послушайте!

Снѣжинъ остановился и затормозилъ стремительно катившееся впередъ боченкообразное тѣло Гнусарева.

— Послушайте, довольно... — Ему уже порядкомъ надоѣла болтовня расходившагося старикашки; да и время было довольно

позднее:—я туда не пойду, и вообще мнѣ бродить попусту не охота. Прощайте, г. Гнусаревъ.

— Чтò? Чтò? Нѣтъ!.. Какъ? Ни за что на свѣтъ!—не своимъ голосомъ завопилъ Гнусаревъ, обѣими руками вцѣпившись въ рукавъ спутника и движеніемъ своимъ заставивъ остановиться нѣсколькихъ прохожихъ:—ни за что, Сережа, милый, ангелъ бѣлый, не уходи, не покидай меня!..

— Пустите, пожалуйста!

— Сереженька! Ради Бога! Ради всего святого! Сережа, я скандалъ сдѣлаю!.. Я...

— Скандалъ?

— Прости, прости, но, ей-Богу, я сдѣлаю скандалъ! Я закричу, стану бороться, на насъ обратятъ вниманіе, потащатъ въ участокъ, мнѣ все равно! Сереженька, ну, повѣришь ли ты, что мнѣ все равно?

— Да чего же вы хотите, наконецъ?

— Я хочу, чтобы мы пошли къ Доминику, и больше ничего!

— Зачѣмъ? Чего ради?

— По стаканчику, по одному только стаканчику глинтвейна! Сереженька, ну, добрый мальчикъ, ну, не упрямясь, ну, пойдемъ! Смотри, вонъ публика стала собираться, на насъ смотреть.

— Ну, такъ и быть, я пойду! И сейчасъ же домой!

— Гм! Домой! Ну, мы тамъ посмотримъ!

— Я васъ предупреждаю, что отъ Доминика я пойду домой!— чуть не крикнулъ тотъ.

— Ну да, ну да, ну, конечно! — забормоталъ Гнусаревъ, увлекая его на другую сторону мостовой.

Доминикъ сіялъ огнями. Въ окнахъ то и дѣло мелькали коротко остриженные головы лакеевъ и фигуры посѣтителей съ шляпами на головахъ. При входѣ въ ресторанъ была давка. Съ той же стремительностью, съ какой онъ тащилъ его въ ресторану, Гнусаревъ, толкая всѣхъ направо и налево своей широкой спиной и объемистымъ брюшкомъ, протащилъ спутника черезъ буфетную комнату въ бильярдную, зоркимъ окомъ окинулъ ее, и, увидя, что все было полно и всѣ столики заняты, вытащилъ обратно, снова протискался черезъ буфетную и влихнулъ въ боковую комнату. Тамъ онъ высмотрѣлъ тотчасъ же только-что освободившійся столикъ, приказалъ лакею все прибрать и очистить и заказалъ глинтвейнъ.

Но только-что лакей, выслушавъ приказаніе, сдѣлалъ шагъ, чтобы уйти, Гнусаревъ всполошился, какъ бы вспомнивъ что, и энергическимъ жестомъ вернулъ его.

— Чѣкъ! — крикнулъ онъ, и, обернувшись къ Снѣжину, пояснилъ: — тамъ, у „Осла“, слугъ зовутъ кельнерами, а здѣсь „чѣками“... Благодирнѣе! Напоминаетъ банкъ! чѣкъ!

— Что прикажете, Иванъ Васильичъ?

— Можно ли безъ паспорта явиться къ Рицца-Порта?

Слуга улыбнулся какой-то дипломатической улыбкой, отступилъ на шагъ, припалъ на одну ногу, обмахнулся салфеткой и сказалъ:

— Можно-съ!

— Какого-жъ чорта бояться Рицца-Порта? Не правда ли, другъ мой?

— Совершенно вѣрно-съ, бояться ихъ нечего! — отвѣчалъ слуга.

— Ну, такъ и тащи намъ глинтвейнъ! Да *по моему*, знаешь? — Гнусаревъ прищурился на слугу и щелкнулъ языкомъ. — Такъ и скажи: для Ивана Васильича, молю! Ступай!

Лакей удалился.

— Вы что же это и взаправду бражничаютъ собрались? — спросилъ Снѣжинъ, когда черезъ нѣсколько минутъ лакей принесъ довольно объемистый металлическій чайникъ и поставилъ его передъ собесѣдниками.

— Ахъ, Серезенька, милый мой, какъ ты это „бражничать“. Другъ мой, никогда не употребляй слишкомъ сильныхъ выраженій! Ну, какое тамъ бражничанье! Во-первыхъ, глинтвейнъ согрѣваетъ, а я озябъ, я чертовски озябъ; это ты на меня холоду нагналъ; во-вторыхъ, онъ даетъ направленіе мыслямъ. А! это великая штука, направленіе мыслей... Ну, чокнемся! Со свиданіемъ! Чокнемся же! Чтò съ тобой? Ты задумался? О чемъ?

— Такъ, не стоитъ... пустяки... Гдѣ же вы съ *нимъ* сидели?

— Тамъ, въ билліардной! — Пойдемъ, — сорвался съ мѣста Гнусаревъ: — я тебѣ покажу!

— Не стоитъ! Потомъ, въ другой разъ!

— Ты что-то грустенъ, Серезенька? А? Или ты, можетъ быть, сердился? На меня? Да? Ты, можетъ быть, думаешь: „вотъ онъ и *его* такъ же путалъ, старый пьяница, а самъ небось уцѣлѣлъ“. Уцѣлѣлъ! На чтò уцѣлѣлъ? На позоръ! Чтобы послѣдняя кухарка... Объ этомъ, впрочемъ, не стоитъ!.. Ну, вотъ я радъ! Вотъ ты выпилъ стаканъ (пусти, я налью еще гор-ряченькаго) и молодецъ! Ну, вотъ опять грустная усмѣшка! Эхъ, милый ты мой, милый, умница ты моя! Пойми, что *такъ* должно было случиться, потому что у насъ у обоихъ исхода не было,

потому что, — и замѣть ты это себѣ, замѣть разъ навсегда, умница ты моя, — нѣтъ позорнѣе для мужчины зависимости отъ женщины, а мы съ твоимъ отцомъ оба были зависимы! Да! Мужчина, милый мой мальчикъ, — борецъ, по природѣ своей борецъ, у него и кость шире, и мускулы крѣпче, и сердце жестче, и созданы онъ Господомъ Богомъ, чтобы бороться, побѣждать, устранять препятствія. И вотъ, когда онъ чувствуетъ, что бороться не съ еѣмъ, побѣждать некого и всѣ препятствія устранены помимо всякаго участія съ его стороны, когда онъ видитъ, что женщина для устранения этихъ препятствій пожертвовала силой, молодостью, здоровьемъ, наконецъ... Ну, ну! Не буду, не буду, и не буду. Объ этомъ я распространяться не стану. Я только хочу сказать о себѣ, т.-е. о мужчинѣ, или о себѣ... ну да, чортъ, все равно... запутался. Да! Слушай! Такъ вотъ тогда-то онъ начинаетъ виснуть, скучать, лѣниться, *баловаться*, какъ выражается простонародье. Вотъ, вотъ, это самое и есть! Все начинается съ малаго и кончается большимъ; замѣть ты и это тоже себѣ, другъ мой безцѣнный, ангелъ мой бѣлый! Мужчина начинаетъ пить. „Кюрассо“, Сереженька, помнишь „кюрассо“. Сладенькая, вѣдь, совсѣмъ сладенькая дамская штучка! Пустяки, вѣдь? А послѣдствія-то каковы? Нѣтъ, погоди, голубчикъ, я этого не коснусь, я больного этого мѣста, раны этой твоей не коснусь, не нужно, я не живодеръ, не инквизиторъ, слава Богу! Я только такъ, я только легкое этакое указаньице хотѣлъ сдѣлать, а сути рисовать не стану, ибо суть эта трагическая, мрачная; тутъ нужна и кисть мрачная, широкая, краски мрачныя, мазки, мазки... Тутъ Рембрандтъ нуженъ! У меня же, милый мой другъ, Сереженька, совсѣмъ другое дѣло, совсѣмъ статьи у меня другія... Я, вѣдь, ужъ тебѣ говорилъ, сердечный ты мой мальчикъ, что я гнусный, развратный старичишка (и фамилія, замѣть, фамилія-то у меня какая подходящая — Гну-са-ревъ!), былъ прежде въ дни моей молодости бонвиванъ и обжора, а теперь обрюзгъ, осѣлъ, какъ старая лошадь на ноги, но благодаря свойственной мнѣ веселости духа, хорошему аппетиту, ежедневному моціону (сади-къ-то, сади-къ! хе, хе!) и благополучному теченію дѣлъ почтенной моей супруги Агафьи Степановны, какъ видишь, уцѣлѣлъ, живъ и здоровъ, и пью съ тобою глинтвейнъ! Да здравствуетъ Гнусаревъ и всѣ мерзопакостные старикашки Петербурга! Да, о чемъ бишь?.. Да! Такъ вотъ тебѣ сюжетъ... Впрочемъ, ты не художникъ... Я давно думаю, чтобы этимъ, жанристамъ (въ веселомъ только, исключительно въ веселомъ духѣ!) ну, въ родѣ, на примѣръ, этого, какъ его, который недавно баню изобразилъ

и тамъ все этакія пьяненькія, голенькія бабеночки потѣшаются, чтобы, говорю, этимъ самымъ жанристамъ взять сюжетомъ меня, т.-е. этакій эпизодиѣ какой-нибудь изъ моей жизни? Я бы ему рассказалъ, какъ и что нужно изобразить. Картину бы мы съ нимъ назвали такъ: „Вырвался на волю“ или, лучше: „На волю вырвался!“ Съ восклицательнымъ знакомъ, непременно съ восклицательнымъ! А изобразить бы нужно было слѣдующее. Не баню, нѣтъ, сохрани Богъ, не баню! Баня,—это моветонъ, баня не хорошо, баня грубо, мужикомъ пахнетъ! Нѣтъ, а просто этакой залецъ, небольшой, уютный, въ родѣ какъ „Званный вечеръ съ итальянцами“. Яркіе, даже пестрые обои, по стѣнамъ висятія лампы, съ матовыми колпаками, освѣщеніе сильное, духота, и чтобы эта духота такъ и била въ носъ, такъ и бросалась въ глаза,—конечно это уже дѣло художника (талантливаго художника!) ну, тамъ дамы вѣерами обмахиваются, что ли, мужчины платками, лица потныя...—извини, это ужъ не мое дѣло! Да-съ, такъ духота! Ну, а затѣмъ планировка картины. Общество, конечно, смѣшанное: мужчины и дамы,—больше дамъ, какъ можно больше дамъ, такъ что на одного мужчину приходится двѣ-три дамы. Все это разбилось на группы и держать себя совершенно свободно, даже, если хочешь, черезчуръ свободно, только безъ пересальца, сохрани Богъ, безъ пересальца, чтобы художественная мѣра была соблюдена. Ну, тамъ пьютъ, поютъ, и въ самыхъ этакихъ разнообразныхъ, пикантныхъ позахъ, только опять-таки безъ пересальца (вотъ въ этихъ, другъ Сереженька, мелочахъ и долженъ сказаться художникъ)! Въ сторонѣ рояль, на немъ вазы съ апельсинами и прочими фруктами, за роялемъ таперъ (фигура постная, строгая, чтобы, знаешь, контрастъ былъ, ибо контрасты, душечка Сережа, въ этихъ случаяхъ, ухъ, какъ необходимы!) Посерединѣ залы кадрилъ въ двѣ пары, только въ двѣ пары, и вотъ эти-то пары и должны составлять самый центръ картины, въ этихъ парахъ вся сила, ибо ты понимаешь, все предыдущее было однимъ аксессуаромъ, одной декораціей, если можно такъ выразиться, а эти пары и есть самая картина! Да ты меня слушаешь, Сереженька, другъ, ты слушаешь меня?

— Я?—поднял на него глаза Снѣжинъ: — а что? Да, да!

— Вотъ видишь ли, вотъ видишь, милый другъ!—забурлилъ, какъ расхोдиншійся самоваръ, Гнусаревъ: — вотъ видишь, какъ ты разсѣянъ, какъ ты углубленъ въ собственныя свои думы; какія онѣ у тебя, Богъ вѣсть, дай Богъ, чтобы были пріятныя! И вдобавокъ стаканъ полнехонекъ. Нѣтъ, мой милый Сережа, такъ нельзя, такъ у насъ не водится! Позволь... Прими, пожа-

луйста, руку... Кто не допиваетъ, тому доливаютъ! Это мое правило! Теперь позволь тебя спросить, милый мой сыночекъ, намѣренъ ты меня слушать или нѣтъ? Да? Прекрасно! Превосходно! Продолжаю. Итакъ, передъ нами двѣ пары. Онѣ стоятъ въ ожиданіи первыхъ звуковъ музыки. Ихъ позы и выраженіе лицъ. Первая пара, — кавалеръ — мальчишка этакой дохлый, невзрачный, петербургскій гаменъ, поросенокъ, не то писецъ отъ нотариуса, не то приказчикъ изъ Апраксина рынка, поза неопредѣленная: не то ему хочется ринуться впередъ и продѣлать „колѣнце“, не то ему дурно, и его сейчасъ стошнить. Блѣденъ, глаза дивіе и полузакрыты вѣками, волосы взъерошены; пиджачишко кургузъ и потертъ, сапоги „каши просятъ“. Дама, — въ полномъ смыслѣ вакханка! Прическа въ безпорядкѣ, глаза блестятъ страстнымъ нетерпѣніемъ, пунцовыя губы полураскрыты, щеки горять и пышатъ. Просто — однимъ словомъ... Вторая пара. Дама (ты замѣть, замѣть, дружокъ, какъ я главное-то лицо все назадъ отодвигаю, берегу для пущаго эффекта, на закуску (pour la bonne bouche!) дама — олицетвореніе скромности, застѣнчивости и нравственной (да, да, нравственной, ты не смѣйся, пожалуйста!) чистоты. Полевой цвѣточекъ! Молода, легка, воздушна, что-то еще неопредѣлившееся, несложившееся — газель, одно слово, робкая, молодая газель. Или Гретхенъ. Ну, словомъ, этакой пульпультикъ, розанчикъ, пышечка; глазки стыдливо опустила, щеки пухленькія горять румянцемъ застѣнчивости, ротикъ въ серебряный пяточокъ, тоже этакой пухленькій, дѣтскій, такъ и кажется, что вотъ только отъ соски оторвался. И рядомъ съ нею звѣрь, „вырвавшійся на волю“, „чудище обло озорно“, старъ, противенъ, въ цилиндрѣ на затылкѣ, большіе пальцы рукъ за жилетомъ, брюшко впередъ, пьянъ, какъ сапожникъ, дикъ, скотоподобенъ. Рожа распухла и пышетъ, глаза съѣсть хотятъ! Это я, милый другъ, это я, твой покорнѣйшій слуга, Иванъ Васильевичъ Гнусаревъ.

Старикъ откинулся на спинку стула, выпятилъ брюшко, заложилъ большіе пальцы рукъ въ жилетные карманы и смотрѣлъ на собесѣдника прищуренными, лукавыми глазами.

Снѣжинъ отвернулся. Поза старика и выраженіе его пьянаго лица были противны. Онъ, дѣйствительно, являлся олицетвореніемъ разврата, что-то въ родѣ современнаго сатира.

— Каковъ! — прищелкнулъ языкомъ старикъ: — что, хорошо? Снѣжинъ молчалъ.

Старикъ перемѣнилъ позу, наклонился впередъ и, приблизивъ свою голову къ головѣ собесѣдника, заговорилъ.

— Противно? Что, Сереженька, другъ, противно стало? А? Вотъ, мой милый: то же самое и я говорю, и чувствую, какъ иногда бываю противенъ и мерзокъ. Ну, да вѣдь это все—слова, слова, а вырвешься на волю и дѣлаешься подобенъ скоту. Такъ-то!

— Я не понимаю, что это: „вырвешься на волю“! Что же вы, не самостоятельны, что ли?

— Вотъ то-то и оно!—воскликнулъ Гнусаревъ, подливая изъ кофейника черную, пряную жидкость:—вотъ то-то и оно, что не самостоятеленъ! Самостоятельность я свою давно похоронилъ,—со дня супружества. О чемъ же я тебѣ говорилъ то? Вспомни! Вышло такъ, очень просто. Сперва любовь эта самая мѣшала... „Ну, куда пойдешь, да зачѣмъ, развѣ тебѣ непріятно со мною?“ Словомъ, разныя этакія нѣжныя штуки. Ну, раскиснешь, останешься. Друзья, знакомые,—все по боку, все мимо... А года идутъ себѣ да идутъ, дальше больше, дальше больше, а петля все затягивается. И молодость прошла. „Какъ сонъ“, какъ говорятъ поэты. Дѣти пошли, съ ними возня, опредѣляй, обучай, дѣла по мастерской туго двигались, нужно было поднимать, работать, хлопотать. Еще полъ-жизни въ разныхъ мелочахъ да дразнахъ прошло. А когда, наконецъ, все устроилось, пришло въ порядокъ, оглянулся на самого себя. Что такое, что случилось? Диковенное дѣло! Всю жизнь не жилъ,—работалъ, любилъ жену, дѣтей, заботился, хлопоталъ, а между тѣмъ ничего такого не испыталъ. Чего *такого*,—самъ понять не могу, а только чувствую, душою чувствую, „чего то нѣтъ, чего то жаль“. Чего нѣтъ, чего жаль,—не разберешь! Рвется душа,—это на старости-то лѣтъ,—рвется, вотъ что хочешь, то съ ней и дѣлай. Золъ сталь, не подходи. На дѣтей, на жену рычу, какъ звѣрь лютый. Любви ужъ какъ будто и нѣтъ! Да и что тамъ за любовь,—жена постарѣла, подурнѣла, раздражительная, злая сдѣлалась,—тоже и ее хлопоты-то эти измучили. Ну, понятно, осталось одно: уваженіе да жалость. Жалѣешь, жалѣешь, а подчасъ и зло возьмешь. „Эхъ“, подумаетъ, „связалъ себя съ бабой“! Какъ это поется въ одной студенческой пѣснѣ: „Баба, постой, не одна ты на свѣтѣ“! или: „Связался я съ бабой, съ бабой простой“! Забылъ! Досадно! Ну, да все равно! Сереженька, милый, что же ты это, подливай, подливай! Дай-ка сюда стаканъ! Ну-съ. Эхъ, думаю, чортъ возьми, мужчина я самостоятельный, не мальчишка какой-нибудь. Дай! думаю, чортъ возьми! Понимаешь,—„погрузился въ море забвенія“. Только-что погрузился, а меня оттуда за уши. Изловили, изобличили! Почтеннаго-то человѣка, отца семейства!

Скандалъ! На извозчикѣ привезла, всенародно по лѣстницѣ толчками сопровождала. Дворники смѣются. Весь домъ узналъ. Ки-ваютъ, мигаютъ. „Иванъ то Васильевичъ“, „ай да Иванъ Васильевичъ!“ Вотъ оно что. Цѣлый мѣсяцъ глазъ не показывалъ, баялся, руки у жены цѣловалъ. Опять мирное житіе началось, ни шатео, ни валео, ни на сторону! День прошелъ, и славу Богу. Жена откармливаетъ, ублажаетъ всячески, сигарочки покупаетъ. Сажу себѣ подъ окошкомъ да покуриваю. Покуриваю, да подумываю: „а что бы, ежели да кабы... Надоѣло такъ то, чортъ возьми!“ Ну, и сорвался, конечно, да такъ ловко сорвался, что какъ въ воду,—на извозчикѣ уже не пришлось доставлять, пока самъ не пришелъ съ покаянной. Ну, вотъ, съ тѣхъ поръ и пошелъ этотъ самый загулъ. Разъ въ мѣсяцъ, — ни больше, ни-ни. Попадать то, конечно, попадаетъ попрежнему, да я обтерпѣлся, глазомъ не моргну, по дѣломъ, дескать, вору и мука. И знаешь ли, Сереженька, какъ вырвешься на волю, такъ вѣдь какъ отлично себя чувствуешь. Горизонты такіе сейчасъ открываются,—ухъ, унеси ты мое горе. Самъ большой, и никто тебѣ ни въ чемъ поперечить не можетъ. Хочу,—въ садикъ пойду,—хе, хе,—хочу—къ „Голубому ослу“ направляюсь, а нѣтъ, просто такъ по улицамъ брожу, приключеній разыскиваю. А какіе, другъ, Сереженька, приключенія бываютъ,—пальчики оближешь! Да вотъ, на примѣръ, вчера... Иду, это, я... Постой-кося, постой... гдѣ адресъ-то...

Гнусаревъ засуетился, полѣзъ въ боковой карманъ, вытащилъ записную книжку и сталъ ее перелистывать...

К. Баранцевичъ.

1886 годъ.

НАБРОСКИ КАРАНДАШЕМЪ.

СВЕРХШТАТНЫЙ ОРДИНАТОРЪ.

ГЛАВА I.

Въ гимназiи, гдѣ учился Семень Поповъ, было трое Поповыхъ, и по какой-то странной случайности всѣ они находились въ одномъ съ нимъ классѣ. Чтобы ихъ различать, прибавляли имена къ фамиліямъ. Кажется, чего проще, если учитель вызывалъ котораго-нибудь изъ Поповыхъ съ прибавленіемъ имени, но это обстоятельство почему-то всегда возбуждало смѣхъ, точно никто изъ его товарищей не носилъ никакого имени. Имя „Семень“ по преимуществу казалось имъ смѣшнымъ. Его не иначе называли, какъ Семень, и даже не Семень, а Семе-онъ или Сэмэнъ. Все-бы это ничего, но вотъ когда его злополучное имя попало на языкъ Гедеонову, ученику 4-го класса, тутъ мальчику стала угрожать серьезно опасность повѣситься отъ отчаянія. Варьируя его имя на всѣ лады, Гедеоновъ сталъ, наконецъ, величать его Сѣмичкомъ. И такъ ядовито умѣлъ онъ сказать это „Сѣмичко“, что даже, когда онъ молчалъ и только смотрѣлъ съ высоты своего большого роста на бѣднаго мальчика, тотъ читалъ на его губахъ это ненавистное слово и лѣзъ къ нему съ кулаками. Сколько ему доставалось! Онъ вѣчно ходилъ съ синими пятнами и исцарапанной фізіономіей. Странно однако, что, доходя до бѣшенства отъ задираній Гедеонова, ему ни разу не пришла мысль узнать, какъ зовутъ самого Гедеонова, а звали его Асикритомъ Апполосовичемъ. То-то было бы надъ чѣмъ поиздѣваться! Но классная іерархія не позволяла маленькимъ знать имена старшихъ, и никто не смѣлъ нарушить ее. Гимназія была

самая захолустная, и нравы въ ней господствовали жесткіе. Гедеоновъ былъ грозой всѣхъ малюковъ: онъ смотрѣлъ на нихъ всегда съ такимъ видомъ, точно ему стоило невѣроятныхъ усилий не броситься къ нимъ въ толпу и не переколотить ихъ всѣхъ. Съ шестого класса онъ вдругъ куда-то исчезъ, и, кажется, главнымъ образомъ, благодаря этому обстоятельству, Сеня Поповъ остался съ глазами и руками, и не только кончилъ гимназію, но кончилъ ее блистательно, съ золотой медалью. Директоръ чехъ, незнавшій ни одного языка, какъ слѣдуетъ, приказывалъ ученикамъ учить, кромѣ классическихъ, еще оба новѣйшихъ языка; и Поповъ такимъ образомъ имѣлъ счастье изучать одновременно шесть грамматикъ: славянская, русская, латинская, греческая, нѣмецкая и французская, образовали точно бреши въ его головѣ, куда прививались всѣ впечатлѣнія, которыя должны согрѣвать, оживлять, подвигать и воспитывать душу юноши. Онъ прекрасно зналъ всѣ неправильные глаголы и рѣшительно ни о чемъ не мыслилъ и не могъ свободно написать самаго простаго письма. Получивши аттестатъ зрѣлости, онъ могъ сказать, что въ немъ умерли всѣ желанія; никакихъ стремленій, никакихъ порывовъ не осталось въ его душѣ—все было въ немъ вытравлено. Единственнымъ осязательнымъ желаніемъ было никогда не брать ни одной грамматики въ руки, и потомъ въ немъ жила какая-то глухая полусознаваемая ненависть къ книгѣ, все равно, что бы книга въ себѣ ни заключала. Послѣ окончанія гимназіи и до поступленія въ университетъ онъ все время провелъ въ состояніи, близкомъ къ спячкѣ. Ничто не занимало и не радовало его, не было даже простаго желанія созерцать природу. Природа ничего не говорила его душѣ. При томъ же деревня, гдѣ отецъ его былъ управляющимъ, пропиталась воспоминаніями о его кратковременныхъ каникулахъ, которыя всегда были отравлены работами, заданными имъ на лѣто. Въ университетъ онъ поѣхалъ все съ тѣмъ же вялымъ чувствомъ; и до самаго послѣдняго дня сердилъ своихъ домашнихъ тѣмъ, что не зналъ, на какой факультетъ онъ намѣренъ поступить.

Въ то время о формѣ только-что начали поговаривать, инспектуру еще не вводили, и, сравнительно, студенты чувствовали себя довольно свободно,—особенно въ томъ университетѣ, куда хотѣлъ поступить Поповъ. Ректоромъ былъ человѣкъ колоссальной эрудиціи, чуть-ли не по всѣмъ отраслямъ знаній, и при всей своей громадной учености, или, лучше сказать, благодаря ей, онъ обладалъ той душевной красотой и ясностью, какая бываетъ свойственна людямъ, не только понимающимъ настоящее и

прошлое, но умѣющимъ кромѣ того и прозрѣвать впередъ. Университетъ при немъ былъ въ полномъ смыслѣ слова *alma mater* для студентовъ. Ректоръ стоялъ за нихъ горой, среди профессоровъ преобладалъ еще старый профессорскій духъ, когда они думали, что существуютъ прежде всего для науки, потомъ для молодежи и затѣмъ уже для своей собственной карьеры. Молодежь въ то время не служила еще конемъ, на которомъ выѣзжали разныя маленькія самолюбыща, и въ профессора, по большей части, люди прорѣзывались только головой. Входъ въ университетъ былъ свободный, можно было, пріѣхавши рано, походить и присмотрѣться, а потомъ уже метрикумероваться. Когда Поповъ въ первый разъ переступилъ порогъ университетскаго зданія, онъ не чувствовалъ ни страха, ни благоговѣнія, даже простого любопытства не было въ немъ. Онъ взошелъ на крыльцо, не ускоряя шага, прошелъ длинный корридоръ и остановился на порогѣ курительной комнаты. Тотчасъ при его появленіи изъ толпы студентовъ выдѣлился очень высокій господинъ, подошелъ къ Попову, хлопнулъ его по плечу и громко произнесъ: — А вотъ и ты! Они посмотрѣли другъ на друга и оба расхохотались. Въ этомъ смѣхѣ потонула ихъ гимназическая вражда. Это былъ Геденовъ.

— „Господа,—обратился Геденовъ къ студентамъ: рекомендую вамъ моего пріятеля. Въ гимназіи мы съ нимъ ссорились, а теперь будемъ друзьями“.

Всѣ подошли къ новичку и пожали ему руку. Геденовъ тотчасъ овладѣлъ имъ и потащилъ его къ себѣ на квартиру. Онъ былъ на третьемъ курсѣ медицинскаго факультета и сталъ немедленно убѣждать пріятеля поступить тоже на медицину. Въ сущности Попову было рѣшительно все равно, куда поступить, только-бы не на филологическій, — но Геденовъ сталъ горячо доказывать, что есть только одинъ факультетъ въ университетѣ, — это медицинскій. Только тамъ можно предаться наукѣ всецѣло, безъ страха натѣнуться на такія перспективы, которыхъ нельзя къ себѣ приблизить. Какая у насъ наука! — восклицалъ онъ. — Развѣ можно разрабатывать исторію и право, если мы обладаемъ единственнымъ правомъ, это — правомъ подсиживать другъ друга. Наша общественная жизнь не даетъ намъ никакого удовлетворенія. Нельзя жить, не имѣя ничего для души, и потому нужно брать для изученія то, чего нельзя затормозить никакими посторонними соображеніями, ничего общаго съ наукой не имѣющими. Тутъ ты можешь соприкасаться съ людьми, непосредственно просвѣщать ихъ и приносить имъ несомнѣнную пользу.

Поповъ слушалъ Гедеонова довольно равнодушно. Въ немъ самомъ совершенно дремали всякіе позывы къ какому бы то ни было дѣлу. Онъ возражалъ Гедеонову только потому, что ему было какъ-то совѣстно за свою пассивность и индифферентизмъ, но юноша онъ былъ далеко не глупый и потому тотчасъ понималъ, какую роль игралъ Гедеоновъ въ университетѣ. Изъ прежняго задираки и грозы всѣхъ маленькихъ классовъ, онъ превратился теперь въ горячаго защитника правъ своихъ товарищей. Всѣ сколько-нибудь развитые студенты группировались около него. Онъ былъ инициаторомъ во всѣхъ студенческихъ предпріятіяхъ, хранителемъ студенческой кассы. Его выбирали обыкновенно во всѣ коммисіи для переговоровъ съ профессорами и начальствомъ. Онъ умѣлъ улаживать всѣ возникавшія недоразумѣнія. Вообще, это былъ крупный человѣкъ по силѣ своихъ убѣжденій и по той готовности всегда стоять за правое дѣло, нисколько не думая, какъ подобное поведеніе можетъ отразиться на немъ самомъ. Онъ никогда не увлекался никакими утопіями, которыя очень часто утомляютъ своей бесплодностью и дѣлаютъ человѣка совершенно неспособнымъ понимать ближайшія цѣли и задачи. У него были идеальныя перспективы, но это нисколько не мѣшало ему съ непобѣдимой энергіей отстаивать самое ближайшее нарушеніе правъ своихъ и своихъ товарищей. Онъ былъ душой всего мыслящаго и стремящагося въ университетѣ, и Поповъ не могъ не слушать его, и подъ вліяніемъ горячихъ рѣчей Гедеонова въ душѣ его начинало что-то глухо шевелиться. Онъ позволилъ записать себя на медицинскій факультетъ, и такъ какъ многіе товарищи Гедеонова имѣли полукурсовыя передержки, вслѣдствіе чего лекціи еще не начинались на третьемъ курсѣ, онъ взялся сопровождать Попова въ его первыхъ и самыхъ трудныхъ шагахъ. Конечно, прежде всего они отправились въ анатомическій театръ. Людей съ пылкимъ воображеніемъ анатомическій театръ очень часто разочаровываетъ отсутствіемъ тѣхъ ужасовъ, какіе они себѣ представляли. Поповъ пошелъ совершенно машинально, ничего себѣ не представляя заранѣе. Онъ съ Гедеоновымъ замыкалъ цѣлую толпу новичковъ. Когда онъ переступилъ порогъ громаднаго зданія, сильный ѣдкій запахъ какого-то вещества, употребляемаго для дезинфекціи, заставилъ его закашляться. Такъ какъ онъ шелъ позади всѣхъ, то и не могъ видѣть, что тамъ дѣлается впереди. Вдругъ всѣ подались назадъ, точно чего-то испугавшись, и разступились передъ ними. Поповъ чуть не крикнулъ отъ ужаса, — страшна была картина, представившаяся его взорамъ. Покойникъ одѣтый и покойникъ

лежащій распростертымъ на анатомическомъ столѣ—это двѣ совершенно несоизмѣримыя величины. Въ первомъ случаѣ есть всегда нѣчто примиряющее со смертью, точно еще не исчезла иллюзія жизни, и покойникъ какъ бы обвѣянъ воспоминаніями всего имъ прожитого. Тутъ-же смерть является во всей своей ужасающей наготѣ, лишенная всякихъ иллюзій, съ яркими намеками на разрушеніе. Мертвецъ, лежавшій распростертымъ на анатомическомъ столѣ, былъ человѣкъ большого роста и тучный, голова его свѣсилась, большой животъ, покрытый синими полосками и неизмѣнно вздутый, точно готовъ былъ лопнуть по всѣмъ своимъ синимъ швамъ. Поповъ очутился лицомъ къ лицу съ его остановившимися глазами, онъ замѣтилъ прикушенную губу и слѣды крови на усахъ. Смерть предстала передъ нимъ во всей своей ужасающей наготѣ, точно холодная рука покойника прикоснулась къ нему и лишила его жизненной теплоты. Онъ задрожалъ, какъ въ ознобѣ, медленно повернулся и медленно вышелъ изъ залы. На улицѣ его догналъ Гедеоновъ и сталъ убѣждать вернуться. Поповъ молчалъ; онъ ничего не могъ говорить. Брешь, образовавшаяся въ немъ отъ различныхъ грамматикъ, стала наполняться. Если не жизнь, то смерть вторглась въ его душу и окрасила все своими мертвыми цвѣтами, и хотя былъ яркій, теплый, сухой день, ему всюду чудилось холодное дыханіе смерти. Онъ не могъ прикоснуться къ пищѣ, и всю ночь просыпался отъ какихъ-то страшныхъ грезъ, охватывавшихъ его. На другой день опять явился Гедеоновъ и опять сталъ убѣждать его идти въ анатомическій театръ. Несмотря на весь ужасъ смерти, охватившій его, Поповъ чувствовалъ, что его проникаетъ желаніе бороться противъ чего-то, и что въ этомъ стремленіи можетъ быть какая-то неизъяснимая сладость. Съ того момента, какъ онъ переступилъ анатомическій театръ, онъ точно перешагнулъ во что-то невѣданное, никогда имъ неиспытанное. Уже на третій день онъ навѣрное зналъ, что пойдетъ, опять непременно пойдетъ. Тамъ, въ виду этой голой смерти, жизнь начала стучаться въ его душу. Это все-таки было что-то человѣческое, несмотря на ужасъ, какой онъ испытывалъ, страшное, но не отвлеченное и не сухое. И онъ пошелъ. Дошедши до дверей анатомическаго театра, онъ быстро повернулся и направился назадъ, но, пройдя нѣкоторое разстояніе, поймалъ себя и приказалъ вернуться. Когда онъ переступилъ порогъ залы, студенты уже сплошной массой окружали мраморный столъ. Подавляя въ себѣ внутреннюю дрожь, онъ приготовился увидѣть опять нѣчто подобное тому страшному трупъ съ слѣдами раз-

ложенія на вздутомъ животѣ, и вдругъ то, что представилось его глазамъ, было совершенно не похоже на все предыдущее. На столѣ лежала молодая женщина, едва расцвѣтшая, тоненькая, съ нѣжными красивыми формами и длинной темной косой. На ея неподвижномъ блѣдномъ лицѣ, казалось, застыла укоризна, она какъ будто спрашивала всѣхъ присутствующихъ: „за что вы меня оголили и положили тутъ, и столько глазъ смотреть, и никто не хочетъ прикрыть меня! Что я такое сдѣлала?“ Чувство жалости охватило Попова, онъ невольно вспомнилъ своихъ молоденькихъ сестеръ, сколько было крика и писку, если ему случайно приходилось столкнуться съ которой-нибудь изъ нихъ въ то время, когда та была не одѣта, а эта лежала тутъ распростертая, беззащитная, оголенная, и всѣ на нее смотрять? Когда онъ пришелъ домой, ему стало невыносимо грустно, онъ не могъ оторвать мыслей отъ своихъ сестеръ, и сердце его дрожало отъ никогда еще неиспытанной къ нимъ нѣжности. Все время, пока онъ находился въ гимназіи, онъ былъ къ нимъ совершенно равнодушенъ, а теперь ему страстно хотѣлось увидѣть ихъ, хотѣлось сказать имъ, что онъ будетъ любить ихъ и всегда готовъ ихъ защищать. О, зачѣмъ ту несчастную принесли и положили въ вонючей страшной комнатѣ, на этомъ ужасномъ столѣ. И ему хотѣлось плакать отъ избытка нахлынувшихъ на него различныхъ чувствъ. Ему, вѣдь, недавно исполнилось 18 лѣтъ, и онъ 8 лѣтъ былъ погруженъ въ изученіе шести грамматикъ, и все живое отодвинулось отъ него.

На другой день онъ спалъ очень долго, и когда явился въ университетъ, Геденовъ тотчасъ подхватилъ его и повелъ смотреть, какъ ихъ хирургъ, Юпитеръ, станеть дѣлать искусственный носъ. Объ этомъ говорилось во всеуслышаніе, и многіе, заинтересованные приставленіемъ искусственного носа, ввалились въ аудиторію. Въ то время хотя антисептика и примѣнялась, но далеко не съ такой строгостью, какъ теперь, и потому любопытные студенты другихъ факультетовъ безпрепятственно могли смотрѣть на интересныя операціи. Аудиторія была громадная, со скамьями, освѣщенными четырьмя большими окнами и подымавшимися амфитеатромъ вверхъ. Внизу стоялъ анатомическій столъ, концы его можно было подымать и опускать, смотря по надобности, а у одного изъ оконъ на небольшомъ столикѣ и подоконникѣ были разложены инструменты. Двѣ маленькихъ лѣсенки вели на верхъ амфитеатра.

Профессоръ, человекъ громаднаго роста, съ длинной густой бородой выпрѣзывался на бѣломъ фонѣ стѣны, точно изваяніе. Зало-

живъ руки за тесемки холщевато передника, онъ точно поверхъ студенческихъ головъ смотрѣлъ своими стальными голубыми глазами. Вся его величавая фигура, спокойное лицо, длинная густая борода, большой облысѣвшій лобъ и закинутая нѣсколько назадъ голова, дѣйствительно дѣлали его похожимъ на Юпитера. Поповъ вдругъ почувствовалъ себя совершенно маленькимъ и ничтожнымъ въ этой громадной аудиторіи и въ присутствіи этого безстрастнаго человѣка. Онъ впился въ него глазами и видѣлъ даже множество тоненькихъ морщинокъ, которыя лучеобразно расходились на виски отъ наружныхъ угловъ глазъ. Два ординатора, одѣтые въ бѣлые передники, стояли около него. Одинъ изъ нихъ: высокій, худой видимо подражалъ своему профессору. Онъ тоже заложилъ руки за тесемки передника и устало смотрѣлъ своими маленькими сѣренькими глазками; но, увы, его широкое приплюснутое лицо и крошечный носикъ въ видѣ вопросительнаго знака далеко не годились для божества. Гедеоновъ толкнулъ Попова и, указывая на высокаго ординатора, прошепталъ: „профессора изъ себя корчить“. Извѣстно, что всѣ желающіе пробиться различными пройдохествами впередъ раньше профессорскихъ знаій усваиваютъ себѣ манеры и недостатки профессора, у котораго начинаютъ свою карьеру.

— Чего мы ждемъ?—спросилъ Юпитеръ. Голосъ у него былъ сочный и рѣчь отрывистая.

— Пластыря,—отвѣчалъ подражавшій ему ординаторъ.

Профессоръ опять уставился поверхъ головъ своими стальными глазами. Вошелъ служитель и подаль липкій пластырь. Профессоръ взялъ ножницы и вырѣзалъ трехугольникъ.

— Васъ сегодня что-то очень много набралось,—обратился онъ къ студентамъ, отчеканивая слова своимъ звучнымъ голосомъ.

Послышался въ толпѣ смѣхъ.

— Хотите видѣть, какъ я буду дѣлать искусственный носъ?—спросилъ онъ.

Опять послышался смѣхъ, и какой-то смѣльчакъ спросилъ:

— А хорошій будетъ носъ?

— О, какой дурной,—произнесъ профессоръ:—я бы посоветовалъ своему паціенту остаться совсѣмъ безъ носа, чѣмъ получить такой, какой я ему сдѣлаю.

Раздался взрывъ молодого, неудержимаго смѣха, но профессоръ даже не улыбнулся.

— Мы будемъ ему дѣлать носъ по индійскому способу,—продолжалъ онъ:—въ Индіи за нѣкоторыя преступленія отрѣ-

звали носы, а жрецы приставляли ихъ. Медицина была тамъ въ рукахъ жрецовъ.

— Приведите больного, — обратился онъ къ служителю. Явился больной. Это былъ молодой человѣкъ, крестьянинъ лѣтъ 16 или 17, не болѣе. Волчець съѣлъ ему весь носъ и часть губы, вслѣдствіе чего щеки его казались непомерно раздутыми. Юноша былъ блѣденъ и слегка дрожалъ.

— Желаетъ, чтобы я тебѣ непременно сдѣлалъ носъ? — обратился профессоръ къ больному.

— Явите вашу милость, — произнесъ тотъ.

— Отлично, — мы тебѣ сдѣлаемъ носъ, — отчеканилъ профессоръ.

Онъ взялъ отрѣзанный имъ раньше трехугольникъ, приложилъ его сначала къ мѣсту, гдѣ былъ когда-то носъ, уменьшилъ его, затѣмъ положилъ наискосокъ лба и, обращаясь къ студентамъ, сказалъ:

— Я вырѣжу изъ лба такой точно кусокъ кожи, какъ этотъ пластырь, отпрепарирую его, а надъ переносицей противъ артеріи *supraorbitalis* я оставлю мостикъ изъ кожи. Посредствомъ этого мостика искусственный носъ больного будетъ питаться“.

Больной сталъ сильно дрожать, дрожь эта сообщалась нѣкоторымъ новичкамъ и Попову въ томъ числѣ. Онъ ужасно боялся, какъ бы больного не стали оперировать безъ хлороформа.

— Хлороформъ, — отчеканилъ профессоръ.

Поповъ успокоился. Больного положили и быстро захлороформировали. Какъ только профессоръ взялъ ножницы въ руки, у Попова тотчасъ явилось совершенно готовое представленіе о томъ, какъ онъ долженъ рѣзать. Но все его представленія моментально разлетѣлись въ прахъ. Въмѣсто деликатнаго, какъ ему казалось, привосновенія къ живому человѣческому тѣлу, профессоръ съ такой невѣроятной быстротой сталъ отрѣзывать пораженную губу, что Поповъ ясно слышалъ учащенный лязгъ ножницъ и не то репѣніе, не то жвяканье разрѣзываемаго живого человѣческаго мяса. Больной застоналъ. Поповъ сорвался съ мѣста и готовъ былъ бѣжать, но Геденовъ придержалъ его за полы сюртука.

— Вытирайте быстрѣе, — проговорилъ профессоръ.

Ординаторы ускоренно работали губками. Вздохнувъ полной грудью, Поповъ заткнулъ уши, напрягъ все свои силы и продолжалъ смотрѣть. Операция производилась съ необычайной быстротой. Профессоръ взялъ приготовленный трехугольникъ изъ пластыря, наклеилъ его наискосокъ къ правой сторонѣ на лобъ больного и по мѣрѣ того, какъ онъ рѣзалъ скальпелемъ, края

раны точно вспухали и синѣли подѣ ножомъ. Ординаторы перехватывали сосуды цинцетами, и вскорѣ все лицо больного покрывлось точно пѣвками. Перевернувъ отрѣзанный кусокъ кожи кровавой поверхностью внизъ, профессоръ разрѣзалъ ея широкій край въ двухъ мѣстахъ и сталъ устраивать переносицу, съ такимъ спокойствіемъ и такъ просто, точно въ рукахъ у него была тряпка или какое-нибудь незначительное дамское руководѣлье.

— Впрочемъ, — замѣтилъ онъ невозмутимо: — какъ ни дѣлай — все выйдетъ дрянъ.

Поповъ совершенно успокоился и съ большимъ любопытствомъ слѣдилъ за операціей. Больной сталъ просыпаться.

— Тихе, тихе — унималъ его профессоръ.

Унимали и другіе, но онъ умолкалъ только при окликѣ профессора. Когда все было кончено и больного унесли, ординаторъ, подражавшій своему учителю, посмотрѣлъ на часы и сказалъ:

— Вся операція съ хлороформомъ продолжалась не болѣе часа.

Профессоръ презрительно махнулъ рукой, лицо его точно сказало: для такой дряни и этого много. Всѣ стояли еще въ передникахъ, окровавленные, когда вдругъ ряды студентовъ разступились, и появился высокій мужикъ, въ бѣлой свитѣ. Черные волосы его были всклокочены, глаза выкатились и налились кровью. Онъ держалъ ротъ широко открытымъ, и на губахъ и по бородѣ текла слюна, сбившаяся въ пѣну. Невыразимый ужасъ запечатлѣлся на его лицѣ. Увидавъ людей въ бѣлыхъ, окровавленныхъ передникахъ, онъ пошатнулся, откинулъ голову, вытянулъ руки и застылъ весь блѣдный, трепещущій.

— Челюсти вывихнулъ, — шепнулъ Гедеоновъ Попову.

Профессоръ шагнулъ къ крестьянину, взялъ его одной рукой за голову, другой хлопнулъ подѣ подбородокъ и ротъ того моментально закрылся. Мужикъ охнулъ, всплеснулъ руками, повалился на землю и со слезами сталъ молиться: „Не показывай меня грѣшнаго, не отступился отъ меня окаяннаго“.

Послышался смѣхъ. Этотъ смѣхъ непріятно рѣзнулъ Попова. Неужели можно было смѣяться? Онъ всѣмъ своимъ существомъ почувствовалъ глубину происшедшей передъ нимъ сцены, цѣлая волна различныхъ ощущеній нахлынула въ его молодую душу. Онъ посмотрѣлъ на Гедеонова, но лицо того было совершенно серьезно, онъ посмотрѣлъ на профессора, тотъ стоялъ отвернувшись къ окну, но Поповъ готовъ былъ голову прозакаладывать, что Юпитеръ не смѣялся. Въ этотъ день что-то необы-

чайное творилось съ нимъ. Онъ точно переступилъ за порогъ невѣдомой ему жизни. Въ кухмистерской, куда они отправились обѣдать, онъ горячился и спорилъ. Ему хотѣлось и бѣжать куда-то, и кричать отъ избытка нахлынувшихъ на него ощущеній. Что-то тамъ въ аудиторіи точно подняло его и понесло впередъ. Куда дѣлась его сонливость, его апатія! Гимназія отодвинулась далеко и казалась ему какой-то летаргіей, отъ которой онъ только теперь проснулся. Ему хотѣлось расправить свои руки и принять въ нихъ всѣхъ, всѣхъ, кто жилъ, кто страдалъ. Онъ написалъ письмо своимъ родителямъ, каждой изъ своихъ молоденькихъ сестеръ. Письма его дышали жизнью, любовью и юморомъ и привели въ восторгъ всѣхъ домашнихъ. „Вотъ что значитъ университетъ“, говорилъ отецъ, который въ качествѣ вольнослушателя пробылъ тамъ ровно столько времени, чтобы умѣть понять своего сына. Поповъ сдѣлался ревностнымъ послѣдователемъ своего пріятеля Геденова, со страстью изучалъ медицину и до самоотверженности былъ преданъ интересамъ своихъ товарищей.

За годъ до окончанія курса Поповъ, по выраженію Геденова, который въ то время былъ уже ординаторомъ у профессора хирургіи Юпитера, чуть не соскочилъ съ рельсовъ. Случилось это на каникулахъ между четвертымъ и пятымъ курсами. Онъ остался въ городѣ, одушевленный самыми благими намереніями. Ему позволили посѣщать городскую больницу, и онъ заранѣе мечталъ о томъ, сколько практической медицинской мудрости всосетъ онъ въ себя за эти нѣсколько мѣсяцевъ; но вдругъ въ городъ пріѣхала малороссійская труппа, и среди хорошенькихъ молодыхъ актрисъ одна показалась Попову особенно миловидной и прелестной. Бѣднымъ больнымъ городской больницы такъ и не суждено было узнать, какими высокими чувствами къ нимъ былъ одушевленъ Семенъ Поповъ,—за то дивчина Орина Петренко ежедневно видѣла передъ собой влюбленные глаза молодого эскулапа. Онъ бѣгалъ по ея слѣдамъ, вздыхалъ, готовъ былъ плакать отъ ревности, и когда она, совершенно для всѣхъ неожиданно, вышла замужъ и уѣхала, несчастный едва не сошелъ съ ума, ходилъ темнѣе ночи и мечталъ даже покончить съ собой. Геденовъ и тутъ оказался надежнымъ товарищемъ. Онъ утѣшалъ, развлекалъ и опять поставилъ на рельсы своего коллегу. Орина Петренко исчезла съ горизонта Семена Попова, но со времени знакомства съ нею, онъ почувствовалъ себя непреодолимымъ малороссомъ, такимъ преданнымъ и убѣжденнымъ, что вмѣстѣ съ другими патріотами рѣшилъ

совсѣмъ перестать говорить по-русски и даже на выпускныхъ экзаменахъ отвѣчать на малорусскомъ языкѣ, что и привелъ въ исполненіе.

Первый экзаменъ былъ у профессора физиологіи. Поповъ взялъ билетъ и началъ:

— На какомъ это языкѣ?—спросилъ профессоръ.

— На ридномъ,—отвѣчалъ Поповъ.

— Ридного языка я не знаю, пожалуйста, отвѣчайте по-русски.—И Поповъ долженъ былъ отвѣчать по-русски.

Второй экзаменъ былъ изъ патологической анатоміи. Профессоръ былъ большой любимецъ студентовъ. Это былъ добродушный, остроумный и высокообразованный нѣмецъ. Никогда, за всѣ 30 лѣтъ своего служенія, онъ не имѣлъ ни одной исторіи со студентами. Попову попался билетъ о сырзной печени. Онъ закинулъ голову и храбро заговорилъ.

— Ябъ дивиться на пичинку знизу, ябъ дивиться на пичинку зверьху, вона буде намъ казатысь...

— Молодой человѣкъ,—перебилъ его профессоръ невозмутимо:—будемъ раньше говорить о печени, а потомъ поговоримъ и о дѣвицѣ.

Раздался гомерическій смѣхъ среди товарищей. Такъ кончилась попытка Попова отвѣчать на малорусскомъ языкѣ. Но со всѣмъ тѣмъ, онъ блистательно прошелъ всѣ искусы и остался сверхштатнымъ ординаторомъ въ той же клиникѣ, гдѣ находился и Гедеоновъ.

Глава II.

Что такое сверхштатный ординаторъ и чѣмъ онъ отличается отъ штатнаго? Прежде всего тѣмъ, что у него мало надеждъ и мало иллюзій — или, лучше, его надежды похожи больше на иллюзій, и потому ему предоставляется право умереть съ голоду, если онъ не превратитъ ни одной иллюзій въ надежду, а надежду не реализируетъ какъ-нибудь въ кусокъ хлѣба, или если папаша или мамаша что-нибудь ему оставили. Къ сожалѣнію, отецъ Попова умеръ и ничего ему не оставилъ. Ему предстояло или умереть съ голоду, или раздобыть себѣ практику. Извольте-ка получить ее тамъ, гдѣ профессора принуждены ѣздить на край города за 3 рубля, а на дому у себя принимать столько больныхъ, сколько ихъ явится. Въ то время въ университетѣ, гдѣ учился Поповъ, были прекрасные подготовительные курсы и никуда негодныя клиники. Можно было хорошо знать ана-

томію, фізіологію, хімію и никогда не увидѣть, какъ слѣдуетъ помочь человѣку явиться на свѣтъ Божій, — если природа почему-либо поставляла ему преграды. Акушерская клиника утонула въ грязи. Осенью и весной къ ней нельзя было подѣхать, и съ трудомъ пробирались пѣшеходы. Когда Поповъ проходилъ пятый курсъ, зима была совсѣмъ гнилая, безъ морозовъ, а тутъ еще подоспѣла эпидемія родильной горячки, и клинику съ Рождества пришлось совсѣмъ закрыть. Профессоръ былъ въ отчаяніи, оставалась одна Маргарита. Маргаритой называется кожаный манекенъ женщины, надъ которой студенты продолжали всѣ трудныя акушерскія операціи. Название это приложилось къ нему слѣдующимъ образомъ. Однажды профессоръ обратился къ служителю и приказалъ принести женскій манекенъ; тотъ пошелъ къ старшей акушеркѣ и сталъ требовать, чтобы сейчасъ несли къ профессору больную Маргариту. Акушерка удивилась. Никакой такой больной Маргариты не было въ настоящее время въ клиникѣ, и въ результатъ всего этого недоразумѣнія—фантомъ женщины сталъ называться Маргаритой. — И такъ бѣдный выпускъ Попова долженъ былъ довольствоваться одной Маргаритой. И студенты такъ усердно упражнялись надъ нимъ, что въ одинъ прекрасный день кто-то, дѣлая операцію, оторвалъ головку у кожаного младенца.

— Не такъ горячо,—проговорилъ профессоръ совершенно серьезно.

— Извините, Бога ради, — растерянно бормоталъ сконфуженный студентъ.

— Ну, это—что,—продолжалъ профессоръ:—а вотъ, когда я былъ въ Вѣнѣ, такъ ординаторъ при всѣхъ насъ, докторяхъ, оторвалъ головку у живого младенца.

— Ахъ!—воскликнули всѣ въ одинъ голосъ.

— Что же случилось съ нимъ?—послышался вопросъ.

— А что, ничего!—отвѣчалъ профессоръ;—нынѣ онъ благополучно царствуетъ въ Г.Г. въ качествѣ профессора; такъ что и вы тоже можете сдѣлаться профессоромъ,—добавилъ онъ шутливо, глядя на студента.

Нѣкоторое время этого студента называли благополучно царствующимъ профессоромъ. Но практическихъ знаній было все же очень мало, и Поповъ рѣшился остаться сверхштатнымъ ординаторомъ, хотя бы ему пришлось умереть съ голоду. Онъ нанялъ на послѣднія деньги квартиру, прибилъ къ дверямъ дощечку и храбро сталъ ждать больныхъ. Насупротивъ него поселился другой такой же бѣднякъ и тоже сверхштатный орди-

наторъ, товарищъ его по курсу. Улица была узкая, и пока можно было открывать окна, они часто въ ожиданіи больныхъ переглядывались и пересмѣивались другъ съ другомъ во время пріемныхъ часовъ. Поповъ обладалъ способностью рисовать каррикатуры. Однажды онъ нарисовалъ себя и своего товарища по несчастью разрывающими одного и того же больного на части. Раскрасивъ этотъ рисунокъ, онъ наклеилъ его на окно пріятеля, выходившее на галерею. Тотъ былъ очень сконфуженъ, и въ этотъ вечеръ они много хохотали надъ своимъ положеніемъ и рѣшили вести дневникъ.

Дневникъ Попова былъ слѣдующій:

Сентябрь 11. Приходила горничная и просила вырвать зубъ. У меня не оказалось инструментовъ. Я не спалъ всю ночь, соображая, что для меня важнѣе: купить ли инструменты или сапоги, и рѣшилъ, наконецъ, что инструменты важнѣе.

Сентябрь 25. Купилъ инструменты, но до сихъ поръ никто не являлся и не просилъ вырвать зубъ. Я очутился въ положеніи того цыгана, который видѣлъ во снѣ кисель, но не имѣлъ ложки, на другой день положилъ подъ подушку ложку, а кисель ему не приснился. Непріятно сознавать, что у всѣхъ здоровые зубы.

Сентябрь 29. Меня позвали ночью къ умирающей дамѣ. Она задыхалась отъ дифтерита. Я провозился съ нею цѣлую ночь. Къ свѣту она умерла. Мнѣ прислали 1 руб. и приглашеніе на поминальный обѣдъ. Не пошелъ.

Октябрь 20. Почти цѣлый мѣсяцъ никакой практики. Думаю нарисовать себя на большой доскѣ съ эластичной трубкой. Можетъ быть это поможетъ.

Ноябрь 15. Вчера вечеромъ позвали меня къ больному. Пришлось взять извозчика. Я долго не могъ найти квартиры, и когда, наконецъ, вошелъ въ темную переднюю, меня облили: „Кто тамъ?“ „Докторъ“, постарался я сказать такимъ голосомъ, какимъ говорила въ извѣстной баснѣ лисица — воронѣ. „Пойдите вонъ“, — услышался въ отвѣтъ чей-то грубый окликъ: — „много васъ тутъ такихъ шляется, что докторами называетесь“. Я, конечно, пошелъ вонъ. Вотъ вамъ и практика!!!

Декабрь 5. Опять позвали къ больному. Не могъ войти во дворъ, потому что на меня кинулась собака и порвала мнѣ панталоны. Думаю завтра напечатать въ газетахъ. „Докторъ такой-то при посѣщеніи своихъ многочисленныхъ пациентовъ былъ искусанъ собакой“. Хорошая реклама и навѣрно поможетъ.

Январь 19. Прокутилъ на студенческомъ балу свои послѣднія деньги. Вычиталъ въ газетахъ, что умерла такая-то ночью и нигдѣ не могли найти ей доктора. Это ложь, никто не звонилъ у меня, я бы навѣрное поѣхалъ. Странно! такъ много умираетъ людей безъ медицинской помощи, и такъ много докторовъ голодающихъ. Что бы это значило? Спрошу какого-нибудь политико-эконома.

Въ такомъ родѣ былъ дневникъ Попова, но онъ не унывалъ и все еще надѣялся. Товарищъ его, человекъ болѣе холерическаго темперамента, не выдержалъ и пошелъ служить, а Поповъ очень серьезно занялся обсужденіемъ вопроса: „можно ли приучить себя обѣдать не каждый день, а въ три дня разъ и не чувствовать голода? Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ на одномъ изъ ближайшихъ заводовъ открылся тифъ; Поповъ поскакалъ туда и черезъ мѣсяцъ его замертво привезли въ городъ. Послѣ жестокой болѣзни, едва не унесшей его въ могилу, онъ поѣхалъ домой поправляться. Мать его жила у сестры, вышедшей замужъ. Тамъ Поповъ провелъ нѣсколько мѣсяцевъ, совершенно поправился, пополнѣлъ и чувствовалъ себя способнымъ опять бороться и жить однѣми иллюзіями. Ему казалось, что страстное желаніе сдѣлаться хорошимъ докторомъ должно преодолѣть всѣ препятствія, но, увы, опять точно всѣ больные сговорились проходить мимо его дощечки и не обращать на нее никакого вниманія. Сто рублей, которыя остались у него отъ заработка на заводѣ, всѣ пошли на квартиру и если бъ не Геденовъ, который умудрялся какимъ-то образомъ урывать для него отъ своихъ скудныхъ заработковъ, бѣдному человѣку рѣшительно было бы нечѣмъ платить своему лакею. И отдавая все Никитѣ, самъ онъ долженъ былъ иногда дѣлать видъ, что уходитъ обѣдать въ ресторанъ, а въ сущности онъ уходилъ погулять по городу, чтобы заглушить въ себѣ голодъ, или заходилъ къ которому-нибудь изъ пріятелей въ надеждѣ на то, что они его покормятъ. Долго существовать подобнымъ образомъ становилось невозможнымъ, и онъ началъ подумывать о мѣстѣ. Конечно, забираться куда-нибудь въ глушь ему не хотѣлось, онъ желалъ взять мѣсто, гдѣ бы непременно была больница, и гдѣ бы онъ могъ работать и учиться. Но прошелъ мѣсяцъ, другой, а мѣста все нѣтъ. Теперь онъ уже не смѣялся, не рисовалъ каррикатуръ и не писалъ дневника. Нужда надвигалась на него со всѣми своими тяжелыми ощущеніями. Требованія его относительно мѣста стали гораздо умѣреннѣе. Онъ сдалъ квартиру, отпустилъ слугу и поселился въ маленькой меблированной ком-

натеѣ. Его удручала мысль, что оставался всего годъ до окончанія службы Геденова, профессоръ обѣщалъ ему штатное мѣсто, и этотъ годъ ему нечѣмъ было просуществовать, а главное онъ такъ плохо питался, что не могъ даже готовиться къ докторскому экзамену. Теперь ужъ никто бы не принялъ его за практикующаго доктора, такъ онъ обносился и такой имѣлъ жалкій, голодный видъ. И вотъ когда напряженіе его измученныхъ нервовъ дошло до высшей степени, ему предложилъ одинъ аптекаръ ѣхать на вольную практику, въ одно большое мѣстечко, гдѣ жилъ когда-то докторъ и умеръ. Выбирать ему было не изъ чего, и онъ отправился въ мѣстечко Б...

Глава III.

Былъ базарный день конца февраля, когда Поповъ на тряской еврейской бричкѣ остановился около аптеки, помѣщавшейся на площади, противъ двухъ церквей. Дни стояли морозные, и потому площадь и всѣ прилегающія къ ней улицы были вполне проѣзжими, но глубокія колеи, бѣжавшія во всѣ стороны, краснорѣчиво свидѣтельствовали о томъ, что осенью и весной мѣстечко утопало въ грязи. И дѣйствительно, были мѣста на улицахъ, гдѣ нельзя было даже проложить тропинокъ для пѣшиходовъ, приходилось перелѣзать черезъ плетни и пробираться огородами. Когда Поповъ подъѣзжалъ къ аптекѣ, площадь была довольно оживлена. Солнце ярко свѣтило, и въ воздухѣ чувствовалась мягкая крѣпость послѣднихъ дней южнаго февраля. Аптекарь съ большимъ радушіемъ встрѣтилъ нашего пріятеля и тотчасъ пригласилъ его пить съ нимъ чай. Не успѣли они сѣсть за столъ, какъ явилась какая-то женщина и объявила, что доктора ждутъ больные.

— Какъ, уже больные!—воскликнулъ Поповъ.

— О, это скоро,—отвѣчалъ аптекаръ.—День базарный и еврей успѣлъ раструбить, что вы пріѣхали; но пусть подождутъ, вамъ нужно умыться и переодѣться съ дороги.

Поповъ покраснѣлъ. Онъ былъ въ своемъ единственномъ платьѣ. Когда оба они, напившись чаю, вышли въ аптеку, тамъ ждали ихъ двѣ женщины. Одна высокая, полная блондинка, была очень странно одѣта. Очень короткая юбка, пестрый передникъ и такая короткая кофта, какихъ никогда не носятъ крестьянки. Упершись руками въ свои крутые бедра, она съ вызывающимъ видомъ смотрѣла на доктора.

— Колонистка,—шепнулъ ему аптекаръ.

Другую не нужно было рекомендовать. Унылый носъ и большіе грустные глаза выдавали ея еврейское происхожденіе. Докторъ осмотрѣлъ больную колонистку и прописалъ ей рецептъ. Взявши рецептъ, она быстро нагнулась и поцѣловала ему руку. Поповъ сильно сконфузился.

— За рецептъ деньги платятъ, а не руку цѣлуютъ, — проговорилъ аптекаръ внушительно. — Дайте, я вамъ приготовлю лекарство.

Нѣмка поспѣшно сунула рецептъ въ карманъ и, точно боясь, какъ бы его у нея не отняли, бросилась вонъ изъ комнаты.

— Прожженный народъ, — проговорилъ аптекаръ. — Такія сквалыги, такія скареды. Мнѣ понадобилось сыворотки пить, такъ какъ бы вы думали: нѣмецъ отъ пятидесяти коровъ продавалъ мнѣ кувшинъ сыворотки; свиней ею кормить, а мнѣ продавалъ.

— Что у васъ, — обратился докторъ къ еврейкѣ.

— Икакю, господинъ докторъ, — отвѣтила она.

И въ подтвержденіе своихъ словъ, громко на всю комнату икнула. Распространился запахъ чесноку.

— Зачѣмъ же вы на тощакъ чеснокъ ѣдите, — спросилъ докторъ.

— А что же мнѣ ѣсть, — отвѣчала она.

— Попробуйте, хоть нѣкоторое время, не ѣсть на тощакъ ни луку, ни чесноку, можетъ быть и икота ваша пройдетъ.

— Пропишите рецептъ, господинъ докторъ? — спросила она.

Онъ только-что хотѣлъ сказать, что рецепта никакого не нужно, какъ аптекаръ быстро перебилъ его.

— Сейчасъ, сейчасъ докторъ напишетъ вамъ рецептъ. — Онъ сказалъ это такимъ тономъ, что доктору ничего не оставалось, какъ поскорѣй написать рецептъ. Еврейка взяла его и стала совать ему въ руку 20 копѣекъ.

— Не нужно, не нужно, отмахивался отъ нея докторъ. Двугривенный со звономъ упалъ и покатился по полу. Еврейка подняла его.

— Зачѣмъ не нужно, — обратилась она къ нему: — доктору тоже кушать хочется. Двадцать, да двадцать, да еще двадцать, смотрите и карбованецъ выйдетъ. Лучше двадцать копѣекъ, чѣмъ руку поцѣловать: что вамъ съ того, если я вамъ руку поцѣлую?

— Ну, ну, — остановилъ ее аптекаръ: — распространилась, точно десять рублей даетъ.

— А откуда мнѣ взять десять рублей? Думаете, у меня есть десять рублей? У меня во всемъ домѣ десяти копѣекъ нѣтъ.

— Иди, иди, — выпроваживалъ ее аптекаръ. Еврейка икнула одинъ, другой, третій разъ, и, глядя на нихъ обоихъ своими грустными ввалившимися глазами, медленно удалилась. Поповъ сидѣлъ весь красный и взволнованный отъ этого своего первого приѣма больныхъ.

— Напрасно не взяли, — обратился къ нему аптекаръ, какъ только еврейка удалилась: — напрасно не взяли.

— Неужели же мнѣ тутъ придется пятаками собирать, — воскликнулъ Поповъ.

— А то какъ же, — невозмутимо продолжалъ аптекаръ: — вѣдь это частная практика въ мѣстечкѣ. Вотъ когда къ помѣщику поѣдете, такъ и десять рублей получите, только не тѣ времена теперь. Теперь, какъ что, сейчасъ на чугунокъ и въ городъ; тотъ развѣ позоветъ, которому ужъ не на что съ мѣста двинуться. Я больше рецептами вашихъ знаменитостей живу. И замѣтите — самый нищій-еврей заплатить вамъ, а русскій разжившійся мужикъ и колонистъ непременно норовить на дурничку, непременно.

— Какъ же мой предшественникъ жилъ? — спросилъ Поповъ.

— И не только жилъ; но и денегъ скопилъ и имѣньице приобрѣлъ. Только вы такъ, какъ онъ, жить не будете, нѣтъ, сейчасъ видно, что не будете. — И старикъ засмѣялся.

— А какъ же онъ жилъ? — полюбопытствовалъ Поповъ.

— По унціямъ жилъ. Чай пилъ въ прикуску, чтобы сахару меньше выходило, дома никогда скюртука не носилъ, пріѣдетъ, сниметъ, самъ вычистить и повѣсить на крючекъ.

— О, ужасъ! — воскликнулъ Поповъ съ отвращеніемъ.

— Господи, Господи, — продолжалъ старикъ и покачалъ головой: — для кофѣйки человѣкъ жилъ, а умеръ — все чужіе растаскали. Намъ съ вами нужно фельдшера посрамить, — продолжалъ онъ: — непременно нужно посрамить. Онъ тутъ всю практику захватилъ въ свои руки.

— Но вѣдь и ему кушать нужно, какъ говорила та еврейка, — замѣтилъ Поповъ.

— Зловредный и недобросовѣстный человѣкъ. Что знаешь, лечи, а чего не знаешь, зачѣмъ же людей морочить; не только ото всѣхъ болѣзней лечить, но наведетъ какой-то красной кислой микстуры и поить всѣхъ. Сколько онъ прошлое лѣто дѣтей сгубилъ, отъ дизентеріи кислятиной этой заливалъ, разбойникъ, — добавилъ онъ съ негодованіемъ.

Поповъ поселился у аптекаря. Каждый день они ѣли вмѣстѣ плохо сготовленный супъ и еще хуже зажаренную курицу. За

вечернимъ чаемъ вели бесѣды, тѣ безконечныя, довѣрчивыя бесѣды, которыя плодятся у шумящаго самовара, въ глухіе вечера, когда на дворѣ гудеть вѣтеръ, улицы утопаютъ во мракѣ и не ждется ни откуда ничего новаго и неожиданнаго, а прожитая жизнь стучится къ вамъ, нарушая однообразную монотонность настоящаго и рисуя будущія желанныя перспективы. Для Попова все было въ будущемъ, для аптекаря все въ прошломъ. Оказалось, что онъ былъ родомъ изъ Познани, полуполякъ, полунѣмецъ. Братъ выписалъ его сюда, и братъ же, разорившись, увлекъ его въ бѣдность. Здѣсь, въ этомъ жалкомъ мѣстечкѣ, онъ едва сводилъ концы съ концами. Попова удивляла въ немъ та невѣроятная стойкость, какую онъ выказывалъ во всемъ, къ чему привыкъ и что усвоилъ себѣ еще на своей далекой родинѣ. Это была культура, унаслѣдованная отъ многихъ и многихъ культурныхъ поколѣній. Разореніе постигло его наканунѣ его женитьбы, невѣста отказала ему и вышла за другого, но онъ не запилъ и не оподлился, онъ остался такимъ же честнымъ и добродушнымъ человѣкомъ, какимъ былъ всегда. Зналъ онъ всѣхъ, на цѣлые десятки верстъ, и никогда не ошибался въ оцѣнѣ людей, даже при самомъ поверхностномъ съ ними знакомствѣ. Умершаго доктора, предшественника Попова, онъ не любилъ, тотъ не отвѣчалъ его понятіямъ объ идеалѣ человѣка. За то къ Попову онъ относился почти съ отеческой любовью. Такихъ бобылей, какъ аптекарь, было трое въ мѣстечкѣ. Отставной становой, горькій пьяница, священникъ, рано овдовѣвшій и бездѣтный, и, наконецъ, мелкопомѣстный дворянинъ-землевладѣлецъ. Этотъ послѣдній былъ самый непріятный, злобный и прижимистый. Каждую субботу вечеромъ собирались всѣ бобыли вмѣстѣ, играли въ преферансъ, пили чай, водку и закусывали ржавой селедкой.

Пятаки прибывали туго. Попову едва хватало платить аптекарю за свое содержаніе.

— Пусть только представится серьезный случай и вы посрамите фельдшера, тогда все пойдетъ хорошо, — говорилъ обыкновенно старикъ.

Поповъ слушалъ его равнодушно; онъ запасся медицинскими книгами и твердо рѣшилъ приготовиться къ докторскому экзамену. Никогда ему даже и въ голову не приходило, что онъ можетъ застрясть тутъ, въ этомъ захолустѣ. Если бъ ему сулили тутъ золотыя горы, онъ не могъ, ни за что не могъ помириться съ своими отрывочными знаніями. Его мечтой было итти все дальше и дальше и достигнуть въ той сферѣ, какую онъ изъ

бралъ, наибольшаго совершенства. Пока онъ не достигнетъ этого, онъ ко всему былъ совершенно равнодушенъ. Зато аптекарь волновался выше всякой мѣры, точно фельдшеръ своими успѣхами задѣвалъ его собственную честь.

— Идите, докторъ, идите скорѣй, — позвалъ онъ однажды Попова, входя къ нему въ комнату. — Данилка пришелъ.

— Богъ съ нимъ, — отвѣчалъ докторъ.

— Да нѣтъ же, идите, посмотрите, что у него за рожа. — Поповъ нехотя всталъ и вошелъ въ аптеку. Тамъ стоялъ небольшой зоркій человѣкъ съ такимъ удивительнымъ носомъ, что, глядя на этотъ носъ, нельзя было не расхохотаться. Поповъ невольно вспомнилъ первую видѣнную имъ пластическую операцію — приставленіе искусственнаго носа. Онъ былъ увѣренъ, что у того крестьянина носъ былъ не хуже Данилкинаго.

— У него искусственный носъ, — сказали Поповъ аптекарю послѣ ухода фельдшера. Тотъ расхототался.

— Ерникъ, — проговорилъ онъ: — даромъ что носа нѣтъ, а какъ все умѣетъ пронюхать. Говоритъ мнѣ: „вашъ докторъ у насъ долго не останется, тамъ“. Долго-ли, коротко-ли, а мы его посраимъ, непременно посраимъ.

И этотъ счастливый день, наконецъ, насталъ. Былъ уже апрѣль мѣсяцъ. Всѣ топи, гдѣ тонули несчастныя обывательскія лошади, высохли. Дорожки для пѣшеходовъ бѣжали теперь вдоль улицъ, минуя перелазы черезъ плетни въ чужіе огороды. Мѣстечко повеселѣло, деревья покрылись красными почками и блестѣли на солнцѣ точно лакированныя. Надъ вербами, около разлившейся маленькой рѣченки, стада грачей оглушали воздухъ пронзительными криками. Весна шла и стучалась въ сердце, пробуждая какія-то томительныя желанія, неясныя стремленія. Поповъ затосковалъ, его потянуло къ людямъ. Хотѣлось послушать горячихъ молодыхъ рѣчей. Ахъ, только бы на одинъ часочекъ увидѣть Гедеонова, что онъ теперь дѣлаетъ? Одуры забрала его съ этими медицинскими книгами; уже нѣсколько дней, какъ онъ бросилъ читать и хандрить, хандрить, а аптекарь, глядя на него, все вздыхалъ и вздыхалъ.

Вдругъ къ крыльцу подъѣхала маленькая телѣжка, запряженная тройкой сытыхъ лошадокъ.

— Къ вамъ, — объявилъ аптекарь, весь сіяя: — старшина пріѣхалъ. У него, знаете, говорятъ, денегъ куры не клюютъ и жена молодая.

Поповъ вышелъ. У порога стоялъ высокій крестьянинъ, уже сѣдой, но съ красивымъ открытымъ и свѣжимъ лицомъ.

Онъ молча низко поклонился доктору и только открылъ ротъ, сказать что-то, какъ стоявшая около него бабенка засыпала ихъ рѣчью, сверкая при этомъ своими жемчужными зубами. Только хохлушка способна пересыпать свою рѣчь такимъ обиліемъ различныхъ присказокъ и даже, несмотря на всю важность своей миссіи, легкой ироніей.

— Оце выбачайте ¹⁾, панове, — затараторила она: — нашъ голова старенькій, а жинка у его молода. Ему треба у труну ²⁾, а Богъ ему дытynu посила, тилько вона та дытына, ни якъ "... — Тутъ она приняла торжественный видъ и, шагнувши впередъ, прошептала: „ручка, пане добродію“.

При этомъ страшномъ словѣ у пана доктора забѣгали мурашки по спинѣ, а староста повалился на землю и изъ груди его вырвался стонъ; одинъ только аптекаръ торжествовалъ.

— Фельдшера звали? — спросилъ онъ.

— А якъ-же, и учора и тыжъ-день. Казавъ, идить за батюшкой, — а я ему кажу: на що намъ тій батюшка, ходимо за дохтуромъ.

— Вотъ видите, вотъ видите! — закричалъ аптекаръ и замахалъ руками. — Подъ судъ его, каналью, какъ онъ смѣлъ, зная, что есть докторъ, не прислать сюда, да можетъ быть, теперь уже и поздно, ничего нельзя сдѣлать.

При этихъ словахъ не только староста, но и сама бабенка повалилась доктору въ ноги. Докторъ успокоилъ ихъ, говоря, что онъ сейчасъ поѣдетъ и сдѣлаетъ все, что можно. У аптекаря оказались нужные инструменты: предшественникъ, умирая, подарилъ ихъ ему. Когда Поповъ взглянулъ на мѣшки, въ которыхъ хранились эти инструменты, онъ вспомнилъ слова своего учителя: „въ подобныхъ мѣшкахъ“, говорилъ тотъ, „гнѣзятся тысячи смертей“. Они были стары, грязны и пропитаны запахомъ трупa.

Захвативъ съ собой все необходимое, докторъ вмѣстѣ съ старостой усѣлись на довольно сносномъ веревочномъ сидѣннѣ, а бабенка кое-какъ примостила на облучкѣ съ кучеромъ, и, — хотя ноги ея болтались въ воздухѣ, и онѣ ежеминутно могли попасть въ колесо, — ей, конечно, и въ голову не приходило, что ей, какъ дамѣ, слѣдовало уступить лучшее мѣсто. Упираясь руками о козлы и подсказывая на толчкахъ таеъ, что докторъ невольнo хваталъ ее за плечo, она не переставая болтала и все

¹⁾ Извините.

²⁾ Гробъ.

по поводу преклонныхъ лѣтъ старосты. Тотъ слушалъ, слушалъ, но, видно, это ему, наконецъ, надоѣло, и онъ произнесъ:

— Годи тобі сороко! Языка откусишь!

Бабенка засмѣялась и умолкла.

Когда они пріѣхали и вошли въ свѣтлую и просторную избу, бѣдная женщина лежала уже на скамьѣ, подъ образами.

— Умерла! — воскликнулъ докторъ.

— Умерла, — отвѣтилъ чей-то мужской голосъ.

Докторъ обернулся. Это былъ фельдшеръ. Послышались чьи-то глухія рыданія. Плакалъ мужъ, повалившись на колѣни и осѣняя себя большими крестными знаменіями. Поповъ быстро подошелъ къ больной. Самаго поверхностнаго осмотра было достаточно, чтобы убѣдиться въ томъ, что больная находилась въ обморокѣ.

— Нужно перенести ее на палаты, — сказалъ онъ, обращаясь ко всѣмъ присутствующимъ.

Никто не двинулся съ мѣста, и старуха, находившаяся тутъ, быстро и энергично запротестовала. По ея словамъ выходило, что несчастной гораздо лучше умереть, чѣмъ напрасно мучиться, все равно ручка. Ручка — это смерть. Мужъ, какъ ни былъ онъ убитъ, тоже, повидимому, раздѣлялъ мнѣніе старухи.

— Помогите мнѣ, — обратился докторъ къ фельдшеру.

Данилка переминался съ ноги на ногу и глупо ухмылялся.

— Слышите, что я вамъ говорю! — крикнулъ на него докторъ.

— Не кричите, — отвѣтилъ тотъ.

— Я вамъ приказываю помочь мнѣ перенести больную. Здѣсь, на этой узкой лавкѣ, я ничего не могу сдѣлать.

— Мнѣ никто не смѣетъ приказывать, — отвѣчалъ Данилка и не двигался съ мѣста.

— Придерживайте ее за ноги, — обратился Поповъ къ болтливой бабенкѣ, и самъ поднялъ больную.

Тогда подскочилъ мужъ и помогъ ему положить жену на палаты. Больная открыла глаза, застонала, и опять готова была впасть въ обморочное состояніе. Поповъ очень быстро привелъ ее въ чувство, заставилъ ее выпить рюмку водки и, пока болтливая бабенка растирала ей руки и ноги, сталъ готовиться къ акушерской операціи. Онъ снялъ сюртукъ, вымылъ руки, велѣлъ себѣ подать женскую чистую сорочку и надѣлъ ее вмѣсто халата, какъ въ клиникѣ употребляютъ при всѣхъ операціяхъ. Продѣлывая все это, онъ думалъ, что если ему и не удастся произвести хорошо поворотъ, по крайней мѣрѣ, онъ не заразить

больной. Но увы, взглянувши на то, что ему предстояло совершить, онъ чуть не закричалъ отъ горькаго сожалѣнія, что онъ не только не въ состояніи будетъ вправить этой ручки, но что даже никогда не предполагалъ, что можетъ быть что-нибудь подобное. Ручка ли, это была или ножка, ему приходилось вѣрить на слово тѣмъ, кто видѣлъ ее раньше; а теперь это было нѣчто красносинее, распухшее, безформенное, страшное. Что ему было дѣлать! Онъ никогда не видѣлъ подобнаго случая, самый простой поворотъ былъ ему совершенно незнакомъ. Всѣ находившіеся въ хатѣ сплошной массой обступили его. Ближе всѣхъ стоялъ фельдшеръ и на лицѣ его блуждала торжествующая, насмѣшливая улыбка.

— Вы такъ грязны, — обратился къ нему Поповъ со злостью, — что вамъ нельзя оставаться при роженицѣ.

Тотъ хихикнулъ, передернулъ плечами, и лицо его какъ будто говорило: „вотъ вы и сорочку женскую надѣли, а ничего не выйдетъ, ничего не сдумаете сдѣлать“. Въ это время раздался страдальческій стонъ больной. Докторъ быстро обернулся къ ней. Она приподнялась, протянула къ нему руки и съ невыразимой мукой въ голосѣ проговорила:

— Поратуйте мене! (спасите меня!).

Крупныя слезы текли по ея измученному лицу. И во взглядѣ, устремленномъ на него, выразилось столько мольбы, столько отчаянія, что онъ готовъ былъ въ эту минуту отдать нѣсколько лѣтъ жизни за возможность спасти ее. Онъ преисправно изучилъ всѣ книжки, какія было необходимо знать, онъ не менѣе прилежно упражнялся на фантомѣ, но кожаная Маргарита не простирала къ нему рукъ, она не страдала и не умоляла о спасеніи. А теперь онъ долженъ былъ спасти живую Маргариту, долженъ былъ не допустить ея до самой мучительной смерти — и въ то же самое время понималъ, что, спасая ее, можетъ своей неумѣlostью причинить ей смерть. Фельдшеръ продолжалъ съ улыбкой смотрѣть на него.

— Снимите вашъ грязный сюртукъ, надѣньте, подобно мнѣ, сорочку и вымойте въ карболовой водѣ руки, — обратился къ нему опять докторъ: — вы мнѣ будете помогать.

— Зачѣмъ я буду снимать сюртукъ; я двадцать лѣтъ при больныхъ и никого никогда не заражалъ.

Первымъ движеніемъ Попова было схватить его за шиворотъ и вытолкать вонъ, но вмѣсто того онъ подошелъ къ нему и прошепталъ:

— Если вы осмѣлитесь меня не слушаться, я упеку васъ въ острогъ. Слышите!

И Данилка, съ видомъ жертвы, снялъ свой грязный скрутукъ, помылъ руки, надѣлъ женскую сорочку и сталъ дѣлать то, что ему приказывали. Съ отчаянной рѣшимостью принялся несчастный докторъ за операцію; но увь! первая же попытка показала ему, какъ мало онъ приготовленъ къ чему-нибудь подобному, и тутъ его, точно по вдохновенію, осынила счастливая мысль, даже и не мысль... Онъ вспомнилъ, что профессоръ говорилъ: „если ребенокъ умеръ, и рука не поддается вправленію, ее можно отнять“. Боже мой,—какое счастье! Онъ не даромъ былъ въ хирургической клиникѣ, онъ сѣмѣетъ отнять ручку такъ, чтобы не причинить никакого вреда матери. И дѣйствительно, онъ очень ловко отрѣзалъ ручку и помогъ ребенку родиться. Эффектъ былъ поразительный. Староста съ крикомъ радости бросился къ его ногамъ. Всѣ бабы, находившіяся въ хатѣ, заплакали. Фельдшеръ подобострастно забѣгалъ то съ одной, то съ другой стороны, помогая ему и расточая всевозможныя похвалы его искусству; только самъ докторъ, да несчастная родильница ничего не могли говорить; она отъ безконечнаго радостнаго сознанія, что всѣ ея невыразимыя муки кончились, а онъ отъ отчаянія, что ребенокъ родился живымъ, и онъ, вслѣдствіе своего невѣжества, отрѣзалъ ему ручку. Эта отрѣзанная ручка лежала тутъ-же на лавкѣ живымъ укоромъ, и онъ почти съ ужасомъ смотрѣлъ на нее. Когда онъ вытащилъ полумертваго ребенка, его на мгновеніе охватило чувство необъятнаго восторга и торжества. Онъ готовъ былъ танцевать отъ радости. Онъ такъ далеко былъ отъ мысли, что ребенокъ живъ, что, услышавъ крикъ его, хотѣлъ было спросить: „зачѣмъ тутъ дитя? кто принесъ его?“

Въ хатѣ между тѣмъ происходило необыкновенное оживленіе. Вѣсть о томъ, что несчастная старостиха, обреченная на вѣрную смерть, спасена докторомъ, облетѣла все мѣстечко. Всѣ жаждали посмотреть на человѣка, который сѣмѣетъ справиться съ этою страшною смертію, называемой „ручкою“. Тутъ были и молодыя, и старыя бабы. Всѣ онѣ шептались, показывали головами, смотрѣли на доктора, и на всѣхъ лицахъ было написано радостное удивленіе, а болтливая бабенка, подбоченая съ торжествующимъ видомъ, разговаривала съ ними, точно ей всѣ были обязаны счастливымъ исходомъ этого страшнаго дѣла.

Фельдшеръ былъ побѣжденъ, и въ душѣ его все роился вопросъ: „И какъ это онъ такъ ловко? и баба жива осталась, и ребенокъ живъ!“ Объ отрѣзанной ручкѣ никто не помышлялъ:

все равно приходилось умирать, а дитя — роса Божья; дасть Богъ, и безъ руви проживеть, не дасть, умереть.

Когда докторъ опять въ бричѣхъ подъѣзжалъ къ аптекѣ, аптекарь стоялъ на крыльцѣ и, завидя его, сталъ махать отъ радости платкомъ. Онъ уже зналъ, что въ хатѣ старосты совершилось чудо.

— Посрамили и прославились, — говорилъ онъ торжествующимъ голосомъ.

Поповъ посмотрѣлъ на него и расхохотался.

— Не посрамилъ, — отвѣчалъ онъ: — а осрамился! У живого ребенка ручку отрѣзалъ.

— Экая важность, — отвѣчалъ аптекарь: — конечно вамъ, какъ опытному доктору, подобная исторія непріятна, а мы, мы будемъ объ этомъ чудѣ говорить нѣсколько лѣтъ подырядъ. Да староста долженъ вамъ за это по крайности сто рублей отсчитать. Вѣдь отъ вѣрной смерти спасли, изъ воды вытащили, изъ петли сняли, да и все это не то. Вонъ вашъ предшественникъ сколько лѣтъ жилъ, а ему ни разу не удалось ничего подобного сдѣлать.

Поповъ ушелъ къ себѣ. Если бы его бранили, осуждали, ему было бы легче, а то вдругъ, искалѣчилъ несчастнаго младенца, и за это ему кланяются въ ноги, готовы превозносить его до небесъ. Никогда не забудетъ онъ тѣхъ мукъ, какія пришлось ему испытать, когда онъ стоялъ около больной. Съ молитвой протягивала она къ нему руки, а онъ чувствовалъ, что не можетъ спасти ея!

Въ аптекѣ между тѣмъ происходилъ споръ. Отдѣльныя фразы долетали до него, и онъ невольно сталъ прислушиваться.

— На шаромыжку вамъ все, — раздавались слова аптекаря. — Отъ вѣрной смерти спастъ, а ты штофомъ водки готовъ расплатиться. Не знаешь, что значитъ ручка. Ручка смерть.

— Да хибя пять карбовенцевъ не гроши? — слышался голосъ старосты.

— Пошелъ вонъ и принеси двадцать пять рублей, меньше какъ двадцать пять не прійму, и доктора къ вамъ, сквалыгамъ, не пушу. Пошелъ, пошелъ, не скажу даже, что ты приходишь. Этакіе ерники, отъ денегъ сундуки трещать, а онъ пять карбованцовъ принесъ. Пошелъ, пошелъ вонъ.

Когда черезъ нѣсколько минутъ аптекарь, весь красный и вспотѣвшій, входилъ къ Попову, тотъ, глядя на него, сталъ неудержимо хохотать.

— Все о моемъ гонорарѣ заботитесь, — проговорилъ онъ.

— Ахъ, они ерники! — воскликнулъ аптекаръ. — Вѣдь знаю, на крестины сто рублей истратить, все мѣстечко позоветъ и перепоить, жена молодая, первое дитя, да еще и сынъ — съ прежней женой совсѣмъ дѣтей не было, — а подите, доктору за то, что жизнь спасъ — пять рублей, ну, не срамъ ли! Вѣдь ручка для нихъ — это крышка, вѣдь чувствовать нужно!

Поповъ не возражалъ. На счетъ гонорара пока у него рѣшительно не выработалось никакихъ опредѣленныхъ понятій. Конечно, онъ бы хотѣлъ получать больше. Получи онъ сразу рублей двѣсти, онъ въ тотъ бы день уѣхалъ обратно въ городъ и опять бы сталъ работать въ клиникѣ. Пока имъ всецѣло владѣло желаніе совершенствоваться, а сегодняшний случай принесъ ему у постели больной такіа острые ощущенія отъ сознанія его безсилія, что прежнее чувство какъ бы двойной силой овладѣло имъ, а аптекаръ продолжалъ:

— Срамъ одна! Я вѣдь родомъ изъ Познани и провелъ тамъ свою молодость. Докторовъ у насъ тамъ много, но на нихъ смотрятъ, какъ на работниковъ. Кто лечится, тотъ и платитъ.

— Вѣроятно, тамъ есть, чѣмъ платить, — возразилъ Поповъ: — а у насъ, видите, бѣдность такая.

— О бѣдности никто и не говоритъ, бѣднымъ я самъ лекарства даромъ даю, не отъ бѣдности не платятъ. Пропьянствуютъ, проиграютъ, проѣдятъ, а доктору всякій норовитъ, какъ бы ничего не дать. Бѣдные лучше, совѣстливѣе и благодарнѣе. Я долго жилъ въ уѣздномъ городѣ В., такъ тамъ всѣ господа въ земскую больницу ходили, чтобы поменьше заплатить, а въ клубъ шампанское лилось рѣкой, и сотни рублей проигрывались. Полная больница господъ наберется, а мужикъ придетъ издалека, посмотреть, посмотреть, увидитъ, что ему господъ не переждать, и уйдетъ ни съ чѣмъ. Пусть докторъ думаетъ, что онъ можетъ даромъ лечить, но пусть тотъ, кто лечится, не думаетъ, что онъ имѣетъ право пользоваться чужимъ трудомъ, тогда только и будетъ правда. Идетъ, идетъ мой староста! — воскликнулъ аптекаръ и выскочилъ ему навстрѣчу.

Черезъ минуту онъ, торжествующій и сіяющій, положилъ передъ Поповымъ 25 руб. И они опять посмотрѣли другъ на друга и опять расхохотались.

— Не за что, — проговорилъ Поповъ.

— Не имъ васъ судить, — отвѣчалъ аптекаръ. — Въ душѣ вашей вы и можете себя осуждать, а они, они должны чувствовать, что вы жизнь ей спасли. Что значать эти двадцать пять

рублей серебромъ? Всю жизнь вспоминать объ этомъ должны. И Данилку мы посрамили,—добавилъ онъ и лукаво подмигнулъ.

Когда Поповъ легъ спать, онъ долго не могъ уснуть. Множество различныхъ чувствъ волновало его. Онъ вспомнилъ Данилку, вспомнилъ, какъ тотъ сначала хотѣлъ сохранить свой престижъ, и какъ потомъ забѣгалъ къ нему съ подобострастной улыбкой, стараясь угадать по его глазамъ, что ему нужно. „Бѣдный Данилка“, продолжалъ онъ думать, „вѣдь и ему тоже жить нужно, вѣроятно, у него есть жена и дѣти, и онъ ничего другого не знаетъ, кромѣ своей полумедицины, и неужели ему соперничать съ этимъ жалкимъ грязнымъ Данилкой“. Съ Данилки онъ перешелъ на самого себя. Остаться здѣсь? О нѣтъ, ни за что! Если бы вдругъ чей-нибудь властный голосъ приказалъ ему: „останешься навсегда здѣсь!“, казалось, онъ бы не пережилъ этого ужаса. Жить возможно, и на очень маленькія, на самыя нищенскія средства, перебиваться, какъ онъ перебивался въ городѣ, но нужно имѣть душевное удовлетвореніе, — безъ этого удовлетворенія жить нельзя. Жизнь тотчасъ захватитъ тебя въ свои грязныя лапы, ополтитъ и засосетъ. Нужно на что-нибудь опереться! А для него нѣтъ пока другой опоры, кромѣ знаній, настоящихъ медицинскихъ знаній!..

Предсказанія аптекаря сбылись. На другой и на третій день его буквально осаждали больные. На четвертый день за нимъ прислали лошадей изъ сосѣдняго городка. Аптекарь ходилъ козыремъ и потиралъ руки отъ удовольствія. Онъ сталъ даже поговаривать о томъ, что доктору придется нанять себѣ отдѣльный домъ, нужно будетъ имѣть комнаты, гдѣ бы ожидали больные, и кабинетъ. Но судьба распорядилась иначе. На пятый день, едва Поповъ открылъ глаза, какъ ему подали письмо. Онъ разорвалъ конвертъ и закричалъ отъ радости. На крикъ его прибѣжалъ аптекарь.

— Что такое? — спросилъ онъ.

— Буду въ городъ, мнѣ предлагаютъ мѣсто штатнаго ординатора.

Аптекарь ничего не сказалъ. Онъ сѣлъ, весь какъ-то съежился и лицо его осунулось.

Вечеромъ того же дня на скамьѣ у маленькой желѣзнодорожной станціи сидѣлъ Поповъ съ аптекаремъ. Какъ ни старался докторъ, глядя на своего печальнаго сосѣда, настроить и себя тоже на печальный ладъ, это ему рѣшительно не удавалось. Внутри его все ликовало и дрожало отъ радости, что, наконецъ, завѣтная его мечта исполняется, что онъ достигнетъ если ужъ

не полного совершенства, то возможности идти все впередъ и впередъ. И платформа, и маленькая станція, и позеленѣвшія поля вокругъ, все это казалось ему теперь и веселымъ, и привѣтливымъ, и милымъ. Старикъ аптекаръ сидѣлъ совсѣмъ убитый. Онъ чувствовалъ себя такъ, какъ будто съ отъѣздомъ Попова исчезало навсегда его право на жизнь сколько-нибудь осмысленную. Отнынѣ онъ навсегда погрузится въ грязныя колеи загрязненнаго мѣстечка. Никогда человѣкъ живой, подобный Попову, не заѣдетъ къ нимъ, а если и заѣдетъ, то будетъ рваться и, вырвавшись, оторветъ кусокъ его собственного существованія, какъ сдѣлалъ этотъ молодой человѣкъ, съ которымъ онъ провелъ нѣсколько мѣсяцевъ и къ которому онъ приросъ своимъ одинокимъ угасающимъ сердцемъ. Раздался звонокъ, они оба выскочили, быстро обнялись, поцѣловались и стали у края платформы ожидать подходящаго поѣзда. Когда Поповъ занесъ ногу на ступеньки, ведущія въ вагонъ, около него раздался звонкій голосъ.

— Панычику щасливаго пути.

Это была болтливая бабенка, сопровождавшая его къ старостѣ.

— Здравствуй, — произнесъ онъ, уже стоя на площадкѣ вагона.

— Купить панычику яицъ и курку? — затараторила она своимъ звонкимъ голосомъ.

И какъ ни отговаривался докторъ, она совала ему курицу, безпрестанно болтая.

— А старостиха здорова, а хлопья померло.

— Какое хлопья? — спросилъ онъ.

— То той, що ручку отрѣзали.

Поповъ вынулъ рубль и подаль ей.

Въ это время раздался звонокъ, яйца, которыя она ему совала, посыпались и разбились, а курка, почувствовавъ свободу, взвилась и, растопыривъ крылья, гордо усѣлась на крышу вагона. Вагонъ тронулся при взрывахъ веселаго смѣха. Что Поповъ въ эту минуту чувствовалъ, — трудно поддается описанію, и радость, и сожалѣніе, и грусть, и жажду чего-то большаго, широкаго, захватывающаго. Такъ можетъ чувствовать только юность.

Аптекарь опредѣленно зналъ, что ему нечего радоваться, нечего ожидать. Для него умерли всѣ надежды — смерть подходила къ нему и, какъ послѣдняя вспышка жизни, было желаніе: чтобъ онъ, этотъ дорогой его душѣ мальчишъ, написалъ ему

хоть одну строчку, хоть нѣсколько словъ. Но нѣтъ, нѣтъ, онъ ничего ему не напишетъ. Некогда будетъ.

День этотъ показался ему безконечно длиннымъ. Когда онъ вышелъ изъ своей аптеки закрывать ставни, мимо проходилъ Данилка. Онъ взглянулъ на аптекаря, хихикнулъ, повелъ плечомъ и, небрежно поклонившись, прошелъ мимо.

— Ернишь! — пустилъ ему вслѣдъ аптекарь.

А. С. ШАБЕЛЬСКАЯ.

Харьковъ. 1894 г. Октябрь.

КІЕВСКАЯ ПЕРВАЯ ГИМНАЗІЯ

ВЪ Сороковыхъ годахъ.

Мы жили въ деревнѣ. Осенью въ началѣ сороковыхъ годовъ мои старшіе два брата отправлялись въ Кіевъ, въ гимназію; меня, какъ младшаго, пожалѣли и оставили дома, до новаго года. Мнѣ было завидно смотрѣть на братьевъ, которые уѣзжали, и тоскливо было оставаться дома безъ товарищей, да еще осенью и зимой, когда приходилось сидѣть дома, — гулять не пускали. Наконецъ, настала зима, и къ новому году отецъ мой собрался ѣхать въ Кіевъ; меня стали снаряжать въ дорогу; сшили мнѣ шубу изъ заячьяго мѣха, — мѣхъ былъ зашитъ коленкоромъ, такъ какъ заяцъ линяетъ. Собрались въ дорогу, закутали меня; матица положила мнѣ краюшку хлѣба за пазуху; по обычаю посидѣли, поплакали, простились, посадили меня въ кибитку, отецъ тоже сѣлъ, и поѣхали. Ыхали мы не долго, — дня три — не больше. — Дорога была хорошая; ѣхали скоро, должно быть, на почтовыхъ. Приѣхали въ Кіевъ. Кіевъ былъ не тотъ, какъ теперь — онъ былъ главнымъ образомъ на Печерскѣ, — Московская и Никольская улицы были главныя улицы; въ Липкахъ, какъ и теперь, затѣмъ на Подолѣ и на старомъ Кіевѣ, который кончался у Золотыхъ воротъ, гдѣ былъ валъ, защищающій городъ. Остальное — были пустыри и провалы, носившіе разныя названія. На одномъ изъ пустырей строился университетъ, и мѣсто это называлось „Новое строеніе“. Остановились мы въ извѣстной тогда зеленой гостинницѣ, изъ оконъ которой былъ виденъ плацъ для военныхъ упражненій. Отецъ бралъ братьевъ въ отпускъ; ходили мы всѣ трое по улицамъ, заходили каждый день въ кондитерскую Беккерса, на Московской улицѣ. Разумѣется, время свободы

и гулянья пролетѣло быстро. Отецъ свелъ меня въ 1-ю гимназію, въ Липкахъ, гдѣ теперь духовное училище. Директоръ, А. Г. Петровъ задалъ мнѣ задачу раздѣлить простое число на 9—я не могъ; Петровъ посовѣтовалъ отцу отдать меня въ частный пансіонъ на эти полгода, гдѣ мнѣ будетъ легче и гдѣ меня приготовить. Отецъ согласился и отдалъ меня въ пансіонъ Гедуана, гдѣ я и пробылъ до лѣта. Помню живо то свое ощущеніе, когда я, простившись съ отцемъ, остался одинъ въ первый разъ среди незнакомыхъ мнѣ людей, въ чужомъ домѣ. Мнѣ было жутко, сиротливо, но не страшно, скорѣе любопытно.

Гедуанъ, небольшого роста, французъ, съ рыжими короткими бакенбардами и добрымъ лицомъ, обнялъ ласково меня и повелъ въ себѣ, въ свою семью, къ женѣ и дѣткамъ, двумъ дѣвочкамъ, близнецамъ. Тутъ я остался до вечера, и затѣмъ вошелъ въ число учениковъ, которыхъ было не много, человѣкъ 15, и которые жили вмѣстѣ съ семействомъ Гедуана. Я скоро освоился, подружился и съ товарищами, и съ дѣвочками, въ особенности съ тою, которая хотѣла рисовать, а у меня были краски. Эти дѣвочки были до того похожи между собой, что, прежде, чѣмъ называть, я смотрѣлъ на родимое пятнышко на вискѣ—тогда я зналъ, что говорю съ ней, а не съ другой. Я какъ-то захворалъ. М-те Гедуанъ взяла меня къ себѣ ночевать. Рано утромъ я проснулся: маленькая комната, ихъ спальня, вся залита солнцемъ, дверь растворена прямо въ садикъ и м-г Гедуанъ, въ одномъ жилетѣ, возится въ садикѣ; канарейки поютъ во весь голосъ. Комната, обстановка, дверь въ садъ, Гедуанъ въ бѣломъ жилетѣ съ черными руками въ землѣ, канарейки, м-те Гедуанъ—большая, добрая французенка съ орлинымъ носомъ—все мнѣ показалось необычайно, не такъ, какъ у насъ дома.

Когда я былъ въ Парижѣ, я опять встрѣчалъ эту картину, и всегда она мнѣ напоминала и Кіевъ, и мое дѣтство.

Весна въ Кіевѣ. Тепло, оживленіе кіевской природы, богатой всѣми сторонами,—одинъ Днѣпръ чего стоитъ. Начались наши прогулки. Благодаря одному изъ товарищей, Анненкову, отецъ котораго занимался раскопками древнихъ остатковъ и строилъ Десятинную церковь на мѣстѣ древней, мы ходили на эти работы. Я въ первый разъ узналъ, что была древность. Каждый разъ я узнавалъ что-нибудь новое. Я долго испытывалъ это новое для меня впечатлѣніе остатковъ прежней жизни. Потомъ я понималъ, что успѣхъ Н. П. Костомарова въ Кіевѣ, независимо отъ его дарованій, усилился отъ присутствія остатковъ древней жизни, которые, связанные съ современной обстановкой, невольно

звали искать такихъ же остатковъ древняго человѣка среди живущихъ теперь.—Это самое я не только чувствовалъ, но понималъ въ Римѣ, читая римскую исторію для своихъ художественныхъ цѣлей. Это же чувство вызывало живой образъ Петра въ Петербургѣ.

И вотъ, эта возможная, свѣтлая, умная, просвѣщенная жизнь была смущена, огорчена человѣкомъ жестокимъ, ненавистникомъ дѣтей, нашимъ единственнымъ надзирателемъ. Онъ изобрѣталъ способы улучшить наказанія.

Онъ ставилъ на колѣни съ двумя толстыми книгами въ рукахъ, поднятыми въ верху.

Каждый ученикъ долженъ былъ имѣть изъ бумаги вырѣзанную форму гитары для подкладыванія подъ колѣни, такъ что наказанные владывали платки въ панталоны. Онъ билъ квадратной линейкой по головѣ. Онъ рвалъ уши, завитокъ уха отдѣлялся трещиной, которая покрывалась постояннымъ струпомъ. За каждую ошибку онъ давалъ щелчокъ въ ухо. О сѣченіяхъ я уже не говорю. Удивительная вещь! Отецъ мой выносилъ наказаніе, которое называлось *субботники*, т.-е. сѣченіе всѣхъ въ субботу, виноватыхъ за вину, а невинныхъ, чтобы они не портились. Это было въ началѣ столѣтія. Въ мое время никто не возмущался такими наказаніями, и этотъ педагогъ, вѣроятно, до старости оставался имъ вѣренъ, сохраняя подобный взглядъ на наказанія. Въ наше время одинъ изъ извѣстныхъ литераторовъ, навѣрно не злой человѣкъ, соболѣзновалъ, что нельзя—или мало сѣкутъ—а сто лѣтъ тому назадъ Екатерина Великая подписала уставъ Академіи Художествъ съ такимъ параграфомъ: „Тѣлесныя наказанія во всей академіи и въ училищѣ запрещаются и надъ нижними *служителями*, дабы юношество не видѣло ни малаго примѣра суровости, а употреблять въ поправленію оныхъ другія *пристойнѣйшія* средства; когда жъ и то не поможетъ, то отъ академіи отрѣшать, а за тяжкія преступленія отсылать въ опредѣленные по законамъ мѣста“. Уст. Им. А. Х. разд. 10 § 7.

Настало лѣто. За мной пріѣхали, чтобы везти домой въ деревню. Товарищи прощались со мной, и Галле, учитель рисованія, неожиданно для меня вдругъ произнесъ рѣчь, обращенную ко мнѣ. Въ этой рѣчи онъ пророчилъ мнѣ славу художника. Я почувствовалъ любовь и благодарность за это благородное обращеніе къ ученику. Оно не могло не блестѣть въ то время, когда оскорбить, уничтожить, принизить считалъ своимъ долгомъ каждый за малыми исключеніями. Ненавистникъ учениковъ стоялъ тутъ же, рядомъ.

Къ августу мѣсяцу этого же года дорогой нашъ дядя повезъ насъ въ Кіевъ, меня—чтобы опредѣлить въ гимназію. Мы любили нашего дядю, онъ былъ братъ нашего отца, моложе его десятью годами; онъ побаивался отца, какъ и мы, а съ нами былъ, какъ товарищъ.

Ѣхали мы на своихъ. Время было превосходное, тепло, фруктовъ много. Мы ѣхали пять дней. Эти переѣзды были—самое дорогое въ дѣтствѣ: дорога нарушаетъ порядки, — обыкновенное, скучное,—все было ново, необычайно. Останавливались мы рано: заходя солнца, новое мѣсто, постоянный дворъ, пріятные запахи сѣна, навоза; вести лошадей на водопой верхомъ къ рѣчкѣ, къ колодезю, быть съ истиннымъ другомъ всѣхъ дѣтей—съ кучеромъ; ужинать, гулять и потомъ спать на полу, на сѣнѣ; рано до свѣта вставать, чувствовать эту утреннюю прохладу; къ жарѣ опять останавливаться часто въ лѣсу, или въ полѣ, не въ селѣ—тоже особое новое впечатлѣніе, даже мухи не несны, а пріятны своимъ жужжаніемъ. Эти жидовскія комнаты съ особеннымъ запахомъ мѣла и ржавыми стеклами, съ заповѣдами на дверяхъ; мы грѣшны часто выдирали ихъ оттуда, какъ бумажки, и разумѣется, не разбирая, чтò написано по еврейски, бросали. Но какъ ни хорошо, а наконецъ Васильковъ, Глеваха, Пески и Кіевъ—конецъ очарованію. Я это чувство испытываю и теперь, подѣзжая къ Кіеву, хотя и по желѣзной дорогѣ, и съ другой стороны. Пожили съ дядей на Печерскѣ, на постояломъ дворѣ. Помню, какъ братъ мой выбросилъ цѣлую шапку шелухи отъ орѣховъ за окошко и попалъ на шляпу какого-то господина, проходившаго мимо. Онъ обидѣлся, вѣшалъ въ комнату, а милый дядя сталъ его уговаривать и доказывать, что это простая неосторожность безъ злого умысла, и тотъ, наконецъ, успокоился. Да, но и это время прошло, и дядя, горюя самъ, наконецъ, отвезъ меня въ 1-й пансіонъ при Первой гимназіи въ Липкахъ, на углу Лютеранской и Левашовской улицъ.

Ученики были на дворѣ. Простаясь съ дядей, я пошелъ одиноко и увидаль стоявшаго между двухъ высокихъ липъ (онѣ и сейчасъ растутъ) новичка, не въ казенномъ платьѣ, а въ такомъ, какъ и я былъ одѣтъ. Я къ нему подошелъ и узналъ, что и онъ сегодня поступилъ въ 1-й классъ. Мы обрадовались, стали сразу и товарищами, и друзьями; намъ стало легче—одиночество пропало. Фамилія его была Бензинскій. Съ этого дня мы начали нашу жизнь въ пансіонѣ, и черезъ шесть лѣтъ въ одинъ день вышли. Мы были друзьями все время. Онъ любилъ особенно музыку, я—рисованіе. Онъ былъ круглый сирота; у него была

только сестра, которая воспитывалась въ другомъ семействѣ, и онъ ея не зналъ; у него ничего не было; въ продолженіе 6 лѣтъ у него буквально ни разу не было ни одного гроша. Окончивъ гимназію и поступивъ въ университетъ, разумѣется, въ число казеннокоштныхъ, онъ продолжалъ ходить въ гимназическомъ платьѣ. Онъ самъ плохо зналъ исторію своей семьи; въ немъ принималъ участіе одинъ только человѣкъ, ему чужой, органистъ украинскій. Онъ же давалъ ему уроки музыки. Самъ Бензинскій былъ сердечный, скромный и чрезвычайно умный и любознательный юноша. Въ свободное время мы не ходили въ отпускъ; мы съ нимъ читали и перечли все, что можно было: всѣ путешествія. Путешествіе Кука насъ очень интересовало. Прочли Вальтеръ-Скотта, что было Диккенса, своихъ писателей старыхъ, въ особенности Загоскина, войну 12 года Михайловскаго-Данилевскаго. Къ намъ присоединились еще 6 товарищей. Бензинскій и на нихъ имѣлъ большое вліяніе. Среди насъ установился высшій уровень, котораго мы держались все время. Благодаря ему, мы не держались свернаго обычая—угнетать меньшихъ. Я испыталъ на себѣ это угнетеніе, и вотъ по какому поводу. Затѣвали домашній театръ. На черномъ дворѣ, на сѣновалѣ приготавлились декораціи учениками вышнихъ классовъ. Мнѣ страстно хотѣлось посмотрѣть и, можетъ быть, поработать, и я рѣшился пробраться туда. Я вылѣзъ изъ окна второго этажа пансіона на крышу крыльца, которое граничило съ чернымъ дворомъ, и соскочивъ туда во дворъ, побѣжалъ къ лѣстницѣ сѣновала и поднялся по ней съ біеніемъ сердца отъ радости и страха. Я уже чувствовалъ дорогой запахъ красокъ, скипидара, я поднялъ доску входа и вошелъ. Въ ту же минуту на меня посыпались пинки съ гикомъ и крикомъ, и меня вытолкали вонъ. Ни просьбы, ни мольбы не помогли; надо мной захлопнули доску; я пріютился на лѣстницѣ,—меня не оставляла надежда. Но тутъ насталъ конецъ,—я долженъ былъ принять это крещеніе,—на меня вылили цѣлое ведро помоевъ, и я въ такомъ видѣ пошелъ домой уже законнымъ путемъ, рискуя попасть на глаза начальству, но, слава Богу, привратникъ милостиво пропустилъ. Добрый, нѣжный учитель обидѣлъ Бензинскаго, не повѣрилъ, что онъ и любить и понимаетъ музыку—онъ возвратилъ ему сочиненіе, сказавъ, что это не его. Бензинскій, какъ истинный философъ, спокойно взялъ свой трудъ и подѣлился имъ только съ нами.

Въ началѣ мы еще застали въ пансіонѣ нѣкоторую свободу, предоставленную ученикамъ: такъ, напримѣръ, по праздникамъ тѣ, которые не ходили въ отпускъ, имѣли право проситься въ

городъ на нѣсколько часовъ. Мы съ Бензинскимъ не ходили въ лавки, мы ходили гулять—подальше, иногда просиживали все время на горѣ, любуясь Дняпромъ, или сходили внизъ къ нему. Зимой мы ходили къ отцу нашего товарища, Краузе, лектору университета, у котораго была богатая коллекція гравюръ, и онъ любовно намъ предлагалъ ее разсматривать, или просто ходили сидѣть на горѣ надъ вращаекомъ, чтобы подышать свободнымъ воздухомъ, а не пансіонскимъ, хоть и холодно было сидѣть на снѣгу.

Среди начальниковъ мы встрѣтили замѣчательнаго человѣка и дорогаго для насъ директора гимназіи, Александра Григорьевича Петрова. Онъ былъ человѣкъ средняго роста, съ большой головой, покрытой черными волосами; добрые и умные глаза, большая нижняя губа, какъ у античныхъ головъ, бросались въ глаза. Говорилъ онъ по-русски, прибавляя „съ“ къ концу словъ, говорилъ громко и пріятно, былъ онъ человѣкъ простой и добрый; мы его любили и уважали. Онъ жилъ не съ нами, но никто не зналъ, былъ онъ въ пансіонѣ или нѣтъ, — сигналовъ о прібытіи его не было. Часто онъ сидѣлъ въ сосѣдней комнатѣ, а мы этого не знали. Приходилъ онъ къ намъ не какъ начальникъ, а всегда за дѣломъ: онъ приносилъ или новую книгу, или особенное какое-нибудь извѣстіе, новое въ наукѣ или въ искусствѣ, или что-либо относящееся къ явленіямъ общественнымъ. Часто онъ приходилъ къ кому-нибудь одному изъ учениковъ, желая ему сдѣлать что-нибудь полезное. Подчиненные служащіе не особенно его любили; они его боялись; мы же, напротивъ, радовались его приходу. Онъ не стѣснялся временемъ, часто приходилъ, когда мы были уже въ постеляхъ, и вынималъ газету, чтобы сообщить намъ новость. Тогда одинъ изъ учениковъ, доставалъ сальную свѣчу изъ ночника и свѣтилъ, мы же вскакивали съ постелей и, надѣвъ на себя одѣяла, его окружали, а Александръ Григорьевичъ читалъ. При такой обстановкѣ мы узнали, какъ поднимали на верхъ Исакиевского собора громадныя гранитныя колонны. У насъ любили музыку. Много учениковъ изъ поляковъ отлично играли на фортепіано. Часто меня заставлялъ Александръ Григорьевичъ слушающимъ хорошую игру. Онъ на цыпочкахъ подходилъ ко мнѣ, подсаживался и слушалъ самъ и никогда не оскорблялъ меня замѣчаніемъ, почему я не занимаюсь уроками. Онъ зналъ, что и это дорого, и это образовываетъ человѣка. Въ гимназіи, входя въ классъ, онъ всегда имѣлъ съ собою что-нибудь, что бы предложить ученику: или по-

жикъ, или карандашъ, или резинку. Во всѣхъ классахъ онъ встрѣчалъ своихъ друзей по любви къ образованію. Онъ дарилъ шахматы, книги, рисунки, диксіонеры, все, что можетъ служить развитію. Я помню, какъ одинъ разъ во время контрактовъ (ярмарка) встрѣтилъ насъ, оставшихся въ пансіонѣ на праздники Рождества, на Подолѣ около контрактובהго дома. Онъ вошелъ въ домъ съ нами, чтобы купить каждому что-нибудь. Меня онъ подвелъ къ картинамъ, литографіямъ и предложилъ выбрать по вкусу, и когда я выбралъ небольшую литографію, онъ остановилъ меня, говоря: „ты не церемонься, выбирай, что лучше“, и самъ мнѣ выбралъ большую литографію „Лошадь“. Онъ зналъ, что я дома, по праздникамъ, рисовалъ рисункъ со Штейбена Ватерлоо и желалъ дать мнѣ что-нибудь крупное, чтобы помочь. Вотъ какой былъ у насъ директоръ. Кто его зналъ, тотъ не могъ его забыть и черезъ 30 лѣтъ. Въ семидесятыхъ годахъ я встрѣтилъ его въ Петербургѣ, на Англійской набережной. Я подошелъ къ нему, снялъ шляпу и сказалъ: „Дорогой Александръ Григорьевичъ! Я счастливъ, что могу теперь вамъ сказать, какъ васъ любилъ и уважалъ мальчикомъ, гимназистомъ за ваше доброе, человѣческое и просвѣщенное отношеніе ко мнѣ“.

Къ сожалѣнію, онъ оставался не долго съ нами. Когда мы узнали окончательно, что онъ насъ оставляетъ, мы цѣлымъ пансіономъ, до ста человѣкъ, пошли не по парамъ, какъ обыкновенно ходили, а толпой къ нему на квартиру выразить ему наше сожалѣніе—мы это сдѣлали не по внушенію кого бы то ни было, а отъ чистаго сердца. Намъ было жалко расставаться съ такимъ другомъ. Онъ насъ принялъ радостно—посадить насъ было невозможно. Мы, какъ вода, залили его домъ собою. Мы расстались. На его мѣсто поступилъ нашъ же инспекторъ, отставной артиллеристъ, человѣкъ добрый, но онъ не могъ замѣнить Александра Григорьевича. Кромѣ А. Г. Петрова, у насъ были еще дорогіе для насъ учителя: учитель латинскаго языка—Невинскій; географіи—Свитушковъ; математики—Гренковъ и Тихомандрицкій (онъ же профессоръ университета); русской словесности—Арсеньевъ и русской исторіи—извѣстный Н. И. Костомаровъ. Всѣ эти почтенные учителя знали свой предметъ, любили его, а потому у нихъ и мы учились съ охотой, съ радостью, по крайней мѣрѣ, тѣ, которые хотѣли учиться; для тѣхъ же, которые не хотѣли учиться, былъ открытъ выходъ изъ 3-го класса въ военную службу, въ юнкера. Невинскій съ помощью аудиторовъ зналъ, какъ занимается каждый и что нужно сдѣлать, чтобы помочь ему, чтобы онъ успѣвалъ. Его сынъ тутъ же учился съ нами;

онъ къ нему относился совершенно равно, какъ и ко всѣмъ остальнымъ. Всѣхъ аудиторовъ онъ иногда приглашалъ къ себѣ въ семью и былъ любезенъ и внимателенъ, какъ самый близкій родной.

Съ Гренковымъ я познакомился такъ. Нашъ преподаватель въ 1-мъ классѣ заболѣлъ, и Гренковъ пришелъ его замѣнить. Встрѣтивъ въ спискѣ мою фамилію (мой братъ былъ хорошій математикъ), вызвалъ меня и разочаровался: я показался ему слишкомъ медленнымъ, онъ даже щелкнулъ пальцами по лбу. Но когда я перешелъ въ слѣдующій классъ и сталъ учиться у него, онъ меня полюбилъ настолько, что давалъ мнѣ особые уроки изъ того, что не могло входить въ курсъ и въ программу. Въ высшемъ классѣ, преподавая физику, онъ звалъ меня всегда къ себѣ въ кабинетъ, когда нужно было что-нибудь устроить, или когда получалъ новый аппаратъ. Онъ былъ въ такихъ случаяхъ со мной не какъ учитель, а какъ товарищъ, пріятель.

Тихомандрицкій превосходно преподавалъ геометрію; его всѣ любили. Онъ никогда не спрашивалъ тѣхъ, которые занимались и знали предметъ. Онъ вызывалъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно было повторить новый урокъ, показавшійся непонятнымъ классу.

Арсеньевъ, большой поклонникъ Жуковскаго, былъ чрезвычайно нѣжный, добрый человекъ. Относился ко всѣмъ равно, уважалъ учениковъ занимающихся. Я помню, когда послѣ исполненныхъ мною декорацій, онъ меня вызвалъ и вдругъ остановилъ. — „Нѣтъ, говорить, ты не можешь не знать и не учиться. Ты художникъ, ты понимаешь прекрасное—я видѣлъ твои работы“, и затѣмъ никогда меня не спрашивалъ, и я и теперь скажу по совѣсти, что никогда не рисковалъ не приготовить какого бы то ни было урока. Онъ потерялъ жену, проживши не много съ ней, годъ или около этого. Онъ такъ страдалъ, что мы, мальчики, видѣли его горе. Одинъ разъ онъ, читая, коснулся подобнаго горя, наклонился въ каедрѣ и горько заплакалъ. Мы, мальчишки, шалуны, какъ одинъ человекъ, поняли горе человека, замолкли, потомъ тихо по-очереди начали читать, чтобы не смущать человека, и такъ дошли до конца класса.

Николай Ивановичъ Костомаровъ былъ любимѣйшій учитель всѣхъ. Не было ни одного ученика, который бы не слушалъ его рассказовъ Русской Исторіи. Самый страстный слушатель русской исторіи былъ нашъ товарищъ полякъ. Н. И. никогда никого не спрашивалъ, никогда не ставилъ балловъ, — даже мѣсячные баллы ставили мы сами — и надо правду сказать — добросо-

вѣстно. Уроки Н. И. были духовные праздники. Его урока всѣ ждали; впечатлѣніе было таково, что учитель Линиченко, поступившій на его мѣсто, у насъ въ послѣднемъ классѣ цѣлый годъ не читалъ исторіи, а читалъ русскихъ авторовъ, сказавъ, что послѣ Костомарова онъ не будетъ читать намъ исторіи. Такое же впечатлѣніе онъ производилъ и въ женскомъ пансіонѣ и потому въ университетѣ. Въ женскомъ образцовомъ пансіонѣ воспитывалась моя жена, она мнѣ это передавала. Мы съ женой встрѣтили его, послѣ его ссылки, въ Парижѣ въ 1857 году. Я узналъ его сзади по нервнымъ его движеніямъ. Мы побѣжали за нимъ—онъ насъ призналъ; съ тѣхъ поръ мы стали друзьями и оставались такими до его смерти.

Среди учителей былъ маленькій человѣкъ и ростомъ, и своею скромностью, сознаніемъ своего ничтожества. Этотъ учитель былъ учитель рисованія. Для меня же этотъ человѣкъ былъ самая близкая душа. Онъ былъ художникъ, да еще несчастный. Исторія его проста. Онъ былъ человѣкъ безъ роду, безъ племени, какъ говорятъ, бѣдный человѣкъ, но Богъ далъ ему дарованіе, онъ попалъ въ академію художествъ,—прекрасно рисовалъ, былъ ученикомъ Егорова, профессора Академіи. Егоровъ, какъ стилистъ, признавалъ только рисунокъ и потому полюбилъ Бѣляева за строгій рисунокъ. Бѣляевъ съ глубокимъ чувствомъ повторялъ слова Егорова, обращенные къ нему: „Алексѣичъ, я въ тебѣ вижу себя!“ Но несмотря на это съ Федоромъ Алексѣевичемъ (такое было его имя) случилось горе: у него умерла невѣста. Онъ заболѣлъ, чуть не умеръ, а выздоровѣвши, увидѣлъ себя внѣ академіи, безпомощнымъ, безъ средствъ. Случайно попался на глаза попечителю Кіевского Округа Фонъ-Братке. Этотъ его взялъ и назначилъ учителемъ рисованія въ гимназіи въ Кіевѣ,—вотъ тутъ онъ и погибалъ. Всякій знаетъ, что такое—уроки рисованія въ гимназіи—это время гульбы—шумъ, гамъ, крикъ. Федоръ Алексѣевичъ приладить доску на каедрѣ и тонко художественно очищеннымъ карандашемъ съ шарикомъ на остріѣ, мягко кладетъ штрихи. Вдругъ съ боку, нарочно или не нарочно, толчокъ подъ руку—карандашъ ломается и дѣлаетъ безобразную линію во весь рисунокъ. Федоръ Алексѣевичъ съ досады хватаетъ доску и ищетъ своего врага, но, разумѣется, тотъ исчезъ; Федоръ Алексѣевичъ опять начинаетъ свою Сизифову работу. И вотъ, среди этихъ варваровъ, какъ онъ называетъ ихъ и въ душѣ, и на словахъ, онъ встрѣчаетъ мальчика, который во всѣ свободныя минуты только и дѣлаетъ, что рисуетъ. Федоръ Алексѣевичъ, разумѣется, любитъ этого мальчика и потому еще больше

боится, чтобы онъ не попалъ на его карьеру, а потому кроется отъ него. Но я неудержимо стремлюсь къ нему—иду къ нему. Онъ жилъ на Екатерининской улицѣ. Маленькая комната; на полу вездѣ разсыпано сѣмя для голубей, которые тутъ же ходятъ; стоитъ мольбертъ; на немъ не оконченная картина—масляными красками: „Меркурій усыпляетъ Аргуса“; шкатулка съ красками, еще въ пузыряхъ; овальная палитра, гипсовая голова; вѣтки для голубей; этюды, рисунки по стѣнамъ; запахъ сигары, и милый, вроткій Федоръ Алексѣевичъ въ одномъ жилетѣ перебираетъ на гитарѣ грустные мотивы; я мало разговаривалъ съ нимъ, наслаждался имъ. Каждый годъ къ акту я готовилъ массу рисунковъ, всякаго жанра акварелей. Тутъ было все: и головы, и виды. Федоръ Алексѣевичъ все раскладываетъ на столѣ и любовно меня благодаритъ. Мы съ нимъ представляемъ дѣятельность по искусству за всѣхъ. Бѣдный Федоръ Алексѣевичъ, онъ мнѣ одинъ разъ показалъ мѣсячные баллы, гдѣ мнѣ было поставлено за всѣ мѣсяцы полный баллъ 5. Онъ и самъ зналъ, что это ничего не стоитъ, но хотѣлъ чѣмъ-нибудь отблагодарить. Когда я получилъ вторую золотую медаль въ Академіи Художествъ, я заѣхалъ къ нему. Онъ мнѣ сказалъ грустнымъ голосомъ: „Я зналъ, что ты будешь художникомъ, я тебѣ не говорилъ этого, я боялся тебя соблазнить—это большое горѣ и несчастье“. Онъ воскресъ отъ унынія передъ смертью, онъ сочинилъ эскизъ „Освобожденіе крестьянъ“, но, не окончивъ, умеръ. Я не видѣлъ эскиза,—мнѣ рассказывали.

Учителя были дорогіе люди, они были свѣтлыя точки нашей жизни; это были праздники; но были и будни—жизнь наша дома. Мы жили съ нашими врагами—съ нашими надзирателями. Всѣ они были люди необразованные, разумѣется, и имъ было не легко оставаться по-неволѣ цѣлыя сутки съ сотнею мальчишекъ, которые, доведенные до полного раздраженія, готовы были на всякія безумія. Единственное средство, къ которому они всегда прибѣгали,—это держать насъ на своихъ мѣстахъ; но это было для насъ пыткой, и вотъ иногда дѣлался бунтъ, взрывъ. Гасились лампы, свѣчи, и 100 человѣкъ стучали, кричали, кидали мебель, однимъ словомъ, былъ адъ. Это не дѣлалось по заговору, а просто не хватало терпѣнія: нервная потребность выйти хоть на минуту изъ этого ужаснаго угнетенія. Да, это не были педагоги, а просто сбродъ. Тутъ были всякіе люди: былъ французъ, котораго любимое занятіе было говорить о гадостяхъ. Онъ былъ лучше всего, когда былъ пьянъ: тогда онъ

садился на одинъ стулъ, протягивалъ ноги на другой—и спалъ; былъ одинъ швейцарецъ старый въ парикѣ—бывало схватить кого-нибудь изъ учениковъ и летить мазуркой по всей амфиладѣ семи комнатъ нашихъ занятій, и не только дѣлаетъ безчинство, но мѣшаетъ занятію. Былъ грекъ старикъ, одинъ полякъ, еврей нѣмецкій и даже одинъ графъ. Но ни объ одномъ ничего нельзя сказать—самое лучшее забыть. У насъ были въ ходу наказанія ѣдой; были такіе ученики, которые официально никогда не обѣдали, разумѣется, товарищи всегда носили часть своей ѣды и обыкновенно на спинѣ за курткой. Чтобы пища—говядина, олады, —не упала, куртка придерживалась натянутой такъ, что жиръ стекалъ по спинѣ. И вотъ этотъ грузъ спѣшилъ въ скрытое мѣсто, гдѣ бы начальство не помѣшало. Такое мѣсто отхожее, и тамъ наказанный и обѣдалъ, или прислуга прятала пищу, завернутую въ бумагу, подъ подушку.

Надъ этими надзирателями стояла цѣлая лѣстница начальства: инспекторъ, директоръ, инспекторъ всѣхъ учебныхъ заведеній округа, помощникъ попечителя, попечитель. Къ намъ имѣли отношеніе первые три. Инспекторъ былъ полтавскій помѣщикъ, добрый человѣкъ, но не могшій ничего дѣлать, —онъ ничего и не дѣлалъ. Директоръ былъ отставной артиллеристъ; онъ былъ въ сущности добрый человѣкъ, но руководить или вліять онъ не могъ: его занимала внѣшняя сторона, и онъ особенно возбуждался, когда заведенію предстояло посѣщеніе высшаго начальства.

Нашу церковь, какъ находящуюся въ Липкахъ, посѣщали лица высшихъ сословій, которыя жили преимущественно въ Липкахъ. Появились новопріѣзжія двѣ дамы, двѣ сестры П. Желая пользоваться ихъ обществомъ, началъ посѣщать нашу церковь генералъ-губернаторъ Бибиновъ. Вотъ по поводу этихъ посѣщеній нашъ добродушный директоръ артиллеристъ принялся приводить нашъ внѣшній видъ въ порядокъ. Прежде всего насъ остригли, затѣмъ насъ начали строить такъ, чтобы линіи головъ были вѣрны. Директоръ бѣгалъ, пригибался чуть не до земли, чтобы видѣть чистоту линіи; затѣмъ быстрые вопросы: кто спереди, кто сзади, кто справа, кто слѣва. Бибиновъ, разумѣется, насъ не видѣлъ, мы же видѣли и его, и его свиту, въ которой тогда состоялъ даже одинъ поэтъ Аскочинскій—въ синемъ фракѣ съ металлическими пуговицами. Къ намъ въ пансіонъ даже дошло его поэтическое посвященіе двумъ П., напечатанное на голубой бумажѣ золотомъ.

А вотъ когда насъ увидалъ Бибиновъ, и мы почувствовали

его обращеніе. Онъ остановилъ насъ, идущихъ цѣлымъ пансіономъ до 100 человекъ, замѣтилъ у одного ученика незастегнутую одну или двѣ пуговицы на куртѣ. Онъ остановилъ всѣхъ насъ и закричалъ, что „другой разъ я тебя здѣсь выпорю, ежели это случится“. Намъ всѣмъ стало стыдно за него.

Инспекторъ всѣхъ учебныхъ заведеній округа, крѣпко сутуловатый человекъ, но чрезвычайно занятый собой, что видно было и въ прическѣ, и въ одеждѣ, пришелъ одинъ разъ къ намъ въ пансіонъ. На мою бѣду, меня взяла охота рисовать виды изъ моего путешествія домой, на каникулы, въ Подольскую губ. Я нарисовалъ на доскѣ два вида, мѣстечка Мурафы и города Могилева на Днѣстрѣ; оба мѣста замѣчательно красивы своей панорамой. Нарисовавъ я подписалъ „оба“. Входитъ Могилевскій (фамилія инспектора); увидалъ эти рисунки, нарисованные на доскѣ мѣломъ, остановился и громкимъ голосомъ сердито спросилъ: „кто рисовалъ?“ Я назвалъ себя. Онъ вдругъ обругалъ меня и прогналъ на мѣсто. Не только я, но и всѣ товарищи удивились и не поняли въ чемъ дѣло, — и только когда приближалъ инспекторъ и объяснилъ въ чемъ дѣло, тогда мы, зная причину, пришли въ недоумѣніе. Дѣло было въ томъ, что Могилевскій шелъ въ сопровожденіи надзирателя Мураида, грека, и рисунки принялъ какъ что-то обидное для нихъ обоихъ. Могилевскій и Могилевъ — Мураида и Мурафа, — вотъ до какихъ тонкостей достигала глупость.

Въ 71 году, когда была выставлена картина моя „Петръ и царевичъ Алексѣй“, я видѣлъ какъ онъ, Могилевскій, подошелъ къ картинѣ, долго смотрѣлъ и все пожималъ плечами, выражая недоумѣніе, — должно быть припомнилъ старую исторію своего воспитательства.

Ожидали пріѣзда В. К. Михаила Павловича и потомъ царя Николая Павловича. Разумѣется, приготовленій было безъ конца. Мы, какъ зрители, не могли цѣнить этихъ хлопотъ, тѣмъ болѣе что насъ опять мучили разными построеніями. Но въ особенности странно и непріятно дѣйствовало на насъ ученіе отвѣчать не правилами, а примѣрами. Я понимаю, что слѣдуетъ сказать ученикамъ, что, отвѣчая высшему лицу, должно прибавлять „Ваше Величество“ или „Ваше Высочество“ — ну и все; но какъ же учить кричать или говорить? отъ чего не положиться на смыслъ каждаго, какъ и выходить всегда въ дѣйствительности. Вотъ и тогда мы кричали, кричали. Пріѣхалъ В. К., вошелъ въ залу и, посмотрѣвъ на потолокъ, сказалъ: „а совершенно по-петербургски

выстроено“, и затѣмъ спросилъ еще про шкафы, такъ какъ тутъ стояли шкафы съ книгами, а потомъ пошелъ скоро дальше, а насъ и забылъ. А мы учились, учились кричать и ни къ чему. Приѣхалъ царь. Вошелъ въ залу, поздоровался; мы прокричали; подошелъ ближе,—я видѣлъ его ясно,—мимо меня проходилъ. Портретъ Крюгера похожъ, но выраженіе лица не такое строгое, въ зеленомъ военномъ скюртугѣ, до того вытертомъ, что видно подтканье, на рукѣ опущенной на мизинцѣ, красномъ отъ крови, широкое золотое кольцо почти во весь составъ. Старшіе изъ насъ носили погоны на плечахъ. Государь спросилъ, что это значить?—Увидалъ наши воротники, застегнутые и подпирающіе горло, въ особенности маленькимъ, велѣлъ срѣзать воротники, чтобы дать свободу движенія головѣ. Противъ насъ стояли студенты. У одного студента были бакенбарды по модѣ, охватывающія все лицо и горло. Государь замѣтилъ, что бакенбарды носить можно, но подъ горломъ брить. Потомъ остановился и началъ рассказывать, что въ Киевскомъ институтѣ дѣти говорятъ хорошо по-русски, а въ Полтавскомъ—всѣ говорятъ по малорусски, несмотря на все старанье весьма почтенной директрисы. Затѣмъ уѣхалъ. Воротники намъ срѣзали, а студентамъ запретили носить бакенбарды.

Прошло много лѣтъ. Мы уже старики, мы не только сказали, но и сдѣлали, что могли, на всѣхъ поприщахъ: мы были и ученые, и литераторы, и художники, и педагоги, посредники, члены земства—и даже одинъ изъ насъ былъ министромъ: онъ не былъ нашимъ товарищемъ, но его имя красовалось у насъ на доскѣ. А все же интересно узнать, какіе мы были въ юности, когда всѣ эти приложенія назрѣвали въ мысляхъ, въ идеяхъ.

Несмотря на нашу замѣнутость, несмотря на усилившуюся строгость, приближаясь къ 48 году, идея свободы проникала. У насъ были свои вопросы, и мы ихъ рѣшали. Несмотря на раздѣленіе насъ на двѣ національности, на поляковъ и русскихъ, вражды у насъ не было, и этотъ вопросъ насъ совсѣмъ не занималъ. Насъ занималъ вопросъ крѣпостныхъ. У насъ были слуги, крѣпостные родителей, которыхъ въ видѣ охраны дѣтямъ даже отъ начальствъ посылали родители. Они были вмѣстѣ съ тѣмъ слуги въ пансіонѣ, т.-е. всѣхъ. И вотъ, по поводу этихъ слугъ у насъ шли споры; среди насъ хотя немного, но были угнетатели слугъ (это—будущіе крѣпостники). Въ „Колоколѣ“ Герцена я встрѣтилъ имя одного изъ такихъ нашихъ товарищей,—вотъ имъ и доставалось отъ большинства товарищей за дурное обращеніе со слугами.

Всѣ мы поступали съ наивной дѣтской вѣрой, а выходили мы безъ нея. Она не была поддержана соотвѣтствующимъ развитіемъ, которое мы встрѣчали въ предметахъ свѣтскаго образованія. Это обстоятельство имѣло громадное значеніе въ эпоху нашей современной исторической жизни, и въ этомъ обстоятельствѣ нужно будетъ искать причину многихъ явленій нашего времени.

О личныхъ страданіяхъ, какъ бы они ни были тяжелы, можно забыть, когда настало уже общее обновленіе жизни, и всѣ недостатки педагогій названы, а потому я могу въ заключеніе сказать только одно. Я лично, выходя изъ гимназій, съ аттестатомъ въ рукахъ, сознавалъ всю несправедливость угнетенія моей личности и потому считалъ себя обязаннымъ никогда никого не угнетать. Думаю, что я былъ не одинъ.

Н. Ге.

1893. 3 октября.
Хуторъ.

АРНЭ ГАРБОРГЪ.

Арнэ Гарборгъ (род. въ 1851 г.), сынъ крестьянина одной изъ отдаленныхъ горныхъ областей Норвегіи, занимаетъ видное мѣсто въ ряду литературныхъ и общественныхъ дѣятелей Норвегіи. Обладая значительнымъ литературнымъ дарованіемъ, большою наблюдательностью и юморомъ, неумоимо обогащая норвежскую литературу все новыми и новыми произведеніями, Гарборгъ является въ то же время и выдающимся представителемъ народническаго направленія въ Норвегіи. Онъ остался вѣрнымъ той средѣ, изъ которой вышелъ: страстная любовь къ крестьянству, страстное желаніе возвысить его, расширить его умственный горизонтъ, пробудить въ немъ „духъ живой“, отвлечь его отъ исключительныхъ заботъ о добываніи куска насущнаго хлѣба, водворить на мѣсто животной и растительной жизни духовную, — вотъ основныя идеи его литературной и общественной дѣятельности, а также основная тема его интереснаго романа *Bondestudentar* (Крестьяне-студенты, 1885 г.), описывающаго жизнь крестьянина, попавшаго въ университетъ. „Народъ долженъ понять, пишетъ Гарборгъ, что кромѣ животной пищи есть и духовная. Народъ нуждается въ развитіи своихъ духовныхъ силъ, а не однихъ только физическихъ; онъ долженъ научиться понимать великое и высокое на землѣ. Всѣ жители Норвегіи должны сдѣлаться настолько просвѣщенными и свѣдущими, чтобы не было повода бояться пониженія умственного уровня страны вслѣдствіе вторженія въ ея политическую жизнь крестьянскаго элемента“. Но желая просвѣтить народъ, усилить его умственное развитіе, Гарборгъ не хочетъ отрывать его отъ почвы, на которой онъ выросъ, отъ плодотворной сельско-хозяйственной

дѣятельности. Отвращеніе къ физическому труду, пробуждающееся вмѣстѣ съ развитіемъ умственнымъ, погоня за чиновничьими и пасторскими мѣстами, стремленіе вырваться изъ крестьянской среды, пренебреженіе къ родному языку и роднымъ нравамъ и обычаямъ возмущаютъ его. „Какъ только у крестьянина собирается тысяча талеровъ путемъ тяжелаго труда, пишетъ Гарборгъ въ Bondestudentar, онъ сейчасъ же посылаетъ сына въ городъ „учиться“ не для того, чтобы, выучившись, остаться прежнимъ крестьяниномъ, — это званіе считается унижительнымъ, — нѣтъ, мечта его — сдѣлать изъ сына чиновника или пастора. Капиталъ тратится, устраиваются займы для поддержанія дорога стоющаго ученія, семья разоряется, а бѣдный юноша, оторванный отъ родной почвы, захваченный водоворотомъ городской жизни, оказывается не въ силахъ устоять противъ искушеній, со всѣхъ сторонъ представляющихся ему, и падаетъ подъ бременемъ ихъ, увеличивая собою ряды умственнаго городского пролетаріата и лишая свою страну полезной рабочей силы. Когда непроизводительный чиновничій трудъ считается важнѣйшимъ, высшимъ въ странѣ, послѣдняя должна обязательно бѣднѣть и разоряться“.

„Нужно, говоритъ одинъ изъ героев Bondestudentar, настолько развить и просвѣтить крестьянина, чтобы онъ могъ испытывать чувство радости, занимаясь своимъ земледѣльческимъ трудомъ, чтобы онъ могъ гордиться имъ. Нужно, чтобы онъ и мы всѣ поняли, что тотъ, кто обработалъ десятину овса, сдѣлалъ болѣе полезное дѣло, чѣмъ тотъ, кто написалъ посредственную книгу; что тотъ, кто заставилъ два стебля произрасти на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ прежде росъ только одинъ, — благодѣтель окружающей мѣстности“. Но лучшее средство пробудить крестьянина изъ состоянія спячки, въ которомъ онъ находится, это не посылать его въ городъ, гдѣ онъ подвергается разнаго рода пагубнымъ вліяніямъ, гдѣ онъ забываетъ свой родной языкъ и свои родные обычаи и нравы и даже начинаетъ стыдиться ихъ, — а давать ему просвѣщеніе на родной почвѣ помощью устройства высшихъ народныхъ школъ. „Высшая народная школа — норвежское дѣтище, самое блестящее и прекрасное явленіе нашего времени, дѣлающее честь норвежскому народу“. Людямъ, работающимъ въ потѣ лица надъ обработкою земли, плоды которой питаютъ весь народъ, высшая народная школа приноситъ свѣтъ знанія, обогащая эти отдаленныя отъ центра поселенія всѣми лучшими и новѣйшими идеями нашего времени. А каждый новый классъ общества, вступающій въ ряды просвѣщенныхъ лю-

дей, доставляетъ странѣ новое, великое богатство. Что можетъ быть лучше страны, восклицаетъ одинъ изъ дѣятелей такой школы, гдѣ весь народъ, а не одинъ только чиновничій классъ, принимаетъ участіе въ работѣ мысли и въ прогрессѣ, гдѣ весь народъ владѣетъ умственнымъ богатствомъ страны, раздѣляетъ ея лучшія идеи, ея высшія стремленія, гдѣ всѣ чувствуютъ себя однимъ народомъ, а не пестрымъ сборищемъ классовъ общества, ведущихъ непрестанную борьбу другъ съ другомъ.

Романъ *Bondestudentar*, по отзывамъ норвежскихъ критиковъ, не только очеркъ культурнаго развитія современнаго общества, а цѣлый историческій документъ. Будущій изслѣдователь, который пожелаетъ проникнуть въ самое сердце современной Норвегіи, изучитъ ея народъ и особенно ея молодежь, получитъ больше свѣдѣній изъ этой книги, чѣмъ изъ болѣе извѣстныхъ работъ современныхъ Гарборгу писателей. Романъ дышетъ искренностью, правдою. Авторъ самъ лично наблюдалъ, самъ видѣлъ, а отчасти пережилъ и перечувствовалъ все то, о чемъ пишетъ.

Эти замѣчанія могутъ быть цѣликомъ повторены относительно другого романа, *Mandsfolk* (Мужчины), вышедшаго черезъ два года послѣ *Bondestudentar*, въ 1887 г. Въ немъ Гарборгъ описываетъ исторію развитія юноши изъ интеллигентнаго общества, его психологію, и даетъ при этомъ блестящую картину современной университетской молодежи. Жизнь, которую приходится вести молодому человѣку, попавшему въ новую для него университетскую среду, та масса новыхъ идей и условій, въ которыхъ ему приходится разбираться, его столкновенія съ окружающею молодежью, его отношенія къ ней, искушенія, которыми онъ подвергается, описаны мастерски, но въ то же время съ какою-то грустною ироніею, производящею тяжелое впечатлѣніе на читателя. „Только тотъ человѣкъ заслуживаетъ названія истиннаго, кто мечталъ въ своей молодости“, говоритъ Гарборгъ. И его герои мечтаютъ, но, къ сожалѣнію, всѣ мечты ихъ разрушаются въ прахъ, и въ результатѣ получается грустная, плоская дѣйствительность. Притомъ нужно прибавить, что эта дѣйствительность очерчена часто слишкомъ рѣзкими и грубыми красками, во вкусѣ современнаго натурализма.

Совершенною противоположностью въ послѣднемъ отношеніи представляетъ романъ *Nos mamma* (У мамы, 1890 г.). Насколько грубо и рѣзко описывается мѣстами жизнь мужской молодежи, настолько жизнь дѣвушки, героини этого романа, очерчена тонкою, нѣжною, поэтичною кистью, и въ то же время съ замѣчательною теплотою, искренностью и задушевностью. Вся жизнь

дѣвушки передъ нами на лицо, начиная съ младенческаго возраста и кончая тѣмъ, когда она съ разбитымъ сердцемъ и разрушенными иллюзіями покоряется судьбѣ, складываетъ оружіе и перестаетъ бороться, отдаваясь теченію. Первые проблески пробуждающейся мыслительной дѣятельности, наблюдательности и чувства въ ребенкѣ, самыя тонкія, сокровенныя движенія души у дѣвочки-подростка, наконецъ, постепенное развитіе характера и ума у молодого, пылаго женскаго существа, обладающаго горячимъ сердцемъ, живымъ умомъ, а между тѣмъ вынужденнымъ постоянно сжиматься и съезживаться подъ вліяніемъ окружающей жизни и окружающихъ обстоятельствъ, описаны мастерски, съ замѣчательною объективностью и изяществомъ, съ тонкимъ поэтическимъ чувствомъ. Такъ же мастерски обрисованы, хотя и краткими чертами, и тѣ лица, съ которыми молодая дѣвушка сталкивается въ своей жизни: ученики и учителя первоначальной школы и городской, товарищи по лавкѣ, по рабочимъ собраніямъ, и т. д. Очень ярко отбѣнено отношеніе пасторовъ къ народнымъ школамъ, подчиненнымъ, главнымъ образомъ, ихъ руководству: стѣсненія, налагаемыя ими въ дѣлѣ преподаванія, преслѣдованія, которымъ подвергаются учителя и учительницы, дѣятельность которыхъ не согласуется вполне съ узко-протестантскимъ духомъ, способствуютъ въ значительной степени пониженію умственнаго уровня страны, стѣсняють ея развитіе. *Nos tema*—лучшее произведеніе автора. Если первые два романа заслуживаютъ названія историческихъ документовъ, то послѣдній является истинно художественнымъ произведеніемъ, перломъ норвежской литературы.

Въ 1884 г. с. Гарборгъ издалъ сборникъ мелкихъ рассказовъ (*Forteljingar og Sogur*), изъ котораго мы и взяли предлагаемый нами ниже очеркъ. Это большею частью рассказы изъ крестьянской жизни; нѣкоторые, напр., *Av laak Aets* (Низкаго происхожденія) и *Seld til den Vonde* (Проданный діаволу), написаны съ точки зрѣнія крестьянъ, съ точки зрѣнія ихъ предразсудковъ и суевѣрій. Это бытовыя картины, весьма интересно обрисованныя. Швейцеръ называетъ нѣкоторые изъ нихъ мастерскими по формѣ и содержанію. Къ такому же типу крестьянскихъ рассказовъ принадлежитъ и романъ *Fred* (Миръ), вышедшій въ 1892 г.

Арнэ Гарборгъ началъ печатать свои первыя произведенія, небольшія повѣсти, и статьи и т. д., сначала на датскомъ языкѣ, который былъ литературнымъ языкомъ Норвегіи. Но этотъ способъ изложенія его не удовлетворялъ. Онъ чувствовалъ, по его

собственнымъ словамъ, „что-то аффектированное, чуждое ему“ въ этомъ языкѣ, который не ласкалъ его слуха въ младенческомъ возрастѣ, которому онъ научился только въ школѣ. Та-кимъ же чуждымъ казался ему и датско-норвежскій языкъ, выработанный Бьернсономъ, который старался „вливать новое вино въ старые мѣха“, вводя норвежскія слова въ датскій языкъ и измѣняя его правописаніе соотвѣтственно выговору. И вотъ въ 27-лѣтнемъ возрастѣ онъ въ Aftonbladet выступаетъ впервые въ защиту „крестьянскаго языка“, и самъ начинаетъ писать по-норвежски. „Только тогда“, пишетъ онъ, „началъ я чувствовать въ себѣ пробужденіе новыхъ силъ и возможность излагать въ художественныхъ образахъ идеи, роившіяся у меня въ головѣ“. Онъ издаетъ цѣлый рядъ романовъ, выдвинувшихъ его въ ряды первоклассныхъ писателей Скандинавіи, но возбуждаетъ недовольство какъ тѣмъ, что печатаетъ ихъ на мѣстномъ норвежскомъ языкѣ, такъ и смѣлымъ направленіемъ ихъ, противорѣчащимъ господствующему піетистскому духу. Нѣкоторые писатели, вышедшіе, какъ и Гарборгъ, изъ крестьянской среды, Иваръ Озенъ, Осмундъ Винье, Олаусъ Фіортовъ и другіе поддерживаютъ его. Онъ организуетъ курсы для учителей, въ которыхъ послѣдніе въ теченіе лѣтнихъ вакансій изучаютъ мѣстныя нарѣчія на основаніи данныхъ, представляемыхъ норвежскимъ языкомъ, чтобы преподавать затѣмъ на этихъ нарѣчіяхъ въ тѣхъ различныхъ мѣстностяхъ Норвегіи, въ какія ихъ заброситъ судьба. Онъ пишетъ и ратуетъ за преподаваніе въ школахъ на народномъ языкѣ.

Главнымъ его противникомъ выступаетъ Бьернсонъ. Онъ никакъ не можетъ понять, зачѣмъ Гарборгъ требуетъ выработки норвежскаго языка, когда есть уже другой литературный языкъ, хотя и чужой, но вполне акклиматизированный. „Что касается моего личнаго впечатлѣнія, говоритъ Бьернсонъ, то книга, написанная на норвежскомъ языкѣ, производитъ на меня удручающее впечатлѣніе. Авторъ какъ будто вошелъ въ мою свѣтлую комнату, вынулъ изъ нея зеркальныя окна, и вмѣсто нихъ вставилъ другія изъ простого, зелено-желтаго стекла. Чувство холода охватываетъ меня“. Если пасторскому сыну Бьернсону, возражаетъ на это иронически Гарборгъ ¹⁾, такъ трудно освоиться съ новымъ для него литературнымъ языкомъ, то что же долженъ чувствовать крестьянскій ребенокъ, выросшій на норвежскомъ языкѣ и вынужденный въ одинъ прекрасный день

¹⁾ Arné Garborg, Norsk eller Dansk-norsk, 1888 г.

учиться читать по датски-норвежски? А какъ же должно быть трудно крестьянину, говорящему по-норвежски, читать книгу, написанную по-датски? Идеи національности можно придавать больше или меньше значенія, говоритъ дальше Гарборгъ, это идея историческая, оставимъ ее пока въ покое. Но общество стремится теперь больше всего къ тому, чтобы каждый отдѣльный его членъ сдѣлался просвѣщеннымъ человекомъ, а главнымъ орудіемъ просвѣщенія является языкъ. Времени у рабочаго человека мало, а учиться нужно многому. Берите какой угодно языкъ, мѣстный, уличный, лишь бы ребенокъ его понималъ, и преподавайте на немъ. Объ изяществѣ и красотѣ можете пока не заботиться, они придутъ сами собою, если еще не пришли. Но для каждой норвежской дѣвочки и для cadaго норвежскаго мальчика легче будетъ научиться книжной мудрости въ короткое школьное время и они больше научатся ей, если имъ будутъ преподавать ее на родномъ языкѣ.

Но настаивая на большомъ значеніи норвежскаго языка въ смыслѣ орудія просвѣщенія, Гарборгъ горячо вѣрить въ его будущее, въ то, что онъ современемъ разовьется и дастъ прекрасные плоды. Распространеніе просвѣщенія среди части населенія, говорящей на норвежскомъ языкѣ, поведетъ къ усиленію розни между датскимъ и норвежскимъ языками, говоритъ Гарборгъ, и къ усиленію развитія послѣдняго соотвѣтственно возрастанію числа просвѣщенныхъ лицъ, говорящихъ и пишущихъ на немъ.

Противники Гарборга не ограничились простыми возраженіями, а начали цѣлую кампанію противъ него, всѣми силами противодѣйствуя ему. Особенное негодованіе возбуждали курсы для учителей, на которыхъ изучались мѣстныя нарѣчія. Это все политическое лицемѣріе, восклицали они: государственныя деньги расходуются на нелѣпую затѣю создать новый литературный языкъ, который рѣшительно никому не нуженъ. Такое же негодованіе возбуждало въ другихъ кружкахъ общества анти-піетистское направленіе произведеній Арнэ Гарборга, его нападеніе на узкоклерикальный духъ, придаваемый народному просвѣщенію, благодаря тому, что руководство имъ принадлежитъ главнымъ образомъ пасторамъ. Поднятая противъ Гарборга буря достигла цѣли. Писатель вынужденъ былъ удалиться въ Колботенъ, гдѣ онъ провелъ нѣсколько лѣтъ въ одиночествѣ, доведенный до крайняго нервнаго разстройства цѣлымъ рядомъ неудачъ, испытаннымъ имъ благодаря кознямъ его враговъ: Стортингъ отнялъ у него жалованіе изъ-за политическихъ причинъ, христіанскій

театръ отказывался ставить его пьесы изъ-за разныхъ общественныхъ соображеній, а значительная часть прессы, какъ консервативная, такъ и либеральная, клеймила его произведенія, терзая ихъ на части изъ-за якобы нравственныхъ причинъ. И лѣвые, и правые соединялись противъ человѣка, который, по общему признанію, занимаетъ первое мѣсто среди такъ называемыхъ молодыхъ писателей Норвегіи. Но, несмотря на всѣ нападенія, Гарборгъ неутомимо продолжаетъ свое дѣло, приобрѣтая съ каждымъ днемъ все больше и больше сторонниковъ и встрѣчая могущественную поддержку въ народѣ.

М. Лучицкая.

ПОДВИГЪ.

РАЗСКАЗЪ АРНЭ ГАРБОРГА.

Это было въ Христіаніи, въ ноябрѣ. День былъ холодный, сѣрый, непривѣтливый, настоящій ноябрьскій день, какого и слѣдовало ожидать въ это время года въ такомъ отдаленномъ сѣверномъ уголку земного шара. Каждую минуту подымались вихри, которые гулко проносились по улицамъ и завывали надъ головами, перегоня другъ друга, точно стадо испуганныхъ ланей.

Но улицы города не были пусты. То здѣсь, то тамъ виднѣлись пѣшеходы, которые, съежившись въ три погибели, шатались отъ вѣтру, точно дряхлые старцы, надвинувъ на носъ шляпы и придерживая ихъ руками; виднѣлись и женщины, съ трудомъ пробиравшіяся впередъ, колеблемыя во всѣ стороны вѣтромъ. Вотъ налетаетъ вихрь; онъ захватываетъ ихъ и тащить за собою; онъ беретъ ихъ въ свои объятія и начинаетъ кружить, сваливая съ ногъ; онъ толкаетъ ихъ впередъ и со всей силы ударяетъ ими о стѣну или заборъ. А камешки на крышѣ кружатся и прыгаютъ, точно живые, дымовыя трубы завываютъ, а внизу, у пристани, лодки и берлины то подымаются на воздухъ, то опускаются, гремя своими цѣпами, какъ бы стараясь сорваться съ нихъ и убѣжать куда-нибудь подальше отъ этого непривѣтливаго мѣста. На дворѣ бушевала, однимъ сло-

вомъ, собачья погода, но на улицахъ виднѣлся народъ, — виднѣлись именно тѣ, кто былъ хуже всѣхъ одѣтъ.

По улицѣ Клингенбергата пробирались съ большимъ трудомъ и стараніемъ двое бѣдныхъ дѣтей, дѣвочка въ конфирмаціонномъ возрастѣ и мальчикъ десяти-одиннадцати лѣтъ. На нихъ надѣто было наименьшее количество одежды, какое можно было надѣть безъ ущерба для приличій, при чемъ одежда эта имѣла самый убогій видъ, въ особенности у мальчика: одна заплатка сидѣла у него на другой; мѣстами проглядывали и дыры; а то, во что были обуты ноги его, врядъ ли заслуживало названіе башмаковъ. На спинѣ у дѣвочки висѣла арфа, а мальчикъ несъ подъ мышками складной стулъ для арфы и мерзъ такъ, что носъ у него посинѣлъ. Онъ былъ худъ, какъ спичка, и голоденъ, какъ собака, а дѣвочка чувствовала себя не лучше его.

Трудно было ей двигаться впередъ со своею арфою; она надѣялась, что когда вѣтеръ налетитъ на нее и схватитъ въ свои объятія, то мальчикъ поспѣшитъ къ ней на помощь и подержитъ ее. Но вѣтеръ былъ слишкомъ силенъ, а мальчикъ слишкомъ слабъ, и вѣтеръ не разъ бросалъ ее на стѣну, при чемъ слышался одновременно стонъ дѣвочки и стонъ арфы. Всякій разъ, когда это случалось, дѣвочка кричала во все горло, стараясь пересилить бурю, что мальчикъ дуракъ и болванъ и еще многое другое въ томъ же родѣ, но мальчикъ принималъ всѣ эти ругательства съ глубокимъ равнодушіемъ; онъ только дрожалъ и мерзъ и дулъ въ свои окоченѣвшіе пальцы, загрубѣлые и худые; при видѣ этого дѣвочка тотчасъ смягчалась.

— Тебѣ холодно, Гансъ? — спрашивала она.

— О да, еще какъ! — отвѣчалъ онъ.

— Такъ похлопай хорошенько въ ладоши, чтобы согрѣться, — говорила дѣвочка и прислонялась къ стѣнѣ со своею арфою. Мальчикъ ставилъ на землю стулъ и дѣлалъ попытку хлопать руками, но движенія его были такія неловкія, что дѣло никакъ не ладилось. Пальцы болѣли, а пользы не получалось никакой. „Пойдемъ, — говорилъ онъ, — все равно не поможетъ. Да мнѣ теперь ужъ не такъ холодно. Пойдемъ скорѣй“.

И они шли все дальше и дальше.

Сегодня они вышли безъ матери. Старуха лежала дома въ Родфольгата и была больна, а то бы она, конечно, не выпустила дѣтей однихъ въ такую непогоду и не стала беречь себя. Обыкновенно ее каждый день можно было видѣть на улицѣ;

это была маленькая старушонка со сморщеннымъ лицомъ и плоскою черною соломенною шляпою, надвинутою на глаза и уши, точно соломенная крыша на стогъ сѣна. Каждый день, зимою и лѣтомъ, шныряла она по улицамъ со своею арфою въ рукахъ и пиликала и пиликала на ней, зарабатывая кусокъ хлѣба для себя и своихъ двухъ дѣтокъ, у которыхъ не было отца, чтобы заботиться о нихъ, спаси насъ Господи и помилуй!—впрочемъ, законнаго отца у нихъ на самомъ дѣлѣ никогда и не было. Иоганна, дѣвочка, бродила вмѣстѣ съ нею по улицамъ и пѣла, потому что Иоганна была настоящимъ чудомъ по умѣнію пѣть. Голосъ у нея былъ совершенно, какъ у мальчика, и звучалъ такъ свободно и красиво, какъ у соловья. Никто не могъ брать такъ высоко, какъ она. Особенно хорошо выходило, когда она пѣла въ ность. Стоило ей хорошенько приняться за это, и просто морозъ по кожѣ подиралъ. Тетка Катерина часто говорила, что она днемъ и ночью благодарить Бога за Иоганну: ей всегда перепали денежки, какъ только дѣвочка выходила съ нею; подавали даже благородные; когда же лира звучала, а Иоганна пѣла, то было такъ пріятно слушать, что тетка Катерина не знала ничего болѣе пріятнаго на свѣтѣ.

Вообще можно сказать, что дѣла тетки Катерины шли довольно хорошо; никто не могъ и слова возразить относительно того, что она умѣетъ устраивать все, какъ слѣдуетъ, для себя и дѣтей. Пить она не пила, исключая тѣхъ рѣдкихъ случаевъ, когда безъ выпивки нельзя обойтись; пищи у нея всегда хватало, когда она была здорова, а одежды у нея и дѣтей было достаточно, чтобы прикрыть себя при выходѣ на улицу. У Ганса, правда, ея было меньше, чѣмъ у сестры, но вѣдь въ холодъ его можно было оставлять дома.

Но въ послѣдніе дни тетка Катерина чувствовала себя такою больною, что никакъ не могла выйти изъ дому, и вотъ Иоганнѣ не оставалось другого исхода, какъ отправиться на улицу одной. Рѣшено было, впрочемъ, что Гансъ будетъ сопровождать ей. Онъ, бѣдняжка, врядъ ли увеличитъ доходъ, но все же Иоганна не будетъ одна и ей веселѣе будетъ съ нимъ. Вдобавокъ ко всему, Гансъ былъ такъ плохо одѣтъ и выглядѣлъ такимъ жалкимъ, что у многихъ сердце должно было сжаться при видѣ его, а это, конечно, можетъ помочь наполнить кошелекъ.

Такого же мнѣнія была и Иоганна. Гансъ, правда, не разъ вздыхалъ втихомолку, но онъ понималъ, что женщины правы,—и вотъ они оба двинулись въ путь.

У воротъ большого дома съ вывѣскою: „меблированныя комнаты“, Иоганна остановилась: „Попробуемъ здѣсь“, — сказала она.

— Хорошо, — отвѣтилъ Гансъ; онъ такъ дрожалъ, что еле могъ говорить; зубы стучали въ маленькомъ ротиѣ.

Съ большимъ трудомъ вошли они во дворъ; въ воротахъ вѣтеръ дулъ съ особенною силою.

— Поставь стулъ, — сказала Иоганна. Гансъ повиновался. Иоганна спустила арфу съ плечъ, положила ее на стулъ и заиграла.

Арфа звучала на славу. Иоганна взглянула на брата съ самодовольною увѣренностью; что ты на это скажешь? спрашивалъ ее взоръ. Гансъ кивнулъ головою: ему нечего было отвѣчать. Иоганна была знатокомъ своего дѣла. Польки чередовались съ вальсами, вѣтеръ танцевалъ, камешки на крышѣ прыгали, въ трубахъ и воротахъ завывало и свистѣло; но арфа заглушала и стукъ камешковъ, и свистъ и вой вѣтра, и такъ весело звучала, что даже Гансъ воспрянулъ духомъ и началъ находить это забавнымъ.

Но Иоганна думала въ это время, что нехорошо пѣть въ такой сильный вѣтеръ, въ особенности при такомъ пустомъ желудкѣ, какъ у нея въ этотъ день. Вообще не годится пѣть на тощакъ, — голосу не хватитъ. А вѣтеръ продолжалъ завывать и гудѣть, теребя во всѣ стороны изможденныхъ дѣтей, захватывая дыханіе; — но взялся за гуль, не говори, что не дюжъ!

— Запой что-нибудь, Гансъ, скорѣе согрѣбься, — сказала Иоганна: — ты знаешь пѣснь о любви Бардсена? — Нѣтъ, Гансъ ее не зналъ. А пѣснь: — Мы это такъ давно сказали? — Нѣтъ. Дуракъ ты, вотъ что! А „Любовь моряка и невѣрность милой?“ Эту пѣснь ты долженъ знать.“ Да, кажется, Гансъ могъ ее спѣть. И онъ началъ пѣть, жалобно и пискливо, визжа какъ кошка, которую душатъ за шею:

„Матросомъ былъ я молодымъ
И тосковалъ порой,
Когда впервые полюбилъ,
Съ ней встрѣтившись весной.
Зашло на небѣ солнышко,
Запѣли соловьи,
Когда, обнявши милую,
Признался я въ любви.
Ду-ду, дуделиду....

Гансъ дрожалъ, такъ-что едва могъ пѣть. Но Иоганна поддерживала его:

„На грудь мнѣ голову склоня,
Люблю, она сказала,
И клятвой вѣрности себя
Со мной навѣкъ связала.
Но года не прошло, увы!
Какъ былъ оставленъ я.
Другой пришелъ и вскорѣ сталъ
Дороже ей меня.

Ду-ду, дуделиду...

Дѣти оглянулись, ожидая, что кто-нибудь подастъ имъ милостыню, но на лѣстницѣ стояли только двѣ служанки и хохотали.

„Твоя сестра отказъ мнѣ шлетъ,
Прощается со мной,
Теперь и берегъ мнѣ не милъ
Страны моей родной.
Я радъ уѣхать далеко,
Скажи ты это ей,
Теперь, когда на вѣкъ, увы!
Разстались мы съ ней.

Ду-ду, дуделиду..!

Подулъ съ востока вѣтеръ вдругъ,
Нашъ парусъ раздувая,
Раздался крикъ: скорѣй, дружнѣй!
Ревъ вѣтра заглушая.
Покорно сталъ я у руля,
Забывъ свои печали,
Хоть слезы горькія еще
Въ глазахъ моихъ сверкали.

Ду-ду, дуделиду...

Прощай, край милый, край родной
Норвегій скалистой,
Гдѣ я такъ часто отдыхалъ
Подъ ивой серебристой!
Прости, невѣрный другъ, мой
Разрушившій мечты!
Но берегись, придетъ пора,
Раскаешься и ты.

Ду-ду, дуделиду....

Двѣ дѣвушки, стоявшія наверху лѣстницы, засмѣялись и пошли своею дорогою. Никого другого не было видно. У-у-у! гудѣло въ трубахъ.

Иоганна и Гансъ взглянули искоса другъ на друга; мужество начинало покидать ихъ... Но надо взять себя въ руки, рано отчаиваться.

— Не попробовать ли намъ „Густава и Каролину?“ спросила Иоганна.

— Хорошо,—стуча зубами, отвѣтилъ Гансъ.

У одного изъ оконъ верхняго этажа стоялъ студентъ и смотрѣлъ внизъ во дворъ; дѣти его не замѣтили. У студента было блѣдное, тонко очерченное лицо; черные, вьющіеся волосы густыми локонами обрамлявшіе его, придавали ему романтический оттѣнокъ; лорнетъ кокетливо сидѣлъ на небольшомъ, слегка вздернутомъ носѣ; три продольныя морщинки омрачали лобъ, но на губахъ играла улыбка, выражавшая колебаніе между надеждою и состраданіемъ. „Вотъ надоѣла эта кошачья музыка!“ думалъ студентъ. „Когда она, наконецъ, кончится? Просто морозъ подираетъ по кожѣ, слушая ее. Такъ и рѣжетъ по ушамъ! Нѣтъ никакой возможности заниматься!“ Онъ давно спустился бы внизъ съ двумя шиллингами и отдалъ бы ихъ дѣтямъ, отпустивъ бѣдняжекъ милостивымъ движеніемъ руки: „довольно! хорошо! идите!“—если бы, какъ на бѣду, весь его капиталъ не ограничивался сегодня одною монетою въ 12 шиллинговъ, предназначавшеюся для уплаты за обѣдъ.

Въ душѣ ему было очень жаль бѣдныхъ дѣтей, стоявшихъ тамъ внизу на вѣтру и холодѣ и распѣвавшихъ такъ, какъ будто вопросъ шелъ о спасеніи ихъ жизни. „Нужно спокойнѣе отнестись къ этой музыкѣ; пусть себѣ играютъ на здоровье; авось кто-нибудь сжалится и подастъ имъ“.

Студентъ усѣлся опять за столъ и попробовалъ заниматься. У него смутно шевелилось сознаніе, что стоитъ немного еще постоять у окна, и совѣсть заговорить... „Когда подлежащее въ оборотѣ *Nominativus cum Infinitivo* то же, что и у глагола, управляющаго падежемъ...“ онъ не понималъ смысла... „подлежащее въ оборотѣ *Nominativus cum Infinitivo*...“ ду-ду, дуделиду... „тогда правило требуетъ, чтобы одинъ только *Infinitivus* относился къ главному подлежащему... главному подлежащему (*Nom. cum Infin. § 143*)...“ онъ повторялъ одно слово за другимъ, ничего не понимая.

— Ну, слава Богу! Наконецъ-то перестали. Кончено, кончено! Вѣрно кто-нибудь подалъ имъ и они ушли. Онъ вздохнулъ съ облегченіемъ и съ удвоенною энергіею принялся вновь за работу. „Когда подлежащее въ оборотѣ *Nominativus cum Inf.* то же, что и у глагола, управляющаго падежемъ...“

Но тутъ кошачья музыка началась съизнова. „О герцогъ дорогой, прійми мое прости!“—пѣла Іоганна своимъ самымъ жалобнымъ голосомъ, забирая все больше и больше въ носъ:—„всѣмъ сердцемъ я тебя, о, милый мой, люблю!“ Ду-ду, дудуделиду.... ду-ду, дуделиду... „Ну, ихъ къ чорту!“—выругался студентъ.

Но Иоганна не унималась. Пѣніе ее согрѣло и она продолжала пѣть съ страстнымъ увлеченіемъ:

„О Лина дорогая,
Не скрою отъ тебя,
Что страстью старая,
Томлюсь давно ужъ я.
И эту страсть въ груди моей
Зажгла ты красотой своей.
Хотѣлъ бы вѣрнымъ быть тебѣ,
Пока жизнь чувствую въ себѣ!
Дудуделиду, дудуделиду,
Пока жизнь чувствую въ себѣ!

Студентъ вскочилъ, топнувъ ногою; вотъ музыка, которая можетъ заставить и мертвыхъ перевернуться въ могилѣ, вытянуть изъ живыхъ всѣ жилы...

Вѣдь для тебя лишь сердце бьется,
Къ тебѣ лишь мысль моя несется,
Одну тебя люблю душой,
Одна ты вѣчно предо мной.
Дудуделиду, дудуделиду,
Одна ты вѣчно предо мной.
Что для меня моя корона?
Одинъ твой взглядъ дороже трона.
Все это я готовъ отдать,
Чтобъ лишь тебя своей назвать.
Дудуделиду, дудуделиду,
Чтобъ лишь тебя своей назвать.

Студентъ стоялъ опять у окна. Нѣсколько новыхъ морщинокъ появилось у него на лбу. И тѣни улыбки не виднѣлось больше на лицѣ. Нѣтъ, теперь онъ тѣмъ или инымъ образомъ избавится отъ нихъ; стукнетъ въ окно, сдѣлаетъ имъ знакъ рукою, чтобы они убрались поскорѣе, или... или... нѣтъ, спустаться онъ не хочетъ. Онъ дрожалъ при одномъ взглядѣ на погоду. А эти бѣдныя дѣти стоятъ тамъ на дворѣ и играютъ... Гмъ, должно быть невесело имъ. Онъ подложилъ три новыхъ полѣна въ каминъ и остановился передъ нимъ въ недоумѣніи, не зная, что дѣлать.

О Господи Боже, вѣдь въ сущности онъ могъ бы сойти внизъ къ дворнику и размѣнять свои двѣнадцать шиллинговъ; тогда онъ дастъ дѣтямъ два шиллинга и...

„О сынъ народа, счастливъ ты!
Не связанъ узами, какъ мы,

Ты можешь сердцу волю дать
И милую себѣ избрать!
Дудуделиду, дудуделиду,
И милую себѣ избрать!

— Ну нѣтъ, чортъ побери, этому надо положить конецъ, — вскричалъ студентъ, набросилъ на плечи пальто и вышелъ. Но кошачья музыка побѣдоносно раздавалась по всѣмъ лѣстницамъ и корридорамъ дома. Студентъ все время слышалъ, какъ принцъ бесѣдовалъ съ „сыномъ народа“ голосомъ Іоганны и звуками арфы.

„Любовь и страсть опредѣляютъ,
Къ кому стремиться долженъ ты.
А насъ законы принуждаютъ
Смирять всѣ буйныя мечты.
Дудуделиду, дудуделиду,
Смирять всѣ буйныя мечты.
Но за могилой нѣтъ различій:
Тамъ равны всѣ, и князь, и нищій.

Студентъ остановился на лѣстницѣ, разсматривая бѣдныхъ музыкантовъ. Онъ дрожалъ въ своемъ пальто, и видѣлъ, что Гансъ дрожить безъ пальто...

И если жизнь насъ разлучить,
То пусть хоть смерть соединить.
Дудуделиду, дудуделиду,
То пусть хоть смерть соединить.

Дѣвочка стояла, бряцала на арфѣ и пѣла, мальчикъ стоялъ возлѣ, потирая руки и подтягивая сестрѣ, а вѣтеръ развѣивалъ во всѣ стороны ихъ одежду, запорашивалъ имъ глаза, — глаза были красны, носы красны а руки — руки просто горѣли, — синебагровыя, опухшія. Тутъ музыка остановилась и дѣти робко оглянулись, бросая вокругъ умоляющіе, безпокойные взгляды... Студентъ держалъ между пальцами двѣнадцать шиллинговъ. Къ чорту обѣдъ! можно будетъ всегда призанять марку у Петерсена... Онъ быстро подошелъ и положилъ въ протянутую руку Іоганны всю большую серебряную монету. Онъ забылъ сказать имъ: „идите!“ забылъ милостиво отпустить ихъ рукою, — онъ далъ имъ всѣ двѣнадцать шиллинговъ и ушелъ.

Дѣти взяли деньги, посмотрѣли на монету, а затѣмъ другъ на друга; губы ихъ дрогнули, какъ бы отъ сдержаннаго рыданія, а глаза наполнились слезами и заблестали радостью. Они взяли за руки и посмотрѣли на окна, отыскивая студента... а затѣмъ пустились бѣжать.

Но студентъ дрожалъ, входя въ свою комнату; онъ снялъ пальто, подложилъ дровъ въ каминъ... Ему казалось, что онъ простудился. И онъ пробормоталъ про себя: „Если бы можно было знать, въ самомъ ли дѣлѣ они такъ нуждаются, какъ кажется?“

Но Иоганна и Гансъ шли такъ скоро, какъ могли, выдерживая борьбу съ вьюгою. Сердца ихъ трепетали отъ радости, и единственное, о чемъ они думали, это какое бы лучшее употребленіе сдѣлать изъ неожиданно-негаданно свалившагося на нихъ богатства.

— Ты голоденъ, Гансъ?—спросила Иоганна.

Гансъ разсмѣялся отъ души.

— Еще бы не быть голоднымъ!—сказалъ онъ.

— Такъ пойдемъ въ „Дампенъ“ и закажемъ себѣ тамъ обѣдъ,—предложила Иоганна.

Гансъ громко засмѣялся. „Вотъ хорошо то будетъ!“—сказалъ онъ, и глаза бѣднаго мальчика засіяли.

Онъ думалъ о теплой пищѣ, въ теплой, свѣтлой залѣ, гдѣ онъ и сестра будутъ сидѣть спокойно и ѣсть изъ одной тарелки, ѣсть, и пить, и грѣться,—они насытятся и имъ будетъ такъ тепло, такъ хорошо и тепло... ахъ! какъ ему этого хотѣлось, какъ хотѣлось! ахъ! ему такъ холодно, онъ такъ страшно голоденъ!

Онъ не хотѣлъ возвращаться въ мрачную нору въ Родфольгата, наверху стараго безобразнаго чердака, гдѣ всегда такъ холодно и сыро, гдѣ вмѣсто оконъ отверстія въ крышѣ... сидѣть тамъ и жевать черствый хлѣбъ и пить воду или горькое пиво... нѣтъ! а когда приходилось топить въ печкѣ, то комната наполнялась дымомъ, такъ что нужно было открывать отверстіе въ потолокъ и тогда было такъ скверно, такъ скверно!.. и потомъ тамъ стоялъ всего одинъ стулъ; другой подпиралъ кровать; и когда они всѣ три находились въ комнатѣ, то не было никакой возможности повернуться, а сегодня, вдобавокъ, мама больна, такъ что хуже ничего и придумать нельзя; нѣтъ!—но за то какъ хорошо будетъ въ Дампенѣ; тамъ они могутъ посидѣть часокъ-другой, согрѣться, и тамъ есть слуга, который будетъ заботиться о нихъ: онъ дастъ имъ большой кусокъ хлѣба и тарелку супа, и кусокъ хорошей говядины, приготовленной другими... ахъ! Гансъ былъ такъ радъ, такъ радъ, что ему казалось, будто и вѣтеръ не такъ ужъ сильно теревитъ его.

Но вдругъ Гансъ остановился. Радость внезапно сбѣжала съ

его лица; переменна была такъ поразительна, что должна была броситься каждому въ глаза.

— Что ты?—сказала Иоганна сердито, потому что она знала, въ чемъ дѣло. Она сама шла и раздумывала о томъ же.

— Мама...—отвѣтилъ Гансъ.

— Что же съ ней?—спросила Иоганна мрачно.

— Она сказала, чтобы мы... вернулись домой, какъ только получимъ что-нибудь.

— Дуракъ! Развѣ ты думаешь, что я объ этомъ забыла?

Они замолчали. Каждый шель, отвернувъ лицо въ сторону. Наконецъ Гансъ принялся плакать. „Я хочу сегодня пообѣдать“,—сказалъ онъ сквозь слезы.

Этого хотѣла и Иоганна,—и еще какъ хотѣла! Она замедлила шагъ—ради Ганса, думала она

Они шли и шли. Но ноги съ трудомъ передвигались, а вѣтеръ дулъ съ прежнею силою... Вскорѣ Иоганна остановилась. „Тяжело быть больною, знаешь“—сказала она.

Гансъ больше не плакалъ, онъ только всхлипывалъ и его худенькое личико имѣло самый жалкій видъ.

— Если бы мы пошли домой...—начала опять Иоганна.

Гансъ стоялъ, теръ глаза и молчалъ.

— ...То мы могли бы купить пирогъ, немного крупъ, пшеничныхъ крупъ...

Гансъ поднялъ глаза.

— А также полбутылки пива, баварскаго пива, понимаешь?

Лицо Ганса не прояснялось.

— И полштофа для мамы; ты помнишь, она говорила, что если бы ей дать немного водки, она сейчасъ поправилась бы.

Гансъ наклонилъ свое опечаленное личико и задумался. Мать была всегда такъ весела, когда пила водку, а потомъ можно будетъ не идти съ арфою послѣ обѣда...

Они опять пустились въ путь. Гансъ началъ вздыхать, повторяя: „я хочу обѣдать, я хочу обѣдать!“ Но голосъ его звучалъ все слабѣе и слабѣе.

Иоганнѣ въ сущности не нравилось, что Гансъ такъ покорно подчиняется судьбѣ. Дуракъ! Вотъ если бы онъ кричалъ и плакалъ! О! тогда можно было бы...

— Да, хорошее дѣло обѣдь!—сказала Иоганна.

— Да, да,—отвѣтилъ со вздохомъ Гансъ.

— А намъ такъ рѣдко приходится обѣдать!

Гансъ посмотрѣлъ кругомъ заплаканными глазами. Всѣ люди вѣдь обѣдаютъ каждый день. Почему же они...

— А послѣ обѣда мы могли бы заработать что-нибудь для мамы,—продолжала Іоганна.

Гансъ ничего не отвѣтилъ и они продолжали итти.

Они шли такъ быстро, какъ могли,—они точно боялись переменить рѣшеніе. „Что?“—сказала Іоганна. „Что ты говоришь?“—спросилъ Гансъ. „Я думала, что ты что-то сказалъ,“—отвѣтила Іоганна. „Нѣтъ, я ничего не говорилъ“.

Вдали показался „Дампентъ“.

Дѣти тревожно посмотрѣли другъ на друга, искоса. Они боялись другъ друга и въ то же время ждали, что скажетъ каждый изъ нихъ. Хорошая вещь обѣдъ, но...

— Мама ничего не ѣла сегодня,—сказала Іоганна.

Гансъ посмотрѣлъ нерѣшительно на нее; онъ зналъ это.

— Въ шкафу былъ всего одинъ кусокъ хлѣба, и мама дала его намъ, чтобы мы скорѣе возвращались домой съ деньгами,—сказала мама.

Гансъ смотрѣлъ на улицу и молчалъ.

— Вѣдь знаешь, непріятно быть больнымъ!—сказала Іоганна.

Рыданія подступили къ горлу у Ганса: онъ зналъ, по какой дорогѣ ему не придется итти.

— И притомъ еще неизвѣстно, соберемъ ли мы что-нибудь послѣ обѣда,—продолжала Іоганна.

Гансъ жадно смотрѣлъ на „Дампентъ“. Всѣ туда входятъ и ѣдятъ, только они... Углы губъ его задрожали.

— Я думаю, намъ лучше всего итти скорѣе домой, къ мамѣ,—сказала рѣшительно Іоганна, стараясь своею энергіею подбодрить бѣднаго братишку.

— Хорошо, пойдёмъ!—закричалъ Гансъ. Онъ видѣлъ „Дампентъ“, запахъ обѣда доносился къ нимъ... Не въ силахъ сдержать плачь, Гансъ горько зарыдалъ и бросился бѣжать со всѣхъ ногъ, такъ что сестра еле поспѣвала за нимъ.

Іоганна шла позади. Она также не въ силахъ была сдержать своихъ слезъ, но не хотѣла дать замѣтить этого Гансу.

АРНЭ ГАРБОРГЪ.

О СУДѢ ПРИСЯЖНЫХЪ ВЪ АѢИНАХЪ.

(Изъ *АѢинской Политіи* Аристотеля).

Заключительную, по объѣму наибольшую часть сочиненія объ аѢинской республикѣ, недавно найденнаго (1891), Аристотель отвелъ народному суду аѢинянъ, иначе именуемому судомъ присяжныхъ, геліэей, дикастеріей. Эта часть сочиненія сохранилась въ британскомъ спискѣ, пока единственномъ нашемъ источникѣ, не вся; послѣдніе столбцы папируса (31—37) сильно попорчены, и возстановляемые по нимъ отрывки нѣтъ возможности связать въ единое цѣлое ни между собою, ни съ предыдущимъ текстомъ, обрывающимся на 63 главѣ первоизданія Кенъона, на той главѣ, которою только начинались извѣстія и соображенія автора о судѣ присяжныхъ. Въ относящихся сюда извѣстіяхъ Аристотеля мы не находимъ того, что для насъ было бы всего желательнѣе, не находимъ свѣдѣній ни о предѣлахъ компетенціи народнаго суда аѢинянъ, ни объ отношеніи его къ другимъ органамъ народовластія; равнымъ образомъ не даетъ онъ намъ полной картины отправленія правосудія по какому-либо дѣлу отъ начала процесса до конца. Умолчаніе автора о существенныхъ сторонахъ учрежденія произошло или отъ того, что читатели, для которыхъ Аристотель писалъ свое сочиненіе, слишкомъ близко стояли къ занимающему насъ предмету и въ литературномъ произведеніи не искали всесторонняго его описанія, или же отъ того, что Аристотель писалъ для себя и заносилъ въ свое сочиненіе только такія черты, которыя казались ему почему-либо достойными записи или потребными для его дальнѣйшихъ трудовъ. Во всякомъ случаѣ авторъ нашъ долго останавливается на способѣ

составленія судилищъ изъ наличнаго количества присяжныхъ судей, на средствахъ удостовѣренія личности каждаго судьи, на внѣшнихъ знакахъ судейскаго званія и т. п., долѣе, нежели на какой бы то ни было иной части политическаго строя Аѣинъ. Тоже къ аѣинскому суду присяжныхъ относятся нѣкоторые отдѣльныя замѣчанія въ другихъ главахъ сочиненія.

Особенное вниманіе Аристотеля къ этому учрежденію слѣдуетъ объяснять какъ тѣмъ, что философъ признавалъ за народнымъ судомъ аѣинянъ большія достоинства, такъ и его убѣжденіемъ, не разъ выраженнымъ, что носителю верховной судебной власти въ государствѣ принадлежитъ главенство въ управленіи страной вообще. Начало народовластія въ Атикѣ авторъ возводитъ къ Солону, ибо законодатель, по его словамъ, предоставилъ аѣинскому народу непосредственное участіе во всенародной экклесіи и въ судѣ. Одною изъ особенностей Солоновскаго законодательства, болѣе всего прочаго содѣйствовавшей усиленію народной массы въ Атикѣ, Аристотель называетъ право народнаго суда принимать и рѣшать окончательно жалобы на приговоры различныхъ должностныхъ коллегій и отдѣльныхъ должностныхъ лицъ: „ибо“, говоритъ онъ, „разъ народъ имѣетъ въ своихъ рукахъ верховный судъ, онъ становится и верховнымъ правителемъ“ (*κύριος γάρ ὢν ὁ δῆμος τῆς ψήφου κύριος γίγνεται τῆς πολιτείας*. *Аѣинск. Полит.* 9) Завершеніе демократическаго устройства Атики философъ приурочиваетъ къ 403 году, когда олигархія Тридцати была низвергнута и народовластіе восстановлено. „Вершителемъ всѣхъ дѣлъ народъ содѣлалъ себя самого и все направляетъ опредѣленіями вѣча и судами, въ которыхъ властелиномъ является народъ, ибо къ народу перешли и тѣ судебныя дѣла, какія вѣдалъ сенатъ; аѣиняне, какъ мнѣ кажется, поступаютъ въ этомъ отношеніи правильно, ибо денежными выгодами и искательствомъ легче искусить немногихъ, чѣмъ народъ“ (*тамъ же*, 41). Гораздо яснѣе нашего Аристотель видѣлъ и понималъ первенствующее политическое значеніе суда присяжныхъ, руководящую роль его въ замѣщеніи должностей, въ законодательствѣ, въ самомъ надѣленіи кого-либо правами гражданства, которая поднимала его даже надъ экклесіей, гораздо болѣе многочисленной и точнѣе представлявшей собою весь аѣинскій народъ. Какъ въ экклесіи, такъ и въ геліѣ вѣплощалась верховная власть того же самаго народа (*ὁ δῆμος*); только составъ геліи и условія дѣятельности ея вѣрнѣе обезпечивали рѣшенія справедливыя и для государства полезныя. Поэтому вѣнцомъ всего зданія аѣинской демократіи былъ на-

родный судъ присяжныхъ, и Аристотель, заключая свой трудъ извѣстіями объ этомъ учрежденіи, находилъ достойными записи самыя повидимому незначительныя подробности его организаціи.

Судъ присяжныхъ въ АѢинахъ принадлежитъ несомнѣнно къ числу тѣхъ учрежденій античныхъ общинъ, которыя съ открытіемъ аристотелева сочиненія приобрѣтаютъ болѣе опредѣленныя очертанія и плотнѣе укладываются въ общую систему управленія наиболѣе типической изъ греческихъ республикъ, аѢинской.

До открытія *АѢинской Полити* отрывочныя свѣдѣнія наши объ аѢинскомъ судѣ присяжныхъ извлекались изъ ораторовъ, изъ Аристофана и схолий къ нему, изъ объяснительныхъ замѣчаній лексикографовъ. Маттіа (1803), за нимъ Шѣманъ (1820) и прочіе ученые возстановляли народный судъ аѢинянъ приблизительно въ такомъ видѣ: изъ 6,000 геліастовъ, выбираемыхъ ежегодно съ помощью жребія, 1,000 поступали въ запасъ, а 5,000 распредѣлялись поровну между 10 палатами соотвѣтственно 10 судебнымъ мѣстамъ, такъ что нормальная численность судей въ трибуналахъ и въ каждой палатѣ была 500 человѣкъ; палаты обозначались первыми 10 буквами алфавита отъ А до К. Въ день, назначенный для разбора дѣлъ, оесмоетты распредѣляли судебныя палаты между трибуналами, въ этотъ день засѣдавшими; въ двухъ урнахъ помѣщались жребіи съ значками или именами судебныхъ палатъ въ одной и трибуналовъ въ другой; одновременно выбрасываемые изъ обѣихъ урнъ жребіи опредѣляли мѣста засѣданія для каждой изъ 10 секцій. Образованіе судебныхъ палатъ не находилось ни въ какой зависимости отъ дѣленія Аттики на 10 филъ. Въ 1877 г. нѣмецкимъ ученымъ Френкелемъ высказаны были нѣкоторыя новыя догадки по тому же предмету, нашедшія себѣ весьма сочувственный пріемъ въ литературѣ. Такъ, онъ доказывалъ, что общаго списка присяжныхъ судей, ежегодно набираемыхъ, не было, и судей въ такомъ большомъ числѣ даже быть не могло; что 6,000 геліастовъ не болѣе, какъ фикція, условный терминъ для обозначенія всѣхъ аѢинскихъ гражданъ, заявившихъ о своемъ желаніи исполнять обязанности судьи, что фиктивна также численность каждой судебной палаты въ 500 геліастовъ или судебного засѣданія изъ 1,000, 1,500, 2,500 судей, что фиктивно было, наконецъ, самое распредѣленіе судей между палатами, такъ какъ одно и то же лицо имѣло право состоять членомъ нѣсколькихъ палатъ за разъ.

Новооткрытымъ сочиненіемъ разрѣшаются далеко не всѣ вопросы по занимающему насъ предмету, и, какъ мы видѣли выше,

не потому только, что британскій папирусъ въ теперешнемъ видѣ даетъ намъ собственно фрагментъ сочиненія: немного большее содержалось и въ первоначальномъ подлинникѣ; съ сожалѣніемъ необходимо отмѣтить, что авторъ не знакомитъ читателя съ послѣдовательными перемѣнами въ исторіи суда присяжныхъ, почти исключительно ограничиваясь описаніемъ современнаго ему положенія. Такъ точно впрочемъ поступаетъ онъ и относительно другихъ сторонъ аѣинской конституціи: историческій очеркъ ея (гл. 1—41) устанавливаетъ въ общихъ чертахъ постепенное усиленіе демоса, начиная съ царскаго управленія и кончая временемъ автора; но авторъ не входитъ въ послѣдовательное разсмотрѣніе отдѣльныхъ органовъ народной власти.

При помощи толкованія текста мы изъ *Аѣинской Политіи* заключаемъ, что многочисленность аѣинскихъ судовъ было подготовлено образованіемъ делійскаго союза (478) и еще ближе перенесеніемъ союзнической казны съ острова Дела въ Аѣины (454), когда въ распоряженіе аѣинскаго народа поступили большія суммы денегъ, и когда явилась возможность оплачивать изъ государственнаго казначейства труды гражданъ и по отправленію правосудія. Число присяжныхъ судей возросло благодаря этому до 6,000, и выше этой цифры, какъ выражается одинъ изъ героевъ Аристофана, никогда не поднималось (гл. 24). Моральный уровень народнаго суда въ Аѣинахъ съ назначеніемъ судьямъ жалованья понизился. Для зачисленія въ судьи, по жребію-ли то, или безъ жребія, требовалось прежде всего, чтобы гражданинъ по собственному почину заявилъ опредѣленнымъ должностнымъ лицамъ о своемъ желаніи нести обязанности судьи. Пока служба судьи не оплачивалась, заявляли о своей готовности отправлять правосудіе люди отборные (*οἱ ἐπιεχέεις*); напротивъ, къ избирательнымъ урнамъ устремились первые встрѣчные (*οἱ τοῦχόντες*), когда за участіе въ судѣ предстояло получить триоболь. Хулители народнаго суда приписывали этой мѣрѣ развращающее дѣйствіе, такъ какъ всякій сбродъ, изъ коего составлялось засѣданіе суда, былъ легко доступенъ подкупу, говорили они. Въ *Политіи* называется по имени и тотъ аѣинянинъ, который впервые расположилъ судей въ свою пользу подкупомъ (гл. 27). Между тѣмъ ни у ораторовъ, ни у комиковъ, ни у философовъ-моралистовъ мы не находимъ жалобъ на подеупность аѣинскихъ судей; въ настоящемъ случаѣ умолчаніе писателей, въ большинствѣ рѣшительно не расположенныхъ къ народовластію, имѣетъ силу положительнаго свидѣтельства; самъ Аристотель говоритъ о недоступности народнаго суда подкупу (41).

Когда въ 63-й главѣ *Политіи* и въ слѣдующихъ за нею столбцахъ папируса мы знакомимся съ способомъ образованія судилищъ и отчасти постановленія приговоровъ, то не можемъ не видѣть, что сложная система приспособленій въ судебныхъ мѣстахъ была направлена главнымъ образомъ къ обезпеченію суда независимаго, праваго, неподкупнаго. Случаи подкупности, слѣдовавшіе за установленіемъ платы судьямъ, не вынудили аѣинскую демократію сократить составъ народныхъ судей или отмѣнить положенное имъ вознагражденіе. Сохраняя въ силѣ демократичнѣйшее изъ своихъ учрежденій, народъ озаботился только обставить отправленія его такими условіями, въ которыхъ оно отвѣчало бы высокой важности подлежащихъ рѣшенію его задачъ. Съ увѣренностью можно сказать, что описываемыя Аристотелемъ подробности сложнаго устройства народныхъ судовъ въ Аѣинахъ выработаны были подъ указаніями опыта постепенно, по мѣрѣ все большаго осложненія общественныхъ порядковъ.

Надо полагать даже, что относительная новизна однѣхъ подробностей организаціи и давность и привычность другихъ внесла отмѣченную выше неравномѣрность въ Аристотелево описаніе суда присяжныхъ.

Прежде всего должно замѣтить, что не было другого учрежденія въ Аѣинахъ, гдѣ жребій примѣнялся бы въ такой широкой мѣрѣ и съ такими предосторожностями. Отъ архаическаго жребія гомеровскихъ героев удержалось ко времени Аристотеля, быть можетъ, только встряхиванье сосуда съ брошенными въ него жеребками (*πάλλειν* у Гомера *Ил.* VII 181. XV 191, *διασείειν* Арист. *Аѣ. Полит.* ст. 31, 8); но между мотивами первоначальнаго жребія съ одной стороны и тѣми соображеніями и выгодами, которыми при метаніи жребія руководствовались аѣиняне IV вѣка—съ другой, лежала глубокая пропасть; вѣра въ непогрѣшимо рѣшающее вмѣшательство боговъ отлетѣла, и мѣсто ея заступили практическій расчетъ и сложныя приспособленія противъ людскаго обмана. На этомъ примѣрѣ читатель убѣждается въ превосходствѣ жребія надъ прочими способами выбора должностныхъ лицъ или даже въ единственной пригодности его для цѣлей управленія при условіяхъ аѣинскаго демократизма и постоянного непосредственнаго участія гражданъ во всѣхъ сферахъ политической жизни; въ занимающее насъ время и надъ приговоромъ жребія стоялъ контроль геліеи, т.-н. докимасія судей.

Во всякомъ случаѣ, съ открытіемъ *Аѣинской Политіи* теряетъ послѣднее основаніе гипотеза фикціи, будто бы прони-

кавшихъ все устройство геліа; мѣсто фикцій занимаютъ реальныя цифры и реальныя отношенія. Существованіе общаго списка геліастовъ въ 6,000 человекъ не подлежитъ болѣе сомнѣнію; многолюдство засѣданій суда присяжныхъ также подтверждается, и въ немъ Аристотель видитъ одну изъ надежнѣйшихъ гарантій неподкупности судей. Въ этомъ отношеніи однако и нѣкоторыя другія греческія общины не уступали аѣинской; по крайней мѣрѣ мы знаемъ, что въ милетскомъ трибуналѣ засѣдало 600 судей, въ лесбійскомъ 883. Потомъ, для времени Аристотеля *Политія* даетъ возможность установить довольно опредѣленно степень зависимости судебного устройства Аттики отъ дѣленія ея на филы, той самой зависимости, которая отличала и прочіе органы управленія въ послѣ-Клисееновскихъ Аѣинахъ; при этомъ на ряду съ равномернымъ представительствомъ филъ въ судахъ присяжныхъ проведено было не менѣе рѣшительно другое начало, единство и нераздѣльность общины. Наконецъ, мы не оставлены совсѣмъ безъ указаній и относительно той болѣе простой организаціи, на смѣну которой выступилъ порядокъ, описанный Аристотелемъ для его времени.

Со времени Клисеена (508) въ основу децимальной системы должностей въ Аѣинахъ легли 10 филъ; эти послѣднія не были сплошными территоріями; входившія въ составъ отдѣльных филъ поселенія (демы) были не безъ намѣренія разбиты законодателемъ по тремъ естественнымъ областямъ Аттики, такъ что филеты каждой филы занимали три территоріальныхъ участка, а не одинъ сплошной. Клисееновскія реформы слѣдовали за тираніей, а тиранія Писистрата и сыновей его возникла и около полустолѣтія держалась благодаря больше всего политическимъ и экономическимъ распрямъ трехъ партій, приблизительно совпадавшихъ по составу своихъ членовъ съ территоріальнымъ дѣленіемъ Аттики на три области. Клисееновская организація съ широкимъ самоуправленіемъ въ мелкихъ поселеніяхъ и съ политическимъ объединеніемъ этихъ поселеній въ искусственныя группы, именуемыя филами, оказалась достаточно пригодной для того, чтобы положить конецъ политическому дробленію Аттики и образованію партій по территоріямъ. Въ родственныхъ, стародавнихъ отношеніяхъ демоны почерпали энергію и любовь къ дѣятельности въ предѣлахъ и на пользу родного поселенія; но самый горячій патріотизмъ дема, поселка съ нѣсколькими стами гражданъ, не могъ быть опасенъ для цѣлости республики; скорѣе онъ только воспитывалъ въ дѣмотахъ чувства и привычки, необходимыя для успѣшной дѣятельности на болѣе широкомъ поприщѣ. Въ общемъ управленіи республикой

собрание демотовъ участвовало большею частью не непосредственно, но черезъ филу, совмѣстно съ нѣсколькими другими демами, даже не сосѣдними. Въ соотвѣтствіи съ филами составлялся совѣтъ 500, назначались магистраты финансовые, военные, собственно административные, набирался контингентъ народныхъ судей. Въ такомъ способѣ замѣщенія разнообразныхъ должностей и пополненія должностныхъ коллегій нельзя видѣть только известное удобство или нѣкоторый почетъ представительства филъ. Въ филахъ тысячи демотовъ становились въ политическія группы, черезъ которыя аѣинскій гражданинъ переходилъ въ высшую и наиболѣе искусственную организацію, въ государство. О политическомъ партикуляризмѣ въ Атикѣ по филамъ исторія ничего не знаетъ, да онъ былъ и не возможенъ; вмѣстѣ съ тѣмъ и прежній партикуляризмъ въ соотвѣтствіи съ естественнымъ дѣленіемъ аѣической территоріи исчезъ изъ аѣинской исторіи окончательно. „Перемѣшавши“ между собою гражданъ различныхъ филъ, Клизеенъ оплотнилъ политическое тѣло Атики и навсегда охранилъ его отъ распадѣнія на составныя части (*Аѣ. Пол.* 21 нач.). Это же начало смѣшенія примѣнено было во всей силѣ и къ народному суду.

До насъ дошло 67 бронзовыхъ табличекъ, служившихъ въ Аѣинахъ для удостовѣренія личности народнаго судьи (*πυλάμα δικαστικά* CIA II, 2 pp 875—940 и 988. b, стр. 347—354 и 537); всѣ таблички принадлежатъ IV в. до Р. X., а такъ какъ *Аѣинская Политія* написана около 325 г., то въ этихъ табличкахъ мы, должно быть, имѣемъ тѣ самые знаки званія судьи, о которыхъ говорить и Аристотель. По словамъ Аристотеля, каждый судья снабженъ былъ буквой дощечкой съ начертаніями на ней его личнаго имени, отчества, имени его дема, а равно одной изъ первыхъ десяти буквъ алфавита, отъ А до К (634); случайно всѣ буквы имѣютъ своихъ представителей въ уцѣлѣвшихъ экземплярахъ. Нужно думать, что ко времени Аристотеля остались въ употребленіи только буквы дощечки для этой цѣли, до насъ сохранившіяся, и что сообщаемая имъ формула надписи на дощечкахъ установлена была не сразу; о судейскихъ дощечкахъ изъ бронзы говорятъ Гесихій и Фотій. Изъ того обстоятельства, что на разныхъ дощечкахъ съ одной и той же литерой (А, В, Г и проч.), начертаны имена гражданъ различныхъ филъ, а не одной и той же, выводятъ обыкновенно заключеніе, что десять палатъ присяжныхъ судей, отмѣченныхъ буквами алфавита, составлялись независимо отъ филъ, что въ одной и той же палатѣ совмѣщались члены нѣсколькихъ филъ. Литеру А носятъ №№ табличекъ 875, 876, 877, 878; владѣ-

лецъ одной изъ нихъ происходилъ изъ дема Ламптры въ филѣ Ерехоеидѣ; другой—изъ Койле въ филѣ Гиппоеонтидѣ, третьей—изъ Стейріи въ Пандіонидѣ, четвертой—изъ Фліи въ Кекропидѣ. Палатѣ В принадлежатъ три таблички; на одной изъ нихъ поименованъ Фриноклъ изъ Фріи, на другой Антихармъ изъ Ламптры, на третьей Діонисій изъ Трикоріеа; первый изъ этихъ демоновъ принадлежалъ филѣ Ойнеидѣ, второй Ерехоеидѣ, третій Эантидѣ и т. д. Еслибы можно было доказать, что демоны различныхъ филъ и одной и той же палаты, представленные имѣющимися у насъ табличками, засѣдали въ трибуналѣ вмѣстѣ или по крайней мѣрѣ принадлежали одному и тому же набору судей, то наличность такого рода дощечекъ даже одной буквы была бы достаточнымъ свидѣтельствомъ смѣшаннаго состава палатъ изъ членовъ различныхъ филъ. Но наши дощечки теряютъ силу доказательства, если отмѣченные одною и тою же буквою демоны различныхъ филъ принадлежали разновременнымъ наборамъ судей, ибо члены одной и той же филы въ разные годы неизбежно попадали бы въ различныя палаты, и наоборотъ: въ одну и ту же палату попадали бы члены различныхъ филъ. Доказательнѣе, чѣмъ эти дощечки или выраженія Аристофановскихъ героевъ, показанія *Афинской Политіи*.

„Девять архонтовъ, десятый секретарь ѳесмоетовъ набираютъ съ помощью жребія *всѣхъ* судей, каждый въ своей собственной филѣ“,—такъ опредѣляетъ Аристотель первый актъ должностныхъ лицъ въ составленіи судилищъ на годъ (59 кон); опредѣленіемъ *всѣхъ* (πάντας) означаетъ общій списокъ судей или собственно кандидатовъ въ судьи, изъ которыхъ составлялись потомъ судебныя палаты и пополнялись дѣйствующіе трибуналы; поэтому измѣненіе рукописнаго πάντας въ πάντες, предложенное впервые Кеньономъ, совершенно излишне. Къ этому же составленію общихъ списковъ относится приведенное выше выраженіе изъ 27-ой главы (срвн. Демосе. XXV, 27). Въ виду сказаннаго слова 63-ей главы о томъ, что „судить дозволяется всѣмъ гражданамъ старше 30-тилѣтняго возраста, если они (ἄνθρωποι) не должны государству и не наказаны безчестіемъ“, не слѣдуетъ понимать въ смыслѣ допущенія гражданъ къ отправленію правосудія безъ всякаго жеребьеванія, какъ предлагаетъ понимать ихъ и Сандисъ въ своемъ комментарий къ тексту (1893), еще разъ напоминающій о гипотезѣ Френкеля. Слова эти означаютъ только, что каждый такой гражданинъ пользовался правомъ подвергнуться жеребьеванію въ судьи. Въ какой мѣрѣ въ подобныхъ случаяхъ необходимо воздерживаться отъ подчеркиванія отдѣль-

ныхъ словъ, тому учать относящіяся сюда поясненія лексикографовъ. Гесихій къ словамъ *χαλκοῦ πινάκιον* пишетъ: Ἀθηναῖοι εἶχον ἕκαστος πινάκιον πόξινον ἐπιγεγραμμένον и проч., какъ бы всѣхъ аѢилянъ, а не всѣхъ только аѢинскихъ *судей* снабжая вѣрительной дощечкой. Точно также не слѣдуетъ виѣдрять несвойственный имъ смыслъ въ слова Гарпократіона: δημοσία πάντες ὄμνουσιν Ἀθηναῖοι τὸν ὄρκον τὸν ἐκκλησιαστικόν, хотя бы по тому уже, что и Френкель, и его сторонники все-таки исключаютъ нѣсколько довольно многочисленныхъ разрядовъ гражданъ изъ числа *всѣхъ аѢилянъ*; значить, и по ихъ мнѣнію не *всѣ* аѢиляне давали судебную клятву на Ардеттѣ. И такъ, по филамъ, въ равномъ числѣ отъ всѣхъ десяти филъ, коллегія девяти архонтовъ съ своимъ секретаремъ набирала тысячи геліастовъ посредствомъ жеребьевки. Въ предѣлахъ каждой филы судьи дѣлились на десять приблизительно равныхъ разрядовъ, которые обозначались первыми 10 буквами алфавита, отсюда 10 ящичковъ въ каждой филѣ, размѣченныхъ тѣми же буквами. Самое количество разрядовъ въ каждой филѣ опредѣлялось числомъ филъ, ибо личный составъ каждой филы требовалось распределить по-ровну между всѣми 10 филами. Весьма вѣроятно, что распределение судей-филетовъ по разрядамъ производилось одновременно съ наборомъ ихъ при первомъ жеребьеваніи. Считая 6,000 судей на всѣ филы или 600 на каждую изъ нихъ, мы предполагаемъ, что при общемъ наборѣ геліастовъ, о которомъ говорится въ концѣ 59-ой главы *АѢ. Политіи*, первые 60 филетовъ составляли первую секцію (А), вторые 60 — вторую (В) и т. д. до К. По этому-то ни въ *АѢинской Политіи*, ни въ какомъ-либо другомъ древнемъ источникѣ нѣтъ ни одинаго намека на отдѣльное жеребьеваніе съ цѣлью образованія 10 палатъ судей, независимо отъ филъ и отъ судебныхъ мѣстъ. Даже больше. Все, что уцѣлѣло отъ сочиненія Аристотеля и чему не противорѣчатъ показанія другихъ источниковъ, приводитъ къ заключенію, что общихъ для всѣхъ филъ палатъ и не было, т.-е. такихъ палатъ, которыя вмѣщали бы въ себѣ по 10 секцій отъ всѣхъ филъ и существовали бы постоянно, въ теченіе всего судебного года, и потому Аристотель вовсе не упоминаетъ объ особыхъ ящикахъ для помѣщенія вѣрительныхъ дощечекъ отъ членовъ подобныхъ сборныхъ палатъ. Въ концѣ 63 главы *Политіи* находится поясненіе того, почему буквая дощечка каждаго судьи имѣла на себѣ одну изъ буквъ отъ А до К: „потому что судьи распределены на 10 частей, съ одинаковымъ приблизительно числомъ судей въ каждой части“ (уе-

νέμνται γὰρ κατὰ φυλάς δέκα μέρη οἱ δικασταί, παραπλησίως ἔσοι ἐν ἑκάστῳ τῷ γράμματι). Въ этихъ словахъ Аристотеля ученые вслѣдъ за первоиздателемъ Кеньономъ усматриваютъ подтвержденіе господствующаго мнѣнія о существованіи сборныхъ палатъ отъ всѣхъ филъ. На нашъ взглядъ слова κατὰ φυλάς даютъ понять, что раздѣленіе судей на палаты съ обозначеніемъ разрядовъ буквами существовало въ отдѣльныхъ филахъ, и уже благодаря этому распредѣленію получались десятия части общаго числа судей, не представлявшія однако собою отдѣльныхъ на самомъ дѣлѣ существовавшихъ палатъ. Только при такомъ пониманіи текста становится понятнымъ полное молчаніе Аристотеля о смѣшанныхъ общихъ палатахъ въ извѣстіяхъ о судахъ присяжныхъ и гдѣ бы то ни было въ другомъ мѣстѣ; при этомъ же пониманіи мы избавляемся отъ необходимости раздѣлять натянутое толкованіе нашего мѣста, предлагаемое Кеньономъ и другими: „this does not mean that each group consisted of members of a single tribe... the meaning is, *on the contrary*, that each group contained, *rongly speaking*, an equal number of representatives from each of the ten tribes“. Точно также Сандисъ: „i. e. are divided into ten sections distribute over the tribes. The ten μέρη did not coincide with the ten tribes, but each μέρος had a nearly equal number of dicasts, from all the tribes“. На самомъ дѣлѣ десятия „доли“ существовали только въ филахъ и потомъ соединялись передъ размѣщеніемъ по трибуналамъ. Точно также не находимъ мы у Аристотеля особаго условнаго термина для подобныхъ постоянныхъ палатъ: десятия доли всего состава гелиастовъ онъ называетъ частями (μέρη). Вся процедура подбора судей для судебного засѣданія, описанная въ главѣ 63-й и дальше, приспособлена къ филамъ, а не къ воображаемымъ палатамъ. „Суды набираютъ съ помощью жребія по филамъ девять архонтовъ, а изъ десятой филы секретарь ѳесмоетовъ“ (τὰ δὲ δικαστήρια κληροῦσιν οἱ ἐννέα ἄρχοντες κατὰ φυλάς, ὁ δὲ γραμματεὺς τῶν θεσμοθετῶν τῆς δεκάτης φυλῆς. 63 нач). Слово δικαστήρια, означая судилища, ближайшимъ образомъ относится къ отдѣленіямъ филъ, которыхъ на каждого изъ десяти членовъ должностной коллегіи приходилось по десяти (Α—Κ), и потому въ чтеніи πληροῦσιν вм. κληροῦσιν, предлагаемомъ Дарестомъ, нѣтъ нужды, отсюда κληρωτήριον сосудъ для жребковъ и залъ для метанія жребіевъ. πληροῦν τὰ δικαστήρια значить составлять судилища, обыкновенно изъ нѣсколькихъ филъ, и въ этомъ смыслѣ встрѣчается въ нашемъ трактатѣ (г. 63. Ст. 31, 37). ἐπικληροῦν τὰ δικαστήρια озна-

часть въ *Politiu* распределение жребіемъ нѣсколькихъ составовъ присяжныхъ между различными вѣдомствами (59 5), если еще это мѣсто подлинное. Къ дикастеріямъ вели 10 входовъ (εἵσοδοι—εἰς τὰ δικαστήρια) по одному на филу; это—судебныя мѣста, къ которымъ члены каждой филы, направлялись особымъ ходомъ, и предложение Сандиса читать κληρωτήρια вм. δικαστήρια исходить изъ двойного недоразумѣнія: изъ того именно, что подъ δικαστήρια онъ разумѣетъ the several law-courts, а κληρωτήρια переводить: „rooms in which the dicasts have their several courts allotted to them“, въ такомъ случаѣ κληρωτήρια должно бы въ описаніи судовъ предшествовать слову δικαστήρια, а не наоборотъ.

Однако, толкованіе Сандиса и нѣкоторыхъ другихъ не удобоприемлемо. Къ приведенному здѣсь выраженію еще менѣе приложимо объясненіе Сандиса: „κατὰ φυλὰς is not meant to imply that each δικαστήριον was allotted to a different tribe, but that representatives of all the tribes sat in each δικαστήριον“. Какъ видитъ читатель, въ словахъ Аристотеля нѣтъ опоры ни для Кеньона и Сандиса, ни для отвергаемаго ими мнѣнія; рѣчь идетъ о раздѣльномъ по филамъ подборѣ дѣйствующихъ судей. Согласно съ этимъ въ геліѣѣ находилось 100 ящичковъ, по 10 на филу, для судебныхъ табличекъ; для судей было 10 отдѣльныхъ входовъ, по одному на каждую филу; 20 сосудовъ для жеребковъ (а не избирательныя залы κληρωτήρια) раздѣлялись по два между филами; въ избирательную залу архонтъ зоветъ филу (ст. 31, 17); въ каждой избирательной залѣ (тоже κληρωτήριον) по 10 деревянныхъ приборовъ для втыканія (ἐμπήγνουσι) вѣрительныхъ дощечекъ и т. д., и т. д. (срвн. ст. 31, 1, 2. 32, 20, 22 а—b 9). Наличие дощечекъ отъ демовъ разныхъ филъ съ литерами одной и той же секціи прекрасно согласуется съ расчлененіемъ каждой филы на отдѣленія и съ соединеніемъ судей двухъ или нѣсколькихъ филъ для разбора дѣлъ въ томъ или другомъ судебномъ мѣстѣ. Значитъ, намъ нѣтъ больше нужды заносить въ число ошибокъ показанія нѣсколькихъ грамматиковъ о совпадении десяти дикастерій съ филами (ἔρχεται ἕκαστος εἰς τὸ δικαστήριον πινάκιον ἔχων ἐπιγεγραμμένον τὸ ὄνομα αὐτοῦ πατρόθεν καὶ τοῦ δήμου καὶ γράμμα ἐν τι μέχρι τοῦ κ, διὰ τὸ πάλαι δέκα φυλὰς εἶναι Ἀθῆνῃσι. διήρηγτο γὰρ κατὰ φυλὰς. Schol. ad Arist. Plut. 277. Ἀθηναῖοι γὰρ ἀπὸ τῶν φυλῶν ἐποιοῦν τοὺς δικαστὰς κατὰ γράμμα. ib. 972. ἡλιαία ἦν δὲ χιλίων πεντακοσίων καὶ ἐνὸς συνήεσαν δὲ οἱ μὲν χίλιοι πεντακόσιοι ἐκ τριῶν φυλῶν. Bekk. Anecd. I, p. 262). Наконецъ изъ V в. дошла до насъ надпись, гласящая о выборѣ жребіемъ де-

сяти священноустроителей для Гефестій изъ среды дикастовъ по одному отъ филы (CIA, IV, p. 64. Срвн. Gilbert, *gr. Staatsalt.* I, 442²). Всѣ подобныя показанія напши себѣ подтвержденіе въ *Аѳинской Политіи* и не противорѣчатъ начертаніямъ судейскихъ дощечекъ. Слѣдовательно, при составленіи судилищъ въ Аѳинахъ центръ тяжести падалъ на филы, а вовсе не на смѣшанныя по составу палаты; промежуточное звено, какъ учрежденіе постоянное, между филами и судилищами, въ которыхъ филеты засѣдали, остается не засвидѣтельствованнымъ.

Къ сожалѣнію, порядокъ образованія судилищъ поддается восстановленію изъ очерка Аристотеля лишь съ большимъ трудомъ и въ нѣкоторыхъ только частяхъ, и опять-таки не потому, что посвященный нашему предмету конецъ британской рукописи сильно испорченъ: уцѣлѣвшая 63 глава *Политіи* тоже изложена слишкомъ кратко, большею частью безсвязно, въ видѣ случайно набросанныхъ замѣчаній. Нужно помнить при этомъ, что описаніе Аристотеля имѣетъ отношеніе только къ одной филѣ, предполагая тотъ же порядокъ для всѣхъ филъ, участвовавшихъ въ составленіи судилищъ (πλήρωσις τῶν δικαστηρίων). Авторъ не даетъ никакихъ основаній для господствующаго въ наукѣ мнѣнія, будто въ составленіи каждаго судилища участвовали равномѣрно своими судьями всѣ 10 филъ; вѣроятноже, напротивъ, что всѣ филы участвовали въ разборѣ дѣлъ совмѣстно въ рѣдкихъ только случаяхъ; обыкновенно ихъ участвовало меньше, причемъ всѣ участвовавшія филы представлены бывали равномѣрно; число участвующихъ филъ должно было зависѣть какъ отъ характера подлежащихъ разбору дѣлъ, такъ и отъ числа судебныхъ мѣстъ, между которыми дѣла раздѣлялись.

Явившіеся въ геліэю судьи филы вручали свои дощечки архонту, который и размѣщалъ ихъ по 10 ящикамъ, тоже носившимъ на себѣ буквы отъ А до К. Судья встряхивалъ ящики въ порядкѣ буквъ, а еесмоетъ вынималъ по одной дощечкѣ изъ каждаго ящика. Первый владѣлецъ дощечки въ каждомъ разрядѣ филы (А — К) назывался ἐμπήκτης; вынимаемая еесмоетомъ изъ ящика дощечки онъ втыкалъ или вдавливалъ въ ту часть особаго деревяннаго прибора (καυοῖδης), находившагося въ залѣ, которая отмѣчена была той же буквой, что и ящики. Когда изъ ящиковъ вынуто было вдвое больше дощечекъ, чѣмъ сколько судей должна была поставить фила, архонтъ бросалъ въ урну (κληρωτήριον) бѣлыя и черныя кубическія кости такъ, чтобы бѣлыхъ было столько, сколько требовалось судей. Теперь архонтъ звалъ филу въ избирательный залъ (κληρωτήριον) и приступалъ къ метанію

жребіевъ въ присутствіи филетовъ: одновременно извлекались архонтомъ кости изъ урны и десятью эмפקтами снимались дощечки съ деревяннаго прибора; всѣ дощечки, попадавшія на бѣлыя кости, кидались въ другую урну (*ὄδρία*), и владѣльцы ихъ тѣмъ самымъ были выбраны въ дѣйствующіе въ этотъ день судьи; приходившіяся на черныя кости дощечки возвращались ихъ владѣльцамъ, которые такимъ образомъ освобождались на этотъ день отъ общественной службы. Общее число гелиастовъ, подлежащихъ избранію въ дѣйствующіе судьи, опредѣлялось заранѣе тѣмъ, въ сколькихъ трибуналахъ по рѣшенію оесмоетовъ должны были происходить засѣданія присяжныхъ, и въ какомъ количествѣ потребны были судьи для каждаго изъ трибуналовъ, по рѣшенію тѣхъ же оесмоетовъ. Судебныя зданія, число коихъ доходило, кажется, до десяти, отличались одно отъ другаго особыми именами (*καίουν*, *μέσσην*, *φοινικιοῦν*, *βατραχιοῦν* и проч.) и цвѣтомъ надверныхъ косяковъ (*σφηγίσκος*). Кромѣ того, въ день отправленія правосудія выдѣленные для засѣданій зданія различались нумерами, для чего служили тоже буквы алфавита, но начиная съ одиннадцатой: Л, М, N и проч. до γ; жребій рѣшалъ, какой номеръ доставался каждому изъ судебныхъ зданій, и особый служитель укрѣплялъ на зданіи выпавшую по жребію букву алфавита (63 б). По количеству судей, потребныхъ для каждаго изъ трибуналовъ, распорядители оставляли у входа въ отдѣленіе филы жезлы, окрашенные въ тѣ же цвѣта, что и дверные косяки судебныхъ зданій, въ такомъ числѣ, какое приходилось по равномерному распредѣленію на долю каждой филы; въ одну изъ урнъ (*ὄδρία*) этой же филы кидали жребіи въ видѣ жолудей (*βάλανος*) съ нумерами назначенныхъ на этотъ день судебныхъ зданій, и каждый номеръ въ томъ самомъ числѣ, въ какомъ назначены были судьи для каждаго трибунала. Жребіемъ опредѣлялся трибуналь, въ которомъ предстояло засѣдать каждому изъ выбранныхъ гелиастовъ. По тѣмъ дощечкамъ, которыя помѣщены были въ особый сосудъ (*ὄδρία*), архонтъ перекидывалъ выбранныхъ судей; каждый судья при своемъ имени подходилъ къ урнѣ съ жолудями и по вынутому номеру получалъ жезлъ соотвѣтственнаго цвѣта и заносился въ составъ судей опредѣленнаго трибунала. При входѣ въ засѣданіе судья въ обмѣнъ на жезлъ получалъ марку (*σύμβολον*), предъявителю которой послѣ засѣданія выдавалось вознагражденіе изъ государственной казны.

Описанный Аристотелемъ порядокъ образованія народныхъ судовъ въ Аѣинахъ, документально засвидѣтельствованный также нѣсколькими десятками судейскихъ табличекъ, входилъ состав-

ною частью въ то общественное устройство, которое соединено съ именемъ Евклида (403), было по счету Аристотеля одиннадцатымъ въ аѳинской исторіи, и въ которомъ власть народа возрасла до размѣровъ, небывалыхъ раньше; это — общественное устройство аѳинянъ IV в. до Р. Х. Всевластный народъ по собственному почину и собственнымъ рѣшеніемъ установилъ для авторитетнѣйшаго органа своей власти такую систему выборовъ и распредѣленія выбранныхъ въ судьи гражданъ, которая при содѣйствіи жребія обезпечивала равенство всѣмъ гражданамъ безъ различія знатныхъ и простыхъ, бѣдныхъ и богатыхъ, и соединенное равномѣрное представительство въ верховномъ судѣ всѣхъ частей страны, превыше всего поставилъ и оградилъ независимость судей отъ вліяній корысти, лицепріятія, вражды или узко-мѣстныхъ интересовъ; при всемъ многолюдствѣ судовъ присяжныхъ участіе въ нихъ каждого гражданина оставалось личнымъ и открытымъ оцѣнкѣ общественнаго мнѣнія. Добровольно наложенными на себя стѣсненіями аѳинскій народъ пріобрѣталъ судъ неподкупный и для всѣхъ равный, отнимая охоту уклоняться изъ корысти отъ исполненія важнѣйшей общественной обязанности и ограничивая до крайности возможность злоупотребить своимъ правомъ судьи (*Аѳ. Полит.* 27. 62). Суды присяжныхъ въ Аѳинахъ служили школой, въ которой воспитывалось отличавшее аѳинскихъ гражданъ чувство законности и убѣжденіе ихъ въ необходимости точнаго исполненія существующихъ законовъ, какъ непремѣннаго условія гражданской свободы. Сократъ превозноситъ аѳинянъ за то, что свободу они не полагаютъ въ своеволіи и, не считая произвола благомъ, караютъ беззаконіе. Аристотель знаетъ такой видъ демократіи, гдѣ всѣ граждане участвуютъ въ управленіи, но надъ всѣми царитъ законъ; такой демократіей Павсанія называетъ аѳинскую, источникъ силы ея признавая въ умѣннѣ гражданъ повиноваться законамъ (IV 35 з). Высокое понятіе о судѣ, высказанное Платономъ, вырабатывалось въ Аѳинахъ при наличности этого многолюднѣйшаго въ исторіи народнаго судилища: „Доблесть судьи“, говоритъ философъ, „состоитъ въ томъ, чтобы рѣшать обоюдныя жалобы тяжущихся въ согласіи съ уложеніемъ законодателя, не соблазняясь дарами, не уступая страху или состраданію, не увлекаясь никакою враждою, ниже дружбою“ (*Politic.* 43, p. 305 b c).

Ө. Мищенко.

НА МОГИЛѢ.

(ПУТЕВЫЯ КАРТИНКИ).

Посвящается Павлу Игнатьевичу Житецкому.

I.

Съ извозчикомъ я покончилъ еще съ вечера. Рыжій, крайне подвижной Лейба увѣрилъ меня, что и лошади, и экипажъ будутъ одинаково великолѣпны, и что всѣ наилучшіе господа нанимаютъ всегда только его, Лейбу, такъ какъ другіе извозчики не годятся никуда. Я не могъ не повѣрить, потому что глазъ Лейбы, не тотъ, который выручилъ его отъ воинской повинности, а зрячій,—свѣтился, казалось, самой чистой правдой, а отчаянная божба и заклинанія исключали всякое сомнѣніе. При малѣйшемъ знаѣ недоуверія онъ сейчасъ же изъяслялъ готовность никогда не сойти съ того мѣста, на которомъ божился. А то, что Лейба согласился везти меня за пять рублей, хотя вначалѣ не понималъ, какимъ образомъ можно уступить даже копѣйку съ запрошенныхъ десяти, и клялся, что ни одинъ извозчикъ, кромѣ него, и за десять не поѣдетъ,—окончательно расположило меня въ его пользу.

— Ну, хорошо, Лейба,—такъ въ шесть утра... Смотри же, не позже...—Лейба обидчиво недоумѣваетъ и дергаетъ плечами.

— Въ шесть?! пхе, зачѣмъ въ шесть? Я буду въ пять, а не въ шесть, чтобъ мнѣ не сойти съ этого мѣста!.. Будьте спокойны, не опоздаю...

Онъ уходитъ, оставляя мнѣ въ обезпеченіе свой номеръ и, увы, я ему вѣрю! Къ шести утра я уже совсѣмъ готовъ, по-

кончилъ съ чаемъ, уложился и нетерпѣливо жду его въ затхлой комнатѣ еврейскаго заѣзжаго дома, какими кипать уѣздные городки и мѣстечки Малороссіи. Проходитъ полчаса, часъ, а Лейбы все нѣтъ и нѣтъ. Я горячусь, волнуюсь, посылаю за нимъ, получаю въ отвѣтъ „сейчасъ“—но все тщетно... Только въ восемь, когда горячее лѣтнее солнце начинаетъ прямо накаливать воздухъ, полный пыли, поднятой съ разсвѣта, его великолѣпный экипажъ загрохоталъ на мостовой у подъѣзда. Я слышу отчаянное: „трр!“, цѣлый залпъ неизвѣстныхъ междометій, божбу, предложеніе никогда не сойти съ мѣста и вижу, наконецъ, на порогѣ Лейбу. Онъ улыбается какъ ни въ чемъ не бывало и меня же торопить.

— Скорѣй, господинъ,—давно уже пора!..—точно съ упрекомъ кричитъ онъ на своемъ невозможномъ жаргонѣ.—Очень давно пора ѣхать!..

Это окончательно взрываетъ меня, я останавливаюсь и говорю ему красный отъ гнѣва.

— Я знаю, что давно пора ѣхать,—цѣлыхъ два часа жду я тебя! Зачѣмъ ты опоздалъ такъ?!

Лицо Лейбы улыбается, все, до самомалѣйшей черточки, а единственный глазъ глядитъ необычайно сладко и снисходительно.

— Я для васъ, господинъ,—говоритъ онъ какъ-то уничтожающе сладко, и это озадачиваетъ меня до того, что гнѣвъ стихаетъ мгновенно.

— Какъ это—для меня?—спрашиваю я недоумѣвая.

— А такъ, для васъ! Чтобъ мнѣ съ мѣста не сойти, если не для васъ! клянется Лейба. — Зачѣмъ, думаю, рано будить хорошаго господина? хорошіе господа всегда любятъ спать,—ну, и пусть себѣ!..

Это „и пусть себѣ“ сопровождается самымъ снисходительнымъ жестомъ по адресу хорошихъ господъ, любящихъ поспать. Но мнѣ уже не до увертливаго Лейбина лганья, и не до жестовъ. Полный глубокаго смущенія стою я предъ полуразбитой, полустерзанной бричкой, подвязанной и перевязанной бичевками во всѣхъ мѣстахъ, запряженной парой унылыхъ влячъ невообразимо тощаго вида, и все еще не хочу вѣрить, что это обѣщанное мнѣ Лейбою великолѣпіе.

— Что это такое?—спрашиваю я въ тревожномъ недоумѣніи.

Лейба удивляется, поднимаетъ плечи и отвѣчаетъ самымъ непринужденнымъ тономъ:

— Это бричка, господинъ!..

— А это... это?

— Это?! Звѣстно, что это... Это лошади.

Такая увертливость, дѣланное спокойствіе, увѣренный тонъ совсѣмъ выводятъ меня изъ себя. Я набрасываюсь на Лейбу съ гнѣвнымъ укоромъ, что бричка развалится на первомъ ухабѣ; а лошади околѣбуютъ, не сдѣлавъ и шага, потому что это не лошади, а живыя кости да кожа,—и довожу этимъ Лейбу до того, что тотъ въ ужасѣ всплескиваетъ руками.

— Эта бричка развалится!? Эти кони упадутъ?! Борони Богъ, что вы такое говорите, господинъ?!—кричитъ онъ, отступая на шагъ не то отъ негодованія, не то отъ удивленія.—Самые лучшіе господа ѣздятъ, всегда довольны,—спросите хоть кого. Такой другой брички въ цѣломъ городѣ не найти, а на своихъ коняхъ я сто миль въ день уѣду. Вы смѣтрите, господинъ, что они такіе худые?—но это еще лучше,—чтобъ мнѣ съ мѣста не сойти, если не лучше!—потому жирная лошадь ни за что такъ не побѣжить.

Насъ окружаетъ цѣлый кагалъ Лейбиныхъ пріятелей и въ одинъ голосъ восхваляетъ и бричку, и лошадей, и Лейбину ѣзду... Такого другого извозчика можетъ быть и на свѣтѣ нѣтъ, и онъ не дастъ опередить себя никому! Даже исправникъ не ѣздитъ такъ шибко, какъ Лейба!—И какъ бы въ подтвержденіе этихъ восхваленій, обиженный Лейба тычетъ зачѣмъ-то лѣвую лошадь кулакомъ въ морду и грозно кричитъ: „но!“

— Чтобъ такіе кони не побѣжали!? Пфа!

Нечего дѣлать... Подавленный всей этой массой словъ, крикливой божбы, клятвъ, восклицаній и энергичныхъ жестовъ, я влѣзаю въ бричку, которая скрипитъ и качается отчаянно... Лейба, гаркая съ пріятелями направо и налево, подбираетъ уже вожжи, машетъ кнутомъ; но въ это время какъ-то моментально вскакиваетъ въ бричку одинъ изъ его друзей, бросаетъ подъ себя большой узелъ, усаживается, а Лейба дергаетъ вожжи и отчаянно кричитъ: „вѣ“. Прыгающая по камнямъ бричка встряхиваетъ такъ жестоко, что я невольно хватаюсь рукой за сидѣнье, потомъ громко зову Лейбу, но тотъ не оборачивается, точно не слышитъ и еще отчаяннѣе хлещетъ лошадей.

— Лейба!—кричу я изо всей силы и хватаю его за рукавъ.—Лейба!

Тотъ поворачивается, наконецъ, крайне изумленный.

— Чего вамъ, господинъ?

— Какъ, что? А это что?!—указываю я ему на неожиданнаго попутчика.

— Это?—удивляется Лейба.—Это жидочекъ одинъ... ему

совсѣмъ близко... Одна—двѣ версты!.. Эй, Хаимъ, слушай, лѣзь ко мнѣ на козлы! Баринъ добрый,—позволяетъ...

Хаимъ лѣзетъ на козлы, улыбается, увѣряетъ, что ему близко и благодарить уже, а я сижу совсѣмъ смущенный тактикой обоихъ.

— Какъ же такъ,—пробую я все-таки протестовать.—О попутчикѣ у насъ не было ни слова...

— Ахъ, и какой же это попутчикъ?!—отзывается Лейба, пренебрежительно сдвигая и поднимая плечи.—Развѣ-жъ это попутчикъ? Это такъ себѣ,—жидочекъ,—и все! Не сердитесь, господинъ, я за то лучше ѣхать буду...

И онъ начинаетъ немилосердно хлестать своихъ влячь, кричать, цокать,—и тѣ пускаются вскачь, какимъ-то страннымъ галопомъ, почти неподвижнымъ, мертвымъ, грузно прыгая туловищами, поднимаясь и опускаясь на одномъ мѣстѣ... А Лейба все хлещетъ и кричитъ: „вѣ!“

Мы проѣзжаемъ три версты, четыре, пять, а попутчикъ не слѣзаетъ... Впрочемъ, я не въ претензіи,—онъ пришелся очень кстати... На каждой полуверстѣ Лейба отчаянно кричитъ: „тпрр!“ останавливается и долго возится затѣмъ съ упряжью, которая то и дѣло рвется. На такіе случаи у него припасены въ глубокихъ карманахъ всевозможные веревочки, узелки, тряпочки, которые Лейба достаетъ съ проклятьями, руганью, божбою, раздраженный тычетъ кулаками неповинныхъ лошадей и копается такъ долго, что, не помогай ему Хаимъ, мы больше простояли бы, чѣмъ проѣхали. Каждый разъ Лейба успокоиваетъ меня съ клятвою, съ божбою, что это послѣдній случай; что рваться больше нечему, что лучшей упряжи не бываетъ;—но, вотъ, новая полуверста,—и снова: „тпрр!“ снова божба, влятвы, тыканье лошадей, веревочки, узелки и новыя увѣренія, что это въ „послѣдній разъ“!

Я уже не раздражаюсь, не негодую, не упрекаю,—я дошелъ до отчаянія и понялъ, что это сама судьба, съ которой никакъ не сладишь. Цѣлыя облака густой, черной и горячей пыли двигаются съ нами, закрывая небо, солнце, залѣпляя глаза, забивая носъ, ротъ, заволакивая придорожную зелень мертвенно сѣрымъ колоритомъ. Рыжаго Лейбу она превратила въ брюнета... Эта пыль душитъ, угнетаетъ, доводитъ до отупѣнія, похожаго на столбнякъ. Вверху раскаленное добѣла солнце изливаетъ цѣлые потоки слѣпящаго огня—свѣта, и адская жара кажется еще страшнѣе въ этихъ волнахъ горячей, нака-

ленной пыли, которая, двигаясь съ нами и за нами, виситъ вмѣстѣ съ тѣмъ надъ бричкой какъ бы неподвижной тучей. Хоть бы облачко, хоть бы струйка вѣтерка! Въ этой пыльной горячей банѣ привольно однимъ слѣбнямъ, которые, шума и звеня, вьются надъ лошадьми и бричкой, присаживаясь подчасъ отдохнуть на спину Лейбина ситцеваго жилета, къ которому пришиты завѣтные висточки и тесемки ¹⁾. Бричка прыгаетъ, трясетъ, скрипитъ; Лейба то кричитъ „типр!“ и возится съ упряжью, божась и ругаясь; то неистово дергаетъ локтями и цокаетъ, понукая; а я совсѣмъ усталъ, изнемогъ, одурѣлъ и отъ этого зноя, и отъ пыли, отъ тряски, жажды, отъ Лейбинаго цоканья и тпру! Изнемогъ, одурѣлъ до того, что совсѣмъ безвольно и безучастно покоряюсь всему съ овечьимъ фатализмомъ, не раздражаюсь, не ропщу и, кажется, понемногу теряю сознание. Хитрый Лейба сразу схватываетъ все своимъ единственнымъ, но зато крайне зоркимъ глазомъ, быстро смекаетъ и перестаетъ даже извиняться за остановки и повторять свое „послѣдній разъ“. Я безучастно, какъ обреченная жертва, уставился въ Лейбинъ жилетъ и въ полудремотѣ, полустолбнякѣ слушаю усыпляющее неустанное не то гарканье, не то бормотанье, непонятное, крикливое, страстное, которымъ оба друга, Лейба и Хаимъ, повѣряютъ другъ другу свои впечатлѣнія и думы. Порою, мнѣ кажется, что оба они ругаются или дѣлать добычу. Но вотъ, они сразу смолкаютъ оба и Лейба поворачиваетъ ко мнѣ свое черное отъ пыли лицо, по сторонамъ котораго болтаются и вздрагиваютъ два пыльныхъ длинныхъ пейса.

— А что я васъ спрошу, господинъ.—говоритъ онъ какъ-то особенно вкрадчиво и останавливается какъ бы въ нерѣшительности.

— Что, Лейба?—спрашиваю я въ полуснѣ.

— Можеть, вы аэцизникъ будете?

— Нѣтъ, не аэцизникъ... А что?

— Такъ!

Лейба дѣлаетъ какой-то странный жестъ головой и шеей, который, по его мнѣнью, долженъ вполне убѣдить меня, что вопросъ предложенъ дѣйствительно только *такъ*, зря, быстро отворачивается, громко цокаетъ и кричитъ на еле плетущихся лошадей. Опять та же пыль, тѣ же толчки, тѣ же тпру! и остановки, то же крикливое гарканье друзей, сквозь которое

¹⁾ Цицелесъ. Ихъ назначеніе напоминать правовѣрному еврею десять заповѣдей.

мой полудремлющій слухъ то и дѣло ловить знакомое: исправникъ, судья, начальникъ и тому подобное, что такъ или иначе соприкасается съ жизнью обоихъ, но для чего на ихъ жаргонѣ нѣтъ соответствующихъ терминовъ. Гарканье это все растетъ, вибрируя изъ тона въ тонъ, переходитъ въ отчаянный споръ, острый, гнѣвный, въ которомъ принимаютъ участіе и плечи, и шеи, и локти, выдѣлывающіе самые невообразимые жесты, и вотъ-вотъ, кажется, дойдетъ до прямой ссоры. Мнѣ уже жаль бѣднаго Хаима, которому навѣрное придется слетѣть съ козелъ. Еще немного... но вдругъ оба друга смолкаютъ разомъ, и Лейба снова поворачиваетъ ко мнѣ свое заискивающее лицо.

— Можетъ, вы на какую службу ѣдете, господинъ?

Онъ подозрительно, зорко всматривается въ мое лицо любопытнымъ глазомъ. Меня охватила такая лѣнивая истома, такая сонливая пришибленность, что я отвѣчаю совсѣмъ нехотя, раздраженно, сквозь зубы:

— Нѣтъ, не на службу... Зачѣмъ тебѣ?

— Я такъ!

Снова тотъ же странный жестъ головой и шеей, цоканье съ жестокимъ похлестываніемъ полуживыхъ лошадей и гарканье. Какъ ни пришиблена мысль, я все-таки догадываюсь, что неустанное гарканье касается неосомнѣнно моей особы и что вопросы свои любопытный Лейба задаетъ далеко не *такъ*... Обоимъ страстно хочется догадаться или выяснить, кто я и зачѣмъ ѣду, и отвѣты мои только подзадориваютъ любопытство. По крайней мѣрѣ, погаркавъ немного, они снова разомъ смолкаютъ, и Лейба опять поворачивается ко мнѣ съ вопросительнымъ видомъ.

Но тутъ, прежде чѣмъ онъ успѣваетъ открыть ротъ, свершается что-то крайне неладное. Бричка жестоко подскакиваетъ на ухабѣ, затѣмъ раздается стонъ, трескъ, она низко склоняется на лѣвую сторону, а испуганный Лейба съ ужасомъ хватается за облучокъ и отчаянно кричитъ: „тпрр!“

— А что!?—восклицаю я съ негодующимъ торжествомъ.

Но Лейба не обращаетъ ни малѣйшаго вниманія на мое негодованіе и злорадство и только чешетъ затылокъ да ругается на всѣхъ извѣстныхъ ему языкахъ. Вся эта масса ругани относится, конечно, къ сломанной, полуупавшей бричкѣ и не такъ къ ней, какъ къ одной изъ веревокъ, которой та была подвѣзана и которая лопнула на ухабѣ. Хаимъ суетится, стучить, бѣгаетъ, что-то совѣтуетъ, но Лейба кричитъ ему презрительно и повелительно, какъ профану:— „ша“! и тотъ съезживается и смолкаетъ. Пыль улеглась, и по сторонамъ я вижу въ золотой

нивѣ пшеницы бѣлыя фигуры жнецовъ, залитыя ослѣпительно бѣлымъ солнечнымъ свѣтомъ, которыя поднимаются и всматриваются въ насъ, приложивъ ладони къ глазамъ. По всей вѣроятности созерцаемая ими картина довольно обычна для нихъ, потому что, всмотрѣвшись, они опять нагибаются и жнутъ, жнутъ и жнутъ, не разгибаясь, сверкая на солнцѣ блестящею сталью серповъ. Я оставляю друзей ругаться у брочки и по сжатою полю, спотыкаясь, подымая клубы черной пыли, бѣгу къ этимъ жнецамъ попросить напиться, хотъ каплей освѣжить запекшееся горло, боясь въ то же время, какъ бы они не приняли меня по бородѣ за еврея...

— Я вашъ,—говорю я жнецамъ,—не еврей!... Дайте, ради Бога, напиться...

Сѣдой старикъ въ бѣлой холщевой расшитой рубахѣ, худой, жилистый, поднимается первый, смотритъ на меня, оставляетъ серпъ и говоритъ медленно, съ разстановкой, къ глубокому моему удивленію:

— Намъ все равно, что еврей, что не еврей... Въ писаніи сказано: нѣсть ни еллина, ни іудея... Напейся, братъ!

Я жадно хватаю протянутый жбанъ, прикрытый тряпичей, жадно подношу его къ сухимъ губамъ, хотя жажда какъ будто и не такъ уже меня мучитъ. Можетъ быть, она просто подавлена чувствомъ восхищенія, съ какимъ я невольно всматриваюсь въ эту статную, красивую старческую фигуру сектанта.

— Спасибо!—говорю я, утоливъ жажду чистой, холодной влагой.

— Не за что, братъ,—наставительно отвѣчаетъ старикъ, такъ же медленно, съ разстановкой:—не мое это, а Божье—для всѣхъ человѣкъ сотворенное... Далеко-ль ѣдете?

— За Каневъ, дѣдъ...

— Куда-жъ это за Каневъ?

— Въ Каневъ возьму лодку на Шевченкову могилу... Слыхали?

— Какъ же не слышать,—слыхали,—улыбается старикъ.— Тараса Григорьевича? Такъ?—Вѣчная ему память!..

— Аминь!—вторитъ дѣду тонкое, полудѣтское сопрано.

Я оборачиваюсь на это „аминь“, дрожащее такимъ искреннимъ, теплымъ чувствомъ. Впереди другихъ, съ серпомъ въ рукѣ, стоитъ загорѣлая жница—подростокъ, съ тонкими, точно изваянными чертами красиваго лица, и слегка сдвинувъ брови, сосредоточенно, серьезно смотритъ своими карими глазами на меня, чужого человѣка изъ далекой стороны... Я вопросительно взглядываю на дѣда.

— Въ первый разъ на страдѣ,—улыбается онъ мнѣ въ отвѣтъ, ласково кивая головой на хорошенькую внучку.—До сихъ поръ только въ школу ходила, съ книжками возилась или что по хозяйству... ну, а теперь, вишь, захотѣла нашей работы отвѣдать... Возьми, да возьми, дѣдъ, такъ и присосалась какъ пивка.—Ну, а развѣ ей откажешь? Какъ же! Хоть и жалко, потому,—молода;—а взялъ—ничего съ нею не подѣлаешь! Ишь ты, какъ выросла!

Дѣдъ оглядываетъ любовнымъ, счастливымъ взглядомъ зардѣвшуюся внучку и шутливо накидывается на нее, не переставая улыбаться:

— Ну, что—пристала? ага,—не сладко, хоть, и просилась?! Знать, мужицкая наша работа не то, что пѣсни пѣть,—а?! Залѣнилась?!

Та вспыхиваетъ какъ порохъ и въ видѣ горячаго протеста даже противъ шутливаго упрека, быстро нагибается и молча взмахиваетъ блестящимъ серпомъ, который такъ и ходитъ, такъ и сверкаетъ въ ея маленькой, но сильной рукѣ.

— Вишь, какъ кладетъ, какъ кладетъ!—восторгается старый дѣдъ, улыбаясь, весь сіяя горделивымъ счастьемъ...—Стой, Катря, будетъ, будетъ, отдохни! Лучше, скажи намъ какую-нибудь пѣсню батъка Шевченка... Вотъ и люди послушаютъ,

Но Катря не хочетъ. Низко наклонившись надъ серпомъ, она сдерживаетъ молодую самодовольную улыбку и жнетъ еще быстрѣе. Счастливый дѣдъ громко смѣется, а сверху весело вторитъ ему звонкою, отрывистою трелью жаворонокъ, вкружась и ныряя въ теплой лазури, тоже какъ будто любуясь этой страдной идилліей...

Наконецъ, брича подвязана, закрѣплена, для чего Лейба пожертвовалъ добрымъ кускомъ веревочныхъ вожжей и мы снова плетемся съ гарканьемъ, скрипомъ, цоканьемъ, поднимая густыя облака пыли. Но вотъ, къ счастью, пыль улегается, исчезаетъ,—мы въѣзжаемъ въ густой, желтоватый песокъ и плетемся еще тише, еле-еле двигаясь впередъ, несмотря на все Лейбино цоканье и нещадное хлестанье внудомъ. Горячее солнце прямо палитъ сверху, но впереди виднѣется пелена лѣса, темная, густая, въ которую врѣзается впереди песчаная дорога, и всѣ мы встряхиваемся, оживаемъ, предвкушая прелесть живительной свѣжести лѣсной, душистой сѣни. Даже полуживые тощіе кони приободрились и какъ будто стараются прибавить шагу, хотя, по

правдѣ, это никакъ имъ не дается. Мало-по-малу, однако, густой темный фонъ лѣса свѣтлѣетъ, постепенно становится ярче, играетъ и манитъ глазъ всевозможными оттѣнками зелени, то горячей, сверкающей на солнцѣ, то залитой почти черной тѣнью, а ясень и дубы опушки протягиваютъ къ намъ какъ бы дремлющія въ зноѣ, широко, — точно для привѣта разставленные руки, — густыя, тяжелыя вѣтви. Еще немного нетерпѣливаго, страстнаго томленія и глухіе бубенцы Лейбиной пары какъ-то робко дребезжатъ въ гулкой дремлющей лѣсной сѣни; повеселѣвшіе сразу бони радостно машутъ хвостами и фыркаютъ; наши глаза, измученные слѣпящимъ свѣтомъ, отдыхаютъ, а уставшая грудь, запевшееся горло, горячія ноздри и нѣбо жадно пьютъ бодрящій полувлажный, тѣнистый воздухъ, насыщенный пропитанный смѣшаннымъ балзамическимъ ароматомъ орѣшника, липы, лѣсной кашки, медунчика и золотоцвѣта... Гдѣ-то томится и поетъ одинокая горлица, гдѣ-то отрывисто и робко насвистываетъ, скачущая съ вѣтки на вѣтку, малиновка... И откуда то, — совсѣмъ издалека, — точно доплывая воздушными ароматными волнами, глухо доносится грудное, глубокое контральто: куку! куку! — минорное и таинственное, — самой тоскливой птицы...

— Хорошо! — вырывается у меня невольно.

— Теперь хорошо, а что тутъ было прежде! — качаетъ укоризненно головой повеселѣвшій Лейба. — Теперь, слава Богу, вырубили, а развѣ здѣсь такой лѣсъ былъ?! На сто миль одинъ лѣсъ, ажъ за самый Кіевъ...

Лейба очевидно справился съ конфузомъ, вызваннымъ плачевнымъ казусомъ съ его великолѣпной бричкой, изъ-за котораго пришлось пожертвовать вожжами и теперь старается загладить дурное впечатлѣніе.

— Что тутъ только дѣялось! — качаетъ онъ головой.

— Что же такое, Лейба? —

— Ай, что дѣялось! — говоритъ онъ полуоборачиваясь. — Сколько тутъ разбойниковъ было, — ни проходу, ни проѣзду... Еще за панцину, когда я совсѣмъ маленькій былъ и куда раньше, — за козаковъ, когда и дѣда на свѣтѣ не было!.. Ай, сколько тутъ и пановъ и жидовъ рѣзали... фа! — содрогается отъ омерзѣнія Лейба, крутитъ носомъ и даже сплевываетъ съ отвращеніемъ...

Я знаю, что за лѣса здѣсь были, я понимаю, почему Лейба сплевываетъ. Въ этихъ дремучихъ лѣсахъ ютился родниѣ истерпаемой энергіи, съ которой когда-то отстаивалъ народъ свои права и волю. Изъ этихъ дремучихъ тайниковъ вытекали тѣ невидимые, неслышныя ручейки, что, сходясь вмѣстѣ, слива-

лись въ многошумное грозное море народныхъ движеній, кровавыя волны котораго заливали часто весь долъ отъ Случи до моря, ничего не разбирая, не останавливаясь ни предъ чѣмъ. Тайными тропами здѣсь пробирались за совѣтомъ къ Мажиторскому Спасу смѣлые ватажки и послы запорожья, — здѣсь организовывалась рать Острицы, — первая сильная народная рать, заставившая дрожать всѣ устои шляхетства... Здѣсь ютилась и выросла та неукротимая энергія, съ которой Дорошенко пытался поправить дѣло Богдана, отсюда грянула потомъ страшная „коліївщина“, эта послѣдняя народная гроза, какъ послѣдняя судорога задыхающейся жизни. Въ таинственной сѣни этихъ дремучихъ лѣсовъ сподвижники Гонты святили ножи для борьбы за свою правду и ждали условнаго набата. Она же, — эта сѣнь глубокихъ лѣсныхъ тайниковъ, — въ наступившее затѣмъ тяжелое время „панщины“, — скрывала всѣхъ, кто не мирился съ этой панщиной, кто такъ или иначе рѣшался бороться съ нею даже безъ надежды на побѣду и кого легенды и пѣсни подняли за это на страшную высоту народныхъ защитниковъ и ратоборцевъ. Такъ или иначе, но эти дремучіе, молчаливые лѣса жили самою кипучею, страстною жизнью, принимали участіе въ многовѣковой драмѣ-распрѣ, въ отчаянномъ спорѣ двухъ народовъ, двухъ различныхъ началъ, которыя несли эти народы, двухъ противоположныхъ міросозерцаній шляхетства и народничества. Первое наступало, второе боролось, прикрытое родимомъ чащей. И какъ въ каждомъ спорѣ „третьему“, такъ или иначе вмѣшивающемуся въ чужой споръ, всегда приходится очень жутко, — такъ же жутко приходилось тогда дѣдамъ и отцамъ Лейбы, для котораго все это только разбойничество и разбойники... Оттого-то онъ и сплевываетъ съ отвращеніемъ...

— Фа! — все еще содрогается Лейба. — Слава Богу, — вырубили... Теперь другой мужикъ сталъ, — смиренный...

— Да, вырубили... Былое исчезло и быльемъ поросло, но оно оставило свои могилы и руины, близкія сердцу потомковъ. Многіе годы затѣмъ на этихъ могилахъ и руинахъ росли только мертвые цвѣты старой вражды и распри, забытыхъ счетовъ и недовѣрія, придававшіе всему какой-то безнадежно печальный, тоскливо мертвый видъ. И только теперь вотъ, изъ глубокихъ нѣдръ сырой черной земли показались другіе ростки, другіе всходы, — яркіе, какъ зелень плюща, обвивающаго сѣрый, пыльный камень, — на которыхъ живымъ цвѣтомъ вырастаетъ уже совсѣмъ другая, хотя бы и та идиллія, которую я видѣлъ и которой вторилъ жаворонокъ, купался въ лазури, согрѣтый солнцемъ...

Но Лейба снова поворачивается ко мнѣ заискивающимъ лицомъ.

— А можно васъ спросить, господинъ?—спрашиваетъ онъ крайне сладко и нервнѣтельно.

— Что, Лейба?

— Можетъ, у васъ въ Каневѣ есть папенька и маменька, или сродственники?

— Нѣтъ, Лейба,—говорю я улыбаясь;—у меня тамъ никого нѣтъ, даже знакомыхъ... Но зачѣмъ тебѣ?

— Зачѣмъ?! Такъ!—отвѣчаетъ Лейба съ прежнимъ жестомъ.

— Ну, нѣтъ... Говори, зачѣмъ?

— Такъ!.. Чтобъ мнѣ не сойти, если не *такъ*!—клянется Лейба.—А только, звѣстно, очень удивительно, зачѣмъ господинъ ѣдетъ въ Каневъ, когда тамъ и службы нѣтъ, и никого нѣтъ!—ловко ставитъ свой вопросъ хитрый Лейба.

Я невольно смѣюсь, что, видимо, осмѣливаетъ Лейбу, и говорю ему:

— Изъ Канева я поѣду лодкой на могилу,—знаешь?

— На могилу!?

Оба уже, и Хаимъ, и Лейба, быстро поворачиваются и смотрятъ на меня съ недоумѣніемъ и недовѣріемъ, но черезъ мгновеніе Лейба догадывается...

— А—а... на могилу!—радостно кричитъ онъ.—Что надъ самимъ Днѣпромъ,—слыхалъ!.. Туда, говорятъ, много господъ ѣздятъ каждый годъ... И господинъ туда?

— И я туда... Ну, что жъ ты еще знаешь про эту могилу?

— Что жъ мы можемъ знать, когда мы темные!?—кокетничаетъ Лейба, дергая плечами.

— Нѣтъ, однако?.. Кто тамъ похороненъ?

— Кто?!—дергаетъ Лейба плечами.—Богъ его знаетъ, кто, а только слыхать, что очень умный господинъ, который книжки писалъ.

— Вѣрно, Лейба!

— Мое подтвержденіе еще болѣе осмѣливаетъ Лейбу и тотъ уже самъ заговариваетъ послѣ короткой паузы:

— Разное слыхать, а только, кто его знаетъ...

— Что такое?—подхватываю я.—Говори, Лейба, говори.

— А то—отвѣчаетъ Лейба:—что у того человѣка умъ за разумъ зашелъ, сказываютъ...

— Какъ такъ?

— А такъ... Онъ хотѣлъ такъ сдѣлать, чтобъ все одна вѣра была...

— Одна вѣра?

— Ну, да... Чтобъ, значить, ни поляна не было, ни жиды, ни русскаго, — а все одна вѣра... Оттого его и похоронили тамъ послѣ смерти, потому ни одно кладбище къ себѣ принимать не хотѣло... Звѣстно, — не нашъ, — и не хотѣло принимать!.. Куда ни понесутъ, вездѣ говорятъ: намъ не нужно, несите въ другое мѣсто!.

Такого варианта слагающихся уже легендъ я не слыхалъ еще и недоумѣваю: плодъ ли это досужей фантазіи самого Лейбы или дѣйствительно нѣчто въ родѣ нарождающагося новаго варианта. Лейба клянется, — но я знаю уже, что значатъ его клятвы, къ тому же этотъ вариантъ не имѣетъ ничего общаго съ другими. Въ далекихъ отъ Днѣпра глухихъ деревняхъ, гдѣ бродитъ легенда, говорятъ другое. Тамъ живая молва превратила великаго поэта въ богатыря героя, въ родѣ Нечая или Дорошенки, своего защитника ратоборца, который легъ на берегу Днѣпра, сраженный на томъ мѣстѣ вражеской рукою. Пѣсни его, которыя поютъ и знаютъ вездѣ? — но какой же народный герой Украины не оставлялъ послѣ себя пѣсенъ или народъ ихъ ему ни приписывалъ?! Герой и поэтъ, творецъ пѣсни или думы, — это излюбленный, обычный типъ героевъ Украины въ представленіи ея народа...

Да и правды тутъ много... Развѣ поэтъ, выступающій одинъ, съ открытой грудью, съ приподнятымъ забраломъ, на борьбу со всѣмъ зломъ, что его окружаетъ, не тотъ же герой-ратоборецъ? Развѣ не истекаетъ онъ, какъ и тотъ, за народъ кровью, горячія капли которой претворяются въ дивныя, бессмертныя пѣсни? И развѣ эта вѣщая пѣсня не такъ же рветъ цѣпи неправды, какъ мечъ богатыря?

Но лейбиный вариантъ совсѣмъ другое... Тутъ, очевидно, человекъ что-то слыхалъ, что-то схватывалъ на лету, зналъ и объ „умныхъ книжкахъ“, но все это уложилъ въ рамки, соответствующія вполнѣ духу лейбинаго стремленія къ обособленности... Самымъ жестокимъ являлась бы для Лейбы мысль не лежать на общемъ своемъ кладбищѣ, что могло бы случиться только при условіи отступничества Лейбы отъ „своихъ“, — и понятно, что одинокая могила поэта вызывала его на соответствующія размышленія, которыя, при пылкой фантазіи, легко могли перейти въ непосредственное творчество.

— Охъ, Лейба, кажется, это твоя собственная догадка...

Но Лейба клянется, что онъ слыхалъ это отъ разныхъ людей.

— Чтобъ мнѣ съ этого мѣста!.. — но вдругъ онъ обрываетъ и радостно указываетъ въ сторону кнутовищемъ, гдѣ влѣво отъ дороги обрисовывается длинная бѣлая корчма.

— Тутъ кормить будемъ, — кричитъ онъ, точно обрадовавшись новой темѣ: — и господинъ закусить можетъ!.. хорошая корчма, все есть, что нужно... Нѣмецъ одинъ держать!..

Такъ и не выяснивъ вопроса о происхожденіи варианта, мы сворачиваемъ къ корчмѣ съ поканьемъ и криками: вѣ! — при чемъ нетерпѣливый Лейба дергаетъ и локтями, и ногами... Вмѣстѣ съ нами подѣзжаетъ туда же встрѣчная бричка каневского извозчика, битомъ набитая евреями, и встрѣтившіеся соотечественники поднимаютъ невообразимый гвалтъ, не то радостный, не то бранный...

— О чемъ вы ссоритесь? — улыбаясь, спрашиваю я Лейбу.

Но Лейба принимаетъ мою шутку въ серьезъ и спѣшитъ меня успокоить...

— Борони Богъ, мы не ссоримся!.. Это мы такъ!..

Солнце все еще жжетъ, и яркіе лучи его, проникая сквозь грязноватые оконныя стекла и бѣлую коленкоровую, довольно пыльную, занавѣску, ложатся длинными желтоватыми полосами на темный крашенный столъ и грязный невымытый полъ. Въ окнѣ бьется большая муха, воздухъ въ крошечной отведенной мнѣ для спанья горенкѣ душный и затхлый и только запахъ свѣжаго сѣна моей постели скрашиваетъ эту душную затхлость... Я проснулся, потому что меня разбудилъ Лейба.

— Господинъ все еще спитъ? — спрашиваетъ онъ какъ будто и осторожно, но на столько громко, чтобы непременно разбудить меня.

— Нѣтъ, не сплю, — отвѣчаю я, зѣвая. — А что?..

— Ничего! — какъ-то загадочно грустно отвѣчаетъ Лейба. — А только я не знаю, что мы теперь дѣлать будемъ?

Я всматриваюсь и только теперь замѣчаю его грустный, смущенный видъ и различаю его вздохи.

— Какъ, что дѣлать? — говорю я еще плохо соображая. — Запрягать и ѣхать... Но Лейба какъ-то безпомощно стегаетъ кнутомъ свои ноги.

— Ёхать?! А когда у меня лошадь ногу сбила и дальше итти не можетъ... Вотъ какая бѣда пришла! — говоритъ онъ съ глубокимъ вздохомъ.

Тутъ я вскакиваю и встревоженными донельзя глазами всма-

триваюсь въ Лейбу. Онъ чувствуетъ, что давно потерялъ всякій кредитъ, но его безпомощно жалкій видъ исключаетъ всякое сомнѣніе, а въ глазахъ читается укоръ самонадеяннѣйшему движенію недоверія. Весь Лейба—одинъ олицетворенный вздохъ скорби и сожалѣнія. Такъ притвориться, сыграть такъ роль могъ бы только величайшій актеръ, а не извозчикъ Лейба, и я всецѣло вѣрю ему, забывая классическое предостереженіе, что величайшіе актеры не на сценѣ, а въ жизни... Я волнуюсь, упрекаю Лейбу, выговариваю ему за то, что онъ подвелъ меня, обѣщавъ великолѣпіе, которое оказалось на самомъ дѣлѣ дохлыми клачами, но въ душѣ я ему сочувствую и готовъ скорбѣть вмѣстѣ съ нимъ... Онъ это смекаетъ, клянется, что ему жаль меня, — такого господина, ахъ, такого хорошаго! — вздыхаетъ, проклиная свою долю и на мой вопросъ:—что дѣлать?—отвѣчаетъ скорбно, что одинъ только выходъ, — условиться со встрѣченными нами при вѣздѣ въ корчму каневскимъ извозчикомъ, который, все равно, ѣдетъ назадъ, такъ какъ ѣхалъ съ пассажирами только до этого села...

— Мнѣ только дадите, что будетъ слѣдовать за этотъ конецъ!—говоритъ добродушно Лейба:—это,—сколько хотите, потому, звѣстное дѣло,—вы хорошій господинъ, не обидите бѣднаго жидѣ! Призванный извозчикъ, черный, весь обросшій почти до самыхъ глазъ, съ густыми сросшимися бровями, охотно соглашается везти меня,—отчего не помочь хорошему господину?—за условленную съ Лейбою плату, самъ берется выплатить изъ нея слѣдующее за конецъ Лейбѣ и требуетъ только доплаты полтинника... При этомъ онъ сообщаетъ, что у него уже есть одинъ сѣдокъ,—тоже очень хорошій господинъ,—и что я поѣду въ качествѣ попутчика... Въ восторгѣ, что дѣло уладилось, я соглашаюсь на все и дарю бѣдному убитому Лейбѣ полтинникъ на чай. Лейба вздыхаетъ, разсыпается въ благодарности и исчезаетъ вмѣстѣ съ чернымъ какъ смоль Абрумомъ.

Но не болѣе какъ черезъ часъ обнаруживается, что и тутъ коварный Лейба остался вѣренъ себѣ. Эта испорченная лошадиная нога оказалась на дѣлѣ тѣмъ же, что и обѣщанное имъ великолѣпіе, что и обѣщаніе не опоздать, что и всѣ другія заклинанія... Онъ просто на просто сдѣлалъ выгодный гешефтъ, „смынилъ“ меня черному каневскому Абруму, забравъ всѣхъ его пассажировъ и поѣхалъ назадъ, потому что обоимъ, и Лейбѣ, и Абруму, выгоднѣе было вернуться домой. Когда мой невольный спутникъ, усатый брюнетъ лихого вида, съ краснымъ околышемъ и ковардой, разъяснялъ мнѣ всю эту продѣлку подъ честнымъ

словомъ „благороднаго человѣка и русскаго дворянина“ я не хотѣлъ вѣрить ни этому слову, ни русскому дворянину, хотя Абрумъ подозрительно хранилъ молчаніе, не возражалъ и только цокалъ на лошадей.

— Позвольте-съ, да вы совсѣмъ не знаете этого жидовско-польско-хамскаго края!—обидѣлся красный околышъ на мое невѣріе... Онъ успѣлъ уже отрекомендоваться мнѣ „страстотерпцемъ“ на службѣ „русской идеѣ“, который вездѣ только терпѣлъ гоненія. Онъ совершалъ подвиги, служилъ обрусѣнію, открывалъ измѣны, ловилъ злодѣевъ, приводилъ въ покорность, умиралъ и вмѣсто награды получалъ одни терніи, когда начальство получало изъ-за него кресты и оклады. „Пострадавъ“ по доносу на служеніи русской идеѣ, т.-е. попавъ подъ судъ, онъ махнулъ на службу рукой:— Пусть, разумѣется, гибнуть, если не умѣютъ цѣнить заслугъ! и пристроился теперь агентомъ какой-то фирмы, но скупилъ хлѣба и свекловицы для заводовъ. Такіе лихіе, бравые околыши попадаютъ преимущественно на окраинахъ и въ мѣстахъ покоренныхъ, куда вызываютъ „служить идеѣ“, недоувѣряя мѣстному населенію. Они бьютъ зубы, хлещутъ нагайками и кормятъ евреевъ свинымъ саломъ, пока не попадутъ подъ судъ, какъ мой спутникъ,—послѣ чего ропщутъ на начальство, не цѣнящее заслугъ и посылаютъ дышація слезами оскорбленной невинности статьи въ соотвѣтствующіе органы печати, стоящіе „на стражѣ“... Я не знаю, каково жить съ ними, но ѣхать вмѣстѣ,—право, жутко...

— Помилуйте-съ!—обидчиво продолжаетъ онъ, все болѣе и болѣе впадая въ негодующій тонъ.—Да развѣ здѣсь люди!?—и онъ, захлебываясь, разсыпается самой отчаянной бранью... Галушки-съ, пейсы, разные впендзи-бендзи, — развѣ это народъ!? Вѣшать надо, если хотите порядка-съ,—всѣхъ вѣшать-съ,—иначе...

Но тутъ поворачивается черный Абрумъ.

— А кто же будетъ, позвольте спросить,—деньги платить и хлѣбъ сѣять, если всѣхъ вѣшать?—говоритъ онъ, недоумѣвая.

Это ошеломляетъ „русскаго дворянина“ своею дерзостью... Сначала онъ умолкаетъ, сидитъ мгновеніе съ открытымъ ртомъ, но затѣмъ въ неподвижныхъ глазахъ вспыхиваетъ огонекъ, а съ устъ срывается какое-то хриплое шипѣніе...

— Мм..а..а..л..чать!

Абрумъ моментально съезживается, но это не помогаетъ и обиженный „дворянинъ“ хватается его за лохмотья рукава.

— Смѣнилъ?! Говори,—смѣнилъ твой Лейба,—а!? Признавайся, свиное ухо, нине то...

Абрумъ безпомощно поворачивается ко мнѣ.

— Ну, что жъ,—говорить онъ, не подтверждая и не отрицая:— у бѣднаго Лейбы жена помираетъ... У бѣднаго Лейбы семеро дѣтей, которыхъ кормить нужно,—а кто ихъ покормить? И чѣмъ теперь, скажите на милость, господинъ, бѣдному жидку заработать? Что ему теперь дѣлать?.. И овесъ дорогой, и сѣно дорогое, а заработать негдѣ...

— Околѣвай!—шепчетъ обиженный околышъ, но осмѣленный Абрумъ не обращаетъ вниманія на эту вставку, совсѣмъ поворачивается ко мнѣ и говоритъ дальше:

— Опять же, господинъ сказалъ, что мужикъ лѣнтый... А кто же хлѣбъ сѣть и молотить, если мужикъ лѣнтый, позвольте спросить?—говорить онъ въ видѣ протеста. — Что онъ водку пьетъ? такъ на то же и кабакъ строить, чтобъ онъ водку пилъ...

Но „дворянинъ“ не даетъ продолжать Абруму... Захлебываясь отъ негодованія и гнѣва, онъ поворачивается ко мнѣ, протягиваетъ руку въ воздухъ, угрожающе тычетъ указательнымъ пальцемъ и шипитъ злорадно и негодуя:

— Слышите, слышите, какія идеи,—а?! Въ воздухѣ, говорю вамъ, носится, въ воздухѣ-съ!..

II.

Тихій вечерній сумракъ. Голубое небо, потерявшее уже свою глубину, блѣднѣетъ все больше и только западъ дрожитъ еще полутонами оранжеваго и розоваго свѣта, постепенно утопая въ надвигающейся фіолетовой дымкѣ. Слоистое облако прорѣзало длинной темной чертой эти угасающіе свѣтовые тоны и повисло надъ горизонтомъ какъ бы птицей, распластавшей неподвижно громадныя тонкія крылья; въ утру оно исчезнетъ, а теперь сулитъ новую жару на завтра. Вечерній сумракъ дышетъ въ упоръ живительной прохладой, въ которой отдыхаетъ все истомленное зноемъ, погружаясь мало-по-малу въ тихую, усталую дрему, а вверху вспыхиваетъ блѣдная игривая звѣздочка, до которой никакъ не доберется этотъ усыпляющій сумракъ. Навстрѣчу ему улыбается съ блѣднаго неба узкій рогатый мѣсяцъ,—онъ любитъ нѣжный сумракъ, полный гаснущихъ свѣтовыхъ эффектовъ,—и лодочникъ Охримъ безмолвно радуется, что новый мѣсяцъ приходится ему справа, потому что это хорошая примѣта... Я жадно вдыхаю бодрящій влажный воздухъ, въ которомъ нераздѣльно смѣшались вмѣстѣ ароматы луговой

травы и прибрежной рощи, лучи свѣтовыхъ полутоновъ, рѣчная влага и запахъ смолы нашего челна-дуба, на какомъ переѣзжали Днѣпръ еще дѣды. Мы плывемъ почти у самой кручи высокаго берега, въ глубокой тѣни, гдѣ вода отливаешь чернымъ цвѣтомъ чугуна и откуда низкая сторона лѣвобережья кажется подернутой пепельнымъ свѣтомъ. Нескрытая береговой тѣнью зеркальная гладь рѣки, окрашенная всѣми вечерними тонами неба, съ отраженными звѣздами, съ рогатымъ мѣсяцемъ въ глубинѣ, полна какой-то меланхолической тайны и дышетъ легкой, чуть-чуть улыбающейся грустью, какъ напѣвъ малорусской думки. Что-то вспоминается неясное, отрывистое, какіе-то смутные обрывки проносятся мимо, что-то щемитъ и какъ-то невольно прорѣзается въ памяти и охватываетъ душу то жуткое и манящее вмѣстѣ настроеніе, съ какимъ, бывало, въ дѣтствѣ слушаешь сказки о богатствахъ водяного... Кругомъ такая тишь, что я слышу всплески легкой струйки, которая вьется у носа быстро скользящаго челна... Даже круговая, медленно тающая волна отъ играющей рыбы долетаетъ, кажется, до слуха неясной глухой тѣнью какого-то звука, до того глубока эта спящая, неподвижная тишина надвигающейся ночи.

— Должно быть сомъ,—говоритъ Охримъ. — Ну, и здоровая жъ рыбина!..

Дѣйствительно всплеснуло что-то большое, грузное, тяжелое плепнуло о воду и звукъ этого всплеска дрожить и какъ бы медленно качается въ неподвижномъ воздухѣ. Сумракъ становится все гуще, — темная звѣздная ночь невидимо надвигается на него со всѣхъ сторонъ и прямо дышетъ уже на потухшій западъ глубокой черной мглой. Охримъ ударяетъ рѣзко весломъ и, огибая отмель, мы выплываемъ изъ черной береговой тѣни въ рѣчной просторъ, отливающий цвѣтомъ вороненой стали, въ густой глубинѣ котораго качаются, точно золотыя капли, отраженные звѣзды. Вся сталь рѣки блеститъ такимъ золотымъ чеканомъ, потому что въ почернѣвшемъ сразу небѣ давно уже сверкаютъ звѣзды безъ счета. Гдѣ-то сбоку, въ низкой черной мглѣ лѣвобережья сверкнулъ багрово-красный отблескъ костра и пахнулъ на насъ легкой дымовой струйкой, которую принесли невидимыя волны все сгущающагося мрака. Эти же волны приносятъ къ намъ оттуда и легкое, далекое ржанье и мелодичныя звуки сопѣлки. Издали, въ неподвижной, застывшей тишинѣ, ея дрожащія тоны звучатъ еще глубже, еще печальнѣе, отдавая чѣмъ то похожимъ на сдавленный, безслезный плачь. Охримъ, котораго видимо тяготятъ и эта густая мгла ночи, и тишина, и без-

любе, и молчанье, какъ бы подзадоренный ворвавшимися звуками жизни, не выдерживаетъ. Онъ поворачивается на багрово-красную точку далекаго костра и медленно глубоко вдыхаетъ могучею грудью воздухъ, стараясь втянуть его, какъ можно болѣе.

— Эге... ге!... — несется его долгій, протяжный крикъ по водѣ, медленно удаляясь въ черную густую мглу, которая несетъ его дальше еще медленнѣе, какъ бы растягивая въ своей массѣ. Такъ кричитъ одинокій журавль, когда завидитъ издали родную стаю... Протяжный крикъ долго виситъ въ воздухѣ, потомъ, точно ударившись гдѣ-то далеко, отскакиваетъ глухимъ эхомъ, замираетъ и тонетъ безъ слѣда. Наступаетъ короткая пауза совсѣмъ могильной тишины и вдругъ прерывается отвѣтнымъ крикомъ, который доносится издали сначала слабо, потомъ все растетъ и растетъ, протягиваясь, становясь глубже и сильнѣе, и глухо ударяется наконецъ о береговую кручу.

— Пастухи, — говоритъ Охримъ, вслушавшись въ отвѣтный откликъ, — коней стерегутъ... Бѣда теперь съ конями, пане, — того и гляди уведутъ конокрады... Угонять за Днѣпръ, а тамъ и поминай, какъ звали... И такое пошло теперь конокрадство, что не знаешь уже, — заводить ли тебѣ лошадь, или не заводить...

— Отчего такъ? — спрашиваю я Охрима, которому страстно хочется поговорить.

— А оттого, — отвѣчаетъ удовлетворенный Охримъ: — что, первымъ долгомъ, народъ ослабъ. Съ того голоду, что былъ, такъ обнищаль, что кто первымъ хозяиномъ, можетъ быть, былъ, теперь послѣднимъ сталъ... И поправиться никому нечѣмъ, потому что и земли все меньше и меньше у каждаго, и земля хуже родить стала. Нѣтъ скота — и навозу нѣтъ, а навоза нѣтъ, — и хлѣба нѣтъ... Задолжали кругомъ и кругомъ обнищали, ну, съ того и выдается на все человѣкъ. Что прежде и въ думѣ не роилось, на что и рука не поднималась, теперь съ бѣды да съ горя — ничего, идетъ! Самый лучший человѣкъ, кажется, а глядишь, — на плохое идетъ! Вотъ, оно какъ стало... А другое-то, что жиды погнали со всѣхъ мѣстъ... Сбили ихъ въ кучу, ну, а извѣстное дѣло, кормиться чѣмъ nibудь да нужно же, — не растетъ хлѣбъ на улицахъ, камнемъ дѣтей не покормишь... Вотъ и идетъ оно такъ то!..

— Ну, Охримъ, — говорю я: — ты ужъ, кажется, слишкомъ. Послушать тебя, такъ и жить покажется тошно...

Но Охримъ укоризненно качаетъ головой на мою вставку.

— Эхъ, пане, вотъ то-то и есть, что вы живете въ большемъ городѣ и про нашу недолю не слышите... Да и какъ

вамъ увидѣть или услышать? А вотъ, хотите, я расскажу вамъ, что на свѣтѣ бываетъ, только послушайте. Былъ себѣ человѣкъ, богатый не богатый, а такъ, съ достаткомъ человѣкъ, — хорошій хозяинъ. Всего у него было вдоволь, — и хата хорошая, и скотъ, и хлѣба запасъ, и всего чего нужно. Семья большая была, кромѣ него да его бабы, пятеро малолѣтокъ да дѣдъ, слѣпой старикъ, что такъ и не сходилъ почти съ печи, ну, а ничего, — всѣ сыты были, никто рукъ не протягивалъ... Только, вотъ, и подошелъ лихой годъ, — ничего у него не родилось, — даже сѣмянъ не собралъ. Ну, перебивался человѣкъ, запасъ какой былъ — съѣлъ, скотину одну другую продалъ, — выстоялъ какъ никакъ... Дастъ Богъ, думаетъ, съ другого урожая поправлюсь... Хорошо! Только, вотъ, другой годъ еще того хуже, — ни травинки тебѣ, ни соломинки!.. Завыли мужикъ съ бабой, — да что жъ вытьемъ-то подѣлаешь? — Хоть и видятъ, что конецъ приходитъ, а все жъ промышлять какъ-нибудь да надо... Стали продавать скотину, — а ей цѣна грошъ, — только шкуру одну и цѣнять. Самимъ кормить нечѣмъ, — потому что и крышу давно уже скормили, — такъ и пустили за грошъ все, — ну, а на грошъ такую семью не прокормишь... Дѣти воютъ съ голоду, старый дѣдъ себѣ смерти просить, и взять ничего негдѣ, — потому что у всѣхъ кругомъ бѣда такая жъ, — еще кто побѣднѣе былъ, тому и похуже выходило. Тутъ и баба не выстояла, — померла; — занедужила, — сколько дней провалялась больная безъ памяти да и отдала Богу душу.. Хоронить не на что было, — славу Богу, батюшка добрый былъ, — въ долгъ похоронилъ, — потомъ, — говорить, — отдашь, а гробъ люди сколотить помогли, — кто доску, кто полдоски, — такъ и сколотили. Совсѣмъ опустили руки у мужика и голову съ горя, бѣдную, потерялъ, — ничего и придумать не можетъ. Слышно стало, что помощь бѣднотѣ идетъ, да только ту деревню никакъ въ голодные записать не хотѣли, потому раньше богачами считались, — ну, и помощи никакой не было, — сами, значить, изворачивайтесь, какъ хотите!.. Кто тому причиной былъ, — кто его знаетъ, — одинъ на писаря говоритъ, другой на старшину, третій еще на кого, — никакъ не разберешь, а только такъ и не записали... Вотъ и стали хорошіе хозяева бѣднѣе нищихъ, — кто съ сумой пошелъ, бусками побираться; кому удача выпала, — за четверть цѣны на лѣтніе работы подрядился и задатокъ получилъ, кто еще что, — ну, а тотъ мужикъ другое надумалъ... Гордый былъ, — не тянулась рука за милостыней, привыкъ, значить, къ почету, какъ хорошимъ хозяиномъ считался всегда, — а на работу под-

рядиться и задатокъ взять неудалось, — ну, и свое выдумалъ... Въ одинъ базарный день, глядятъ люди, идетъ по городу въ самый народъ мужикъ на смерть похожій и двухъ старшихъ хлопцевъ своихъ на веревкахъ, ровно бы телятъ, впереди себя гонить. Сталъ середъ базару да и кричитъ: Гей, — кричитъ, — люди добрые, послушайте!.. Былъ я хозяиномъ, теперь, вотъ, купцомъ сталъ... Весь товаръ продалъ какой былъ, теперь, вотъ, послѣднее продаю... Гей, люди добрые, — кто изъ васъ хочетъ паномъ сдѣлаться — покупайте!.. Двѣ вольныя казацкія души, — кричитъ, — продаю, чтобы трехъ малыхъ спасти! Вотъ какъ пане! Кричитъ, а самъ плачетъ...

— Ну, и что же, Охримъ?

— Ну, извѣстно что, — отвѣчалъ Охримъ: — пожалѣлъ его народъ... Хоть и всѣмъ бѣда была, да громада великій человекъ, пане, — громада все можетъ!.. У кого и слезу прошибло, и завернула громада свои свиты какъ одинъ человекъ и стала шарить въ карманахъ. Кто грошъ тянетъ, кто три, а кто, глядишь, и побольше кладетъ... Полную шапку ему наклали, а потомъ онъ свиту подвернулъ, — и въ полу ему сыпали. — „Бери человекъ, — кричатъ ему, — да береги своихъ хлопцевъ, — выкупаешь ихъ у тебя громада. Пусть растутъ въ батька, какимъ мы тебя знаемъ, — ну, и пусть же громаду помнятъ!“ — Кланяется человекъ на всѣ четыре стороны, отъ слезъ и слова сказать не можетъ, а тутъ еще и жидъ изъ лавочки выходитъ, — что прежде въ селѣ торговалъ, пока можно было... Узналъ онъ мужика и сѣдой головой закачалъ.

— „Ой, говорить, Дмитро, — неужто жъ и ты до такой бѣды дошелъ?! Гляжу, говорить, и своимъ старымъ глазамъ не вѣрю... Всякое видалъ, а такого не ожидалъ... Ой, и жалко жъ мнѣ тебя, говорить! На, говорить, и отъ меня возьми помочъ, знаю тебя, когда сможешь, то и отдашь! „Поправляйся, добрый человекъ!..“

И далъ тутъ ему старый Сруль цѣлыхъ десять цѣлковыхъ. Вся громада, что на базарѣ была, удивилась, а Дмитро ему въ ноги поклонился.

— „Спасибо, говорить, Сруль, никогда тебя не забуду, а дастъ Богъ, — и отслужу, можетъ быть... Не дастъ Богъ вѣку, — дѣтямъ закажу!.. Хоть и другой ты съ нами вѣры, — а видать, Богъ одинъ у всѣхъ и душа у всѣхъ одинаковая!“ — Такъ вотъ, оно какъ, пане, бываетъ... Ге, да никакъ уже и крестъ видать!..

Охримъ ударилъ весломъ и повернулъ челнокъ. Черная береговая круча разорвалась какъ бы на двое глубокой балкой и

въ этотъ просвѣтъ выглянуло осыпанное звѣздами небо... По другую сторону этого просвѣта, съ черной береговой кручи, прямо врѣзывался въ звѣздное небо, плавно двигался намъ на встрѣчу, точно плывя вмѣстѣ съ звѣзднымъ фономъ, черный крестъ, а надъ нимъ, почти касаясь его вершины, сверкалъ двурогій узкій мѣсяцъ. Казалось, кто-то звалъ къ себѣ въ открытыя объятія, кто-то простеръ могучія руки для привѣта... Охримъ снялъ шапку и набожно перекрестился.

— Царство ему небесное! Вотъ и могила, пане... Такой же мужикъ былъ, пане, какъ и мы, еще и крѣпакъ былъ ¹⁾—такое лихо видѣлъ, каково и мы не знаемъ,—а Богъ далъ ему таланъ и на весь свѣтъ сдѣлалъ славнымъ... Сколько людей теперь на его могилу наѣзжаетъ каждое лѣто!..

— А ты же знаешь чѣмъ онъ славенъ?

— Какъ не знать, пане! — отвѣчаетъ Охримъ. — Пѣсни складывалъ и все про насъ, про нашу долю... Пусть же будетъ ему земля легка!..

У насъ нѣтъ такой другой могилы... Много духовныхъ вождей было у насъ, много великихъ поэтовъ, умовъ, подвижниковъ,—но на долю ихъ святыхъ могилъ не выпало пока того, что выпало на долю этой... Много еще лѣтъ пройдетъ, прежде чѣмъ эти могилы станутъ для народа и насъ, его культурнаго слоя, тѣмъ, чѣмъ является могила Шевченка для его соплеменниковъ. Тамъ она предметъ національной гордости и славы, почти даже знамя... Какъ бы ни расходились часто люди,—но у всѣхъ тамъ есть одно общее, одинаково близкое, связующее, одинаково дорогое,—могила родного поэта... А этотъ поэтъ пѣлъ имъ только о народѣ и его счастьѣ...

Эта одинокая могила на высокой береговой кручи Днѣпра съ ея чугуннымъ крестомъ и убогой деревянной рѣшеткой — народный памятникъ. Любящія руки друзей-почитателей перенесли сюда дорогой прахъ поэта, чтобы, по его завѣщанію, ему былъ виденъ изъ могилы широкій Днѣпръ и родной долъ любимой Украины, и съ тѣхъ поръ этотъ пустынный уголокъ приднѣпровья сталъ однимъ изъ священныхъ мѣстъ страны. Когда мимо пробѣгаетъ пароходъ,—всѣ глаза направляются къ одинокому чугунному кресту, высоко поднимающемуся на кручѣ и рѣдкій человѣкъ не снимаетъ шляпы подъ торжественный,

¹⁾ Крѣпостной.

тихо пробѣгающій по толпѣ шепотъ: „Шевченко... Тарасъ Шевченко!“ Въ этотъ моментъ исчезаетъ раздѣленіе на классы, ступеньвается разни́ца возрастовъ,—всѣ, и рваная сѣрая свитка и легкая дорогая чесунча, и бѣдняки и богачи, и старость и молодость, всѣ въ различной степени переживаютъ одно и тоже... Эта безсмертная могила великаго таланта, любящей души подвижника, бывшаго „крѣпака“, наконецъ равняетъ и соединяетъ всѣхъ. И каждую весну и лѣто изъ года въ годъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе къ подножію этого чугунаго креста, на эту высокую зеленую кручу, кое-гдѣ осѣненную старыми молчаливыми дубами, съѣзжаются и молодѣ и старѣ, чтобы, отряхнувъ отъ себя на время прахъ житейской суеты и дразги, отдохнуть душой и пожить хоть сутки тѣмъ, что подавлялось и заглушалось туманомъ сѣраго будня... Тихая одинокая могила такъ много говоритъ сердцу каждаго, поднимаетъ въ душѣ столько вопросовъ, будитъ столько заснувшихъ думъ въ головѣ, въ этомъ голубомъ просторѣ, подъ сѣнью какъ бы застывшей пѣсни поэта, полной любви къ народу, дышется усталой груди такъ легко и привольно, что человекъ какъ бы оживаетъ... Тутъ знакомятся люди и встрѣчаются старые знакомые, у костровъ идутъ рѣчи и поются пѣсни, вспоминаютъ прошлое, гадаютъ о будущемъ, дышутъ тѣмъ, что завѣщено было пѣснью великаго поэта... Можетъ быть и кается здѣсь иное сердце и силъ набираетъ... И чѣмъ-то молодымъ, здоровымъ, бодрымъ, неумирающимъ вѣетъ отъ этихъ костровъ, рѣчей и пѣсенъ у подножія безсмертной могилы. Я взбираюсь по крутой, сильно протоптанной тропинкѣ въ гору, направляясь къ одинокой, чистой хатѣ. Она стоитъ лѣвѣе могилы и ниже ея, закрытая группой деревьевъ, при крохотномъ огородѣ съ высокими стеблями кукурузы и неизмѣнными въ Малороссіи кустами мальвы. Хата дѣлится на двѣ половины, въ одной живетъ сторожъ съ женой,—другая, чистая, предназначена для гостей посѣтителей... Меня привѣтливо встрѣчаетъ молодая, красивая женщина съ ребенкомъ у груди, спрашиваетъ не хочу ли я чаю, заявляетъ, что съ небольшимъ часъ только съ могилы уѣхала группа гостей, которую поѣхалъ провожать ея мужъ, сторожъ, но скоро уже вернется и приглашаетъ въ чистую половину, со свѣчей въ рукѣ. На мой вопросъ: — не боится ли она одна въ такомъ глухомъ пустынномъ мѣстѣ? — она какъ бы удивляется слегка и отвѣчаетъ серьезно и просто.

— Чего же намъ бояться?... Мы же не деньги стережемъ съ мужемъ... И развѣ найдетъ человекъ, что сдѣлалъ бы какое нибудь зло въ такомъ мѣстѣ?

Едвали, по крайней мѣрѣ они съ мужемъ никого и ничего не боятся... Я вхожу въ просторную чистую комнату, установленную, какъ во всѣхъ хатахъ, деревянными скамьями по стѣнамъ... Посрединѣ стоитъ простой бѣлый столъ и на немъ лежитъ „Кобзарь“. А со стѣны, прямо противъ входа, смотритъ на меня, чуть-чуть улыбаясь кроткими вдумчивыми глазами и какъ бы скрывая подъ густыми усами улыбку привѣта, прекрасный поясной портретъ поэта безъ шапки (въ какой его, по обыкновенію, изображаютъ), съ открытымъ большимъ лбомъ. Это мастерская копія одного изъ лучшихъ нашихъ художниковъ съ извѣстнаго рѣпинскаго портрета. Темная, художественной работы, рама вся окружена и обвита увядшими и свѣжими букетами цвѣтовъ и замѣчательно расшитыми малороссійскими рушниками.

— Вотъ и Тарасова хата, — говоритъ привѣтливая хозяйка. — много въ ней народу перебивало, — ге, — и не перечесть сколько народу! Посидите, почитайте, — сейчасъ вскипитъ у меня самоваръ, — а не то, можетъ быть, пройдете на могилу... Теперь хорошо, тамъ — мѣсяцъ еще свѣтитъ!

Да, хорошо, — такая чудная ночь не часто выпадаетъ на долю... Цѣлый часъ уже сижу я у деревянной рѣшетки могилы, и, очарованный, не свожу глазъ съ открывающейся предо мной дивной панорамы. Внизу потемнѣвшій Днѣпръ дрожитъ всѣми звѣздами, которыми усыпано небо. Безконечный долъ лѣваго бережья, сѣрѣющій сѣровато-пепельнымъ свѣтомъ, тонетъ въ глухомъ мракѣ ночи, который гдѣ-то далеко-далеко сливается съ звѣзднымъ пологомъ неба. Вправо отъ кручи длинной лентой тянется рѣчная гладь, которая вдали кажется свѣтлѣе и яснѣе, чѣмъ прямо у кручи, брезжитъ голубоватымъ свѣтомъ, озаренная мѣсяцемъ и невидимо утопаетъ въ бѣлесоватомъ рѣчномъ туманѣ самыхъ причудливыхъ, самыхъ фантастическихъ очертаній. Гдѣ-то далеко, очень далеко въ самой густой глубинѣ мрака стоятъ неподвижно багрово-красныя точки костровъ, какъ два огненныхъ глаза... Тишина такъ глубока, что я слышу какъ бьется мой пульсъ, какъ вспыхиваетъ папироса... И въ этомъ необъятномъ неподвижномъ просторѣ, полномъ глубокаго мрака, свѣтлыхъ звѣздъ и самыхъ тонкихъ, почти неуловимыхъ переливовъ свѣто-тѣни, полномъ глубочайшей тишины и покоя, безшумно срываются съ неба падучія звѣзды одна за одной, подчасъ вучей, какъ брызги золотого дождя, — срываются, прорѣзаютъ небо и мгновенно гаснутъ безъ слѣда въ какой-то неясной, полутемной синевѣ...

И вдругъ, пѣсня, — чуть слышная, далекая пѣсня, неясный

мотивъ, мелодично минорные звуки котораго, то обрываясь, то снова оживая, плывутъ гдѣ-то глубоко и глухо внизу вмѣстѣ съ соннымъ теченіемъ рѣки... Будь я суевѣренъ, — я навѣрное подумалъ бы, что то поютъ легкія какъ тѣни днѣпровскія русалки, играя съ отраженіемъ въ водѣ двурогимъ мѣсяцемъ, которыхъ только и недостаетъ для полноты картины этой нѣжно темной, полной фантастическихъ свѣтовыхъ полутоновъ, украинской ночи. Слушаешь, и все больше теряешь представленіе о томъ: гдѣ и откуда несутся эти чуть слышныя тающіе звуки, — рѣка ли несетъ ихъ, поетъ ли земля, или поетъ ихъ эта широкая синеватая высь съ ея падучими звѣздами... Но пѣсня растетъ, приближается, звуки становятся яснѣе, отчетливѣе, — я различаю голоса мужскіе и женскіе, которые поютъ извѣстное: „Рече та стогне Днипръ широкий“ и чара исчезаетъ, — теперь нѣтъ сомнѣнія, — что пѣсня несутся съ рѣки... Иногда она обрывается, становится глуше, когда лодка пѣвцовъ поворачиваетъ въ изгибѣ Днѣпра и звуки ударяются о кручу, но затѣмъ сразу становится отчетливѣе и громче, точно вырастаетъ, выбравшись изъ загиба. По растущимъ звукамъ пѣсни я слышу какъ плыветъ эта невидимая пока лодка, все приближаясь... Но вотъ, гдѣ-то совсѣмъ уже близко, внизу, пѣсня сразу обрывается, смолкаетъ и въ наступившемъ безмолвіи кто-то крикнулъ: „могила“!

— Глядите, глядите на крестъ! — говоритъ торопливо молодой взволнованный женскій голосъ. — Правда, кажется такъ, будто онъ протянулъ къ намъ въ воздухѣ руки?!

Мгновеніе, — и снова все молчитъ, снова та же неподвижная тишь, тѣ же волны ночного мрака, тѣ же свѣтовые полутоны, фантастическія очертанія бѣлесоватаго рѣчного тумана вдали, та же безшумная игра мерцающихъ звѣздъ на синемъ пологѣ неба... Но только мгновеніе, потому что чья-то взволнованная, переполненная грудь не выдерживаетъ:

— Вѣчная тебѣ память и слава, нашъ отче, изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ, пока свѣтитъ солнце и мѣсяцъ, пока жива твоя Украина!

— Аминь! — подхватываютъ молодые голоса и это „аминь“ повторяетъ эхомъ и глубокая мгла ночи, и клубы тумана, и широкая синь высокаго неба, и спящая земля, и мое шибко забившееся сердце...

Мы сидимъ у ярко горящаго костра, — вокругъ меня цѣлая группа молодыхъ бодрыхъ лицъ, вновь прибывшихъ гостей могилы“. Костеръ весело потрескиваетъ и яркобагровый отблескъ

его окрашиваетъ ребра чугунаго креста, отчего крестъ кажется раскаленнымъ, и громадный вѣнокъ изъ полевыхъ цвѣтовъ, который только-что положенъ у его основанія... Это импровизированная ночная тризна... Молодая красавица съ карими, глубокими, какъ ночь, глазами и черными длинными косами, — учительница, — возится у самовара, пока ея сестра раскладываетъ закуски, братъ откупориваетъ бутылки, а остальные суетятся, разыскивая хворостъ, который носить охапками. Имъ помогаютъ вернувшійся сторожъ и его молодая жена. Царившее безмолвіе смѣнилось веселымъ гуломъ молодыхъ голосовъ, сквозь который то и дѣло прорываются то пѣсня, то молодая бодрая шутка, то смѣхъ, на которые какъ будто откликается беззвучно повеселѣвшая могила.

— Ну, кажется, все готово, — говоритъ красавица, обводя глазами собравшуюся группу: — всѣ здѣсь... Наливай, Игнатъ!

Смуглый юноша, ея братъ, такой же черноволосый, какъ и она, беретъ бутылку, наполняетъ стаканы виномъ, но вдругъ вспоминаетъ что-то и останавливается.

— Пойдите, а Иванъ?

— Да, правда, Ивана еще нѣтъ, — подхватываютъ всѣ. — Позови же его, что онъ копается?..

Игнатъ прикладываетъ руку къ щекѣ и во всю силу своихъ молодыхъ легкихъ кричитъ въ ночную мглу: И-в-а-нъ... гей! Ждемъ!

— И..ду...у! — несется ему въ отвѣтъ снизу...

Наконецъ всѣ въ сборѣ, — смуглый коренастый хохолъ лодочникъ Иванъ съ густыми на грудь опущенными усами, въ смушковой шапкѣ, въ короткой свитѣ, съ неизмѣнной люлькой въ зубахъ, тоже стоитъ въ общей группѣ и держитъ полный вина стаканъ. Живой Игнатъ поворачивается быстро къ своему товарищу другу, — единственному поляку въ этой кучкѣ малоросовъ и говоритъ ему шутливо улыбаясь:

— Ну те, пане шляхтичъ герба Огона, скажите-ка намъ слово!

Тотъ, веселый, красивый, стройный, широко улыбается, беретъ стаканъ и поднимаетъ ко мнѣ свои умные, смѣющіеся глаза.

— Шляхтичъ герба Огона... Да! Для васъ, прямыхъ потомковъ скиѳовъ, — говоритъ онъ шутливо: — а если не скиѳовъ, то во всякомъ случаѣ смѣси Обровъ, Черныхъ Клобуковъ и Берендѣевъ съ славянами, для васъ эти слова: „шляхтичъ“ и „гербъ“ — пустые, дикіе звуки. Иначе и быть не можетъ; согласитесь, у народа, который не имѣетъ ни традицій, ни исторіи, потому что, какая же въ самомъ дѣлѣ эта исторія: — дикіе удалые набѣги и полустихійная борьба, хотя бы и герои-

ческая, лишенная ясно оформленных и сознанных положительных идеалов?!...

— Однако...—перебивает его, вспыхнув, красавица...

— Позвольте, прелестная панна! — быстро перебивает ее в свою очередь молодой человек, вѣжливо елаясь. — Я отлично знаю, что вы хотите вставить, лучшая изъ звѣздъ милой Украйны! Однако мы васъ побили и отбились, — такъ? Что-жь — это вѣрно, но нисколько не измѣняетъ положенія дѣла!.. Побили потому, что мы сами уже стали гнилы, а гнили потому, что то, что было когда-то написано на нашихъ знаменахъ, что составляло наше „положительное“, мы подмѣнили ложью и неправдой.. Однакоже, побивъ и отбившись, вы заснули и замерли... Но это — отклоненіе въ сторону, не о томъ моя рѣчь.. Я хотѣлъ указать вамъ на то... то, господа, — что составляло вашу ахиллесову пяту, какъ народа, что характеризовало васъ какъ полуварваровъ, сослужило вамъ добрую службу теперь. Отсутствіе исторіи и традицій помогло вамъ раньше насъ вступить на тотъ путь, знаменемъ котораго служить все, чему училъ почившій въ этой великой могилѣ безсмертный поэтъ... Васъ ничто не задерживало, не тормозило, не отвлекало, у васъ не было увлекающей мишуры прошедшаго... И вотъ я, шляхтичъ герба Огона, — здѣсь, у подножія этой святой могилы, поднимаю тостъ за васъ, за наше единеніе на этомъ пути и подъ этимъ знаменемъ! Ну, что панна?

Та, улыбаясь, первой протянула ему свой стаканъ. Грянула хоровая пѣсня и когда она замолкла, Игнатъ снова налил стаканы и сказалъ Ивану.

— Ну, Иванъ, теперь ваша очередь... Скажите же намъ слово...

— Что мнѣ говорить? — хмурится Иванъ. — Я не ученый.

— Дѣло не въ учености...

Иванъ беретъ свой стаканъ, хмурится еще сильнѣе, тянетъ свой длинный усь, затѣмъ снимаетъ шапку и говоритъ:

— Вотъ что скажу я, простой человекъ... Пусть на свѣтѣ будетъ одна правда и любовь между всѣми... Пусть будетъ такъ, какъ онъ наказывалъ...

— Кто онъ?

— Кто?! — переспрашиваетъ хмурый Иванъ. — А тотъ, что лежитъ въ той могилѣ, вонъ... Рядовой четвертаго оренбургскаго линейнаго батальона, — вотъ кто! — говоритъ онъ и усы его шевелить судорога.

Григорій Мачтетъ.

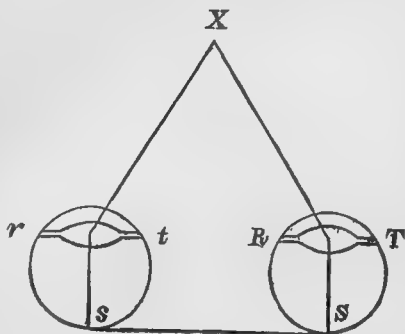
ЗРѢНІЕ и ОСЯЗАНІЕ.

Вопросъ, который я намѣренъ разсмотрѣть въ настоящей статьѣ, можетъ быть формулированъ слѣдующимъ образомъ: *можемъ ли мы посредствомъ зрѣнія самого по себѣ воспринимать форму, протяженность, разстояніе предметовъ, или же нѣтъ?* Или для этого нужны еще какія-нибудь вспомогательныя средства? Какъ ни страннымъ кажется самое предположеніе, что мы зрѣніемъ самымъ по себѣ не можемъ воспринимать указанныхъ пространственныхъ качествъ, однако нѣкоторые философы ставили вопросъ именно такимъ образомъ и утверждали, что мы посредствомъ одного только зрительнаго чувства не въ состояніи воспринять этихъ качествъ, что для этого необходимо вмѣшательство осязательнаго опыта; по ихъ мнѣнію, осязаніе принимаетъ извѣстное участіе въ зрѣніи, и воспріятіе указанныхъ качествъ является продуктомъ взаимодѣйствія этихъ двухъ чувствъ.

Вопросъ этотъ имѣетъ свою довольно давнюю исторію. По теоріи Декарта и другихъ писателей до него, *разстояніе* ¹⁾, или *удаленіе* предметовъ отъ насъ мы опредѣляемъ посредствомъ одного только зрѣнія. Вотъ его разсужденія: „Разстояніе мы опредѣляемъ, благодаря взаимному согласію обоихъ глазъ (какъ бы по какой то *всплѣ намъ врожденной геометріи*). Когда наши глаза RST и rst направляются къ точкѣ X, величина линіи Ss и угловъ XSs и XsS даютъ намъ знать, гдѣ находится точка

¹⁾ Декартъ и послѣдующіе писатели подъ словомъ distance разумѣли *удаленіе* воспринимаемаго предмета отъ воспринимающаго субъекта, между тѣмъ какъ слово *разстояніе* этой идеи не выражаетъ, такъ какъ подъ нимъ разумѣютъ также и удаленіе одного предмета отъ другого. Употребляя слово *разстояніе*, мы постоянно понимаемъ его только въ первомъ смыслѣ, т.-е. въ смыслѣ удаленія предмета отъ воспринимающаго субъекта.

X (см. рис.), и это посредством дѣятельности ума, которая, хотя и кажется простымъ сужденіемъ, однако заключаетъ въ себѣ нѣкоторое скрытое умозаключеніе, подобное тому, какимъ



геометры посредствомъ двухъ различныхъ пунктовъ измѣряютъ недоступныя мѣста¹⁾. Изъ этихъ словъ Декарта видно, что, по его мнѣнію, знанія зрительнаго угла вполне достаточно для опредѣленія разстоянія предметовъ отъ насъ, что это опредѣленіе происходитъ путемъ непосредственнаго умозаключенія; другими словами, такъ какъ

знаніе зрительныхъ угловъ получается нами изъ дѣятельности глаза, то, слѣдовательно, одного зрительнаго опыта совершенно достаточно для опредѣленія разстоянія предметовъ отъ насъ.

Противъ взгляда Декарта высказался Беркли въ своей знаменитой книгѣ „Новая теорія зрѣнія“ (1709)²⁾. По его мнѣнію, при помощи зрительныхъ угловъ и линій нельзя опредѣлять разстояній предметовъ; это было бы возможно только въ томъ случаѣ, еслибы каждый человѣкъ имѣлъ геометрическія свѣдѣнія, примѣнялъ бы ихъ въ актѣ зрѣнія и зналъ бы при этомъ строеніе своего глаза, чего, конечно, никакъ нельзя допустить относительно обыкновеннаго человѣка, а слѣдовательно та теорія, по которой мы воспринимаемъ разстояніе при помощи угловъ зрѣнія, не удовлетворительна. *Разстояніе само по себѣ и непосредственно не можетъ быть видимо*, потому что оно, будучи линіей, направленной къ глазу, проицируетъ въ глубину глаза только одну точку, которая остается неизмѣнно тою же самой, будетъ ли разстояніе большимъ или меньшимъ³⁾, т.-е. другими словами, въ нашемъ зрительномъ опытѣ мы не имѣемъ никакихъ отличительныхъ признаковъ для различныхъ разстояній предметовъ отъ нашего глаза, потому что, на какомъ бы разстояніи ни находилась извѣстная точка, она всегда измѣрется линіей, могущей быть проведенной отъ предмета къ глазу, но линія сама по себѣ не воспринимается, изображается же на

¹⁾ Descartes. Dioptrics VI. 13; цитируется у Беркли. The Works edit. by Fraser. Oxford. 1871. Vol. 1-й, стр. 109—10.

²⁾ Вышеуказ. соч., т. 1-й, стр. 1—112.

³⁾ L. c. § 2 и дальше.

сѣтчаткѣ всегда въ видѣ *точки*; но такъ какъ различія въ изображеніи этихъ линій не существуетъ, то очевидно, что и разстояніе *непосредственно* воспринимаемо быть не можетъ; а, между тѣмъ, оно все-таки воспринимается посредствомъ зрѣнія; остается, слѣдовательно, допустить, что оно *дѣлается предметомъ зрѣнія, благодаря другимъ идеямъ*.

Что же это за идеи, которыя производятъ то, что разстояніе дѣлается предметомъ зрѣнія? Это—идеи *осязательныя*, приобретающія указанную способность, благодаря *опыту* и именно слѣдующимъ образомъ: мы замѣчали на опытѣ въ продолженіе долгаго времени, что извѣстныя идеи, воспринимаемыя посредствомъ *осязанія* ¹⁾, какъ напр., разстояніе, осязаемая фигура, и тѣлесность (*solidity*) были *связаны* съ извѣстными идеями зрѣнія; воспринимая затѣмъ эти идеи зрѣнія, мы тотчасъ заключаемъ, какія осязательныя идеи должны слѣдовать за ними, согласно привычному ходу природы. Когда я смотрю на какой-либо предметъ, то я воспринимаю извѣстную *зримую* фигуру и цвѣтъ съ извѣстной степенью ясности и съ другими обстоятельствами, которыя *на основаніи того, что я наблюдалъ прежде*, заставляютъ меня думать, что если я подвинусь впередъ на столько-то шаговъ, миль и пр., то я получу тѣ или другія осязательныя ощущенія; такъ что, строго говоря, я никогда не *вижу* разстоянія самого по себѣ... Я думаю, что всякій, кто ближе разсмотритъ свои идеи и изслѣдуетъ ближе, что онъ разумѣетъ, когда говоритъ, что онъ *видитъ* ту или другую вещь на *разстояніи*, согласится со мной, что то, что онъ *видитъ*, только *внушаетъ* его уму, что, пройдя извѣстное разстояніе, могущее быть измѣреннымъ посредствомъ движенія тѣла (а это можетъ быть воспринято посредствомъ осязанія), онъ восприметъ тѣ или другія осязательныя идеи, которыя *обыкновенно были связаны съ тѣми или другими зрительными идеями* ²⁾. Отсюда

¹⁾ Въ русскомъ языкѣ отсутствуетъ слово для обозначенія понятія „активного осязанія“. Подъ осязаніемъ мы разумѣемъ обыкновенно тѣ ощущенія, которыя получаютъ отъ прикосновенія какого-либо предмета къ поверхности нашей кожи (ощущеніе твердости, мягкости, шероховатости, тепла, холода и т. д.), но для возможности подобнаго прикосновенія необходимы или *измѣненія положенія* того или другого члена или *передвиженіе* нашего организма, а съ этимъ всегда бываютъ связаны *двигательныя ощущенія*, такъ что, говоря о роли *осязанія* въ актѣ зрительнаго воспріятія, мы всегда имѣемъ въ виду именно совокупность осязательныхъ и двигательныхъ ощущеній; этотъ комплексъ ощущеній и имѣютъ въ виду англійскіе психологи, употребляя терминъ Touch.

²⁾ 1. с. § 45.

„очевидно, что идеи пространства и объективности (outness) вещей, находящихся на известномъ разстояніи, не суть, строго говоря, предметы зрѣнія; они такъ же мало воспринимаются посредствомъ глаза, какъ и посредствомъ уха“ ¹⁾. Разстояніе вещей есть собственно непосредственный предметъ осязанія и воспринимается нами только благодаря тому, что оно *внушается* намъ (мы бы сказали вызывается по ассоціаціи) при помощи зрѣнія.

То же самое разсужденіе примѣнимо и къ воспріятію *величины*. Беркли отличаетъ *осязательную* величину отъ *зрительной*. „Существуютъ два вида вещей, воспринимаемыхъ посредствомъ зрѣнія: одинъ собственно *осязаемый*, т.-е. воспринимаемый и измѣряемый посредствомъ осязанія и не составляющій непосредственно предмета зрительнаго чувства, другой собственно и непосредственно *видимый*, благодаря которому первый и дѣлается предметомъ зрѣнія“ ²⁾ Между этими двумя родами вещей есть очень существенная разница. „Величина предмета, существующаго внѣ нашей души и на известномъ разстояніи (*осязаемая* величина), всегда остается тою же самой, *зримый*“ ³⁾ же предметъ постоянно измѣняется по мѣрѣ того, какъ вы приближаетесь или удаляетесь отъ *осязаемаго* предмета не имѣетъ никакой постоянной или опредѣленной величины. Поэтому всякій разъ, когда мы говоримъ о величинѣ какой-либо вещи, напр., дерева или дома, то мы должны разумѣть *осязаемую* величину; въ противномъ случаѣ наше сужденіе о величинѣ не имѣло бы ничего постоянного“ ⁴⁾. Сужденія, которыя мы посредствомъ зрѣнія составляемъ о величинѣ предметовъ, всегда относятся къ ихъ *осязаемому* протяженію.

Разстояніе и *величина* предметовъ, слѣд., могутъ быть воспринимаемы только лишь благодаря осязательному опыту, который *внушается* зрительнымъ и это справедливо не только относительно разстоянія и величины предметовъ, но также относительно *положенія* ихъ.

Если это такъ, то спрашивается, что общаго между осязательными и зрительными идеями и отчего между ними устанавливается ассоціативная связь? На этотъ вопросъ Беркли отвѣ-

¹⁾ Sect. 46.

²⁾ I. c. § 54.

³⁾ Я предпочитаю пользоваться мало употребительнымъ терминомъ *зримый* какъ противоположность термину *осязаемый*, вмѣсто термина *видимый*, который не свободенъ отъ двусмысленности.

⁴⁾ I. c. § 55.

чаетъ въ томъ смыслѣ, что между идеями зрительными и осязательными собственно *ничего общаго нѣтъ*, что указанная связь между ними устанавливается изъ *опыта*. Это соображеніе онъ подкрѣпляетъ теоретическимъ разсмотрѣніемъ того, что воспринялъ бы прозрѣвшій слѣпорожденный, еслибы онъ увидѣлъ человѣка, стоящаго на землѣ. Беркли предполагаетъ, что при прозрѣніи слѣпой посредствомъ одного акта зрѣнія безъ осязательнаго опыта не могъ бы опредѣлить, стоитъ ли человѣкъ прямо или головой внизъ, потому что, „хотя слѣпому изъ осязанія и извѣстны многія пространственныя идеи, но идеи, которыя составляютъ *осязаемую* землю и человѣка, совершенно отличны отъ идей, которыя составляютъ *зримую* землю и человѣка, и поэтому тотчасъ послѣ прозрѣнія человѣкъ не могъ бы сказать, что то, что онъ видитъ, есть „земля“ или „голова“, или „нога“ и, слѣдовательно, онъ не могъ бы опредѣлить посредствомъ *одного акта зрѣнія*, что ближе къ землѣ, голова или нога; а, слѣдовательно, не могъ бы опредѣлить, стоитъ ли человѣкъ прямо или же находится въ опрокинутомъ положеніи“¹⁾. Такимъ образомъ первоначальной связи между осязательными и зрительными идеями не существуетъ; эта связь устанавливается благодаря *опыту*; такъ какъ въ опытѣ зрительныя и осязательныя идеи встрѣчаются въ постоянной связи, то однѣ изъ нихъ стремятся *вызвать* другія, совершенно такъ, какъ слова каго-либо языка вызываютъ въ умѣ вещи, ими обозначаемыя²⁾.

И такъ, сущность теоріи Беркли сводится къ слѣдующему. Нашъ собственно зрительный опытъ весьма ограниченъ. „То, что я *вижу*, говоритъ Беркли, есть только разнообразіе *свѣта* и *цвѣтовъ*“²⁾. Величину, разстояніе и положеніе предметовъ мы собственно воспринимаемъ посредствомъ *осязанія* и имѣемъ о нихъ осязательное представленіе; когда мы воспринимаемъ эти же предметы посредствомъ *зрѣнія*, то это происходитъ вслѣдствіе того, что цвѣтовые и свѣтовые ощущенія *вызываютъ* въ нашемъ умѣ знакомыя уже намъ осязательныя идеи, такъ что въ актѣ воспріятія пространства роль зрѣнія только *посредственная*; она является только *символомъ*, *знакомъ* для пространственныхъ качествъ, *извѣстныхъ* намъ уже изъ *осязанія*.

Эта теорія, при первомъ своемъ появленіи почти совсѣмъ незамѣченная, приобрѣла впослѣдствіи огромное значеніе не только въ философіи, но и въ фізіологической оптикѣ и всегда раз-

¹⁾ ib. § 102.

²⁾ Ср. также его Alciphron, 4-й діалогъ, указ. изд. Vol. II, стр. 148—152.

смаatrивалась, какъ замѣчательный образецъ чисто умозрительнаго построения теоріи, вполне оправдавшейся въ послѣдствіи на опытѣ; о ней можно сказать, что и въ настоящее время она составляетъ фундаментъ фیزیологической теоріи зрѣнія ¹⁾. Многое въ этой теоріи сначала оставалось неразъясненнымъ и непонятнымъ, вслѣдствіе чего и подавало поводъ для нападокъ со стороны позднѣйшихъ писателей ²⁾. Изъ нихъ особеннаго упоминанія заслуживаютъ два англійскихъ психолога, именно *Бэли* и *Абботъ*. Защитниками Берклеевского ученія выступили Д. С. *Милль*, *Феррьеръ* и др. Изъ разсмотрѣнія полемики этихъ послѣднихъ съ указанными авторами мы можемъ получить болѣе точное представленіе о сущности излагаемой нами теоріи.

Легко понятно, что воззрѣніе Бэли сводилось къ тому, что мы посредствомъ одного только зрительнаго опыта можемъ воспринимать вышеуказанныя пространственныя качества. *Милль* ³⁾ въ отвѣтъ ему обращаетъ вниманіе на то, что познаніе, получаемое посредствомъ глаза, состоитъ изъ двухъ частей — изъ *ощущеній* и *выводовъ* изъ этихъ ощущеній; что ощущенія суть только *цвѣта*, различнымъ образомъ расположенные, и *измѣненія* цвѣта; что все прочее есть *выводъ*, работа интеллекта, а не глаза, или если мы, согласно съ обычнымъ словоупотребленіемъ, припишемъ это глазу, то мы должны сказать, что глазъ дѣлаетъ это не при помощи первоначальной, но пріобрѣтенной способности. Бэли смѣшиваетъ то, что глазъ говоритъ намъ *прямо*, съ тѣмъ, чему онъ *научается* путемъ *вывода* ⁴⁾. Не будь этого смѣшенія, Бэли можетъ быть, согласился бы съ тѣмъ, что хотя указанныя пространственныя качества и составляютъ предметъ *воспріятія* при помощи зрѣнія, но, тѣмъ не менѣе, они не составляютъ *первоначальнаго* предмета зрительнаго чувства; еслибы Бэли ясно различалъ, что въ зрѣніи *первоначально* и что составляетъ предметъ *вывода*, то, можетъ быть, онъ не сталъ бы оспаривать берклеевской теоріи.

Далѣе, по мнѣнію Бэли, Беркли утверждаетъ, что такъ какъ ощущеніе цвѣта или свѣта часто сопровождается осязательнымъ ощущеніемъ, то, когда оно испытывается одно, оно не только

¹⁾ См. напр. Helmholtz, Phys. Optik., стр. 797 и 98.

²⁾ Теорія эта была предметомъ обсужденія въ продолженіе всего 18-го вѣка, см. напр. Smith Optice (1738). Porterfield. 1759. On the eye. Haller. Elementa physiologiae.

³⁾ Mill. Dissertations and discussions. Lond. Vol. I. „Bailey on Berkeleys theorie of vision“, стр. 89—119.

⁴⁾ ib. 89.

внушаетъ осязательное представленіе, но *превращается* въ воспріятіе ви́шняго объекта, совершенно такъ, какъ еслибы кто-либо утверждалъ, что звукъ „роза“ посредствомъ внушенія видимаго цвѣтка самъ дѣлается видимымъ. „Можно утверждать, говоритъ Бэли, не колеблясь, что во всей дѣятельности чело-вѣческаго духа не существуетъ ничего аналогичнаго такому процессу“. „И можно утверждать также безъ колебанія, замѣчаетъ Милль, что теорія Беркли не содержитъ такого абсурда... Беркли вовсе не имѣлъ намѣренія показать, что *ощущеніе цвѣта можетъ быть превращено въ указанное сужденіе*, потому что его теорія не требуетъ никакого такого превращенія. Его теорія требуетъ, чтобы сужденіе слѣдовало въ качествѣ *вывода* изъ ощущенія, и Беркли былъ обязанъ показать, что это возможно; а это онъ могъ сдѣлать потому, что нѣтъ болѣе общаго психологическаго закона, чѣмъ законъ ассоціаціи, по которому, если двѣ вещи постоянно въ опытѣ испытывались вмѣстѣ, то мы выводимъ изъ присутствія одной присутствіе другой“ ¹⁾.

По теоріи Беркли, говоритъ далѣе Бэли, когда намъ кажется, что мы видимъ разстояніе, то это есть не что иное, какъ только *быстрое внушеніе осязательнаго разстоянія, производимое различными зрительными знаками*; душа обыкновенно не оперируетъ со знаками, но тотчасъ переходитъ отъ знака къ обозначаемой вещи. Такъ, напр., тотъ, кто учится рисованію, находитъ для себя очень труднымъ точное воспоминаніе *зрительнаго* образа вещи; для него является очень трудной задачей изображеніе предмета такимъ, какимъ онъ *видитъ* его; онъ стремится изобразить его такимъ, какимъ онъ его *знаетъ* (изъ осязательнаго опыта). Еслибы это разсужденіе было справедливо, замѣчаетъ Бэли, если бы зрительныя качества были только простыми знаками, которые сознание быстро оставляетъ и спѣшитъ къ осязательнымъ воспріятіямъ, съ которыми они ассоціированы, то мы должны были бы вполнѣ ясно *сознавать осязательныя воспоминанія, по предположенію, вызываемыя такимъ образомъ*. На самомъ же дѣлѣ, когда мы смотримъ на предметы и судимъ о ихъ положеніи и разстояніяхъ, то мы такъ мало сознаемъ какія бы то ни было осязательныя идеи, что является весьма спорнымъ, *внушаются ли какія-либо подобныя идеи вообще*. Наши идеи осязательнаго разстоянія, формы и величины не только не могутъ быть признаны отчетливыми, но даже, напротивъ, особенно неопредѣленными по той причинѣ, что мы обыкновенно

¹⁾ ib. 92 и дальше.

не обращаемъ вниманія на нихъ. Когда мы исправляемъ ошибочное зрительное впечатлѣніе разстоянія, то мы это дѣлаемъ посредствомъ сравненія и сличенія его не съ *осязательными* ощущеніями, но съ *зрительными* впечатлѣніями, полученными при различныхъ условіяхъ. Когда, напр., я смотрю на длинную аллею деревьевъ, то самыя отдаленныя изъ нихъ кажутся моему глазу находящимися близко другъ къ другу, и когда я сужу о нихъ, что они находятся на самомъ дѣлѣ дальше, чѣмъ они кажутся, то пространство, которое я имѣю въ своей мысли, не есть осязательное пространство, но воспоминаніе *зрительнаго* пространства“.

На это Милль отвѣчаетъ: „справедливо то, что нашъ обычный процессъ мышленія и сужденія относительно вѣшнихъ объектовъ совершается не посредствомъ осязательныхъ идей, но зрительныхъ, и эта отмѣна осязательныхъ идей дѣлаетъ многія изъ нихъ неясными и трудными для воспроизведенія; но эти факты не могутъ однако доказать, что зрительныя идеи, которыя такимъ образомъ дѣлаются нашими главными символами осязательныхъ объектовъ, не имѣютъ осязательнаго значенія. Въ томъ возрастѣ, когда ребенокъ впервые учится тому, что уменьшеніе отчетливости и кажущейся величины предмета предполагаетъ увеличеніе разстоянія, идеи ребенка объ осязательной протяженности и величинѣ вполне отчетливы, но когда прекратилась необходимость обращать на нихъ вниманіе, то эти мускульныя и осязательныя ощущенія, изъ которыхъ ребенокъ учился первымъ идеямъ, стали вызываться все болѣе и болѣе неясно“ ¹⁾.

И такъ, по теоріи Беркли мы не можемъ судить о *величинѣ*, объ *удаленіи* и *положеніи* предметовъ при помощи дѣятельности одного лишь зрительнаго органа; то, что мы *видимъ* въ вещахъ, на самомъ дѣлѣ суть осязательныя идеи, зрительныя же идеи суть только лишь *знаки*, внушающіе, или вызывающіе по ассоціаціи, осязательныя идеи, которыя, хотя не проявляются замѣтно въ сознаніи, тѣмъ не менѣе такъ или иначе дѣйствуютъ на него; они не превращаются и не видоизмѣняются. Зрительныя знаки въ воспріятіи пространства играютъ такую же роль, какъ и языкъ.

Въ современной англійской психологіи теорія Беркли съ нѣкоторыми, разумѣется, видоизмѣненіями, примѣнительно къ современнымъ взглядамъ на мускульное, или двигательное чув-

¹⁾ ib. стр. 104.

ство, пользуется всеобщимъ признаніемъ. Самое полное изложене ея мы находимъ у *Бэна*.

Бэнь, какъ и Берели, думаетъ, что разстояніе не есть предметъ одного лишь зрительнаго опыта. Смыслъ и значеніе представленія разстоянія ¹⁾ есть нѣчто, лежащее внѣ зрительнаго опыта. Смыслъ его можетъ быть поясненъ слѣдующимъ образомъ. Если передъ глазами держать шаръ сначала на разстояніи шести дюймовъ, а потомъ двѣнадцати, то произойдутъ нѣкоторыя зрительныя измѣненія. Но съ зрительными измѣненіями соединяется опредѣленное движеніе руки, которое производитъ то или иное воздѣйствіе на наше сознаніе. Когда мы говоримъ, что шаръ отодвинуть на большее разстояніе, то главный смыслъ этого факта состоитъ въ томъ, что *рука и кисть руки должны быть приведены въ движеніе* и поставлены въ такое новое положеніе, чтобы воснудиться его. Таковъ примѣръ значенія разстоянія для близкихъ предметовъ. Для отдаленныхъ предметовъ употребляется другая мѣра. Чтобы сравнить шесть футовъ съ двѣнадцатью, мы должны привести въ движеніе все наше тѣло и опредѣлить изъ нашей мускульной чувствительности *различіе одного двигательнаго дѣйствія отъ другого*. Чтобы подойти къ одному предмету, мы дѣлаемъ два шага, чтобы подойти къ другому — дѣлаемъ четыре и т. д. Чтобы измѣнить одну ретинальную величину на другую, мы производимъ опредѣленное движеніе, которое не только есть наша мѣра, или оцѣнка пространственнаго промежутка между двумя зрительными величинами, но и единственный смыслъ разстоянія. Но если разстояніе не имѣетъ никакого смысла помимо движеній другихъ органовъ, кромѣ глаза, то возникаетъ вопросъ, *одарила ли насъ природа отъ рожденія способностью узнавать посредствомъ одного чувства опытъ другого чувства?* На этотъ вопросъ Бэнь отвѣчаетъ утвердительно и считаетъ это явленіе продуктомъ *опыта*. Опыты въ періодъ ранняго дѣтства постоянно образуютъ *ассоціаціи между зрительными знаками разстоянія и движеніями, составляющими смыслъ разстоянія*. Дитя на рукахъ няни постоянно испытываетъ зрительныя измѣненія, происходящія вслѣдствіе того, что его носятъ повсюду, и какъ скоро дитя сознаетъ, что оно двигается или что его носятъ (а это необходимо вызываетъ сознаніе мускульнаго ощущенія), оно связываетъ эти наблюденія съ возникающими перемѣнами зрительной величины

¹⁾ *Bain. The Senses and the Intellect*, 4-е изд. Lond. 1894, стр. 389 и д.; *Mental and Moral Science*, Lond. 1884, стр. 189 и д.

вещей, находящихся передъ его глазами. Зрительный образъ стѣны комнаты увеличивается вдвое, втрое, вчетверо въ то время, какъ дитя переносятъ отъ одного конца комнаты до другого. Избѣжать ассоціаціи этихъ двухъ фактовъ нѣтъ возможности. Когда дитя само научается ходить, то и опыты увеличиваются и по количеству, и по разнообразію; въ продолженіе одного дня дитя можетъ много разъ пройти комнату и каждый разъ оно замѣчаетъ оптическія измѣненія въ связи съ движеніями. Нѣсколько недѣль или мѣсяцевъ такого опыта могутъ создать громадное число ассоціацій между зрительными измѣненіями и степенями передвиженія. Дитя въ то же самое время измѣряетъ предметы руками, ходитъ вокругъ столовъ и стульевъ, опредѣляетъ ихъ реальную величину мускульными усиліями и связываетъ эту величину съ оптическими приспособленіями и перемѣнами. Такимъ образомъ получается обильное количество благопріятныхъ условій для пріобрѣтенія ребенкомъ необходимыхъ соединеній реального разстоянія и реальной величины съ зрительными знаками. Въ результатъ должна, вѣроятно, получиться *крѣпкая и неразрывная связь между зрительными знаками и разнообразными опытами движенія*¹⁾; а изъ этой связи происходитъ то, что *зрительные знаки въ нашемъ умѣ заступаютъ мѣсто соответствующихъ имъ двигательныхъ ощущений*; зрительныя ощущенія становятся для насъ *символами мускульныхъ и осязательныхъ ощущений*. „Это символическое отношеніе, будучи гораздо короче, мыслится обыкновенно вмѣсто того отношенія, которое оно символизируетъ; и вслѣдствіе постоянного употребленія такихъ символовъ, а равно и вслѣдствіе соединенія ихъ въ болѣе сложные символы, порождаются наши идеи о видимомъ протяженіи, — идеи, которыя, подобно идеямъ алгебраиста, рѣшающаго уравненіе, совершенно несходны съ символизируемыми ими идеями, но которыя, однако, опять-таки, подобно идеямъ алгебраиста, занимаютъ умъ до полного исключенія символизируемыхъ ими идеи“²⁾.

Такимъ образомъ ясно, что при воспріятіи разстоянія предметовъ сознаніе наше оперируетъ главнымъ образомъ съ *зрительными ощущеніями*, которыя являются знаками для мускульно-осязательныхъ ощущений. То, что мы говорили о воспріятіи разстоянія предметовъ, справедливо и относительно *тѣлесности* (рельефа, выпуклости, вогнутости) предметовъ, потому что она

¹⁾ Ment. and Mor. Sc., стр. 189—192.

²⁾ Г. Спенсеръ. Основанія Психологіи. Спб., т. III, стр. 180—1 (§ 327).

предполагаетъ воспріятіе разстоянія или удаленія и объясняется изъ берклеевской теоріи такъ же, какъ и воспріятіе разстоянія. Мы видимъ предметы не плоскими, а тѣлесными, благодаря *ассоціаціи зрѣнія съ осязаніемъ*. Тотъ, который видитъ шаръ, видитъ не плоскій кругъ, но тотчасъ соображаетъ, что то, что есть кругъ для зрѣнія, для осязанія было бы шаромъ и поэтому онъ видитъ предметъ, какъ шаръ. Такого рода соображеніе является продуктомъ опыта; именно, въ то время, какъ наша рука проходитъ по шару, глазъ, который получаетъ отъ этого предмета только впечатлѣніе круга, соединеннаго со свѣтомъ и съ тѣнью, слѣдуетъ за всѣми ея движеніями и затѣмъ *относится къ одному и тому же предмету впечатлѣнія осязательныя и зрительныя*; вслѣдствіе этого предметъ, который дѣлается тѣлеснымъ для осязанія *испытующаго* (explorateur), дѣлается такимъ же для глаза *созерцающаго* (spectateur). „Предметъ, — говоритъ Кондильякъ, — въ нашихъ глазахъ получаетъ рельефъ, который онъ имѣетъ въ нашихъ рукахъ“¹⁾.

По изложенной мною теоріи, при помощи первоначальной способности глаза мы видимъ только *цвѣта*, а разстояніе, величина и пр. дѣлаются предметомъ зрительнаго воспріятія только благодаря мускульно-осязательному опыту. Хотя отсюда и кажется очевиднымъ, что зрительныя ощущенія только *внушаютъ* осязательныя, которыя на самомъ дѣлѣ и составляютъ предметъ воспріятія, но все-таки остается невыясненнымъ, что же мы *воспринимаемъ* глазомъ *самимъ по себѣ*, помимо мускульно осязательнаго опыта?

Изъ предыдущаго кажется очевиднымъ, что посредствомъ одного зрѣнія мы не можемъ воспринять удаленія, величины и положенія предметовъ, но остается неразрѣшеннымъ вопросъ, не можетъ ли *плоскостная протяженность* быть воспринимаема посредствомъ одного только зрѣнія? Вѣдь утвержденіе, что *указанныхъ качествъ* мы не можемъ воспринимать посредствомъ одного только зрительнаго опыта, вовсе не предполагаетъ, что глазъ самъ по себѣ не воспринимаетъ никакой протяженности. Да и самое простое соображеніе можетъ показать, что глазъ обладаетъ первоначальной способностью воспринимать протяженность. Въ самомъ дѣлѣ, если мы, напр., воспринимаемъ разстояніе только благодаря осязательному опыту, то мы должны предположить, что *какая-нибудь роль* приходится на долю зрительныхъ ощущеній: въ нихъ должны быть *опредѣленные измѣненія*,

¹⁾ Rabier. Psychologie. Paris. 1893, стр. 432.

отвѣчающія тѣмъ или другимъ измѣненіямъ разстоянія; а если такъ, то мы должны воспринимать *пространственныя* измѣненія сѣтчатой оболочки совершенно независимо отъ какого бы то ни было осязательнаго опыта, что видно и изъ словъ Бэна: „Когда предметъ удаляется отъ глаза, то его зрительная, или ретинальная величина постепенно уменьшается и мы очень чувствительны къ этому уменьшенію“. Однако сличеніе того, что говорятъ авторы по этому поводу, приводитъ насъ къ необходимости признать, что въ англійской психологіи по этому вопросу царитъ удивительная двойственность: съ одной стороны кажется, что за глазомъ отрицается первоначальная восприимчивость плоскостной протяженности, съ другой стороны кажется, что такая восприимчивость признается.

Напр., Фрэзеръ въ примѣчаніи къ Беркли говоритъ: „хочетъ ли Беркли сказать, что единственный собственный предметъ зрѣнія есть *непротяженный цвѣтъ* и что безъ мускульнаго движенія въ глазу и другой локомоціи всѣ *visibilia* суть непротяженные точки? Этотъ вопросъ не ускользнулъ отъ вниманія новѣйшихъ психологовъ, включая Стюарта, Броуна и Милля, которые утверждаютъ, что *непротяженный цвѣтъ можетъ быть воспринимаемъ и воображаемъ*? „Броунъ находитъ: что „*философы безъ достаточнаго основанія предполагали, что поверхностную протяженность* длины и ширины мы можемъ воспринимать первоначально посредствомъ зрѣнія“. По Бэну, *цветовое ощущеніе само по себѣ лишено качества протяженности и таковое ощущеніе мыслимо*. Онъ не соглашается съ тѣмъ, чтобы глазъ, при исключеніи мускульныхъ движеній, былъ въ состояніи доставить намъ познаніе пространства. Но затѣмъ самъ же приходитъ къ необходимости признать, что существуетъ *оптическое воспріятіе предметовъ такой незначительной величины, что оно кажется возможнымъ помимо всякаго движенія глаза*.

„Зрительное представленіе горы, очевидно, содержитъ ощущеніе глазного движенія, но когда мы смотримъ на кругъ, имѣющій $\frac{1}{10}$ дюйма въ діаметрѣ, то глазъ можетъ воспринять его въ цѣломъ безъ движенія и мы можемъ предположить, что ощущеніе въ этомъ случаѣ есть *чисто оптическое*, потому что нѣтъ никакой очевидной надобности вносить мускульное сознаніе. Характеристическое оптическое впечатлѣніе произведено; мы должны быть въ состояніи отличать малый кругъ отъ квадрата или овала на основаніи *простой оптической разницы дѣйствія на ретину*. Какъ же мы можемъ избѣжать утвержденія, что черезъ посредство одного уже *цветового изображенія мы имѣемъ ощущеніе*

зрительной формы?" Но Бэнъ не находитъ возможнымъ согласиться съ этимъ. По его мнѣнію, мы имѣемъ всѣя основанія для признанія присутствія мускульнаго элемента даже въ этомъ случаѣ. Прежде всего наше представленіе формы пріобрѣтается посредствомъ дѣйствія по большому масштабу, или посредствомъ созерцанія предметовъ такой величины, что нужны обширныя движенія глаза для того, чтобы охватить ихъ. Зрительная идея круга первоначально пріобрѣтается посредствомъ движенія глаза около круглаго предмета значительной величины. Совершивши это, мы *переносимъ* фактъ движенія къ меньшимъ кругамъ, хотя бы они сами по себѣ и не требовали значительныхъ глазныхъ движеній. Этотъ непонятный съ точки зрѣнія психологической фактъ переноса не получаетъ ближайшаго разъясненія у Бэна. Далѣе онъ говоритъ: „Если бы мы смотрѣли на маленькую круглую точку, то мы должны были бы знать оптическую разницу между нею и треугольной точкой и мы должны были бы распознавать ее какъ тождественную съ другой круглой точкой, но это было бы *только ретинальнымъ познаніемъ или оптическимъ различіемъ*; это не было бы распознаваніемъ формы, потому что подъ нею мы никогда не разумѣемъ только простое *измѣненіе цвѣта*: подъ круглой формой мы разумѣемъ нѣчто такое, что требуетъ опредѣленнаго движенія глазъ, чтобы обнять его; и, если только мы не отождествляемъ маленькой точки съ кругами, видѣнными раньше, то мы не воспринимаемъ ее какъ кругъ. Она можетъ оставаться въ нашей душѣ въ видѣ чисто оптическаго значенія, но мы никогда не можемъ пройти пропасти, которая отдѣляетъ оптическое значеніе отъ комбинированнаго дѣйствія свѣта и движенія, иначе, какъ только производя опыты движенія¹⁾).

По мнѣнію Бэна, слѣдовательно, первоначально мы имѣемъ собственно *оптическое различіе*, но оно отнюдь не можетъ быть названо воспріятіемъ формы.

Нѣкоторые изъ слѣдующихъ непосредственно послѣ прозрѣнія могли замѣчать разницу между двумя фигурами и психологи видѣли въ этомъ доказательство того, что глазъ обладаетъ *первоначальной способностью пространственнаго различія*. По мнѣнію Милля²⁾, случаи эти вовсе не доказываютъ, что мы воспринимаемъ протяженность посредствомъ зрѣнія, но только то, что мы имѣемъ *различаемыя зрительныя ощущенія*, соотвѣт-

¹⁾ Senses and Intellect, 395—7.

²⁾ Mill. An Examination of Hamilton's Philosophy. Lond. 1878, стр. 293 и д.

ствующія различіямъ поверхностной протяженности“. Въ этомъ пунктѣ съ Миллемъ никакъ нельзя согласиться, потому что мы не можемъ констатировать тождества или различія между двумя оптическими впечатлѣніями безъ того, чтобы не имѣть извѣстнаго пространственнаго впечатлѣнія, а это значить, что *нашъ глазъ обладаетъ первоначальной способностью пространственнаго различенія*. Но, конечно, нужно различать двѣ вещи: развитое пространственное воспріятіе и зачаточное; развитое пространственное воспріятіе совершенно немислимо безъ опыта осязанія, а зачаточное пространственное воспріятіе, которое однако имѣетъ своимъ предметомъ протяженность, вполне мыслимо и безъ осязательнаго опыта, и англійская психологія, какъ кажется, напрасно старалась это отрицать.

Для разрѣшенія вопроса о роли осязанія въ процессѣ пространственнаго воспріятія психологи старались воспользоваться также наблюденіями надъ прозрѣвшими *слѣпорожденными*.

Этотъ вопросъ также имѣетъ свою давнюю исторію. Одинъ ученый конца 18 вѣка (Молинё) писалъ Локку: „Предположимъ, что кто-нибудь родился слѣпымъ и научился посредствомъ осязанія отличать кубъ отъ шара, такъ что онъ можетъ сказать, когда онъ ощущаетъ одинъ и другой, который изъ нихъ кубъ и который шаръ. Предположимъ теперь, что кубъ и шаръ положены на столъ, а слѣпой сдѣланъ зрячимъ. Спрашивается, можетъ ли онъ посредствомъ одного только *зрѣнія*, прежде чѣмъ коснуться ихъ, различить и сказать, который изъ нихъ кубъ и который шаръ?“ Самъ Молинё отвѣтилъ на этотъ вопросъ отрицательно и Локкъ съ нимъ согласился¹⁾. Какъ мы уже видѣли, Беркли высказалъ тѣ же самые взгляды. По его мнѣнію, *между зрительными и осязательными идеями нѣтъ ничего общаго*; что, слѣдовательно, изъ идей зрительныхъ мы никакъ не можемъ заключать къ тѣмъ или инымъ осязательнымъ идеямъ. И эти теоретическія соображенія были подтверждены *опытами*; первый опытъ такого рода былъ произведенъ *Чезельденомъ* въ 1728 году. Вообще въ первое время послѣ прозрѣванія слѣпорожденные обнаруживаютъ удивительное несовершенство зрительнаго воспріятія. Въ тотъ моментъ, когда слѣпорожденный впервые видитъ свѣтъ, онъ не только не въ состояніи оцѣнивать

¹⁾ О письмѣ Молинё см. *Locke. An Essay Concern. Human Underst. Book II Ch. IX.*

разстояній, но онъ думаетъ, что всѣ предметы, на которые онъ смотритъ, *касаются* его глазъ, такъ точно, какъ тѣ предметы, которые онъ осязаетъ, *касаются* его кожи. Такъ говоритъ Чезельденъ ¹⁾ относительно своего паціента. Въ одномъ случаѣ, приводимомъ *Неннели*, молодой паціентъ говорилъ, что предметы касались его глазъ и онъ шелъ съ предосторожностями, держа руки передъ глазами, чтобы не дозволить предметамъ *дотрагиваться* до нихъ и тѣмъ причинять имъ страданія. Ни одинъ изъ этихъ оперированныхъ слѣпыхъ не могъ съ перваго раза опредѣлить положенія, формы, величины предметовъ, распознать ихъ. Необходимо было, чтобы осязаніе медленно, постепенно воспитало глазъ. Одинъ изъ оперированныхъ *Гома*, спрошенный черезъ 10 минутъ послѣ операціи относительно фигуры маленькаго картоннаго кружка, отвѣчалъ: „позвольте мнѣ коснуться его, и я вамъ отвѣчу“. Ему не дали его, онъ нѣкоторое время размышлялъ и потомъ, очевидно, наудачу отвѣчалъ, что онъ круглъ. Но минутой спустя онъ сказалъ то же самое относительно картоннаго же треугольника.

По наблюденіямъ *Рэммана*, оперированные слѣпорожденные не имѣютъ никакого понятія числа въ оптическомъ смыслѣ. Они не въ состояніи воспринять два или нѣсколько раздѣльныхъ изображенія сѣтчатки. Передъ паціентомъ держатъ спичку, — онъ тотчасъ ее видитъ, но если показать ему двѣ накрестъ положенныя спички, то онъ не узнаетъ ихъ: ему кажется, что онъ имѣетъ дѣло съ совершенно новымъ изображеніемъ на сѣтчаткѣ. И только послѣ того, когда онъ *ощупаетъ* одну спичку вслѣдъ за другой, онъ узнаетъ ихъ, а также положеніе ихъ по отношенію другъ къ другу. Когда передъ нимъ держали двѣ или три спички, отдаленныхъ другъ отъ друга (на 3 цент.), онъ тотчасъ узнавалъ, что было нѣсколько спичекъ, но не былъ въ состояніи сосчитать ихъ. Онъ долженъ былъ *ощупать* каждую спичку и только послѣ этого онъ могъ ихъ сосчитать.

Всѣ подобные факты, по мнѣнію Тэна, приводятъ насъ къ слѣдующему заключенію: „наши чисто зрительныя ощущенія суть только знаки. Только опытъ можетъ научить насъ ихъ значенію и именно тѣмъ, что онъ связываетъ съ каждымъ изъ

¹⁾ О паціентѣ Чезельдена см. *Helmholtz. Phys. Optik*, стр. 587—8; *Preyer. Die Seele des Kindes*, 2 изд. (465—467), здѣсь же приведены и другіе случаи (см. также Тэнъ „Объ умѣ и познаніи“, 1894). Въ недавнее время подобныя изслѣдованія произвелъ между прочимъ *Рэмманъ* (см. *Zeitschrift für Psychologie. Bd. II* стр. 53—96). Описаніе нѣкоторыхъ изъ этихъ наблюденій см. въ моей статьѣ въ „*Mірѣ Божьемъ*“, 1894, № 2.

зрительныхъ ощущеній образъ соответствующаго осязательно-мускульнаго ощущенія. Въ томъ состояніи, въ какомъ находится слѣпорожденный тотчасъ послѣ операціи, глазъ имѣетъ только ощущеніе пятенъ, различно окрашенныхъ, болѣе или менѣе свѣтлыхъ или темныхъ; и въ одномъ общемъ пятнѣ онъ можетъ различать ту или другую отдѣльную часть, но только не иначе, какъ подѣ видомъ частичнаго же пятна. Вечеромъ послѣ операціи паціентка Вардропа, глядя на часы, разглядѣла цифру 12 и цифру 6, а также стрѣлки, но только какъ отдѣльныя пятна на одномъ пятнѣ, не зная, что онѣ изъ себя представляютъ. Художники-колористы хорошо знакомы съ этимъ состояніемъ, такъ какъ оно у нихъ бываетъ: они видятъ свою модель какъ пятно, котораго единственный элементъ составляетъ цвѣтъ, болѣе или менѣе разнообразный, слабый или живой“. У слѣпорожденныхъ нѣтъ никакой идеи о разстояніи и формѣ предметовъ до сихъ поръ, пока не придетъ на помощь осязаніе.

Но можемъ ли мы на самомъ дѣлѣ изъ этихъ наблюденій надъ прозрѣвшими слѣпорожденными дѣлать тотъ выводъ, который обыкновенно дѣлается? Кажется, что этими наблюденіями слѣдуетъ пользоваться съ большою осторожностью. Съ точки зрѣнія чисто фактической мы не можемъ безусловно на нихъ полагаться прежде всего потому, что мы не имѣемъ точныхъ свѣдѣній о состояніи ихъ глазъ до операціи. Въ дѣйствительности часто случается, что ихъ хрусталикъ, хотя непрозрачный, пропускаетъ все же немного свѣта. Слѣпой Чезельдена до операціи различалъ по крайней мѣрѣ три цвѣта: бѣлый, черный и ярко-красный; Ware'a паціентъ узнавалъ цвѣта, когда ихъ приближали къ его глазамъ; слѣдовательно, нѣкоторые изъ нихъ имѣли возможность научиться направлять свой взглядъ и до нѣкоторой степени по ослабленію цвѣта могли судить о пространствѣ. Этимъ объясняется то обстоятельство, что послѣ операціи одинъ больной могъ сразу „взять руку хирурга, рѣшить только однимъ взглядомъ, удалялась ли или приближалась къ нему эта рука“. Этимъ объясняются тѣ случаи, которые приводились сторонниками непосредственности пространственнаго воспріятія, именно когда нѣкоторые слѣпорожденные тотчасъ послѣ операціи воспринимали предметы на большемъ или меньшемъ отдаленіи. „Мальчикъ, котораго оперировалъ докторъ Ware, спустя два дня послѣ операціи, увидѣлъ столъ съ зеленой скатертью, находившійся отъ него въ 1½ футахъ разстоянія и, когда его спросили относительно разстоянія, онъ отвѣчалъ: „столъ отстоитъ отъ меня нѣсколько дальше того, насколько я могу достать“. Это было

дѣйствительно такъ ¹⁾. По всей вѣроятности, къ той же категоріи относится случай того же доктора. „Я оперировалъ 14-лѣтняго Ирландца, который имѣлъ катарактъ на обоихъ глазахъ и до операціи увѣрялъ меня и своихъ близкихъ, что онъ никогда не видѣлъ формы какого-либо предмета. Послѣ совершенія операціи я былъ изумленъ, съ какою легкостью онъ при первыхъ попыткахъ схватывалъ мою руку на различныхъ разстояніяхъ и опредѣлялъ, приближалась она или удалялась“.

Есть еще одно важное основаніе, почему мы не можемъ вполне полагаться на прежнія наблюденія надъ слѣпорожденными. Такъ какъ въ прежнее время не было глазного зеркала и освѣщать глазное дно не имѣли возможности, то операторы часто не были въ состояніи опредѣлить, въ какой мѣрѣ были удалены причины, мѣшающія видѣть и дана физическая возможность для ясныхъ изображеній сѣтчатки; наконецъ, болѣе старымъ фیزیологамъ да и новѣйшими не былъ достаточной мѣрѣ извѣстенъ фактъ, что у людей съ врожденнымъ потемнѣніемъ глазныхъ средъ, напр., съ полнымъ потемнѣніемъ линзы вслѣдствіе непользованія сѣтчаткой дѣлается амбліопія (слабое зрѣніе). Можно думать, что этимъ обстоятельствомъ, между прочимъ, объясняется несовершенство зрѣнія въ первое время послѣ прозрѣванія. Этихъ соображеній, какъ кажется, вполне достаточно, чтобы видѣть, что наблюденія надъ слѣпорожденными вовсе не представляютъ изъ себя такого достовѣрнаго матеріала, какъ это казалось прежнимъ психологамъ.

Какъ бы то ни было, весьма вѣроятно, что оперированный слѣпой вполне хорошо воспринимаетъ зрительныя формы, но онъ не можетъ тотчасъ перенести это на осязательныя формы, раньше воспринятыя. То же самое было бы въ томъ случаѣ, еслибы глухорожденный внезапно получилъ слухъ: онъ хорошо отличалъ бы звукъ барабана отъ звука трубы, но не могъ бы сказать тотчасъ, который изъ этихъ двухъ звуковъ принадлежитъ трубѣ и который барабану. Въ большинствѣ приводимыхъ случаевъ констатируется одна и та же трудность, это именно трудность перенесенія зрительныхъ познаній къ познаніямъ осязательнымъ.

Вотъ наблюденія доктора Дюфура ²⁾, которыя показываютъ, что вся своеобразность воспріятія прозрѣвшаго заключается

¹⁾ Preyer (470—471). Мальчикъ еще до операціи имѣлъ опредѣленные зрительныя пространственныя представленія.

²⁾ Цит. по статьѣ Dufour'a. Espace visuelle et espace tactile Revue Philos. 1888.

именно въ трудности одну идею перевести на другую, совершенно неоднородную съ ней. Дюфуръ обращается къ прозрѣвшему, приводя въ движеніе свою руку близъ лица больного и спрашиваетъ: „Видите ли вы нѣчто, что движется?“. — „Что движется?!“ — съ недоумѣніемъ спрашиваетъ прозрѣвшій. „Напрасно я нѣсколько разъ, говоритъ Дюфуръ, приостанавливалъ движеніе, потомъ вновь начиналъ его, стараясь заставить его замѣтить то, что двигалось; онъ смотрѣлъ со вниманіемъ, но я не могъ добиться отъ него никакого отвѣта, кромѣ того, что когда я продолжалъ настаивать, онъ сказалъ: „это что то такое свѣтлое“. Я вновь предпринимаю изслѣдованіе, предупреждая больного, что я показываю ему руку; потомъ, заставляя ее измѣнять формы, т.-е. сжимая ее въ кулакъ, вытягивая одинъ или нѣсколько пальцевъ, я стараюсь заставить его замѣтить и объяснить измѣненія, происходящія на его сѣтчатой оболочкѣ. Больной, смотрѣвшій повидимому очень усердно, не могъ дать никакого отвѣта, не могъ даже сказать мнѣ, замѣчаетъ ли онъ какія-нибудь измѣненія въ предметахъ, на которые онъ смотритъ. Новая попытка съ размахиваньемъ руки также ни къ чему не ведетъ: я не могу добиться ничего, кромѣ неопредѣленныхъ, односложныхъ отвѣтовъ“... На четвертый день послѣ операціи Ноэлю М. показано было два куска бѣлой бумаги, одинъ круглый, другой квадратный. „Видите ли вы разницу между этими кусками бумаги?“ спросилъ его Дюфуръ. — Да. — „Какую?“. Нѣтъ отвѣта. „Такъ вотъ одинъ изъ нихъ круглый, а другой четырехугольный; который же изъ нихъ четырехугольный?“ Ноэль М. остается на минуту безъ отвѣта и, наконецъ, заявляетъ, что хотя онъ и *видитъ разницу между ними, но не можетъ сказать, который изъ двухъ кусковъ круглый и который четырехугольный*. Этотъ опытъ вполне убѣдителенъ. Если пациентъ могъ дѣйствительно замѣтить *разницу* между двумя кусками бѣлой бумаги, которые были ему показаны, то онъ очевидно видѣлъ ихъ протяженными и замѣтилъ ихъ контуры, такъ какъ единственно по ихъ контурамъ онъ могъ ихъ отличить одинъ отъ другого.

Изъ всѣхъ этихъ наблюденій надъ слѣпорожденными, кажется, съ очевидностью слѣдуетъ только то, что между идеями зрительными и осязательными нѣтъ ничего общаго въ томъ смыслѣ, что прозрѣвшій слѣпорожденный не можетъ узнать *содержанія одной идеи съ другою*, и что это узнаваніе дѣлается возможнымъ, благодаря *опыту*; но эти наблюденія вовсе не доказываютъ, что зрительный опытъ не могъ бы существо-

вать самъ по себѣ и что онъ не доставляетъ возможности имѣть какое-либо рудиментарное познаніе протяженности. Эти наблюденія вовсе не доказываютъ, что мы посредствомъ одного зрѣнія не могли бы воспринимать протяженности, а они доказываютъ, что *посредствомъ одного только зрѣнія мы не могли бы обладать пространственнымъ представленіемъ взрослого человека*, что это послѣднее намъ удастся только послѣ того, какъ устанавливается опредѣленная связь между идеями зрительными и осязательными.

Вопросъ о роли осязанія или вообще двигательнаго опыта въ актѣ воспріятія пространства разрѣшается еще однимъ способомъ; именно наблюденіемъ надъ *новорожденными животными* и ихъ первоначальной способностью зрѣнія, а также надъ явленіями *развитія зрѣнія у новорожденного человека*.

Если бы, говорятъ нѣкоторые психологи, способность пространственнаго воспріятія *приобрѣталась* постепенно, а не составляла врожденнаго достоянія нашей души, то животныя тотчасъ послѣ рожденія были бы неспособны воспринимать пространство. Между тѣмъ, факты, какъ кажется, говорятъ совсѣмъ обратное: цыпленокъ, только что вылупившійся изъ яйца и носящій еще на хвостѣ остатки яйца, хватается муху на лету. Теленокъ совершаетъ цѣлесообразныя движенія, начинаетъ сосать матку. Крокодилъ, вылупившійся изъ яйца (ненасиженнаго родителями), сейчасъ же бросается въ воду, кусаетъ палеку, которой его трогаютъ и т. д. Эти факты показываютъ, что животныя, „съ того момента какъ увидятъ свѣтъ, видятъ также и глубину его“. Гельмгольцъ ¹⁾ на это возражаетъ: „говорятъ, что теленокъ видитъ соску матери и направляется къ ней и ищетъ ее. Но нужно было бы сначала изслѣдовать, можетъ быть, онъ только обоняетъ ее и, можетъ быть, совершаетъ движенія, которыя приближаютъ его къ запаху. Цыпленокъ клуетъ, чтобы найти зерно, но онъ клевалъ уже въ яйцѣ и, кажется, что сначала онъ клуетъ на удачу“. По словамъ англійскаго натуралиста *Спальдинга* ²⁾, совершенство зрѣнія у совсѣмъ молодыхъ неопытныхъ цыплятъ удивительно. Если у только-что вылупившагося цыпленка глаза нѣсколько дней закрыты повязкой, то, спустя двѣ минуты послѣ снятія ея онъ слѣдуетъ за движеніемъ

¹⁾ Vorträge und Reden, 1884. В. I, стр. 328; В. II, стр. 240.

²⁾ О Спальдингѣ см. *Прейеръ*: Die Seele des Kindes, 1890, стр. 53—57.

ползущихъ насѣкомыхъ съ точностью, съ какою это дѣлаетъ старая курица. Въ теченіе 2—15 минутъ онъ клюетъ какой-либо предметъ, соображая разстояніе почти съ безошибочной точностью. Что касается предметовъ, находящихся за предѣлами района клеванія, то цыплята подбѣгаютъ къ нимъ и каждый разъ попадаютъ, причемъ они никогда не ошибаются ни на волосъ, даже въ томъ случаѣ, если зерна, которыя они клюютъ, будутъ не больше точки надъ печатной букой *i*. Спальдингъ наблюдалъ, какъ однодневный утенокъ схватилъ муху, которая летѣла мимо; полторадневная индѣйка внимательно, на манеръ старыхъ индѣекъ, направляла клювъ на мухъ и на другихъ мелкихъ насѣкомыхъ. Но ему возражаетъ Прейеръ слѣдующимъ образомъ: „Я долженъ, говорить онъ, не согласиться съ способностью цыплятъ не ошибаться ни на волосъ. Ошибочное разстояніе при попыткахъ клеванія доходитъ иногда до двухъ миллиметровъ, хотя, конечно, рѣдко ¹⁾. Нужно, впрочемъ, помнить, что даже куры клюютъ не безошибочно, какъ въ этомъ легко можетъ убѣдиться всякій. Точность однако достойна удивленія, особенно въ началѣ“.

Совершенство зрѣнія и движеній низшихъ животныхъ въ сравненіи съ новорожденнымъ ребенкомъ объясняется тѣмъ биологическимъ закономъ, по которому *чѣмъ ниже организовано животное, тѣмъ болѣе прочными оказываются связи между различными органами; они рождаются уже съ готовыми унаследованными связями*. Животнымъ въ ихъ жизни приходится учиться немногому и различныя нервныя связи устанавливаются весьма скоро, а у человѣка это связыванье запаздываетъ въ зависимости отъ дальнѣйшаго роста мозга ²⁾.

Что касается способности зрѣнія у новорожденного человѣка, то оно — въ собственномъ смыслѣ этого слова — въ первые дни жизни совершенно отсутствуетъ. Въ началѣ ребенокъ отличаетъ только темное отъ свѣтлаго и отличаетъ смѣну того и другого и то только тогда, когда значительная часть зрительнаго поля бываетъ освѣщена или затемнена; способность *фиксировать* пред-

¹⁾ У Рэльмана мы также находимъ факты, говорящіе, повидимому, противъ того совершенства зрѣнія у новорожденныхъ животныхъ, какое признается нѣкоторыми психологами. По его наблюденіямъ, молодые птицы, привыкшія въ гнѣздѣ или въ клѣткѣ пользоваться зрѣніемъ, покидая гнѣздо, не могутъ сразу попасть на вѣтку, на которую онѣ направляють свой полетъ. Ему удавалось даже видѣть, какъ онѣ направляли свой полетъ на стѣну и т. п., чего у взрослыхъ птицъ той же породы не бываетъ.

²⁾ Прейеръ, I. с., стр. 55—57; Рэльманъ, I. с., стр. 58—60; *Helmholtz*, Vortr. B. I, стр. 328.

меты, т. е. относить ихъ въ точку наиболѣе яснаго видѣнія, является не сразу, а пріобрѣтается около 3 — 5 недѣли. Но долго, послѣ пріобрѣтенія умѣнія произвольно фиксировать, воспріятіе предметовъ, неравномерно отдаленныхъ отъ глаза, бываетъ несовершеннымъ. Какъ медленно устанавливается *воспріятіе разстоянія*, показываютъ слѣдующія наблюденія Прейера:

17-я и 18-я недѣли. Часто ребенокъ старается схватить предметы, которые отстоятъ на двойномъ разстояніи отъ его руки.

27 — 30 недѣли. Если ребенокъ разсматриваетъ чужого на близкомъ разстояніи, то лицо принимаетъ выраженіе величайшаго изумленія. Слѣдовательно, новое изображеніе сѣтчатки должно быть совершенно отчетливымъ, т.-е. оно должно отличаться отъ другихъ изображеній сѣтчатки, а это значитъ, что аккомодация уже совершенна.

На 96-й недѣль. Я бросилъ, говоритъ Прейеръ, сидя у окна второго этажа, ребенку, находившемуся въ саду, кусочекъ бумаги. Онъ поднялъ его, разсматривалъ и началъ его протягивать ко мнѣ, выражая желаніе, чтобы я его взялъ: — ясное доказательство того, какъ *дурно оцѣнивается разстояніе*.

Въ извѣстную эпоху ребенокъ въ состояніи совершенно ясно видѣть предметы, неравно отдаленные отъ глаза, но при этомъ онъ не знаетъ, какъ неравно ихъ разстояніе. Этому онъ, повидимому, научается впоследствии, вѣроятно, *вслѣдствіе перемѣщенія тѣла къ видимому объекту*.

Но медленнѣе всего у ребенка вырабатывается способность точнѣе опредѣлять видимое. Прозрачность, блескъ, тѣнь въ теченіе перваго года непонятны и теряютъ свою загадочность только послѣ повтореннаго воспріятія. Толщина долго остается непознанной; третье измѣреніе, т.-е. разстояніе является довольно поздней составной частью познанія ¹⁾.

Такимъ образомъ и наблюденія надъ новорожденными животными, и надъ человѣкомъ подтверждаютъ выводы Берели относительно связи зрѣнія съ мускульно-осязательнымъ опытомъ. Хотя и кажется, что новорожденные животные обнаруживаютъ удивительное совершенство зрѣнія, однако это обстоятельство не даетъ намъ возможности дѣлать какія-либо заключенія о первоначальной зрительной способности человѣка, потому что кажущееся совершенство зрѣнія у животныхъ указываетъ только лишь на прочность унаслѣдованной связи между зрительными

¹⁾ Прейеръ, ук. соч., стр. 36—48.

и двигательными ощущеніями, а количество такихъ связей у животныхъ въ сравненіи съ человѣкомъ не велико. Развитие зрѣнія у новорожденнаго человѣка самымъ очевиднымъ образомъ доказываетъ зависимость усовершенствованія зрѣнія отъ мускульно-осязательнаго опыта.

Съ вопросомъ о роли осязанія въ актѣ зрѣнія находится въ связи вопросъ о такъ называемомъ *прямомъ видѣніи*, именно, отчего мы не видимъ предметовъ въ обращенномъ видѣ, хотя изображеніе ихъ у насъ на сѣтчатѣй обратнo?

Кажется, мы имѣемъ право задавать такой вопросъ, потому что мы составляемъ представленіе о пространствѣ, пользуясь тѣмъ изображеніемъ, которое мы имѣемъ на сѣтчатѣй. Нѣкоторые рѣшаютъ этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что мы видимъ вещи въ прямомъ видѣ, благодаря участію двигательнo-осязательнаго опыта, другіе объясняютъ его при помощи одного лишь зрительнаго опыта. Къ этой послѣдней группѣ относятся сторонники *гипотезы проекціи*, по которой сѣтчатой оболочкѣ приписывается свойство *проецировать свои впечатлѣнія наружу по направленію зрительныхъ линій*; по этой гипотезѣ мы имѣемъ *врожденное знаніе направленія*. Т.-е. какъ будто бы нашъ глазъ знаетъ направленіе свѣтового луча, исходящаго отъ свѣтящейся точки и ударяющей о сѣтчатую оболочку. Зная направленіе свѣтового луча, глазъ направляетъ и самое ощущеніе по этому лучу и приходитъ къ исходному пункту луча, т.-е. къ свѣтящейся точкѣ и, такимъ образомъ, хотя бы изображеніе находилось въ верхней части сѣтчатой оболочки, однако сознаніе, направляя ощущеніе по свѣтовому лучу, доходитъ до предмета, находящагося въ нижней части зрительнаго поля, и такимъ образомъ предметъ бываетъ видимъ прямо.

Когда лучи отъ какого-либо свѣтящагося предмета попадаютъ на сѣтчатку, то *впечатлѣніе прокладывается соответственно лучу зрѣнія*. Лучи отъ отдѣльнаго свѣтящагося пункта, какъ напр., отъ звѣзды, находящейся вправо въ конечномъ пунктѣ зрительнаго поля, входятъ въ глазъ и попадаютъ на сѣтчатую оболочку въ ея крайней лѣвой части, и звѣзда бываетъ видима въ подлежащемъ мѣстѣ направо. Звѣзда, находящаяся налѣво, посылаетъ свои лучи въ глазъ и попадаетъ въ правую часть сѣтчатой оболочки, впечатлѣніе помѣщается въ подлежащемъ мѣстѣ соответственно направляющему лучу. Въ этомъ мы не находимъ чего-либо абсолютно своеобразнаго, но только общее

свойство чувствъ, которое особенно утончено въ зрѣніи вслѣдствіе своеобразнаго строенія слоя палочекъ и колбочекъ въ сѣтчатой оболочкѣ. Если мы, напр., стоимъ съ завязанными глазами и кто-нибудь насъ толкаетъ палкой, то мы тотчасъ же изъ направленія удара заключаемъ въ направленію палки. Или, еслибъ мы съ завязанными глазами лежали на спинѣ въ спокойномъ озерѣ и кто-нибудь на берегу привелъ бы воду въ движеніе, то спустя нѣкоторый промежутокъ времени волны достигли бы насъ и слегка стали бы ударять о нашу кожу. Не могли ли бы мы заключить изъ направленія ударовъ въ направленію отдаленной причины? Нужно ли удивляться тому, что когда свѣтовые лучи ударяютъ о внутреннюю полость сѣтчатой оболочки, мы можемъ заключать въ направленію причины изъ направленія возбужденія, т.-е. помѣстить каждый лучъ на должномъ мѣстѣ въ пространствѣ? ¹⁾. Такъ отвѣчаетъ на указанный вопросъ теорія проекціи.

Теперь посмотримъ, какъ отвѣчаетъ на него та теорія, которая въ своемъ объясненіи пользуется осязательно-мускульнымъ опытомъ?

По этой теоріи самый вопросъ о прямомъ видѣніи имѣлъ бы основаніе только въ томъ случаѣ, еслибы нашъ духъ представлялъ подобіе зеркала и наши воспріятія были бы простой копіей предметовъ. Но въ дѣйствительности вѣдь это не такъ: ощущенія наши суть не изображенія, а только *знаки* чувственныхъ качествъ и они подлежатъ окончательной переработкѣ со стороны нашего духа, а поэтому положеніе изображенія на сѣтчатой оболочкѣ для прямого видѣнія имѣетъ только второстепенное значеніе ²⁾. Положеніе, въ которомъ предметы нами видимы, вовсе не опредѣляется положеніемъ ихъ изображеній на сѣтчаткѣ. Для того же, чтобы мы вообще могли приписать предметамъ какое-либо положеніе, для того, чтобы выраженія „низъ“, „верхъ“, „прямо“, „обратно“ имѣли смыслъ, мы должны обладать представленіемъ пространства, независимымъ отъ какого бы то ни было зрительнаго чувства, въ которомъ „верхъ“ и „низъ“ были бы двумя качественно противоположными другъ другу направленіями. Мускульное чувство именно и даетъ намъ такое представленіе: „низъ“ есть то мѣсто, въ которому направляется тяжесть; „верхъ“ — противоположное мѣсто. Оба направленія вполнѣ нами отличаются, благодаря непосредственному

¹⁾ *Леконтъ*. Die Lehre vom Sehen 1883, стр. 53 и д.

²⁾ *Helmholtz*. Vortr. u. Reden. B. I, стр. 300.

чувству, и мы поэтому даже въ темнотѣ никогда не ошибаемся относительно положенія нашего тѣла. Такимъ образомъ, мы *видимъ предметы прямо тогда, когда нижнія точки ихъ, благодаря одному и тому же движенію глазъ, бываютъ видимы одновременно съ тѣми точками нашего тѣла, которыя по указанію того же мускульнаго чувства находятся внизу и т. д.* ¹⁾ Изъ этого ясно, что первоначально въ насъ существуетъ мускульно-осязательное представленіе о верхѣ, низѣ, право, лѣво и т. д., и только впослѣдствіи присоединяется зрительный опытъ, который и созидаетъ въ насъ то прямое видѣніе, какое мы теперь имѣемъ.

Что дѣйствительно первоначально въ насъ существуютъ извѣстныя двигательныя представленія и что зрительныя ощущенія присоединяются къ нимъ послѣ, это показываютъ слѣдующіе факты существованія *предварительной координаціи движеній.*

„Если я“, говоритъ Аубертъ, „желаю, напр., пустить лошадь въ галопъ, то я никогда не знаю, долженъ ли я подѣйствовать правымъ или лѣвымъ шенкелемъ, но къ этому я прихожу путемъ послѣдующаго размышленія; точно также я не знаю, справа или слѣва я долженъ начать танцевать и часто мнѣ трудно дать въ этомъ отчетъ. Но я знаю, какъ мнѣ поступить въ томъ или другомъ случаѣ изъ одного *мускульнаго чувства.* Ясно, слѣд., что *право и лѣво* (въ оптическомъ смыслѣ) *суть представленія, которыя для нашего ориентированія вовсе не необходимы; что они собственно являются впослѣдствіи.* То же самое, разумѣется, справедливо и по отношенію къ верху и низу. Отсюда слѣдуетъ, что когда извѣстные пункты сѣтчатки возбуждаются, то они вызываютъ извѣстныя движенія тѣла, но при этомъ совершенно безразлично, какъ лежатъ на сѣтчаткѣ эти пункты, лишь бы только относительное положеніе ихъ оставалось бы однимъ и тѣмъ же. Поэтому, будетъ ли пунктъ, который возбуждается, находится въ верхней части сѣтчатки или въ нижней, это совершенно безразлично; также несущественно и то, будутъ ли наши глазныя оси двигаться вверхъ или внизъ, направо или налѣво, лишь бы только отношенія между органами ощущенія и движенія оставались тѣ же самыя“ ²⁾.

Такимъ образомъ и прямое видѣніе можетъ быть лучше всего объяснено посредствомъ двигательно-осязательнаго опыта, а если такъ, то очевидно, что воспріятіе пространства вообще происходитъ при обоюдномъ согласномъ дѣйствіи осязательнаго и зри-

¹⁾ Lotze. Grundzüge der Psychologie, 1889. § 37.

²⁾ Аубертъ. Physiologie der Netzhaut. В. II. 272.

тельного опыта. Но здѣсь самая главная трудность заключается именно въ указаніи *характера ихъ совместнаго существованія въ нашемъ* сознаниі; по теоріи Беркли, зрительный опытъ вызываетъ осязательный, а, между тѣмъ, кажется, нѣтъ никакой возможности раскрыть существованіе въ сознаниі осязательно-двигательныхъ идей, а потому кажется невозможнымъ, чтобы зрительная идея и осязательная идея какого-либо тѣла *сосуществовали въ душѣ зрячаго*; невозможно, чтобы явленія ви́шняго міра, входя въ душу, принимали двѣ протяженныя формы заразъ. По мнѣнію французскаго психолога, Дюнана, осязаніе не можетъ быть такимъ пособникомъ зрѣнія, какъ это изображается англійскими психологами, потому что зрительныя представленія отличаются отъ осязательныхъ большею устойчивостью и опредѣленностью, такъ что въ томъ случаѣ, когда мы могли бы имѣть одновременно зрительныя и осязательныя представленія, мы имѣемъ одни изъ нихъ, именно, зрительныя, а осязательныя тотчасъ отодвигаются на задній планъ. Онъ утверждаетъ, что чисто осязательное познаніе пространства отсутствуетъ у зрячихъ, потому что у нихъ оно замѣщается другимъ познаніемъ, совершенно отличнымъ и обязаннымъ дѣятельности одного органа зрѣнія. Это полное *уничтоженіе одного чувства другимъ*, предполагающее у всѣхъ людей, одаренныхъ зрѣніемъ, сильное и непреодолимое стремленіе переводить непосредственно на зрительные образы осязательныя представленія протяженности. Дюнанъ выводитъ изъ слѣдующаго. Онъ разспрашивалъ одного слѣпца, который раньше обладалъ зрѣніемъ. „Я имѣлъ случай, говоритъ онъ, встрѣтить человѣка, ослѣпшаго очень рано, но сохранившаго нѣкоторыя зрительныя воспоминанія; это Берню, ему теперь 38 лѣтъ; онъ слѣпъ съ 7 лѣтъ. Слепота его полная, хотя въ комнатѣ, освѣщенной дневнымъ свѣтомъ, онъ можетъ отличить, на какой сторонѣ находится окно; посредствомъ зрѣнія онъ не можетъ воспринять никакой формы, ни цвѣта, даже неяснымъ образомъ, а это для насъ весьма существенно. О своихъ нѣкогда бывшихъ зрительныхъ воспріятіяхъ онъ сохранилъ нѣкоторыя довольно опредѣленныя воспоминанія; онъ еще и теперь очень живо представляетъ обелискъ, видѣнный имъ въ дѣтствѣ. Онъ очень хорошо помнитъ кондитерскую, куда его водили въ дѣтствѣ, и картину, принадлежавшую его отцу и изображавшую воина. Онъ имѣетъ очень опредѣленный образъ *цвѣта* вишни или гребня пѣтуха. Онъ воспоминаетъ также о кажущемся уменьшеніи предметовъ въ перспективѣ. Онъ воспоминаетъ, какъ уменьшаются окна дома, когда смотришь на нихъ

снизу. Это почти все: его остальные зрительныя воспоминанія сводятся къ очень немногому и притомъ они очень неопредѣленны. Интересно было выдѣлить участіе зрительныхъ и осязательныхъ образовъ въ представленіяхъ Берню и опредѣлить способъ ихъ комбинаціи. Я спросилъ его, которое изъ двухъ чувствъ — зрѣнія и осязанія — кажется ему теперь преобладающимъ; онъ мнѣ отвѣтилъ, что до 25 лѣтъ онъ мыслить и представлялъ себѣ вещи въ *зрительныхъ* образахъ и въ особенности его сновидѣнія были сновидѣніями зрячаго, но что съ этого времени осязательныя идеи стали преобладать въ его умѣ; его сновидѣнія сдѣлались исключительно сновидѣніями слѣпого и теперь онъ мыслить и воображаетъ большую часть времени какъ слѣпой. Чтобы убѣдиться, въ какой мѣрѣ было справедливо это заявленіе, я далъ ему въ руки кусокъ гранаты очень неправильной формы и просилъ его сосредоточить все вниманіе для того, чтобы точно анализировать представленіе, которое этотъ предметъ вызываетъ въ немъ съ точки зрѣнія размѣровъ и формы и сказать мнѣ, было ли это представленіе зрительнымъ или осязательнымъ, или и тѣмъ и другимъ вмѣстѣ. Берню долго ощупывалъ предметъ, который я ему предложилъ, и сказалъ мнѣ, возвращая его спустя нѣкоторое время, что онъ имѣетъ о немъ очень ясную идею. Я спросилъ его, какого характера эта идея, т.-е. была ли она чисто зрительная или къ ней присоединяются элементы, заимствованные изъ осязанія? „Нѣтъ“ — отвѣчалъ онъ, „чисто зрительная“. Если это идея зрительная, — прибавилъ я, — то предметъ долженъ казаться окрашеннымъ. — „Безъ сомнѣнія,“ — отвѣчалъ онъ, — и я никогда не воспринимаю посредствомъ осязанія ни одного предмета безъ того, чтобы тотчасъ же не придавать ему какого-нибудь цвѣта; даже буквы брайлевскаго алфавита кажутся мнѣ совершенно окрашенными. Такъ я даю буквѣ *А* бѣлую окраску, нѣсколько розоватую, *В* имѣетъ тоны сѣроватые и т. д.“. Этотъ отвѣтъ не оставлялъ никакихъ сомнѣній: онъ доказывалъ самымъ рѣшительнымъ образомъ, что Берню, ослѣпшій очень рано и теперь еще, вопреки своему заявленію, есть *собственно зрячій по отношенію къ его способу представленія*. Я спросилъ его, что означаютъ эти слова, что онъ до 25 лѣтъ имѣлъ сновидѣнія зрячаго, а послѣ этого сновидѣнія слѣпого. „Это обозначаетъ,“ — сказалъ онъ, — что до 25-лѣтняго возраста я былъ зрячимъ въ моихъ сновидѣніяхъ и *дѣйствовалъ во снѣ какъ зрячій*, между тѣмъ какъ въ настоящее время я слѣпой, какъ въ сновидѣніяхъ, такъ и въ состояніи бодрствованія: мнѣ представляется во снѣ, *что я блуждаю во тьмѣ и*

хватаясь за вещи такъ, какъ если бы это было въ дѣйствительности. Нѣкогда я имѣлъ два существованія: слѣпое въ продолженіе дня и зрячаго во снѣ. Теперь я имѣю только одно существованіе, именно слѣпое, но и теперь, какъ въ сновидѣніи, такъ и въ дѣйствительности, когда я представляю себѣ вещи, то придаю имъ извѣстный цвѣтъ“.

Дюнанъ считаетъ этотъ послѣдній фактъ потому интереснымъ, что онъ показываетъ самымъ явственнымъ образомъ, до какой степени зрительныя представленія вследствие своей отчетливости стремятся стереть осязательныя и замѣститъ эти послѣднія. Противъ взаимодѣйствія зрѣнія и осязанія говорить и то обстоятельство, что осязательное пространство и зрительное пространство не имѣютъ между собой ничего общаго. „Что касается представленія пространства, или протяженности безъ помощи зрѣнія, то внимательное наблюденіе одного слѣпорожденнаго, которое я производилъ, говоритъ *Платнеръ*, убѣдило меня въ томъ, что осязательное ощущеніе само по себѣ совершенно не въ состояніи дать намъ представленія протяженности, или пространства, и что онъ даже не знаетъ о внѣположности вещей. Въ дѣйствительности для слѣпыхъ время замѣщаетъ пространство. Близость и отдаленность обозначаютъ для нихъ ничего больше, какъ время болѣе долгое или болѣе короткое, большее или меньшее количество ощущеній, которыя для нихъ необходимы для того, чтобы перейти отъ одного ощущенія до другого“ ¹⁾. По мнѣнію Дюнана, слѣпые живутъ только во времени; идеи, которыя они имѣютъ о вещахъ, суть идеи возможнаго слѣдованія ощущенія, чтобы испытать прикосновеніе этихъ вещей, но ни въ коемъ случаѣ не идея сосуществованія сопротивляющихся частей. Напр., когда слѣпой сидитъ на креслѣ, идея, которую онъ имѣетъ объ этомъ креслѣ, состоитъ въ томъ, что, проводя рукой, онъ встрѣтитъ кожу, дерево, гвозди, но въ своемъ сознаніи онъ не имѣетъ никакого образа этого кресла, какъ протяженнаго тѣла и отличнаго отъ другихъ тѣлъ. „Если въ самомъ дѣлѣ зрительное пространство такъ сильно отличается отъ осязательнаго, то какъ возможно ихъ взаимодѣйствіе? Если у насъ въ сознаніи существуютъ двѣ совершенно *разнородныхъ* идеи протяженности, то непонятно, какимъ образомъ осязательная идея, совершенно отличная отъ зрительной, можетъ дополнять эту послѣднюю? Зрительная идея можетъ замѣщать осязательную, но смѣшиваться съ нею не можетъ, потому что она совершенно отъ нея отличается“.

¹⁾ *Platner. Philosophische Aphorismen. 1792 стр. 441 и д.*

Но это возраженіе Дюнана вовсе не достигаетъ поставленной имъ цѣли, потому что *разнородность* идей осязательныхъ и зрительныхъ указывалась уже въ англійской психологіи; что касается замѣчанія Дюнана, что зрительная идея не можетъ *совмѣщаться* съ осязательной, то на самомъ дѣлѣ въ этомъ нѣтъ никакой надобности, потому что, такъ какъ идея зрительная есть только *знакъ* для идеи осязательной, то она должна только *вызывать* осязательную идею, а для этого не требуется ихъ *существованія въ сознаніи*.

Г. ЧЕЛПАНОВЪ.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДѢНІЕ

въ Полтавскомъ уѣздѣ въ 1767 г.

Многія стороны историческаго прошлаго гетманской Малороссіи 17—18 вѣковъ остаются еще весьма мало разработанными и плохо освѣщенными въ научной литературѣ и рисуются намъ пока въ смутномъ и неясномъ видѣ; многіе вопросы ожидаютъ еще своихъ изслѣдователей и относящіеся къ нимъ матеріалы мирно покоятся въ этомъ ожиданіи на полкахъ библіотекъ и архивовъ. Едва ли однако не самое видное мѣсто въ ряду этихъ неразработанныхъ вопросовъ принадлежитъ исторіи экономической жизни страны. Нѣсколько общихъ теоретическихъ соображеній, нерѣдко слишкомъ общихъ и мало согласенныхъ съ фактами, нѣсколько—крайне немного—порою очень цѣнныхъ, но частныхъ изслѣдованій—вотъ и все, что мы имѣемъ въ этой области, разработка которой однако, смѣло можно сказать, становится въ настоящее время очередной задачей историческаго изслѣдованія, обусловливаемой какъ общими положеніями науки, такъ и фактомъ сравнительно болѣе выясненности другихъ ея сторонъ. Нельзя между тѣмъ сказать, чтобы не существовало матеріала для выполненія этой задачи. Такой матеріалъ, если и не идеально полный, то во всякомъ случаѣ богатый и разнообразный, бросающій до неожиданности яркій свѣтъ на многіе порядки старины, въ громадномъ количествѣ заполняетъ собою архивныя вмѣстилища, являясь въ видѣ описей отдѣльныхъ имѣній и цѣлыхъ ихъ группъ, переписей населенія, частныхъ договоровъ и купчихъ, массы всевозможныхъ судебныхъ дѣлъ, семейныхъ бумагъ и т. п. На

первый планъ среди всѣхъ этихъ источниковъ выдвигается одинъ, по богатству, разнообразію и точности своихъ данныхъ представляющійся едва ли не единственнымъ, не только въ малорусскихъ, но и вообще въ русскихъ архивахъ. Я разумѣю знаменитую Румянцевскую Опись, дающую намъ, пока еще не осуществленную, возможность изучить хозяйственную жизнь лѣвобережной Малороссіи во второй половинѣ прошлаго вѣка во всѣхъ ея наиболѣе существенныхъ проявленіяхъ. Понятное дѣло, никакія широкія обобщенія невозможны до той поры, пока этотъ матеріалъ остается неизслѣдованнымъ, хотя бы въ важнѣйшихъ его частяхъ, пока фактическое изученіе не позволило намѣтить нѣсколько точнѣ хотя бы общій путь развитія отражаемыхъ нашими источниками явленій. Но до этого еще довольно далеко. Въ настоящее время, когда о такомъ изученіи мы только еще мечтаемъ, единичному работнику въ данной области приходится отказаться отъ рискованныхъ построений и поспѣшныхъ выводовъ и накоплять частныя изслѣдованія, въ своей массѣ и долженствующія рѣшить общій вопросъ, приходится, иными словами, лишь приподымать уголки завѣсы, скрывающей за собою факты прошлаго.

Въ виду сказаннаго, думается мнѣ, можетъ имѣть нѣкоторое значеніе, конечно, довольно условное и узкое, и настоящая замѣтка, которая является попыткой именно такого частнаго изслѣдованія, имѣющаго своею непосредственною цѣлью сводъ данныхъ Румянцевской Описи относительно землевладѣнія крестьянъ или „посполитыхъ“ нынѣшняго Полтавскаго уѣзда въ моментъ составленія названной Описи. Подобнаго рода изслѣдованія, и притомъ по болѣе широкой программѣ, были уже произведены для другой мѣстности,—для Кролевецкаго уѣзда Черниговской губерніи гг. Червинскимъ и Шликевичемъ, для Суражскаго уѣзда—г. Филимоновымъ, издавшимъ составленные по Румянцевской Описи таблицы, и проф. Луцицкимъ, сопоставившимъ данныя этихъ таблицъ съ данными земской переписи 1882 года ¹⁾. Во всѣхъ поименованныхъ только-что работахъ изслѣдованіе охватываетъ обѣ главныя группы крестьянскаго населенія Малорос-

¹⁾ П. Червинскій, Кролевецкій уѣздъ. (Матеріалы для оцѣнки земельныхъ угодій, изданіе Черниг. губ. земства). Черниговъ, 1887. А. Шликевичъ. Лучше ли жилось въ Малороссіи за сто лѣтъ назадъ? (Земскій сборникъ Черниговской губ. 1890, № №11—12). Е. Филимоновъ, Румянцевская генеральная опись Суражскаго уѣзда 1767 г. Вятка. 1888. И. Луцицкій. Крестьянское землевладѣніе въ Суражскомъ уѣздѣ Черниговской губерніи въ 1767 и 1882 гг. (Юридическій Вѣстникъ 1889 г. № 12).

сіи, посполитыхъ, или собственно крестьянъ, и козаковъ; кромѣ того, въ трудѣ г. Червинскаго и написанной по поводу его полемической статьѣ г. Шликевича оба эти автора касались не только землевладѣнія крестьянъ, но и промышленныхъ заведеній, находившихся въ рукахъ крестьянскаго населенія. Наконецъ, во всѣхъ этихъ трудахъ имѣется одна и та же общая задача—сравненіе положенія крестьянства въ эпоху Румянцевской Описи съ современнымъ его состояніемъ. Подъ перомъ гг. Червинскаго и Шликевича это сравненіе, произведенное, и притомъ довольно поверхностно, по даннымъ одного уѣзда, принимаетъ значеніе общаго для всей Малороссіи факта и разростается даже до размѣровъ оцѣнки историческихъ судебъ всего малорусскаго крестьянства на протяженіи послѣдняго столѣтія, и только въ статьѣ проф. Лучицкаго (г. Филимоновъ ограничился изданіемъ таблицъ) такое сравненіе выполнено со всѣми необходимыми оговорками и исключеніями, со всею осторожностью настоящаго изслѣдователя. Предлагаемая мною вниманію читателей работа не только уже по содержанію и темѣ, но и преслѣдуетъ нѣсколько иную задачу. Данные Описи 1767 г. имѣютъ большое значеніе не только, какъ матеріалъ для сравненія прошлаго вѣка съ настоящимъ, которое, какъ мы еще увидимъ, во всякомъ случаѣ не можетъ быть къ тому же полнымъ, но и внѣ этого сравненія, принимаемая не исходнымъ пунктомъ новаго процесса народной жизни, а конечнымъ итогомъ процесса предшествовавшаго, длившагося тоже около вѣка. Вообще говоря, эти двѣ задачи могутъ и даже должны быть совмѣщены и тогда онѣ взаимно дополняютъ и уясняютъ одна другую, но въ данномъ случаѣ такое совмѣщеніе грозило чрезмѣрнымъ разростаніемъ статьи. То обстоятельство, что сравненіе 18 вѣка съ 19-мъ не могло быть не только исчерпывающимъ, но даже полнымъ, тогда какъ при подчиненіи матеріала интересамъ этого сравненія неизбѣжно должны были исчезнуть нѣкоторыя характерныя особенности старой жизни, воспроизводимой нашимъ источникомъ, побудило меня рѣшиться выбрать изъ двухъ представлявшихся задачъ на этотъ разъ одну—изображенія положенія крестьянства въ 1767 г. безотносительно къ современнымъ порядкамъ.

Но прежде два слова о томъ источникѣ, которымъ я намѣренъ руководиться при этомъ изображеніи. Источникомъ этимъ послужила для меня часть Румянцевской Описи, хранящаяся въ Харьковскомъ Историческомъ Архивѣ и охватывающая собою 4 сотни бывшаго Полтавскаго полка (2 полковыхъ,

Великбудискую и Рѣшетилловскую), но не самая опись, или, точнѣе говоря, не самыя черновыя и бѣловыя „вѣдомости“, составлявшіяся мѣстной администраціей, владѣльцами и „ревизорами“, а сдѣланная послѣдними по вѣдомостямъ сводка статистическаго матеріала ихъ въ видѣ таблицъ или, какъ она названа, „подворной табели“. Эта табель, точно передающая данныя вѣдомостей, довольно любопытна и стоитъ того, чтобы о ней сказать нѣсколько словъ. Другой подобной мнѣ не встрѣчалось во всей до сихъ поръ извѣстной Румянцевской Описи, если не считать таблицъ, приложенныхъ къ отдѣльнымъ селамъ Переяславскаго поля. Но форма послѣднихъ нѣсколько иная, и въ точности передачи данныхъ вѣдомостей онѣ уступаютъ Полтавской табели. Въ ней есть рубрики для нѣкоторыхъ лишь свѣдѣній описи, именно для возрастнаго состава населенія, его земельного имущества, скота, уплачиваемой съ двора консистентской подати и денежнаго платежа владѣльцу. При каждомъ дворѣ показана общая цифра его населенія, разбитая затѣмъ на отдѣльныя рубрики по поламъ и внутри cadaго по возрастамъ. Послѣднихъ рубрикъ три, подъ заглавіями „малолѣтнихъ“, „въ лѣтахъ“ и „престарѣлыхъ и увѣчныхъ“; эти названія находятъ себѣ болѣе точную замѣну при каждомъ итогѣ отдѣльнаго села въ вѣдомостяхъ, гдѣ имѣются слѣдующія обозначенія: „отъ 1 года до 15“ (исключительно), „отъ 15 лѣтъ до 60“ и „престарѣлыхъ“, причемъ съ послѣдними соединяются въ одно „увѣчные и къ работѣ совсѣмъ неспособные“, какаго бы возраста они ни были. Земля показана по слѣдующимъ рубрикамъ: земель пахотныхъ, лежащихъ впустѣ, заросшихъ лѣсомъ, сѣнокосовъ, лѣсовъ, годныхъ на строеніе и дровяныхъ; при этомъ вся земля, кромѣ лѣса, показана въ десятинахъ и квадратныхъ саженьяхъ, лѣсъ же въ верстахъ и саженьяхъ въ окружности и въ томъ случаѣ, если лѣсу у даннаго домохозяина было нѣсколько кусковъ, въ табель заносилась цифра, полученная простымъ сложениемъ окружностей всѣхъ этихъ кусковъ. Наконецъ, скотъ занесенъ въ табель подъ такими рубриками: быковъ, коровъ дойныхъ, коровъ яловыхъ, овецъ, барановъ, козъ, свиней и лошадей, причемъ каждый видъ скота дѣлится на „старыхъ“ и „молдыхъ“; „старые“ быки, коровы и лошади табели соответствуютъ современному рабочему скоту. Чтобы дополнить свѣдѣнія о внѣшнемъ видѣ табели, остается затѣмъ развѣ еще прибавить, что не только отдѣльные дворы внутри селъ, но и цѣлыя села, и даже владѣнія, не скомбинированы въ ней въ сколько-нибудь опредѣленныя группы; дворы перечисляются по порядку зане-

сенія ихъ въ вѣдомости, села и владѣнія разсыпаны въ безпорядочныхъ комбинаціяхъ, то по мѣстности, то по владѣльцу, то безъ всякаго опредѣленнаго признака, очевидно, просто по порядку пользованія вѣдомостями. По всему видно, что тогдашняя статистика не далеко еще ушла въ дѣлѣ пользованія добываемыми ею данными. Характеромъ источника обуславливается и значеніе сообщаемыхъ имъ данныхъ. Прежде всего мы вполне лишены возможности вычислить размѣры земельной площади, занятой лѣсомъ. Если вообще вычисленіе площади, основанное на ея окружности, можетъ быть лишь крайне шаткимъ и приблизительнымъ, до того, что является сомнѣніе въ его пользѣ, то въ томъ случаѣ, когда въ основу этого вычисленія приходится положить итоги нѣсколькихъ окружностей, полученные путемъ сложения, работа оказывается совершенно уже безплодной. Далѣе, при сравненіи „табели“ съ вѣдомостями обнаруживаются и другіе факты, нѣсколько понижающіе цѣнность сообщаемыхъ ею цифръ. Не всегда дворъ, при которомъ въ табели не показано земли, и въ дѣйствительности ея не имѣлъ. Иногда земля была общою для нѣсколькихъ, двухъ или и болѣе, дворовъ, населенныхъ родственниками, находясь въ нераздѣльномъ ихъ владѣніи, причемъ они вели на ней общее или отдѣльное хозяйство, но въ табель въ такомъ случаѣ земля заносилась только при одномъ дворѣ, а при другихъ не показывалась ¹⁾. На ряду съ этой особенностью источника, подчеркивающей крайнія степени хозяйственной состоятельности, въ немъ есть двѣ другія, служащія къ смягченію и ослабленію крайностей, въ дѣйствительности существовавшихъ въ болѣе рѣзкомъ видѣ, и эти особенности также стоятъ въ зависимости отъ способа подворнаго описанія. Принятый табелью за основу исчисления, дворъ не всегда представлялъ изъ себя простую хозяйственную и экономическую единицу. Иногда онъ является единицей сложной, притомъ даже сложенной механически изъ болѣе простыхъ и самостоятельныхъ единицъ—семей. Во дворѣ могутъ жить нѣсколько чужихъ, а то и родственныхъ, семей, ведущихъ однако отдѣльное хозяйство и стоящихъ на разныхъ ступеняхъ экономической состоятельности. Между тѣмъ въ табели всѣ особенности этихъ хозяйствъ сливаются, такъ какъ она знаетъ

¹⁾ Такъ, напр., въ с. Жукахъ при первомъ дворѣ, Демьяна и Матвѣя Вѣтеньковъ, въ табели не показано земли, въ вѣдомости же читаемъ: „у нихъ пахотная земля въ пяти местахъ, сенокосовъ 2, лесовъ 2 и хуторъ не въ роздѣлѣ зъ нижеписаннымъ ихъ братомъ, подданимъ же Кириломъ Вѣтенькомъ, живущимъ въ господскомъ домѣ, о которѣхъ принадлежностяхъ за нимъ и показано“ (связка № 46, черновая вѣдомость с. Жуковъ, 1^{го} 3 верста).

только дворъ ¹⁾. Наконецъ въ табели т. н. подсушдѣи посполитыхъ не выдѣлены особо, а слиты въ то же общее понятіе двора, тогда какъ по уровню своихъ хозяйственныхъ средствъ они рѣзко рознятся отъ собственно посполитыхъ. Всѣ названныя особенности источника, повторяю, понижаютъ нѣсколько значеніе содержащихся въ немъ цифръ, но такое пониженіе не настолько значительно, чтобы надо было совершенно отказаться отъ пользованія ими. Идеальной группировкой данныхъ была бы, конечно, группировка по хозяйствамъ, но она не достигнута вполне и въ современной земской статистикѣ, также не идущей далѣе двора. Съ другой стороны, во всѣхъ произведенныхъ до сихъ поръ изслѣдованіяхъ и изданіяхъ по Румянцевской Описи хозяйственныхъ, по крайней мѣрѣ, средства подсушдковъ, а иногда и сами они, остаются въ соединеніи съ посполитскимъ населеніемъ и рассматриваются за одной общей скобкой. Наконецъ всѣхъ перечисленныхъ случаевъ уклоненія отъ дѣйствительности въ нашемъ источникѣ не такъ уже много, чтобы они могли оказать серьезное давленіе на характеръ общихъ выводовъ въ ту или другую сторону. Въ виду всего этого мы вправѣ, кажется, пользоваться данными нашего источника въ томъ видѣ, какой они изъ себя представляютъ, хотя и должны помнить, что болѣе детальное изслѣдованіе внесло бы въ нихъ кое-какія поправки.

Мое разросшееся предисловіе окончено и я перехожу къ самымъ фактамъ, рисуемымъ источникомъ, характеризовать который я считалъ нужнымъ во избѣжаніе возможныхъ недоразумѣній въ виду полной его неизвѣстности.

I.

Названные выше четыре сотни Полтавскаго полка заключали въ себѣ значительную часть нынѣшняго Полтавскаго уѣзда, именно 13 волостей изъ двадцати одной, въ немъ числящейся ²⁾. На

¹⁾ Вотъ примѣръ, поясняющій сказанное въ текстѣ. Беремъ данныя вѣдомостей о дворѣ № 6 въ с. Жукахъ. Въ дворѣ двѣ хаты; въ одной живутъ 2 семьи, другая стоитъ пустой. Изъ этихъ семей въ одной муж. пола взрослыхъ 1, женск. пола малолѣтнихъ 3, взрослая 1; у нихъ пахотной земли 10 дес. 178 кв. саж.; скота—быкъ молодой 1, корова яловая старая 1, свиней молодыхъ 3; они „промышляютъ ткацтвомъ“—и платятъ на консистентовъ 82 к. Въ другой семьѣ: муж. пола малолѣтнихъ 2, взрослыхъ 1, женск. пола малолѣтнихъ 2, взрослыхъ 3; земли не имѣютъ; скота—лошадь старая 1, свиней молодыхъ 2; на консистентовъ платятъ 80 к. (тамъ же, № 6 v.—7 v.).

²⁾ Волости эти слѣдующія: Чутовская, Первозвановская, Щербаковская, Никольская, Диканьская, Каменская, Тахтауловская, Полтавская, Супрунов-

этомъ пространствѣ Румянцевская Опись зарегистрировала 64 селъ и деревень съ посполитскимъ населеніемъ и множество мелкихъ хуторовъ, разбѣянныхъ какъ въблизи этихъ селъ, такъ и поодаль отъ нихъ, въ разныхъ урочищахъ, преимущественно по рѣчкамъ: Коломаку, Свинковѣ, Полузерью, Ворсклѣ, Голтвѣ, Ольховой, Средней и Шипацкой Голтвамъ, Ковжижѣ, Головачу и Тамлику. Во всѣхъ этихъ селахъ, деревняхъ и хуторахъ насчитывалось 4,585 посполитскихъ дворовъ и бездворныхъ хатъ съ населеніемъ въ 34,402 души обоего пола. Почти половина послѣдней цифры, именно 16,936 чел., падала на долю мужчинъ и женщинъ въ возрастѣ отъ 15 до 60 лѣтъ и способныхъ къ работѣ; немногимъ менѣе—15,520 чел.—было дѣтей и подростковъ обоего пола до 15 лѣтъ, и наконецъ около $\frac{1}{17}$ всего населенія составляли старики и люди неспособные къ работѣ вслѣдствіе болѣзни или увѣчья—1,946 чел. Во владѣніи всѣхъ этихъ лицъ находилось 24,453 дес. 910 кв. саж. пахатной, сѣнокосной и впускъ лежащей земли, изъ которой 12,307 дес. 1,629 кв. саж. было пахатной, 8667 д. 680 кв. саж. выпадало на долю сѣнокоса и 3,478 дес. 1001 кв. с.—лежащей впускъ земли. Здѣсь надо сдѣлать, впрочемъ, одну оговорку. Въ приведенныхъ только-что цифрахъ мы имѣемъ дѣло съ итогами земли, находившейся въ подворномъ владѣніи, но помимо нея въ данной мѣстности существовала еще и общинная земля, какъ это видно изъ цѣлаго ряда свидѣтельствъ. Въ 1739 г. у мѣстечка Великихъ Будищъ упоминается „мирской боръ“¹⁾, въ моментъ составленія самой Румянцевской Описи около г. Полтавы существовала „вольная дубина“²⁾, и т. д., но, къ сожалѣнію, мы не имѣемъ данныхъ даже для приблизительнаго опредѣленія размѣра этихъ земель и вынуждены ограничиться цифрами земли отдѣльных домохозяевъ, которые однѣ только и занесены въ нашъ источникъ. Мы лишены также возможности, какъ сказано уже раньше, вычислить пространство принадлежавшей посполитымъ лѣсной площади. Но мы можемъ, по крайней мѣрѣ, представить общую картину распредѣленія различныхъ земельныхъ угодій между отдѣльными хозяйствами. Слѣдующая табличка и преслѣдуетъ эту цѣль, причемъ для большей простоты въ ней обрабатываемая пахатная земля и лежащая впускъ соединены вмѣстѣ:

ская, Мачехская, Баяснонская, Рѣшетилловская и частью Демидовская. Впрочемъ и другія изъ перечисленныхъ волостей, за исключеніемъ Диканьской и Рѣшетилловской, не воиолѣ имѣются въ описи 1767 г.

¹⁾ Харьк. Историч. Архивъ, связка № 53 по Полтавской описи.

²⁾ Тамъ же, связка № 42.

Имѣющихъ пахатную, сѣнокосную и лѣсную землю . . .	552 дв. или	12,04%
„ пахатную и сѣнокосную землю	525 „ „	11,45
„ пахатную и лѣсную землю	510 „ „	11,12
„ сѣнокосную и лѣсную „	31 „ „	0,67
„ только пахатную „	617 „ „	13,45
„ „ сѣнокосную „	64 „ „	1,39
„ „ лѣсную „	101 „ „	2,20
всего имѣющихъ земли	2400 дв. или	52,32
безземельныхъ	2185 „ „	47,68

Такимъ образомъ лишь около $\frac{1}{4}$ всего числа дворовъ — 26,03% — оказывается имѣющимъ въ своемъ владѣніи лѣсъ; остальные располагаютъ лишь пахатной и сѣнокосной землею, или же не имѣютъ никакой. Что касается тѣхъ земельныхъ угодій, относительно которыхъ мы имѣемъ болѣе точныя данныя, мы можемъ замѣтить, что на каждый дворъ (считая въ томъ числѣ и безземельные) въ среднемъ размѣрѣ приходилось 5,31 дес. земли всѣхъ разрядовъ, или 2,68 дес. пахати, 1,88 дес. сѣнокосу, слѣдовательно 4,56 дес. обрабатываемой земли и 0,78 дес. впускъ лежащей земли. Эти данныя, сами по себѣ еще недостаточныя, должны быть дополнены свѣдѣніями о находившемся у крестьянъ скотѣ, которыя я и приведу теперь въ самомъ общемъ ихъ видѣ.

Во всѣхъ дворахъ насчитывалось 2,077 старыхъ лошадей и 7,829 старыхъ воловъ, слѣдовательно на каждое хозяйство приходилось въ среднемъ 2,15 тогдашняго рабочаго скота. Кромѣ того въ описи зарегистрированы 7,843 старыя коровы, соотвѣтствующія нынѣшнимъ рабочимъ, и, принимая современное распределеніе скота, мы получимъ 3,85 головъ рабочаго скота въ среднемъ на дворъ. Нерабочій скотъ распредѣлялся слѣдующимъ образомъ: 838 лошадей, 6,938 воловъ и 6,442 коровы, слѣд. въ среднемъ на дворъ 3,1. Мелкаго скота было: овецъ — 48,616 или по 10,6 на дворъ, козъ — 220 или по 0,05 на дворъ, и свиней 13,913 или на дворъ по 3. Приводя, для болѣе наглядности, эти цифры къ одной, мы получимъ въ переводѣ на крупный скотъ ¹⁾—26,867 головъ или на дворъ 5,8 головъ.

Таковы среднія цифры, какія мы можемъ вывести изъ нашего источника. Въ этомъ общемъ своемъ видѣ онѣ однако еще очень мало говорятъ и, чтобы сдѣлать ихъ нѣсколько красно-

¹⁾ Для этого перевода мы принимаемъ тѣ же цифры, что Полтавскіе статистики: на 1 штуку крупнаго скота 5 штукъ нерабочаго и 10 штукъ мелкаго. Нашъ итогъ не будетъ однако же вполне тождественъ по характеру съ современнымъ, такъ какъ въ нашемъ источникѣ отсутствуетъ цифра рабочаго скота, вводимая земскими статистиками въ ихъ вычисленіе.

рѣчивѣ, необходимо прежде всякой иной общей комбинаціи разбить ихъ на частныя группы. Та часть Полтавскаго крестьянства, къ которой относятся наши данныя, не представляла изъ себя въ 1767 году вполне однороднаго цѣлаго. Она распадалась на нѣсколько разрядовъ, различавшихся между собою какъ по характеру владѣльцевъ, которымъ они подчинялись, такъ и по собственному экономическому положенію. Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ четырьмя такими разрядами: крестьянами ранговыми, или приписанными къ должности, магистратскими или городскими, монастырскими и частновладѣльческими. Только одинъ признаетъ проходить черезъ всѣ эти группы почти безъ серьезныхъ колебаній—средняя населенность двора ¹⁾, всѣ остальные показатели положенія крестьянства мѣняются въ каждой группѣ въ зависимости отъ ея специфическихъ особенностей. Мы и приступимъ теперь къ обзору каждой изъ этихъ группъ въ отдѣльности.

II.

Начнемъ съ имѣній ранговыхъ. Численно они представляютъ самую ничтожную группу въ нашемъ матеріалѣ. Это всего четыре имѣнія, или вѣрнѣе даже три—м. Рѣшетилонка съ прилежащими хуторами, находившееся во владѣніи полтавскаго полковника, часть с. Шостаковъ, принадлежавшая на рангъ полкового есаула, ранговой хуторъ Переволочанскаго коменданта въ урочищѣ р. Полузори или Полузерья, и четвертое—хуторъ рангового полковничьяго посполитаго въ урочищѣ р. Сухой Голтвы,—съ населеніемъ въ 270 посполитскихъ дворовъ. Во владѣніи ихъ находится 4056,8 дес. земли, по отдѣльнымъ угодіямъ распределяющейся слѣдующимъ образомъ: пахати—1353,6 дес., сѣнокоса—1197,5 дес. и лежащей впустѣ земли—1505,7 дес. Средній размѣръ владѣмой земли на каждый дворъ оказывается, стало быть, очень высокимъ, достигая въ общей цифрѣ 15,02 дес. и распределяясь по отдѣльнымъ угодіямъ въ такомъ видѣ: пахати—5,01 дес., сѣнокоса—4,43 дес. или всей обрабатывае-

¹⁾ Въ общемъ итогѣ эта средняя населенность равна 7,50 чел. на дворъ. По отдѣльнымъ разрядамъ имѣній она представляетъ слѣдующій видъ: въ частновладѣльческихъ крупныхъ имѣніяхъ—7,74, въ ранговыхъ—7,63, въ монастырскихъ—7,28, въ частновладѣльческихъ мелкихъ—7,19 и въ магистратскихъ—6,30. Объясненіе терминовъ крупныхъ и мелкихъ частновладѣльческихъ имѣній читатель встрѣтитъ ниже.

мой земли—9,44 дес. и земли, впускъ лежащей—5,57 дес. на дворъ. Необрабатываемая земельная площадь здѣсь превышаетъ и пахатную и сѣнокосную землю, взятую отдѣльно, и въ общемъ итогѣ каждый дворъ представляется обеспеченнымъ землею въ размѣрѣ почти двухъ десятинъ на душу. Но среднія цифры способны выражать только самое грубое представленіе объ явленіи. Обратимся поэтому къ болѣе детальному разбору нашихъ данныхъ, и прежде всего къ распредѣленію хозяйствъ по находящимся въ ихъ владѣніи земельнымъ угодіямъ. Такое распредѣленіе можетъ быть выражено слѣдующей таблицей:

имѣющихъ пахать, сѣнокосъ и лѣсъ	30,37% общ. чис. дв.
„ пахать и сѣнокосъ	3,71
„ пахать и лѣсъ	12,59
„ лѣсъ и сѣнокосъ	2,22
„ только пахать	16,67
„ „ сѣнокосъ	0,74
„ „ лѣсъ	1,85
всего имѣющихъ землю	68,15
безземельныхъ	31,85

Наиболѣе значительной группой, достигающей почти трети общаго числа дворовъ, являются хозяйства, обладающія всѣми важнѣйшими угодіями; за ними слѣдуютъ хозяйства съ одной пахатной землей, затѣмъ—съ пахатной землей и лѣсомъ; вмѣстѣ взятыя, всѣ они составляютъ почти 60% общаго количества дворовъ, а другія, менѣе выгодныя, комбинаціи земельныхъ угодій, какъ одинъ лѣсъ или сѣнокосъ, или то и другое вмѣстѣ, представляютъ весьма небольшую величину. Но рядомъ съ этимъ и процентъ безземельныхъ нельзя назвать слабымъ. Почти равнаясь трети всѣхъ дворовъ, группа безземельныхъ превосходитъ всякую другую изъ приведенныхъ группъ, взятую отдѣльно. Отъ распредѣленія земли между хозяйствами по угодіямъ перейдемъ еще къ распредѣленію ея по размѣрамъ земельной площади, находившейся въ обладаніи cadaго двора. Два слова въ поясненіе представляемыхъ таблицъ. Но прежде я долженъ извиниться передъ читателемъ, у котораго еще хватило терпѣнія дойти со мною до этого пункта, въ томъ, что я такъ загромаждаю свою статью цифрами. Работа, основанная на неизданномъ и доступномъ, слѣдовательно, лишь для очень немногихъ лицъ, матеріалъ, не можетъ сопровождаться простыми ссылками на факты съ указаніемъ лишь наиболѣе характерныхъ ихъ чертъ. Въ интересахъ возможно полнаго обнаруженія изслѣдуемыхъ явленій, равно какъ и въ интересахъ возможности повѣрки моихъ вы-

водовъ, мнѣ приходится представлять самый матеріалъ, на основаніи котораго они сдѣланы. Итакъ, въ представляемыхъ теперь таблицахъ хозяйства расположены по размѣрамъ своего земельного имущества, причемъ рубрики этихъ размѣровъ установлены мною тѣ же самыя, какія были приняты земскими статистиками при переписи Полтавскаго уѣзда въ 1883 г., что даетъ возможность желающимъ хотя бы суммарнаго, конечно, крайне неточнаго сравненія. Далѣе, въ первомъ вертикальномъ ряду дворы распределены по размѣрамъ всей пахатной земли, какъ находящейся въ обработкѣ, такъ и лежащей впустѣ, во второмъ ряду—по размѣрамъ только обрабатываемой пахати, въ третьемъ—по размѣрамъ сѣнокоса. Процентъ вездѣ вычисленъ по общему числу дворовъ.

Имѣющихъ:	а) земли пахатной и лежащей впустѣ:	б) только па- хати:	с) сѣнокоса:
0	36,30% об. чис. дв.	42,96%	62,94%
до 1 дес.	0,74	4,81	0
1—2 "	2,96	6,30	0
2—3 "	1,85	4,81	0,74
3—6 "	12,96	12,22	12,59
6—9 "	9,63	7,41	3,71
9—15 "	9,26	10,74	11,11
15—20 "	7,78	3,71	1,85
20—50 "	15,19	7,04	5,93
отъ 50 дес. и болѣе.	3,33	0	1,11

При первомъ же бѣгломъ взглядѣ на эти таблицы бросается въ глаза одинъ фактъ, рѣзко въ нихъ выраженный,—значительное количество безземельныхъ хозяйствъ. Болѣе трети дворовъ оказываются не въ состояніи вести хозяйство на своей землѣ, около 43% общаго числа и дѣйствительно не ведетъ его, наконецъ почти двѣ трети не въ состояніи прокормить скота на своей землѣ за неимѣніемъ сѣнокоса. Обращаясь къ хозяйствамъ, имѣющимъ землю, нетрудно подмѣтить другой основной фактъ, заключающійся въ преобладаніи между ними типа средняго по своимъ размѣрамъ землевладѣнія. Принимая такимъ среднимъ размѣромъ количество земли отъ 3 до 15 десятинъ на дворъ, мы получимъ для этой группы по всей пахатной землѣ почти 32%, по обрабатываемой пахати—30%, по сѣнокосу—27%, тогда какъ группы мало- и многоземельныхъ хозяйствъ представлены довольно слабо. Наиболѣе крупной группа многоземельныхъ представится намъ въ томъ случаѣ, когда мы распредѣлимъ хозяйства по количеству всей пахатной земли: тогда эта группа достигнетъ размѣровъ, превышающихъ $\frac{1}{4}$ всего числа дворовъ, но это увеличеніе нѣсколько фиктивное, что и

сказывается, какъ только обратиться къ отношенію дворовъ по количеству обрабатываемой пахати, паденіемъ размѣровъ названной группы менѣе, чѣмъ до 11⁰/₀. Важнѣе преобладаніе этой группы среди хозяйствъ, обладающихъ сѣнокосомъ, такъ какъ здѣсь безъ малаго $\frac{1}{4}$ послѣднихъ заключена именно въ ея рамкахъ.

Дополнимъ собранныя данныя еще свѣдѣніями о крестьянскомъ скотѣ въ ранговыхъ имѣніяхъ. Всѣ 270 дворовъ владѣли 124 рабочими лошадьми и 667 волами, или 791 штукой рабочаго скота и 473 старыми коровами. Нерабочаго или молодого скота было: лошадей—87, воловъ—605 и коровъ—537, всего 1,229 штукъ; мелкаго: овецъ—8567, свиней—1784 и козъ—4, всего 10355. Иначе говоря, на каждый дворъ въ среднемъ приходилось тогдашняго рабочаго скота 2,9 штуки, рабочаго скота въ нынѣшнемъ пониманіи 4,7, нерабочаго—4,5 и мелкаго—38,3. Здѣсь мы опять имѣемъ высокія цифры сравнительно съ указанной выше общей средней, но ихъ точно также необходимо освѣтить еще указаніемъ на дѣйствительное распредѣленіе скота между отдѣльными хозяйствами. Для этой цѣли мы ограничимся только цифрами рабочаго скота, которыя и представляемъ теперь сведенными въ двѣ таблицы. Первая изъ нихъ представляетъ отношеніе между собою хозяйствъ по числу дѣйствительнаго рабочаго скота въ эпоху Румянцевской Описи, т. е. воловъ и лошадей; вторая составлена по образцу современныхъ таблицъ, гдѣ въ рабочій скотъ зачислены и коровы, которыя въ 18 вѣкѣ не принадлежали къ таковому. По первой таблицѣ мы можемъ такимъ образомъ представить себѣ дѣйствительную рабочую силу хозяйствъ, по второй — распредѣленіе ихъ по крупному скоту, если угодно, въ сравненіи съ нынѣшнимъ положеніемъ.

А. имѣющихъ рабочаго скота:

0 . . . 29,63⁰/₀, изъ нихъ 14,81⁰/₀ безземельные.

1 шт. . .	7,41
2 " . . .	23,33
3 " . . .	10
4—5 " . . .	14,44
6—10 " . . .	9,63
11 и болѣе . .	5,56

В. I. безъ всякаго скота. . . 1,85⁰/₀

только съ овцами, ко-
зами и свиньями. . . 14,08
съ нерабочимъ скотомъ . . . 4,08
итого безъ рабоч. скота . . . 20,01

II. а) съ 1 лошадей . . . 2,96
съ 1 воломъ . . . 0,37
съ 1 коровой . . . 3,70

итого . . . 7,03

б) съ 2 шт. раб. скота . . . 11,48

съ 3 " " " . . . 10,37

съ 4—5 " " " . . . 21,85

съ 6—10 " " " . . . 20

съ 11 и болѣе 9,26

итого . . . 72,96

Вглядываясь въ эти таблицы, легко увидѣть въ нихъ новое подтвержденіе тѣмъ фактамъ, которые мы уже наблюдали на распредѣленіи поземельной собственности. Одна седьмая посполитыхъ представляется лишенной всѣхъ орудій самостоятельнаго хозяйства, и земли, и рабочаго скота; почти треть не имѣетъ рабочаго скота, одна пятая часть обходится безъ крупнаго скота. Изъ имѣющихъ скотъ особенно выдѣляется опять-таки группа среднесостоятельныхъ. Принимая за таковыхъ имѣющихъ отъ 2—5 штукъ скота, мы найдемъ ее при распредѣленіи по рабочему скоту равной почти 48%, при распредѣленіи по крупному — болѣе 43% общаго числа. Крупные размѣры принадлежатъ далѣе и группѣ многоскотныхъ хозяйствъ, по рабочему скоту въ 2, по крупному въ 4 раза превышающей группу дворовъ съ недостаточнымъ количествомъ скота, и абсолютно небольшую.

Итакъ, мы имѣемъ основаніе сказать, что внутри ранговыхъ имѣній въ 1767 г. хозяйственное положеніе крестьянства представлялось если и не блестящимъ, то все же довольно благоприятнымъ и прочнымъ. Хотя они и успѣли выдѣлить изъ своей среды довольно значительный классъ безземельныхъ и неимѣющихъ скота, но остальные были въ достаточномъ размѣрѣ обеспечены землей и рабочимъ скотомъ, и въ обоихъ этихъ отношеніяхъ ихъ хозяйство обнаруживало тенденцію скорѣе склоняться на сторону зажиточности, нежели бѣдности, хотя наибольшій численный перевѣсъ принадлежалъ средней группѣ. Хорошія стороны этого положенія особенно ярко выступаютъ передъ нами при сравненіи его съ условіями, въ какихъ находились крестьяне другихъ разрядовъ. Но раньше остановимся еще на одной сторонѣ положенія ранговыхъ посполитыхъ, именно на тѣхъ повинностяхъ, которыя они несли въ пользу своихъ владѣльцевъ.

Свѣдѣнія объ этихъ повинностяхъ мы находимъ частью въ той же табели, частью въ вѣдомостяхъ Румянцевской Описи. Въ послѣднихъ о ранговыхъ посполитыхъ с. Шостаковъ находимъ извѣстіе, что они „работаютъ (на владѣльца) въ недѣлю 2 дня, ходятъ отъ дворовъ и отъ хатъ по одному человѣку“; изъ 9 дворовъ четыре освобождены впрочемъ отъ этой барщанной повинности и платятъ вмѣсто нея денежный окладъ, въ 2 р. 50 к., 3 р., 4 р. и 5 р. Точное соотвѣтствіе между величиной оклада и размѣромъ хозяйственныхъ средствъ посполитаго уловить довольно трудно, можно только замѣтить, что окладъ повышается въ зависимости отъ увеличенія обрабатываемой земли и рабочаго скота крестьянина, но повышается какъ

будто неправильными скачками. Таково же положеніе посполитыхъ м. Рѣшетиловки и ея хуторовъ, гдѣ 28 дворовъ освобождены отъ работъ за денежный окладъ, варьирующійся отъ 2 р. до 10 р.; наиболѣе часто (въ 10 случаяхъ) встрѣчается цифра оклада въ 5 р. О посполитыхъ на р. Полузори мы въ этомъ отношеніи свѣдѣній не имѣемъ, но такъ какъ всѣ они не имѣютъ земли, то, по примѣрамъ Шостаковъ и Рѣшетиловки, можно думать, что они несли барщинную повинность.

II.

Слѣдующей по численности группой за ранговыми посполитыми являются въ нашемъ матеріалѣ крестьяне магистратскіе, принадлежащіе именно магистрату г. Полтавы, — на Полтавскомъ форштатѣ, въ сс. Мачухахъ, Ивашкахъ, Гужулахъ, Ивончинцахъ, Павленкахъ и Тахтауловѣ, въ д. Грабиновѣ и на нѣсколькихъ хуторахъ. Во всѣхъ этихъ владѣніяхъ насчитывалось 317 дворовъ съ населеніемъ въ 1,998 душъ обоего пола и съ принадлежащей имъ земель въ размѣрѣ 830,3 десятинъ, изъ которыхъ 575,8 дес. было пахатной и 254,5 дес. сѣнокосной; земли, лежащей впустѣ, у магистратскихъ посполитыхъ вовсе не было. Въ среднемъ на каждый дворъ приходилось пахать 1,81 дес. и сѣнокоса 0,80 дес., а всей обрабатываемой земли 2,61 дес., т. е. болѣе, чѣмъ втрое меньше сравнительно съ владѣніемъ ранговыхъ посполитыхъ. Въ столь же неблагоприятномъ свѣтѣ выступаютъ и другія условія жизни этого разряда крестьянства, какъ это можно видѣть уже изъ распредѣленія хозяйствъ по земельнымъ угодіямъ. Здѣсь оказывается:

имѣющихъ пахать, сѣнокосъ и лѣсъ . . .	5,36% об. чис. дв.
„ пахать и сѣнокосъ . . .	6,31
„ пахать и лѣсъ . . .	11,99
„ только пахать . . .	29,02
„ „ сѣнокосъ . . .	1,26
„ „ лѣсъ . . .	2,21
всего имѣющихъ землю . . .	56,15
безземельныхъ . . .	43,85

Не говоря уже о громадномъ процентѣ безземельныхъ, близкомъ къ половинѣ всего числа хозяйствъ, въ этихъ данныхъ особое вниманіе обращаетъ на себя тотъ фактъ, что самую крупную группу представляютъ хозяйства, располагающія только пахатною землею, тогда какъ число дворовъ, обладающихъ всѣми

разрядами земли или же пашней и сѣнокосомъ, крайне незначительно, чтобъ не сказать ничтожно. Общее впечатлѣніе бѣдности и скудости, лежащее на этихъ владѣніяхъ, только еще усиливается и уясняется при группировкѣ хозяйствъ по размѣрамъ принадлежащей имъ земли. Такая группировка даетъ слѣдующіе результаты:

Имѣющихъ: а) земли пахатной:		б) сѣнокоса:
0 . . .	47,32% об. чис. дв.	87,07%
до 1 дес. .	9,15	0
1—2 " . .	11,67	0,63
2—3 " . .	8,20	1,89
3—6 " . .	17,67	6,62
6—9 " . .	3,47	1,26
9—15 " . .	1,58	1,58
15—20 " . .	0,63	0,63
20—50 " . .	0,32	0,32

Изъ приведенной только-что таблицы наглядно выясняется прежде всего фактъ рѣшительнаго преобладанія среди магистратскихъ посполитыхъ малоземельнаго хозяйства надъ среднимъ и многоземельнымъ. Первая группа заключаетъ въ себѣ болѣе 29% всего числа дворовъ, тогда какъ вторая не доходитъ до 22%, а послѣдняя, можно сказать, почти ничтожна. Нѣсколько иной видъ имѣетъ распредѣленіе сѣнокоса, сосредоточеннаго по преимуществу въ группѣ средняго достатка. Громадныя цифры безземельныхъ находятъ себѣ нѣкоторое объясненіе въ томъ фактѣ, что въ общемъ итогѣ мы считаемъ и населеніе Полтавскаго форштата, среди котораго при общемъ числѣ его въ 76 дворовъ лишь 7 дворовъ имѣютъ землю, и лишь одинъ — пахать. Это населеніе могло имѣть промыслы, независимые отъ земледѣлія, а присутствіе его въ счетѣ должно оказывать сильное давленіе на итогъ. Устранивъ его, мы получаемъ дѣйствительно процентъ безземельныхъ, равный лишь 29,05. Но характеръ распредѣленія земельной собственности и при этомъ условіи сохраняетъ все тѣ же самыя оригинальныя черты.

Переходя къ скоту, мы находимъ у посполитыхъ магистрата 173 рабочія лошади, 450 воловъ и 451 старую корову; нерабочихъ — лошадей 2, воловъ 262, коровъ 237; мелкаго скота: овецъ 3,007, свиней 534 и 1 козу. На каждый дворъ приходилось, стало быть 1,9 рабочаго скота, 3,4 крупнаго, 1,6 нерабочаго и 11,2 мелкаго, значительно ниже, нежели въ предшествовавшемъ разрядѣ. Картина распредѣленія скота между хозяйствами ясна изъ слѣдующихъ таблицъ:

А. имѣющихъ рабочаго скота:		В. I. безъ всякаго скота. . . 19,24%	
0 . . .	32,49%, изъ нихъ 24,92%		
	безземельныхъ.	только съ овцами, ко-	
		зами и свиньями.	
1 шт. . .	13,56	съ нерабочимъ скотомъ	0,95
2 " . .	27,13	итого безъ рабоч. скота	22,08
3 " . .	6,94	II. а. съ 1 лошадыю	9,15
4—5 " . .	11,99	съ 1 воломъ	0,32
6—10 " . .	7,26	съ 1 коровой	4,10
11 и болѣе . .	0,63	итого	13,57
		b. съ 2 шт. раб. скота	12,30
		съ 3 " " "	11,67
		съ 4—5 " " "	19,87
		съ 6—10 " " "	14,83
		съ 11 и болѣе	5,68
		итого	64,35

Основная тенденція этого распредѣленія скота, будемъ ли мы разсматривать хозяйства по рабочему скоту или по крупному, одинаково выясняется въ направленіи прямо противоположномъ тому, какой мы наблюдали немного выше среди ранговыхъ посполитыхъ. Средняя группа сохраняетъ свой перевѣсъ надъ крайними, но онъ уже не столь значителенъ, какъ былъ въ ранговыхъ имѣніяхъ. На ряду съ этимъ, отношенія двухъ крайнихъ группъ среди имѣющихъ скотъ хозяйствъ поворачиваются какъ разъ въ противоположную сторону и группа многоскотныхъ дворовъ оказывается вдвое меньшею противъ числа дворовъ, обладающихъ недостаточнымъ для самостоятельнаго хозяйства количествомъ скота. Общая цифра дворовъ безъ крупнаго скота остается почти на томъ же самомъ уровнѣ, на какомъ находилась она и въ предшествовавшемъ разрядѣ, но внутри этой цифры отношенія складываются крайне неблагоприятно, благодаря громадному перевѣсу дворовъ безъ всякаго скота. Процентъ хозяйствъ безъ рабочаго скота оказывается сравнительно выше, а дворы, вовсе не имѣющіе средствъ земледѣльческаго хозяйства, охватываютъ собою уже четвертую часть всего владѣнія. Размѣръ послѣднихъ фактовъ можетъ быть нѣсколько пониженъ устраненіемъ цифръ Полтавскаго форштата, но такое пониженіе не будетъ особенно значительнымъ: при этомъ условіи процентъ всѣхъ дворовъ безъ рабочаго скота выразится именно цифрой 29,46.

Наконецъ, повинности магистратскихъ посполитыхъ, какъ мы можемъ ихъ опредѣлить по вѣдомостямъ, нѣсколько разнятся между собою, смотря по мѣстности и по состоятельности посполитыхъ. Консистентскую подать они вездѣ платятъ по распредѣленію магистрата въ различныхъ суммахъ съ двора, отъ 30 к.

до 1 р. 60 к. и больше. Затѣмъ, въ г. Полтавѣ одни посполитые исправляютъ „всякія повинности“ магистрату, другіе только отбываютъ сторожку черезъ пять недѣль на шестую, третьи не несутъ никакихъ повинностей¹⁾. Въ д. Грабиновѣ посполитые платятъ въ магистратъ денежный окладъ, довольно сильно колеблющійся, — въ 2 р. 10 к., 1 р. 80 к., 1 р. 50 к., 15 к. съ двора и бездворной хаты, и косятъ на магистратъ втеченіе трехъ недѣль по 1 человѣку съ двора²⁾. Такой же характеръ повинностей встрѣчаемъ въ с. Павленкахъ³⁾, въ с. Ивончинцахъ, гдѣ цифра оклада доходитъ и до 7 р. 20 к.⁴⁾, въ с. Тахтауловѣ⁵⁾ и въ с. Мачухахъ, гдѣ нѣкоторые посполитые еще содержатъ у магистратскихъ старшинъ караулъ каждую четвертую недѣлю, но тогда не платятъ денежнаго оклада, кромѣ консистентской подати⁶⁾. Въ с. Ивашкахъ денежнаго оклада въ пользу магистрата вовсе не было, но зато большинство посполитыхъ были еще „опредѣлены для возки на магистратъ дровъ, фашинъ, сѣна и прочего“⁷⁾.

III.

За магистратскими посполитыми слѣдующей по численности группой являются посполитые монастырскіе. Въ мѣстности, съ которой мы имѣемъ дѣло, лежали владѣнія пяти монастырей: Полтавскаго Крестовоздвиженскаго, Мгарскаго Лубенскаго, Пустынно-Скельскаго, Великобудискаго Преображенскаго и Пушкарковского Вознесенскаго, изъ которыхъ два послѣднихъ были женскими. Въ общей сложности имъ принадлежало 12 сель и деревень⁸⁾ и большое количество хуторовъ съ населеніемъ въ 4076 душъ обоюго пола, жившихъ въ 560 дворахъ. Въ литературѣ нерѣдко встрѣчались уже указанія на тяжелое экономическое положеніе монастырскихъ крестьянъ въ Малороссіи XVIII вѣка, на скудость ихъ матеріальнаго обезпеченія и несоразмѣрно

¹⁾ Харьк. Ист. Арх., по Полт. оп., св. № 40—41.

²⁾ Тамже, св. № 45.

³⁾ Тамже, св. № 46.

⁴⁾ Тамже.

⁵⁾ Тамже, св. № 48.

⁶⁾ Тамже, св. № 50.

⁷⁾ Тамже.

⁸⁾ Именно сс. Петровка, Чернечій Яръ, Старые Млины, Росошинцы, Буланово, Сторожово, Пушкарровка, Олшаная, 4 двора въ с. Пушкарковѣ и дд. Вакулинцы, Потерайя, Ровна и Прировни.

большія повинности, налагавшіяся на нихъ ихъ владѣльцами. Матеріаль, которымъ мы располагаемъ въ данномъ частномъ случаѣ, способенъ только подтвердить эти утвержденія, основывавшіяся до сихъ поръ на фактахъ иной мѣстности, подтвердить по крайней мѣрѣ въ одной ихъ части. Земельное обезпеченіе монастырскихъ посполитыхъ представляется въ нашемъ источникѣ далеко не въ благопріятномъ видѣ. Во владѣніи всѣхъ крестьянъ имѣлось 1526,47 дес. земли, такъ распредѣлявшейся между отдѣльными ея видами: пахати — 704,07 дес., сѣнокоса — 342,5 дес. и лежащей впустѣ — 479,9 дес. Иначе, дворъ въ среднемъ имѣлъ пахати 1,26 дес., сѣнокоса 0,61 дес., слѣдовательно всей обрабатываемой земли 1,87 дес., т.-е., гораздо еще меньше, нежели у магистратскихъ крестьянъ, и лежащей впустѣ — 0,86 дес., всего 2,73 дес. При переходѣ отъ среднихъ цифръ къ процентнымъ отношеніямъ картина выходитъ еще болѣе мрачной. Начнемъ опять-таки съ распредѣленія дворовъ по имѣющимся у нихъ угодіямъ. Въ монастырскихъ имѣніяхъ насчитывалось:

Имѣющихъ пахатъ, сѣнокосъ и лѣсъ.	11,79%
„ пахатъ и сѣнокосъ.	1,61
„ пахатъ и лѣсъ.	10,71
„ сѣнокосъ и лѣсъ.	1,07
„ только пахатъ.	7,14
„ „ сѣнокосъ.	0,71
„ „ лѣсъ.	4,11
Всего имѣющихъ землю.	37,14
Безземельныхъ.	62,86

Между имѣющими землю угодія распредѣлялись такимъ образомъ еще сравнительно благопріятно, хотя все же почти третья часть хозяйствъ, обладавшихъ землей, располагала только однимъ какимъ-либо ея видомъ. Но особенно поражаетъ въ этихъ цифрахъ процентъ безземельныхъ, близкій къ двумъ третямъ всего населенія. И нужно замѣтить, что этотъ процентъ врядъ ли сопровождается сколько-нибудь серьезнымъ фактивнымъ увеличеніемъ. Въ нашемъ источникѣ занесена, повидимому, вся земля, находившаяся въ дѣйствительномъ пользованіи крестьянъ, хотя бы она давалась имъ отъ монастырей, а не принадлежала имъ самимъ на правѣ собственности. Въ этомъ убѣждаютъ, по крайней мѣрѣ, отдѣльные примѣры. Такъ, въ с. Чернечемъ Ярѣ мы встрѣчаемъ довольно длинный рядъ хозяйствъ, обладающихъ землей, а въ вѣдомости этого села читаемъ, что у его посполитыхъ своихъ земель нѣтъ и они сѣютъ и косятъ на монастырскихъ ¹⁾.

¹⁾ Х. И. Арх., по Полтавской описи, связка № 55.

При распредѣленіи хозяйствъ по отдѣльнымъ видамъ земли процентъ этотъ между тѣмъ принимаетъ еще болѣе поразительные размѣры, какъ можно убѣдиться изъ слѣдующей таблицы:

Имѣющихъ земли:	пахатной и лежащей впустѣ:	пахатной:	сѣнокосной:
0	68,75%	71,25%	84,82%
до 1 дес.	2,32	1,95	0,36
1—2 "	8,57	8,75	3,57
2—3 "	4,46	4,11	4,29
3—6 "	8,57	8,75	4,46
6—9 "	2,14	2,15	0,71
9—15 "	1,61	1,43	0,71
15—20 "	1,07	0,54	0,54
20—50 "	2,14	1,07	0,54
отъ 50 и болѣе	0,36	0	0

На ряду съ громаднымъ количествомъ безземельныхъ въ этой таблицѣ, поскольку она охватываетъ собою имѣющіе землю дворы, обнаруживается еще и другой фактъ въ видѣ значительнаго перевѣса хозяйства малоземельнаго надъ другими группами. Тогда какъ хозяйства съ среднимъ размѣромъ всей пахати составляютъ лишь около 12% всего числа дворовъ, хозяйства съ малымъ размѣромъ ея насчитывается болѣе 15%, и приблизительно такое же отношеніе сохранится, если мы примемъ въ основаніе вычисленія только обрабатываемую пахотную землю. Еще ярче тотъ же фактъ выступаетъ въ распредѣленіи сѣнокоса, гдѣ отношеніе малоземельныхъ хозяйствъ къ среднеземельнымъ равно отношенію 8 : 5, а къ многоземельнымъ почти 8 : 1.

Довольно мрачная картина, вырисовывающаяся изъ этихъ фактовъ, нѣсколько смягчается свои рѣзкія очертанія, когда мы обращаемся къ снабженію хозяйствъ скотомъ. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи положеніе монастырскихъ крестьянъ оказывается довольно близкимъ къ состоянію крестьянъ магистратскихъ, отъ котораго оно отступаетъ, какъ мы только-что видѣли, въ худшую сторону въ распредѣленіи земли. У всѣхъ монастырскихъ поселитыхъ насчитывалось именно: 175 рабочихъ лошадей и 892 вола и 1000 старыхъ коровъ; нерабочаго скота — 114 лошадей, 852 вола и 762 коровы; мелкаго — 4245 овецъ, 1733 свиньи и 43 козы. Стало быть, въ среднемъ на дворъ получалось 1,9 штуки рабочаго скота или 3,6 крупнаго, 3,1 нерабочаго и 10,7 мелкаго. Отношеніе различныхъ группъ хозяйствъ по количеству скота также сходно съ тѣмъ, какое мы встрѣчали въ магистратскихъ селеніяхъ.

А. имѣющихъ рабочаго скота:		В. I. безъ всякаго скота. . . 11,25%	
0 . . .	35,36%, изъ нихъ 26,79%	безземельные.	
1 шт. . .	11,25	только съ овцами, ко-	
2 " . .	29,46	зами и свиньями. . .	3,21
3 " . .	5	съ нерабочимъ скотомъ	3,21
4—5 " . .	12,32	итого безъ рабоч. скота	17,67
6—10 " . .	5,72	II. а, съ 1 лошадыю . . .	3,04
11 и болѣе. . .	0,89	съ 1 воломъ	0,18
		съ 1 коровой. . . .	8,21
		итого . .	11,43
		б. съ 2 шт. раб. скота	15,54
		съ 3 " " "	16,61
		съ 4—5 " " "	17,14
		съ 6—10 " " "	15,89
		съ 11 и болѣе	5,72
		итого . .	70,90

Въ общемъ, повторяю, эти отношенія представляются близкими съ положеніемъ магистратскихъ сель, а рассматриваемыя по группировкѣ крупнаго скота представляются даже болѣе благоприятными, что объясняется значительно большимъ относительно числомъ коровъ у монастырскихъ крестьянъ. Зато при группировкѣ хозяйствъ исключительно по рабочему скоту, мы наблюдаемъ увеличеніе группы хозяйствъ безъ рабочаго скота и уменьшеніе многоскотной группы, не перевѣшиваемое уменьшеніемъ числа хозяйствъ съ малымъ количествомъ скота; преобладаніе остается и здѣсь за средней группой, заключающей въ себѣ болѣе 49% общаго числа дворовъ, а изъ этой группы особенно выдаются своимъ числомъ дворы съ 2 штуками рабочаго скота, которые и въ другихъ имѣніяхъ занимали, правда, видное мѣсто, но все же не въ такой степени.

Вѣдомости Румянцевской Описи и для монастырскихъ имѣній даютъ намъ рядъ любопытныхъ свѣдѣній относительно крестьянскихъ повинностей. Я позволю себѣ привести здѣсь существенныя изъ этихъ свѣдѣній, чтобы дополнить ими только-что описанную картину. О поселеніяхъ, принадлежавшихъ Полтавскому Крестовоздвиженскому монастырю, именно дворахъ около г. Полтавы, дд. Вакулиныхъ и Ровнѣ, сс. Петровкѣ, Сторожевомъ, Росошинцахъ, Олшаномъ и Булановѣ, мы встрѣчаемъ такое извѣстіе: здѣсь крестьяне „въ монастырь ничего не даютъ, а только работаютъ въ недѣлю по два дня, ходятъ отъ двора и хаты по одному человѣку“¹⁾. Таковы же повинности посполитыхъ въ с. Старыхъ Млинахъ, принадлежащемъ

¹⁾ Харьк. Ист. Арх., по Полт. Описи, св. № 43.

Мгарскому Лубенскому монастырю¹⁾. Въ большомъ селѣ Чернечемъ Яру, заключавшемъ въ себѣ 212 дворовъ и принадлежавшемъ Великобудискому Преображенскому монастырю, посполитые работали на монастырь по одному дню въ недѣлю, но нѣкоторые изъ нихъ кромѣ того еще косили на монастырь по 50 копенъ сѣна²⁾. Наконецъ, посполитые Пустынно-Скельскаго монастыря въ урочищѣ Коломацкой Ровни, находившемся въ Великобудиской сотнѣ, въ трехъ верстахъ отъ м. Великихъ Будищъ, работали по одному дню въ недѣлю, поставляя отъ каждаго двора и бездворной хаты по одному человѣку (всего здѣсь было 11 дворовъ и 2 бездворныхъ хаты)³⁾. Итакъ, рѣшительно преобладающимъ типомъ повинностей въ монастырскихъ имѣніяхъ была двухдневная барщина; меньшинство посполитыхъ несло однодневную барщину, иногда еще съ прибавкой спеціальной урочной работы. Если сравнить эти повинности съ тѣми, какія существовали въ монастырскихъ имѣніяхъ на сѣверѣ Малороссіи, гдѣ посполитые работали 3, 4, порою даже 5 дней въ недѣлю, то нельзя будетъ не назвать ихъ легкими. Менѣе безобидный характеръ примутъ онѣ, если сопоставить ихъ съ совершенно аналогичными повинностями полтавскихъ ранговыхъ имѣній, въ которыхъ однако и посполитскіе дворы были населеннѣе, и хозяйственные средства ихъ выше. Не безынтересно отмѣтить еще то обстоятельство, что въ монастырскихъ владѣніяхъ совершенно не встрѣчается случаевъ освобожденія отъ барщины за денежный окладъ, довольно частыхъ въ ранговыхъ и магистратскихъ селахъ. Монахи предпочитали брать свой доходъ съ крестьянъ ихъ трудомъ.

IV.

Всѣ группы крестьянства, о которыхъ до сихъ поръ у насъ шла рѣчь, заключали въ себѣ, по крайней мѣрѣ въ данное время и въ названной мѣстности, лишь малую сравнительно часть этого сословія, всего съ небольшимъ 25%. Не онѣ поэтому задавали тонъ общей жизни крестьянства и, если въ ихъ положеніи и можно наблюдать характерныя черты, то все же, отыскивая средній уровень для массы сословія, не къ нимъ надо обращаться, а къ разряду крестьянъ, жившихъ въ имѣніяхъ

¹⁾ Тамже, св. 55.

²⁾ Тамже.

³⁾ Тамже, св. № 54.

частныхъ владѣльцевъ, который въ этихъ четырехъ сотняхъ Полтавскаго полка охватывалъ собою до трехъ четвертей всего посполитскаго населенія. Я и перехожу теперь къ частновладѣльческимъ посполитымъ. Но слить ихъ всѣхъ въ одну общую группу значило бы опять-таки сдѣлать большую и серьезную ошибку, въ результатѣ которой отъ глазъ наблюдателя неминуемо должны были бы скрыться весьма важныя особенности изслѣдуемыхъ порядковъ. Постараюсь объяснить это по возможности короче.

Исторія развитія частнаго землевладѣнія въ гетманской Малороссіи, и въ частности владѣнія населенными имѣніями, очерчена уже въ литературѣ въ общихъ своихъ контурахъ и мы можемъ указать два пути этого развитія, два средства, при помощи которыхъ оно совершалось. Однимъ изъ нихъ было пожалованіе имѣній гетманами, а частью и царями, въ силу котораго цѣлыя села переходили въ руки владѣльцевъ. Рядомъ съ этимъ средствомъ существовало, и иногда даже не безъ успѣха съ нимъ конкурировало, другое, въ видѣ „скупли“. Тотъ или другой изъ членовъ старшины, или же богатый козакъ, а то и мѣщанинъ, пользуясь своими средствами, начиналъ скупать земли у обѣднѣвшихъ козаковъ или посполитыхъ. Съ теченіемъ времени такія покупки, продолжаясь, расширяли свой первоначально скромный характеръ: покупались уже не только куски пашни, луга или лѣса, но и самые посполитскіе или козацкіе дворы. Бывшіе хозяева послѣднихъ либо оставались въ нихъ въ роли подсусѣдковъ новыхъ владѣльцевъ, либо уходили и на ихъ мѣсто являлись новые насельники со стороны, становившіеся по отношенію къ владѣльцамъ скупленныхъ дворовъ въ положеніе ихъ посполитыхъ или подсусѣдковъ. Иногда такая „скупля“ разрасталась на цѣлое село, въ которомъ она производилась, обращая его изъ свободнаго въ владѣльческое, иногда она оставалась на двухъ-трехъ дворахъ и не шла дальше, потому ли, что у скупщика истощались средства, или потому, что онъ сталкивался съ болѣе счастливымъ и богатымъ конкурентомъ. Множество эпизодовъ изъ исторіи этого процесса, наглядно рисующихъ различныя фазы, черезъ которыя онъ проходилъ, разбросано въ замѣчательныхъ трудахъ А. М. Лазаревскаго по исторіи отдѣльных родовъ и мѣстностей лѣвобережной Малороссіи, особенно въ двухъ томахъ его послѣдняго труда — „Описанія старой Малороссіи“. Я ограничусь здѣсь однимъ фактомъ, ярко освѣщающимъ размѣры, до какихъ доходила скупля, а слѣдовательно, отчасти и значеніе, соединявшееся съ ней въ области соціально-экономи-

ческой жизни народа. По произведенному въ 1742 г. слѣдствію, въ Нѣжинскомъ полку скупленныхъ съ 1729 г. посполитскихъ дворовъ оказалось 638, въ Кіевскомъ—332, въ Черниговскомъ—505, въ Лубенскомъ—693 ¹⁾. А эти полки не составляли еще и половины Малороссіи. Всѣ мѣры, принимавшіяся центральнымъ правительствомъ для остановки этого процесса, не приносили съ собою никакого прочнаго результата. Врядъ ли можно вполнѣ присоединиться къ мнѣнію только-что названнаго почтеннаго изслѣдователя, выдающаго единственную причину бесплодности этихъ мѣропріятій правительства въ томъ обстоятельствѣ, что заботиться объ ихъ исполненіи должны были люди, заинтересованные какъ разъ въ противоположномъ. По крайней мѣрѣ, источники даютъ намъ нѣкоторые факты, какъ будто подсказывающіе и другое, болѣе глубокое, объясненіе даннаго явленія, не устраняющее перваго, но дополняющее его съ иной стороны. Не выходя изъ предѣловъ нашей мѣстности, укажемъ кое-какіе изъ этихъ фактовъ. Въ 1737 г. житель мѣстечка Великихъ Будищъ Василій Мищенко продаетъ, напр., мѣстному сотнику Андрею Сулимѣ хату съ плетомъ за 4 р. „крайнего ради убожества своего и что не могъ чимъ податей отбывать“. Тутъ же мы встрѣчаемъ и нѣсколько другихъ купчихъ, выданныхъ разными лицами тому же сотнику и въ болѣе раннихъ годахъ со ссылкой, въ качествѣ мотивовъ продажи, на подати и общенародныя повинности. Нѣсколько владѣльческихъ посполитыхъ продаютъ въ той же мѣстности свои земли и дворы, руководясь опять этимъ мотивомъ: „яко надлежащихъ подданическихъ повинностей отбывать нѣ съ чего“. Или: въ 1740 г. жительствующая въ м. Великихъ Будищахъ Химка Пиманенкова продаетъ грузину Львову свой огородъ съ садомъ за 5 р., „крайнего ради убожества своего, что по покойному своему осталась вдовою, не могу чимъ дѣтей прокормить и податей отбывать“ ²⁾. Эти и подобныя имъ факты довольно недвусмысленно намекаютъ на отсутствіе соответствія между средствами крестьянскихъ хозяйствъ и лежавшими на нихъ платежами и, разъ наличность такого несоответствія была бы установлена, оно болѣе, нежели хищническіе инстинкты и нелегальныя дѣйствія отдѣльныхъ членовъ старшины, уяснило бы намъ сущность процесса, въ силу котораго рушились мелкія крестьянскія хозяйства и не имѣли успѣха правительственныя мѣры, стремившіяся къ устраниенію съ рынка

¹⁾ Харьк. Ист. Архивъ, Дѣла Малор. Коллегіи, Черниг. отд., № 113.

²⁾ Харьк. Историч. Архивъ, Дѣла Малор. Коллегіи, Полт. отд., св. № 53.

земель козаковъ и свободныхъ посполитыхъ и носившія исклю-чительно запретительный характеръ. Вопросъ этотъ большой и сложный и я едва намѣчаю его здѣсь, не имѣя сейчасъ возможности глубже въ него вдаваться.

Какъ бы то ни было, но въ результатѣ энергично ведшейся скупки во всѣхъ почти селахъ Малороссіи къ половинѣ XVIII вѣка рядомъ съ крупными владѣльцами существовало и по нѣскольку мелкихъ. Съ скуплею соединялся далѣе и еще одинъ способъ возникновенія мелкихъ владѣній — заимка. Тамъ, гдѣ много было земли, отдѣльному лицу ничего не стоило купить у общины за дешевую цѣну, а то и даромъ получить дозволеніе занять часть „свободной“, „мірской“ земли и завести на ней хуторъ, который постепенно также наполнялся крестьянами, порою вырастая даже до размѣровъ цѣлой слободы или села. Особенно распространено было такое хуторное хозяйство въ южныхъ полкахъ, въ частности и въ той мѣстности, о которой теперь у насъ идетъ рѣчь и въ которой оно въ значительной степени сохранилось и по настоящее время. Такъ раскидывались сѣтью хуторовъ между селами и ютились въ самыхъ селахъ и около нихъ эти мелкія владѣнія, состоявшія изъ одного-двухъ, рѣдко болѣе десятка дворовъ. Уже а priori можно было бы сказать, что положеніе населявшихъ ихъ крестьянъ должно было во многомъ отличаться отъ положенія посполитыхъ крупныхъ владѣній. Въ большинствѣ случаевъ здѣсь связь крестьянина съ землею, поскольку такая связь выражалась въ правѣ собственности посполитаго на землю, представлялась разорванной. Сидя на чужой, не ему принадлежавшей, землѣ, крестьянинъ былъ затѣмъ здѣсь батракомъ, подсусѣдкомъ, но рѣдко занималъ положеніе самостоятельнаго хозяина-земледѣльца, хотя бы потому прежде всего, что для организаціи такого хозяйства не хватало земли у ея владѣльца при желаніи послѣдняго имѣть собственную запашку. „Питается съ зажону“, „кормится съ заработковъ“, „съ работизны“ — вотъ тѣ отмѣтки, которыми сопровождается чаще всего въ Румянцевской Описи такое населеніе.

Въ виду приведенныхъ соображеній я и не рѣшился поставить всѣ частныя владѣнія данной мѣстности за одну общую скобку, а раздѣлил ихъ на двѣ соотвѣтственные группы, помѣстивъ въ одну всѣхъ владѣльцевъ, имѣющихъ въ одномъ мѣстѣ 10 и болѣе дворовъ, причемъ сюда же занесены и всѣ ихъ хутора и разбросанные по отдѣльнымъ селамъ дворы, такъ какъ они въ массѣ приближаются къ тому же типу крупнаго владѣнія, и соединивъ въ другой владѣльцевъ мелкихъ, не обладавшихъ такимъ сосре-

доточеннымъ имѣніемъ ¹⁾. Читатель увидитъ, насколько сгруппированные такимъ образомъ факты отвѣчаютъ тому общему представленію о нихъ, которое я пытался сейчасъ набросать. Было бы правильнѣе выдѣлить еще особую группу настоящихъ крупныхъ имѣній, заключающихъ въ себѣ выше ста дворовъ, но моя статья и такъ уже слишкомъ загромождена фактическимъ матеріаломъ и я спѣшу въ концу, рискуя иначе совершенно истощить терпѣніе читателя.

Итакъ, первая группа — крупныхъ владѣній — заключала въ себѣ 38 владѣльцевъ, обладавшихъ 41 селами и деревнями и большимъ числомъ хуторовъ съ посполитскимъ населеніемъ въ 2857 дворовъ или 22123 души. Изъ ряда этихъ владѣльцевъ особенно выдавались Кочубеи, подкоморій Павелъ и генеральный обозный Семенъ, изъ которыхъ у перваго было 838 дворовъ, а у втораго — 555, вмѣстѣ, слѣдовательно, почти половина только — что названнаго общаго числа. Значительно уже меньшее количество — 347 дв. — было въ рукахъ пяти представителей рода Левенцовъ, 322 двора принадлежало Ф. и Ив. Зенковскимъ, 121 дворъ — Ал. Гр. Разумовскому. Затѣмъ слѣдовали уже менѣе видныя владѣнія. Въ рукахъ Кочубеевъ сосредоточивались въ эту пору, кромѣ владѣній, издавна принадлежавшихъ ихъ роду, еще и имѣнія, перешедшія къ нимъ благодаря ихъ родственнымъ связямъ съ другимъ старымъ и богатымъ Полтавскимъ родомъ — Жученками. Во всѣхъ этихъ имѣніяхъ посполитской земли насчитывалось 17284,9 дес., причемъ изъ этого числа на долю пахати приходилось 9307,8 дес., сѣнокоса — 6722,3 дес. и лежащей впустѣ земли было 1254,8 дес. Другими словами, каждый дворъ въ среднемъ обладалъ 3,25 дес. пахати, 2,35 дес. сѣнокоса и 0,43 дес. лежащей впустѣ земли, всего 6,03 дес. Сличая эти цифры съ приведенными выше для другихъ разрядовъ, мы увидимъ, что онѣ стоятъ ниже только цифръ ранговыхъ имѣній, значительно превосходя своими размѣрами земельные надѣлы магистратскихъ и монастырскихъ крестьянъ. Если провести сравненіе между этими цифрами исключительно по размѣрамъ обрабатываемой земли, окажется, что количество послѣдней у данной группы частновладѣльческихъ посполитыхъ, взятое въ видѣ средняго надѣла на дворъ, приблизительно въ $1\frac{2}{3}$ раза менѣе такого же надѣла крестьянъ ранговыхъ, вдвое

¹⁾ Въ этой группировкѣ допущено мной одно исключеніе: въ разрядъ крупныхъ владѣльцевъ занесены п. об. Руновскій, п. об. Вас. Магденко и кн. Туркистанова, владѣнія которыхъ (29, 26 и 15 двор.), подходя къ типу крупныхъ, разбросаны однако въ разныхъ мѣстахъ, не доходя нигдѣ до цифры 10 двор.

болѣе противъ магистратскихъ и втрое противъ монастырскихъ посполитыхъ. Обращаясь къ распредѣленію отдѣльныхъ хозяйствъ по находившимся въ ихъ обладаніи угодіямъ, мы и здѣсь найдемъ отношенія сравнительно благопріятныя, причемъ эта сторона ихъ, быть можетъ, подлежитъ еще и нѣкоторому увеличенію. Среди 2857 дворовъ насчитывается именно:

имѣющихъ пахать, сѣнокосъ и	имѣющихъ только пахать .	14,28%
лѣсъ 12,99%	” ” сѣнокосъ .	1,78
” пахать и сѣнокосъ . 16,77	” ” лѣсъ . .	2,06
” пахать и лѣсъ . . . 12,50	всего имѣющихъ землю .	61,04
” сѣнокосъ и лѣсъ . . 0,66	безземельныхъ	38,96

Наиболѣе богато представленными оказываются здѣсь такимъ образомъ группы хозяйствъ съ болѣе выгодными комбинаціями угодій и особенно хозяйства, обладающія пахатной землей. Въ этомъ отношеніи выражаемая только-что приведенными цифрами картина опять-таки уступаетъ только ранговымъ имѣніямъ, гдѣ наиболѣе выдающейся группой были обладающія всѣми угодьями хозяйства, близкія по числу къ половинѣ имѣвшихъ землю дворовъ, и, за небольшими исключеніями, почти всѣ дворы, снабженные землей, имѣли въ составѣ ея пахать. Въ данномъ случаѣ количество дворовъ, не имѣющихъ въ составѣ своего надѣла пахати, равняется $\frac{1}{14}$ всѣхъ располагающихъ землей хозяйствъ, тогда какъ въ имѣніяхъ монастырскихъ оно равно $\frac{1}{6}$ части. Что касается до высокаго абсолютно, хотя значительно низшаго, нежели въ монастырскихъ и магистратскихъ владѣніяхъ, процента безземельныхъ, то возможно, что въ дѣйствительности онъ былъ нѣсколько ниже нашей цифры. Дѣло въ томъ, что въ нашемъ источникѣ мы встрѣчаемъ нѣсколько селъ, притомъ довольно крупныхъ, населеніе которыхъ оказывается совершенно лишеннымъ земли ¹⁾. Трудно предположить, чтобы это было такъ и на самомъ дѣлѣ. Вѣрнѣе, кажется, будетъ такое объясненіе этого факта, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ поселеніями, въ которыхъ посполитые не имѣли своей, принадлежавшей имъ на правѣ собственности, хотя бы и условномъ, земли, а вели хозяйство на землѣ владѣльческой, не занесенной поэтому за ними въ табель. Разъ будетъ принято такое объясненіе, приведенныя нами выше цифры и тѣ, къ которымъ мы сейчасъ перейдемъ, должны были бы измѣниться въ болѣе благопріятную для крестьянъ сторону. Но разсматривая ихъ, какъ показатели крестьянской земельной собственности, мы можемъ довѣрять имъ безусловно.

¹⁾ Таковы, напр., владѣнія С. Кочубея въ сс. Надеждѣ (82 дв.) и Трибахъ (15 дв.) и сл. Пешаной (54 дв.).

Распределеніе этой собственности обрисовывается въ слѣдующихъ таблицахъ, составленныхъ по тому же типу, какъ и представлявшія выше для другихъ разрядовъ крестьянства.

Имѣющихъ земли:	пахатной и ле- жащей впустѣ:	только па- хатной:	сѣнокосной:
0	43,47%	45,12%	67,80%
до 1 дес.	2,73	3,04	0,07
1—2 "	6,48	6,44	3,08
2—3 "	6,40	6,23	5,08
3—6 "	19,08	19,50	12,08
6—9 "	10,40	9,84	4,51
9—15 "	7,07	6,58	4,13
15—20 "	2,27	1,85	1,19
20—50 "	1,89	1,33	1,82
отъ 50 и болѣе	0,21	0,07	0,24

При разсмотрѣніи этихъ таблицъ одна особенность данныхъ владѣній выступаетъ съ поразительною ясностью, именно рѣшительное преобладаніе среди имѣющихъ землю хозяйствъ дворовъ средне-состоятельныхъ. По всѣмъ разрядамъ земли, возьмемъ ли мы всю пахатную землю, только обрабатываемую пахать, или сѣнокосъ, они представляютъ почти одну и ту же относительную величину, равняясь въ первомъ и въ третьемъ случаяхъ приблизительно 0,6 и дохода во второмъ до 0,7. Что касается затѣмъ двухъ крайнихъ группъ, то изъ нихъ перевѣсъ принадлежитъ малоземельнымъ дворамъ, отношеніе которыхъ къ многоземельнымъ можно по тремъ принятымъ нами разрядамъ земли выразить, какъ отношеніе 15:4, 5:1 и 8:3. По преобладающему въ нихъ типу крестьянскаго хозяйства частновладѣльческія имѣнія наиболѣе подходятъ такимъ образомъ опять же къ имѣніямъ ранговымъ, съ тою, впрочемъ, существенною разницею, что въ нихъ, не говоря уже о безземельныхъ дворахъ, дворы малоземельные составляютъ гораздо болѣе видную группу. Наконецъ процентъ безземельныхъ самъ говоритъ за себя, указывая во всякомъ случаѣ число посполитыхъ, не имѣвшихъ возможности вести хозяйство на своей землѣ, хотя, быть можетъ, получавшихъ частью таковую отъ владѣльца.

Дополнимъ эти свѣдѣнія данными о скотѣ. Всего у посполитыхъ данныхъ владѣній было рабочихъ лошадей 1420, воловъ—5351, старыхъ коровъ—5309 или всего рабочаго скота, въ современномъ смыслѣ этого слова, 12080; нерабочихъ лошадей—545, воловъ—4694, молодыхъ коровъ—4305; наконецъ мелкаго скота: 30438 овецъ, 8837 свиней и 156 козъ. Въ среднемъ на дворъ приходилось, стало быть, рабочаго скота 2,4

штуки, крупнаго 4,2, нерабочаго 3,3 и мелкаго 13,8. По рабочему и крупному скоту посполитые данной группы частныхъ владѣльцевъ ближе всего подходили такимъ образомъ къ крестьянамъ ранговыхъ имѣній, уступая однако послѣднимъ; по нерабочему они наиболѣе близки были къ монастырскимъ крестьянамъ и по мелкому немного превышали среднюю величину магистратскихъ владѣній. Въ общемъ хозяйственное благосостояніе этого разряда крестьянства и въ этомъ пунктѣ занимало среднюю ступень, слѣдующую за тою, на какой стояли ранговые посполитые, причемъ рѣзкое отличіе замѣтно было только въ значительно меньшемъ количествѣ мелкаго скота. Это обстоятельство, замѣтимъ кстати, способно лишній разъ подтвердить высказанное нами предположеніе, что въ источникѣ мы имѣемъ на этотъ разъ не всю землю, находившуюся во владѣніи посполитыхъ, а лишь ту, какая составляла ихъ собственность. Обратимся теперь къ распредѣленію скота между отдѣльными хозяйствами и прежде всего опять представимъ основные факты этого распредѣленія въ видѣ таблицъ.

А. имѣющихъ рабочаго скота:		В. I. безъ всякаго скота. . . 9,17%	
0 . . .	26,81%, изъ нихъ 16,98% безземельные	только съ овцами, козами и свиньями. . .	1,92
1 шт. . .	13,09	съ нерабочимъ скотомъ	3,32
2 шт. . .	25,31	итого безъ рабоч. скота	14,41
3 " . .	11,87	II. а. съ 1 лошадыю . . .	4,94
4—5 " . .	14,39	съ 1 воломъ. . . .	0,28
6—10 " . .	7,24	съ 1 коровою . . .	5,32
11 и болѣе . .	1,29	итого . . .	10,54
		б. съ 2 шт. раб. скота	13,41
		съ 3 " " "	14
		съ 4—5 " " "	21,77
		съ 6—10 " " "	19,57
		съ 11 и болѣе . . .	6,30
		итого . . .	75,05

Вырисовывающееся изъ этихъ данныхъ общее положеніе оказывается опять-таки сходнымъ съ положеніемъ ранговыхъ крестьянъ, отличаясь отъ него лишь немногими частностями то въ ту, то въ другую сторону. При распредѣленіи по рабочему скоту группа средне-состоятельныхъ дворовъ немногимъ болѣе 51% всего ихъ числа и внутри ея половину составляютъ хозяйства съ 2 штуками рабочаго скота. Около $\frac{1}{3}$ всѣхъ дворовъ не имѣютъ никакихъ орудій самостоятельнаго хозяйства, ни земли, ни скота; немного болѣе $\frac{1}{4}$ не имѣютъ рабочаго скота. Остальная четверть неравномѣрно распредѣляется между группами много-

и малоскотныхъ, съ замѣтнымъ перевѣсомъ послѣдней, въ полтора раза превышающей первую. Въ только-что указанномъ обстоятельстве лежитъ главное отличіе частновладѣльческихъ имѣній отъ ранговыхъ, гдѣ изъ двухъ крайнихъ группъ была вдвое богаче представлена именно группа многоскотныхъ дворовъ, хотя въ то же время процентъ хозяйствъ, не имѣвшихъ рабочаго скота, былъ нѣсколько выше. То же самое впечатлѣніе лишь нѣсколько варьируется при группировкѣ по крупному скоту. Выдающееся положеніе и въ такой постановкѣ занимаетъ средняя группа, охватывающая собою 49% общаго числа дворовъ; число безскотныхъ хозяйствъ доходитъ почти до 10%, а дворы многоскотные на этотъ разъ числомъ своимъ превосходятъ хозяйства съ недостаточнымъ количествомъ скота, хотя первыхъ здѣсь все же относительно и меньше, нежели въ ранговыхъ селахъ.

Въ общемъ выводѣ положеніе крестьянства разсматриваемыхъ имѣній можетъ быть названо приближающимся къ средней нормѣ, подобно положенію ранговыхъ посполитыхъ. Отступленія отъ этой нормы здѣсь чаще совершаются однако въ сторону, прямо противоположную той, въ какую склоняются они въ ранговыхъ селахъ, именно въ сторону бѣдности, и по обоимъ главнымъ показателямъ хозяйственнаго благосостоянія крестьянъ, какими мы располагаемъ, по скоту и особенно по землѣ, причемъ значеніе этого послѣдняго показателя должно, кажется, нѣсколько ограничить, частновладѣльческіе крестьяне оказываются значительно бѣднѣе ранговыхъ,—выводъ, который можно бы сдѣлать, пожалуй, и на основаніи апріорныхъ соображеній и который получаетъ тѣмъ болѣе цѣнны, когда онъ вытекаетъ изъ ряда конкретныхъ фактовъ.

О крестьянскихъ повинностяхъ въ частновладѣльческихъ имѣніяхъ мы не имѣемъ, къ сожалѣнію, свѣдѣній въ этой части Румянцевской Описи. Частные владѣльцы въ дѣлѣ доставленія извѣстій о своихъ имѣніяхъ не были такъ упрямы, какъ монастыри, которые въ первое время составленія описи навлекали было на себя даже кары за упорные отказы сообщить требуемыя свѣдѣнія, но вмѣстѣ съ тѣмъ они оказались и болѣе стойкими, по крайней мѣрѣ по отношенію къ одному пункту программы, почти ничего не передавъ ревизорамъ насчетъ повинностей, отбывавшихся крестьянами въ пользу помѣщиковъ. Въ Полтавской описи отсутствіе подобнаго рода свѣдѣній относительно частновладѣльческихъ имѣній является общимъ фактомъ, благодаря чему мы и лишены возможности выяснить эту сторону жизни населявшихъ ихъ посполитыхъ.

V.

Разборомъ положенія крестьянъ въ мелкихъ владѣнiяхъ, къ которому я теперь перехожу, я и закончу свою работу. Составъ этихъ владѣльцевъ былъ крайне разнообразнымъ. Въ ихъ число входили лица, стоявшiя на самыхъ различныхъ ступеняхъ общественной лѣстницы, начиная съ членовъ полковой старшины, продолжая сотниками и другой сотенной старшиною, до атамановъ включительно, и кончая войсковыми и значевыми товарищами, сельскими священниками, купецкими женами, даже сельскими атаманами и литаврщиками. Здѣсь именно наиболѣе рѣзкими чертами сказывалась та неясность сословныхъ граней, которая была отличительной чертою общественной жизни Малороссiи въ теченiе 18-го вѣка, неясность, продолжавшая существовать въ дѣйствительной жизни, несмотря на довольно энергичныя пороу усилiя законодательства положить ей конецъ.

Обращаясь уже собственно къ крестьянамъ этихъ владѣльцевъ, приходится сказать, что если предъидущая группа крестьянства оказывалась въ существенныхъ чертахъ своего положенiя наиболѣе приближающеюся къ ранговымъ посполитымъ, то группа, съ которой мы сейчасъ будемъ имѣть дѣло, ближе всего стоитъ къ посполитымъ монастырскимъ, отличаясь отъ нихъ еще болѣе низкимъ уровнемъ своего хозяйственного благосостоянiя. Не будемъ, впрочемъ, предвирать фактовъ.

Всѣмъ разнообразнымъ мелкимъ владѣльцамъ въ общей сложности принадлежалъ 581 посполитскiй дворъ съ населенiемъ въ 4144 души, или 12,67% всѣхъ крестьянскихъ дворовъ данной мѣстности. На все это количество хозяйствъ приходилось 555,5 дес. земли, въ томъ числѣ пахатной 367,02 дес., сѣнокосной 150 дес. и лежащей впускъ 38,48 дес. Въ среднемъ дворъ владѣль бы 0,63 дес. пахати, 0,25 дес. сѣнокоса и 0,06 дес. земли впускъ лежащей, всего 0,95 дес. — такiя низкiя цифры, какихъ намъ не встрѣчалось еще ни въ одномъ разрядѣ. Но эти цифры еще слишкoмъ мало, слишкoмъ неточно выражаютъ дѣйствительность. Настоящая ея картина и здѣсь — и здѣсь даже болѣе, чѣмъ въ другихъ случаяхъ — откроется передъ нами лишь тогда, когда мы возьмемъ не среднiя цифры, а истинное распредѣленiе земельной собственности. Начнемъ съ распредѣленiя земли между отдѣльными хозяйствами по угодiямъ:

имѣющихъ пахать, сѣнокосъ и лѣсъ . . .	2,76%
„ пахать и сѣнокосъ	1,20
„ пахать и лѣсъ	3,44

имѣющихъ только пахать	5,51
„ „ сѣнокосъ	0,52
„ „ лѣсъ	1,20
всего имѣющихъ землю	14,63
безземельныхъ	85,57

Врядъ ли эти цифры нуждаются въ обстоятельномъ комментарий, настолько онѣ краснорѣчивы сами по себѣ. Въ самомъ дѣлѣ, $\frac{6}{7}$ всѣхъ дворовъ оказываются вовсе не имѣющими земли, а изъ обладающихъ ею въ свою очередь почти лишь $\frac{1}{7}$ имѣетъ всѣ главныя угодія, и болѣе $\frac{1}{3}$ располагаютъ только пахотной землею. Точно также само за себя говоритъ распредѣленіе земли между хозяйствами по количеству.

Имѣющихъ земли:	пахотной и лежащей впускъ:	только пахотной:	сѣнокосной:
0	87,09%	87,43%	95,53%
до 1 дес.	1,38	1,38	0
1—2 „	3,10	3,10	0,34
2—3 „	1,03	1,38	0,52
3—6 „	3,10	2,93	1,72
6—9 „	2,24	1,89	0,86
9—15 „	1,20	1,38	1,03
15—20 „	0,52	0,17	0
20—50 „	0,34	0,34	0

Едва одна двадцатая часть хозяйствъ имѣетъ такимъ образомъ сѣнокосъ и лишь одна восьмая обладаетъ обрабатываемой пахотной землей, причемъ изъ этого послѣдняго количества чуть не половина приходится на долю малоземельныхъ, тогда какъ группа многоземельныхъ, болѣе чѣмъ въ 11 разъ уступающая количеству малоземельныхъ, ко всему числу располагающихъ землей хозяйствъ стоитъ въ отношеніи 1:25. Немногимъ лучше представляются эти отношенія и въ томъ случаѣ, если мы будемъ разсматривать ихъ, сливъ вмѣстѣ пахотную и необрабатываемую землю. Вся разница выразится въ весьма небольшомъ увеличеніи числа многоземельныхъ дворовъ и еще меньшемъ—среднеземельныхъ съ соотвѣствующимъ уменьшеніемъ группы безземельныхъ (на 0,40%) и малоземельныхъ (на 0,35%). Какъ мы видѣли, размѣры впускъ лежащей земли въ данныхъ владѣніяхъ такъ невелики, что принятіе или непринятіе ихъ въ расчетъ и не можетъ серьезно вліять на характеръ вывода. Нѣсколько иначе представляются отношенія по сѣнокоосу въ тѣхъ немногихъ хозяйствахъ, которыя его имѣютъ. Группа многоземельныхъ здѣсь отсутствуетъ совершенно, но изъ двухъ другихъ перевѣсъ принадлежитъ группѣ средняго достатка, вчетверо слишкомъ пре-

выпадающей число малоземельныхъ. Припомнимъ, что аналогичный фактъ намъ случалось уже подмѣчать и у другихъ разрядовъ крестьянства.

Значеніе собранныхъ фактовъ приходится скорѣе уменьшать, нежели увеличивать. Само собою разумѣется, далеко не всѣ еще изъ тѣхъ хозяйствъ, которыя по даннымъ нашихъ таблицъ оказываются не въ состояніи вести самостоятельное земледѣльческое хозяйство, и въ дѣйствительности не вели его. Нѣкоторые изъ нихъ могли получать землю отъ своихъ владѣльцевъ, другія могли снимать ее въ аренду. Но, поскольку рѣчь идетъ о размѣрахъ крестьянской земельной собственности, мы должны все же сказать, что посполитые мелкихъ владѣльцевъ изъ всѣхъ группъ крестьянства, съ которыми мы уже познакомились, находились въ самомъ плачевномъ положеніи.

Во всякомъ случаѣ эти данныя должны быть еще дополнены свѣдѣніями о находившемся во владѣніи крестьянъ скотѣ, свѣдѣніями, которыя вскроютъ передъ нами другую сторону хозяйственныхъ средствъ населенія. Приведемъ ихъ въ томъ видѣ, въ какомъ мы дѣлали это и раньше. На 581 посполитскій дворъ приходилось рабочихъ лошадей 185, воловъ 469, старыхъ коровъ 610; молодого скота: лошадей 90, воловъ 525, коровъ 601; скота мелкаго: овецъ 2359, свиней 1026, козъ 16. Иначе, на дворъ имѣлось рабочаго скота 1,1 штуки, крупнаго 2,2 штуки, нерабочаго 2,1 штуки и мелкаго 5,8 штуки. Уже эти среднія цифры, сами по себѣ взятые, много говорятъ, такъ какъ столь низкихъ цифръ еще не встрѣчалось намъ у другихъ разрядовъ крестьянъ. Но обратимся еще къ болѣе детальнымъ цифрамъ, касающимся дѣйствительнаго распредѣленія скота между хозяйствами. Ихъ можно представить въ видѣ слѣдующихъ таблицъ, изъ которыхъ въ основу первой, напомнимъ, положенъ тогдашній рабочій скотъ, въ основу второй—нынѣшній, т. е. не только волы и лошади, но и коровы.

А. имѣющихъ рабочаго скота:		В. I. безъ всякаго скота. . . 25,13%
0 . . .	57,14%, изъ нихъ 52,84% безземельныхъ.	только съ овцами, козами и свиньями. . . 6,37
1 шт. . .	13,60	съ нерабочимъ скотомъ . . . 6,54
2 " . . .	17,04	итого безъ рабоч. скота . . . 38,04
3 " . . .	4,13	II. а. съ 1 лошадыо . . . 5,68
4—5 " . . .	5,68	съ 1 воломъ. 0
6—10 " . . .	1,72	съ 1 коровою 8,09
11 и болѣе. . .	0,69	итого . . . 13,77
		б. съ 2 шт. раб. скота . . . 13,94
		съ 3 " " " . . . 11,02

съ 4—5 шт. раб. скота	13,42
съ 6—10 „ „ „	7,23
съ 11 и болѣе	2,58
итого . .	48,19

Приведенныя только-что цифры дорисовываютъ окончательно положеніе крестьянъ въ мелкихъ владѣніяхъ. Четверть общаго числа дворовъ не имѣетъ никакого скота, болѣе половины не имѣетъ ни земли, ни рабочаго скота. Изъ имѣющихъ рабочій скотъ всего многочисленнѣе средняя группа—дворовъ съ 2—5 шт. рабочаго скота,—но въ ней не только первое мѣсто, а и подавляющій перевѣсъ принадлежитъ дворамъ съ 2 головами скота. Изъ крайнихъ—группъ хозяйства съ малымъ количествомъ скота, составляя болѣе нежели $\frac{1}{8}$ всего числа дворовъ, почти въ 6 разъ превышаютъ число хозяйствъ многоскотныхъ. При группировкѣ по крупному скоту послѣдняя группа хозяйствъ, правда, значительно увеличивается, но все же далеко не доходитъ до размѣровъ числа дворовъ, скудно надѣленныхъ скотомъ. И въ этомъ отношеніи, стало быть, положеніе крестьянъ мелкихъ владѣльцевъ стояло на послѣдней, самой низкой ступени благосостоянія, достаточно обрисовываемой уже тѣмъ простымъ фактомъ, что почти $\frac{3}{5}$ этихъ крестьянъ не имѣли необходимаго для веденія хозяйства скота.

Подведемъ теперь нѣкоторые общіе итоги. Положеніе полтавскаго крестьянства, какъ оно рисуется данными нашего источника, далеко не было во второй половинѣ прошлаго вѣка вполне обеспеченнымъ, скорѣе напротивъ. Болѣе половины всѣхъ посполитскихъ дворовъ не имѣли пахатной земли, лишь четверть съ небольшимъ имѣла сѣнокосъ и немногимъ большее число—лѣсъ. Среди имѣвшихъ землю наиболѣе видное мѣсто принадлежало группѣ средне-состоятельныхъ хозяйствъ, охватывавшей собою нѣсколько болѣе половины всѣхъ обладавшихъ землею хозяйствъ, будемъ-ли мы въ основаніе вычисленія полагать пахать или сѣнокосъ. Далѣе, въ числѣ дворовъ, располагавшихъ обрабатываемою пахатью, видное мѣсто занимали дворы малоземельные, составлявшіе треть общаго числа, и сравнительно уже малое значеніе имѣли хозяйства многоземельныя, количество которыхъ въпятьеро уступало числу малоземельныхъ и представляло едва $\frac{1}{15}$ общаго числа. При группировкѣ по сѣнокосу, средняя группа немногимъ меньшимъ, но зато малоземельные дворы составляютъ только $\frac{1}{4}$ общаго числа, а многоземельные — $\frac{1}{9}$.

Во всякомъ случаѣ, при преобладающемъ среднемъ размѣрѣ земельного надѣла группа малоземельныхъ также была представлена довольно богато. Повторяю, факты пользованія крестьянъ общинной и владѣльческой землей должны были бы нѣсколько смягчить рѣзкія очертанія этой картины; но, не располагая въ настоящее время точными данными насчетъ такого пользованія, мы можемъ повѣрить эту часть нашихъ выводовъ другою, не нуждающеюся въ такихъ поправкахъ, именно группировкою данныхъ о крестьянскомъ скотѣ.

Но, взятое и съ этой стороны, положеніе крестьянъ представлялось немногимъ лучше. Около 12% посполитскихъ дворовъ вовсе не имѣли скота, $\frac{1}{30}$ часть имѣла лишь мелкій скотъ, и приблизительно такая же — нерабочій; около 10% владѣло лишь одною штукаю крупнаго скота. Далѣе среднимъ количествомъ крупнаго скота располагала почти половина всѣхъ хозяйствъ и приблизительно четверть — немногимъ менѣе — имѣла его въ количествѣ болѣе 5 штукъ. Иначе представляется тѣ же отношенія, если мы сгруппируемъ хозяйства по числу находившихся въ нихъ рабочихъ воловъ и лошадей. Почти что треть дворовъ оказывается въ такомъ случаѣ не имѣющею рабочаго скота. Четвертая часть имѣетъ его въ количествѣ 2-хъ штукъ, вся же средняя группа равняется $47\frac{1}{4}\%$, тогда какъ изъ крайнихъ дворы съ 1 штукаю рабочаго скота составляютъ 12,63%, а съ 6 и болѣе штуками — 7,87%. Словомъ, мы будемъ весьма недалеки отъ истины, если выразимъ послѣдній итогъ въ такой грубо-отчетливой формѣ: треть крестьянскаго населенія не располагала средствами самостоятельнаго хозяйства, половина его въ смыслѣ размѣра этихъ средствъ составляла среднюю группу, а остальная часть распределялась между бѣдными и богатыми хозяйствами съ рѣшительнымъ преобладаніемъ первыхъ; въ самой средней группѣ наиболѣе видную часть ея представляли, наконецъ, хозяйства съ наименьшими средствами. Этотъ итогъ во всякомъ случаѣ не далекъ отъ того, который мы получили, рассматривая положеніе крестьянства по находившейся въ его владѣніи землѣ.

Выше мы видѣли уже однако, что эта общая картина значительно разнообразится, смотря по тому, съ какого рода владѣніями мы имѣемъ дѣло. Въ порядкѣ постепеннаго уменьшенія хозяйственныхъ средствъ крестьянъ владѣнія эти могутъ быть расположены слѣдующимъ образомъ: первое мѣсто займутъ ранговыя имѣнія, гдѣ хозяйство посполитыхъ стояло на наиболѣе высокой ступени обезпеченности, затѣмъ слѣдуютъ частно-

владѣльческія крупныя имѣнія, потомъ магистратскія, за ними монастырскія и наконецъ мелкія частновладѣльческія, въ которыхъ положеніе посполитыхъ представлялось въ наиболѣе мрачномъ свѣтѣ.

Таковы ближайшіе, непосредственные выводы, которые мы можемъ извлечь изъ своего очерка. Рамки этого очерка были очень тѣсны и узки: не только наше изслѣдованіе носило чисто описательный характеръ, но и описаніе это захватывало въ свои предѣлы лишь нѣкоторыя стороны хозяйственной жизни населенія: въ него не вошелъ цѣлый рядъ другихъ сторонъ, въ видѣ различнаго рода промысловъ, ремеслъ и т. д., обслѣдованіе которыхъ было бы однако необходимо для полученія полнаго вывода. Самое описаніе было приурочено къ весьма незначительному району, едва-ли охватывающему $\frac{1}{40}$ часть территоріи старой гетманской Малороссіи. При такихъ условіяхъ всякое распространеніе добытыхъ выводовъ на другія мѣстности, тѣмъ болѣе на всю Малороссію, является совершенно невозможнымъ. И однако, думается, значеніе собранныхъ фактовъ врядъ ли ограничивается простымъ констатированіемъ ряда явленій. Эти факты все же бросаютъ нѣкоторый, хотя и слабый, и далеко еще недостаточный, ретроспективный свѣтъ на предшествовавшую исторію, они хоть немного разясняютъ смыслъ нѣкоторыхъ общеизвѣстныхъ процессовъ въ исторіи малорусскаго землевлдѣнія за 18 вѣкъ, въ родѣ перехода ранговыхъ селъ въ частное владѣніе или скупки владѣльцами козацкихъ и посполитскихъ земель, вскрывая отчасти тѣ реальныя измѣненія народной жизни, какія связаны были съ этими процессами.

Работа моя окончена, но мнѣ не хочется бросить перо, не высказавъ еще одной мысли. Узко-спеціальныя изслѣдованія мало, и справедливо, интересуютъ публику, не находящую въ нихъ отвѣта на важнѣйшіе свои запросы. Но наукѣ, раньше, чѣмъ дать такой отвѣтъ, часто нужно бываетъ справиться съ массой подлежащаго ея вѣдѣнію матеріала, и не всегда эта задача можетъ быть выполнена силами одного работника, или немногихъ лицъ. Въ сборникѣ, посвященномъ кievскимъ студентамъ, не будетъ неумѣстнымъ обращенное къ тѣмъ изъ нихъ, которые отдаютъ свои силы научной дѣятельности, напоминаніе, что еще цѣлая область исторической жизни малорусскаго народа представляется намъ въ неясныхъ и смутныхъ очертаніяхъ. Матеріаль, служащій для ея разясненія, великъ и разнообразенъ, но намъ нужно во много разъ увеличить число его изслѣдователей, чтобы имѣть возможность даже отъ гораздо болѣе крупныхъ

работъ, чѣмъ настоящая, перейти къ широкимъ обобщеніямъ. Между тѣмъ безъ изслѣдованія данной стороны исторіи Малороссіи мы не будемъ еще имѣть полной исторіи народа. Знакомство же съ народною жизнью въ ея прошломъ помогло бы пониманію народныхъ нуждъ въ настоящемъ, помогло бы, слѣдовательно, и тому сближенію съ народомъ на почвѣ его нуждъ и желаній, которое одно можетъ открыть намъ двери изъ настоящаго, во многомъ еще мрачнаго и печальнаго, въ широкое и свѣтлое будущее.

В. МЯКОТИНЪ.

ИЗЪ РОМАНА „КАРЬЕРА ОЛАДУШКИНА“.

ГЛАВА I.

Мудрецъ и мудрица.

— Ты вотъ что мнѣ скажи, Женевьева, вотъ ты больна теперь, ну, какъ же онъ ходитъ по комнатамъ:—на цыпочкахъ или всей ступней?

Такъ съ чрезвычайно серьезнымъ видомъ спрашивалъ Евгений Павловичъ Суровскій свою сестру, Евгению Павловну Зимогову, сидя въ большомъ креслѣ возлѣ кушетки, на которой полулежала его собесѣдница. Онъ звалъ ее Женевьевой отчасти въ видахъ того веселаго остроумія, которое называетъ старуху „старушенціей“, шляпу — „шляпенціей“ и пикн — „пивендрясами“, а отчасти потому, что неудобно было называть ее употребительнымъ уменьшительнымъ именемъ „Женя“—она сама его такъ называла. Родителямъ пришла въ голову игривая мысль дать имъ одинаковыя имена: Евгений и Евгения.

Евгения Павловна недавно родила; ребенокъ умеръ, не успѣвъ даже вдоволь накричаться, къ чему, повидимому, имѣлъ большую склонность и гениальныя способности. Евгения Павловна сильно захворала, такъ что одно время губернская медицина опасалась за ея жизнь. Но теперь всякая опасность миновала, и молодая женщина, чувствуя приливъ возобновленныхъ силъ, начала очень тяготиться необходимостью такъ долго лежать въ постели. Лежала она уже впрочемъ не въ кровати, а на кушеткѣ, и не въ спальнѣ, а въ свѣтлой, веселой комнатѣ безъ опредѣленнаго назначенія. Въ старыхъ помѣщичьихъ усадьбахъ, одну изъ ко-

торыхъ, въ подгородномъ селѣ Кочкахъ, Зимогоровы нанимали подъ дачу, часто попадаютъ такія комнаты, какъ будто нужны, а какъ будто и совсѣмъ ненужны. Комната расположилась въ сторонѣ отъ настоящихъ жилыхъ комнатъ и выходила двумя окнами въ старый, запущенный садъ. День былъ ясный, жаркій, и солнечные лучи, хотя и задерживаемые густою зеленью торчавшихъ передъ самыми окнами кустовъ акаціи, сирени и бузины, обличали обстановку, самую подходящую для комнаты, какъ будто нужной, а какъ будто и совсѣмъ ненужной. Обои были старыя, кое-гдѣ подновленные заплатами другого цвѣта и рисунка, такъ что туловище фантастической длиннохвостой синей птицы безъ всякаго основательнаго резона завершалась не такой же синей, хотя бы и фантастической птичьей головой, а желтымъ букетомъ; затѣмъ шелъ рядъ вполне неповрежденныхъ и развѣ только полинявшихъ синихъ птицъ, упиравшійся однако въ цѣлую полосу желтыхъ букетовъ. Полъ, выращенный палками „подъ паркетъ“, былъ мѣстами вытерши, а мѣстами являлъ даже порядочныя щели между половицами. Изъ мебели стояли въ комнатѣ только длинная и широкая кушетка, большое кресло, пара стульевъ и около кушетки небольшой столъ. На кушеткѣ лежала Евгенія Павловна, въ креслѣ сидѣлъ Евгений Павловичъ, на столѣ помѣщались аптекарскія стѣлочки, грѣбенка, щетка, маленькое ручное зеркало. Эти туалетныя принадлежности, равно какъ и мебель, были очень щегольского вида, представляя рѣзкій контрастъ съ самой комнатой, которая впрочемъ по всѣмъ видимостямъ была въ доброе старое время тоже очень щеголевата...

Можетъ быть, она назначалась для маменькина сына, наѣзжавшаго время отъ времени изъ Петербурга для засвидѣтельствованія своей любви къ родителямъ, а кстати ужъ и для устройства своихъ финансовъ, и внезапно наполнявшаго комнату звуками гремучей сабли, шпоръ и цыганскихъ мотивовъ, блескомъ мундира, запахомъ духовъ, помады и табаку. И долго еще спустя послѣ того, какъ всѣ эти звуки и запахи уносились на свою истинную родину, въ Петербургъ, добрая маменька, пригорюнившись, сидѣла въ комнатѣ, раздумывая о своемъ миломъ Анатолѣ и тщательно оберегая его пріютъ до слѣдующаго пріѣзда. А можетъ быть, тутъ помѣщалась барская фаворитка, увезенная изъ города у мелкотравчатаго чиновника или изъ домопощенныхъ Оедосекъ произведенная въ Оедосью Егоровну; и лила здѣсь Оедосья потоки горькихъ слезъ, отдаваясь барскимъ ласкамъ, или, напротивъ, въ себя вливала цѣлые самовары

чаю въ пріятномъ обществѣ матушки попадѣи и прохожихъ богомолокъ. Можетъ быть, тутъ жилъ учитель или гувернеръ-французъ, ради прекрасныхъ глазъ котораго барыня выписала изъ Москвы синихъ птицъ, вмѣстѣ со многими другими пріятными и полезными предметами; и жилъ себѣ коварный педагогъ припѣваячи, вплоть до той трагической минуты, когда барыня застала его въ этой самой комнатѣ съ дѣвкой Глашкой... Ахъ, какъ солоно пришлось дѣвкѣ Глашкѣ!.. Весьма однако возможно, что ничего этого не было: ни маменькина сынка, ни барской фаворитки, ни коварнаго педагога, а просто барину вздумалось оклеить комнату длиннохвостыми синими птицами и выкрасить полъ шашками подъ паркетъ; просто такъ, глазу на радость...

Евгенія Павловна уже дней пять тому назадъ, отчасти по совѣту доктора, отчасти по собственному желанію, перешла изъ спальни въ эту нѣсколько пустынную, но веселую комнату. Она задумчиво и капризно вертѣла пальцами концы своихъ бѣлокурыхъ волосъ, заплетенныхъ въ двѣ густыя косы, и не съ разу отвѣтила на вопросъ брата. Тотъ повторилъ.

— Такъ какъ же, говорю, ходитъ-то? на цыпочкахъ или на каблучкахъ?

— Ты про кого это?

— Да про Сеню твоего, матушка, про кого же больше!

— Какія ты, Женя, глупости спрашиваешь!

— По твоему бабьему разсужденію глупости, а оно очень важно...

— Да онъ чуть не всегда на цыпочкахъ ходитъ. Даже испугаетъ другой разъ, какъ войдетъ. То Маруся спитъ, то она больна, то вотъ я теперь...

— Ну, вотъ видишь. Какого же тебѣ, съ позволенія сказать, еще рожна нужно? Ужъ если человѣкъ на цыпочкахъ ходитъ, когда другія спятъ или больны, такъ значитъ хорошій человѣкъ. Фактъ! Ты вѣдь вотъ небось всегда на каблучкахъ...

— Ахъ, да знаю я, что онъ хорошій!

Евгенія Павловна нервно откинула косы, бросила обѣ руки вдоль тѣла и вздохнула.

— Хорошій,—продолжала она, помолчавъ:—я его люблю и Маруську люблю, да, понимаешь, скучно мнѣ...

— Ну, вотъ выздоровѣешь, опять заплачешь. Ужъ мы съ Семена Иваныча требуемъ балъ непременно.

— Балъ! Это съ тобой-то, да съ Трегубовымъ танцовать? Очень весело, нечего сказать!

— Зачѣмъ со мной да съ Трегубовымъ! Мы и Аляерин-

скаго позовемъ, и Бандурина... А пока все-таки рекомендую приютить Оладушкина, все веселѣе будетъ, и доброе дѣло сдѣлаешь.

— Послушай, Женя, навѣрное же ты перевралъ или шутишь. Развѣ бываетъ такая фамилія: Оладушкинъ.

Молодая женщина разсмѣялась.

— Бываетъ, Женевьева, бываетъ. Фактъ! Привыкнешь, такъ и смѣшного ничего не будетъ. Настоящая дворянская фамилія, старинная. Онъ говоритъ, что надо бы собственно выговаривать Обладушкинъ, а не Оладушкинъ; понимаешь, не отъ олады происходитъ, а отъ „обладать“. И притомъ романическій человѣкъ въ нѣкоторомъ родѣ. Только я ему сказалъ, чтобы отсюда на счетъ корреспонденцій ни-ни! потому тутъ ужъ навѣрное побьютъ. Въ Тмутаракани только пообщались, а у насъ въ Боргородѣ такъ не спустятъ...

— Можетъ быть, и въ Тмутаракани побили?

— Говорить, нѣтъ. Бороденка съ одной стороны будто пожиже, ну да вѣдь это бываетъ, не все же, какъ у Ноздрева, отъ драки... Вотъ кстати вспомнилъ... Вѣдь, какъ эта бестія Оладушкинъ литературу знаетъ! Я ему къ чему-то въ разговорѣ помянулъ про мичмана у Гоголя, который, помнишь, смѣется, если ему палецъ показать... Ну, по твоему, какъ его зовутъ?

— Не помню. Дырка, что-ли?

— Вотъ, вотъ, и я тоже. И всѣ такъ говорятъ. Я даже въ журналахъ читалъ: мичманъ Дырка, который смѣется. А Оладушкинъ: нѣтъ, говоритъ, невѣжды всѣ они, Дырка это другое, а смѣется мичманъ Пѣтуховъ. Я — спорить, пошли вмѣстѣ въ бібліотеку, разыскали Гоголя, точно: мичманъ Пѣтуховъ. Фактъ! Ну, говорю, Оладушкинъ... Да никакъ ты спишь, Женевьева?

— Сплю.

— Вотъ и чудесно. Я затѣмъ больше и болталъ-то. Прощай.

— Прощай, только спусти шторы...

Евгеній Павловичъ исполнилъ требуемое, пожалъ сестрѣ руку и вышелъ развалистой походкой. Евгенія Павловна свернулась, какъ говорится, калачикомъ, проговорила про себя еще разъ со смѣхомъ: Оладушкинъ! и заснула.

Евгеній Павловичъ Суровской, учитель географіи въ боргородской гимназіи, былъ средняго роста неуклюжій человѣкъ, лѣтъ сорока, съ огромнымъ лбомъ, еще преувеличеннымъ начинающеюся лысиной. Этотъ огромный лобъ, чистый, глянцевитый, точно лакомъ покрытый, безъ единой морщинки, прежде всего бросается въ немъ въ глаза. Но, странное дѣло, глядя

на него, именно на этот чудесный лобъ, одни думали: „вотъ, должно быть, умный человѣкъ“; другіе, напротивъ того, говорили: „вотъ по истинѣ мѣдный лобъ“; третьи, наконецъ, рѣшали двойственно: „этотъ человѣкъ или очень уменъ, или очень глупъ“. Еще страннѣе было то обстоятельство, что и при ближайшемъ знакомствѣ съ Суровскимъ мнѣнія объ его умѣ далеко не для всѣхъ уяснились. Никто почти не говорилъ, что онъ добръ или золъ, пріятенъ или непріятенъ въ обществѣ, лѣнивъ или дѣятеленъ. Говоря о немъ, всѣ имѣли въ виду именно его умъ, отъ того ли, что у него такой чудесный лобъ былъ, или умъ въ самомъ дѣлѣ въ немъ больше всего выдавался. Но въ концѣ концовъ заключеніе объ его умѣ было все-таки двойственное, и прозвище „мудреца“, которое онъ носилъ въ кругу близкихъ знакомыхъ и учениковъ, было на половину ироническое, на половину же совершенно серьезное. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ мудрецъ былъ дѣйствительно умнѣ многихъ умницъ и въ то же время глупѣ многихъ вовсе не умныхъ людей. Это былъ замѣчательный въ своемъ родѣ, такъ сказать, микроскопическій умъ. Суровской презиралъ то, что обыкновенно называется примѣтами, и съ высоты величія просвѣщеннаго ума много смѣялся надъ сестрой, которая въ своей провинціально пансіонской образованности и въ три свѣчки вѣрила, и въ просыпанную соль, и въ пророческое чесаніе правой и лѣвой ладони, праваго и лѣваго глаза, и во встрѣчу съ попомъ. Но у него были своего рода примѣты. Онъ обладалъ необыкновенною наблюдательностью въ дѣлѣ разныхъ мелочей, необыкновенною способностью видѣть незамѣтные для другихъ пустяки и строить изъ нихъ выводы, иногда вздорные, а иногда замѣчательно вѣрные. Шалости, увертки гимназистовъ, разные ихъ попытки увильнуть отъ урока очень ловко раскрывались мудрецомъ. Онъ гордился этою способностью и часто говорилъ, что ему бы судебнымъ слѣдователемъ быть или жандармомъ, потому что у него „нюхъ“ есть. Нюхъ у него дѣйствительно былъ, но, несмотря на всю свою проистекающую изъ этого сознанія самоувѣренность, онъ нерѣдко попадалъ въ просакъ, когда ему приходилось вступать въ отношеніи къ какому-нибудь общему теченію жизни съ ея обобщеннымъ верхомъ. Тутъ онъ иногда ровно ничего не понималъ, и любой гимназистъ старшихъ классовъ побойчѣ легко могъ его загонять въ разговорѣ объ отвлеченныхъ предметахъ.

Мудрецъ былъ холостъ и жилъ одинъ. Пробовалъ онъ однажды поселиться съ такимъ же бобылемъ, но тотъ не выдержалъ слѣдовательскихъ наклонностей сожителя, которыя есте-

ственно связывались съ подозрительностью и стремленіемъ совать носъ въ чужія дѣла. Даже прислуга не могла долго уживаться съ мудрецомъ. Кухарки у него постоянно мѣнялись. Во времена подобныхъ междоусобицъ Суровской обѣдалъ обыкновенно у Зимогоровыхъ, занимая ихъ разсказами о томъ, какъ онъ проникъ въ ковы кухарки, отдававшей половину жаркого любовнику-солдату, или какъ онъ утромъ пустилъ живую муху въ сахарницу и, не найдя ее тамъ вечеромъ, натурально убѣдился, что кухарка сахарницу открывала и сахаръ воровала. Фактъ! — прибавлялъ онъ въ заключеніе, торжественно обводя слушателей выпуклыми голубыми глазами. Онъ былъ неистощимъ въ изобрѣтеніи прямыхъ и косвенныхъ уликъ. Практиковалъ онъ ихъ впрочемъ не изъ скупости и не изъ какого-нибудь злобнаго чувства, а единственно изъ страсти къ микроскопическимъ наблюденіямъ, такъ гармонизировавшей съ его природными дарованіями. Человѣкъ онъ въ сущности былъ очень добрый. Между прочимъ онъ тщательно собиралъ окурки сигаръ, обломки сюргуча, свинцовыя обертки съ головокъ винныхъ бутылокъ, и весь этотъ хламъ отправлялъ съ оказіей въ Москву, къ какому-то своему знакомому, который отдавалъ хламъ какимъ-то нѣмцамъ; нѣмцы же на деньги, вырученныя отъ продажи собраннаго съ разныхъ концовъ Россіи хлама, содержали въ школѣ нѣсколькихъ бѣдныхъ нѣмчиковъ.

Если Евгеній Павловичъ Суровской былъ прозванъ мудрецомъ по поводу своего ума или, по крайней мѣрѣ, чудеснаго лба, то сестра его, Евгенія Павловна Зимогорова, жена тоже учителя боргородской гимназіи, получила странное прозвище „мудрицы“ по родству и чисто уже въ шутку. Ее такъ однажды въ веселую минуту назвалъ мужъ, когда она въ какомъ-то спорѣ поддерживала своего брата. А впрочемъ, кромѣ мужа и брата, ее въ лицо никто такъ не величалъ. Да и не за что бы было. Жизнь Евгеніи Павловны текла до сихъ поръ такъ незамысловато, что для ея мудрости не представлялось еще большихъ испытаній. Теперь она лежала въ постели, худая, что называется, интересно блѣдная. Но не такова была она обыкновенно. Высокая, полная, немного даже слишкомъ полная, румяная, съ грубоватыми, но пріятными чертами лица, съ большими, наивными глазами бирюзоваго цвѣта на выкатѣ, съ густыми, свѣтлыми, почти льняного цвѣта волосами, она была точно налита здоровьемъ. Казалось бы, такой крупной женщиной вовсе не идетъ лежать такъ „калачикомъ“, какъ лежала она теперь, или уже надо бы называть эту манеру лежанія какъ-нибудь иначе,

не „калачикомъ“, а развѣ „калачомъ“. Но Евгенія Павловна всегда такъ спала, и вообще, несмотря на ея крупные размѣры, соединенные до послѣдняго времени съ рѣдкимъ физическимъ здоровьемъ, на ней лежалъ, на яву и во снѣ, отпечатокъ чего-то какъ бы маленькаго и безпомощнаго. Слезы довольно часто блестѣли на ея наивныхъ бирюзовыхъ глазахъ, хотя и не такъ часто, какъ сверкалъ въ этихъ глазахъ и на крупныхъ алыхъ губахъ огонекъ веселья. Однако для слезъ, а иногда и для веселья Евгеніи Павловны было до сихъ поръ довольно мало резонновъ съ точки зрѣнія взрослыхъ людей. Мудрица радовалась игрушкамъ, и огорчалась, когда ихъ не было или когда игрушка не давалась.

Было у Евгеніи Павловны одно хроническое горе: она не знала французскаго языка, хотя въ ея пансіонскомъ аттестатѣ и значилось, что она оказала „весьма хорошіе“ успѣхи не только во французскомъ языкѣ, но и въ исторіи французской литературы. Правда, мудрица и русскій языкъ знала плохо и писала съ nepoзвoлитeльными орфографическими ошибками, но это не очень огорчало ее, потому что всѣ ея немногочисленные письма читалъ и поправлялъ мужъ, а она потомъ переписывала безхарактернымъ дѣтскимъ почеркомъ. Мужъ исполнялъ обязанности корректора очень неохотно, часто съ раздраженіемъ рекомендуя женѣ заняться русской грамматикой; а однажды, когда она написала „въ ростбифку“ вмѣсто „въ разбивку“, пришелъ даже въ ужасъ и самъ сталъ съ ней заниматься, но черезъ нѣсколько дней махнулъ рукой. То ли природная неспособность, то ли небольшая охота, но грамматика рѣшительно не давалась мудрицѣ. Это ничему не мѣшало однако. Неумѣніе же говорить по-французски заграждало ей доступъ въ среду губернской аристократіи, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда туда могла попасть жена гимназическаго учителя: губернская аристократія, какъ водится, французила, хотя и дурно, но очень усердно. Мудрица, любившая общество, танцы, музыку, любительскіе спектакли и прочія украшенія дамской жизни, должна была довольствоваться рѣдкими вечеринками въ тѣсномъ кругу знакомыхъ своего мужа. Это ее огорчало, хотя иногда она утѣшала себя мыслью, что мужъ все равно не пустилъ бы ее въ общество губернскихъ тузовъ, которыхъ терпѣть не могъ. И дѣйствительно, когда ее однажды пригласили продавать билеты въ публичной лотереѣ въ пользу гдѣ-то и когда-то убитыхъ воиновъ и ей представился такимъ образомъ случай всѣмъ показать свои прекрасныя плечи и всю свою нѣсколько тяжелую, но все-таки стройную фигуру,

мужъ рѣшительно воспретилъ ей это удовольствіе. Мудрица горько плакала, жалуясь м-те Бандуриной, женѣ инспектора врачебной управы, устроившей ей это лестное приглашеніе; м-те Бандурина обозвала за это Зимогорова „Титомъ Титычемъ“, но съ тѣхъ поръ о подобныхъ увеселеніяхъ не было больше рѣчи.

Было однажды у мудрицы и острое горе,—крупная размолвка съ мужемъ. Случилось это на второй годъ ихъ супружеской жизни. Евгенія Павловна получила въ наслѣдство по завѣщанію дальняго родственника три тысячи рублей. Рѣшили они вмѣстѣ съ мужемъ отложить эти деньги на черный день. Но три-четыре хорошихъ платья Евгенія Павловна съ самаго начала порѣшила себѣ шить; за платьями послѣдовали шубка и три премиленькія шляпки; потомъ оказалось необходимымъ устроить будуаръ Евгеніи Павловны въ томъ именно вкусѣ, который она вычитала въ одномъ переводномъ французскомъ романѣ. Но не успѣла еще Евгенія Павловна убѣдиться въ томъ, что это мечта уже слишкомъ широкая, какъ у нея отняли сонъ канделябры, украшавшія каминъ въ салонѣ м-те Бандуриной. Потомъ явились разныя сонетки, козетки, статуетки, по мнѣнію Зимогорова совсѣмъ ненужныя и даже некрасивыя. Онъ долго молчалъ, но наконецъ выразилъ свое мнѣніе очень рѣзко. Евгенія Павловна разсердилась, объявила, что деньги *ея*, что она имѣетъ полное право распоряжаться ими какъ хочетъ, и неистово забѣгала по лавкамъ, откуда то и дѣло являлись въ квартиру Зимогоровыхъ большіе и малые тюки и пакеты. Мужъ тоже разсердился и заперся у себя въ кабинетѣ. Супруги даже за обѣдомъ не каждый день видѣлись. Но черезъ недѣлю мудрица ужъ со слезами просила прощенія, предлагала все накупленное продать и въ заключеніе купила мужу на оставшіяся деньги шелковый халатъ. Впослѣдствіи однако она сдѣлала себѣ изъ него капотъ, потому что Зимогоровъ, и вообще не носившій халата, отказался надѣть это великолѣпіе. Мудрица скоро успокоилась за разстановкой мебели и разныхъ бездѣлушекъ, за заказываніемъ, при-
мѣркой, шитьемъ платьевъ и другими подобными заботами, весело порхала по своему „хорошенькому гнѣздышку“, какъ она выражалась, и всячески старалась, хотъ и не всегда удачно, угодить мужу. Но Зимогоровъ долго еще былъ сумрачнѣе обыкновеннаго, хотя и прежде не отличался ни веселостью, ни общительностью. Точно ему открылось въ его семейной жизни что-то новое, неожиданное и слишкомъ ужъ непріятное, чего онъ однако не могъ или не хотѣлъ пристально анализировать.

Мудрица была такъ вульгарно груба, когда говорила о *своихъ* деньгахъ, такъ комически жалка, когда просила прощенія, и такъ дѣтски мала, когда радовалась своимъ покупкамъ, что Зимоговоръ не сумѣлъ бы опредѣлить разбуженное въ немъ сборное чувство: не то удивленіе, не то жалость, не то презрѣніе, не то простая отчужденность. Этотъ неразложенный осадокъ остался и до сихъ поръ, хотя самая исторія была давнымъ давно забыта. Рожденіе дочери, затѣмъ вторые роды и опасная болѣзнь Евгеніи Павловны, конечно, этому много способствовали. Видимымъ слѣдомъ трагикомическаго эпизода съ наслѣдствомъ остался только изящный туалетъ Евгеніи Павловны, время отъ времени перешиваемый по модѣ, да накупленная ею всякая всячина, которая была слишкомъ ярка и обильна для учителя гимназіи, хотя Зимоговоръ зарабатывалъ, по боргородски, очень хорошія средства частными уроками...

Мудрица спала, свернувшись калачомъ. Спокойное дыханіе выздоравливающаго и уже почти выздоровѣвшаго человѣка, сопровождаемое легкимъ храпомъ, ровно раздавалось по комнатамъ.

Дверь скрипнула. Дѣтскій голосокъ звонко крикнулъ: „мама, посмотри-ка...“ и тотчасъ же осѣлся подъ чѣмъ-то сердитымъ „те!“ Евгенія Павловна вздрогнула, полуоткрыла глаза и быстро опять закрыла. Она увидѣла вошедшихъ, но ей не хотѣлось разговаривать. Вошелъ высокій, сухой, черноволосый, длиннородый человѣкъ въ коломанковомъ пальто и съ коломанковой же фуражкой на головѣ. Онъ держалъ за руку хорошенькую, нарядно одѣтую дѣвочку въ соломенной шляпкѣ и съ букетомъ цвѣтовъ въ рукахъ. Высокій человѣкъ постоялъ нѣсколько секундъ на порогѣ, пристально смотря на спящую, тяжелымъ, непріятнымъ взглядомъ изъ-подъ очковъ. Потомъ повернулся и ушелъ вмѣстѣ съ дѣвочкой.

Это были Семенъ Ивановичъ Зимоговоръ и его дочь Маруся.

ГЛАВА II.

Въ Кочкахъ гости.

На другой день Зимоговоръ въ томъ же коломанковомъ пальто сидѣлъ послѣ обѣда въ саду. Возлѣ него на скамейкѣ лежала фуражка, а на ней раскрытая книга. Тутъ же на скамейкѣ Маруся надѣлала „пирожковъ“ изъ мокраго песку, а сама убѣжала за другими матеріалами для своей стряпни. Зи-

могоровъ сидѣлъ, заложивъ длинныя ноги одну на другую и обхвативъ колѣна сложенными руками. Тонкія, характерно изогнутыя губы были крѣпко сжаты подѣ рѣдкими рыжевато-черными усами; между бровей лежала рѣзкая морщина, сѣрые, вооруженные очками глаза сурово и задумчиво смотрѣли въ землю.

— Папа, дядя чужой идетъ, — сообщила Маруська, запыхавшись подбѣгая къ отцу.

Зимогоровъ осматрѣлся. По густой липовой аллеѣ, упиравшейся прямо въ калитку, быстрою, увѣренною походкою приближался невысокій, очень изящно одѣтый молодой человѣкъ. Сѣрое лѣтнее платье ловко сидѣло на его статной фигурѣ, на одной рукѣ онъ несъ сѣрое же пальто, въ другой держалъ трость, перехвативъ ее посерединѣ и бойко ею размахивая. Изъ-подъ широкополой шляпы смотрѣли веселые каріе глаза, изъ-подъ небольшихъ, кольцомъ, по военному закрученныхъ усовъ виднѣлись яркія губы, слегка раздвинутыя улыбкой, и бѣлые, ровные зубы; бороды онъ не носилъ. Весельемъ и удалью вѣяло отъ всего смуглаго, красиваго, немного цыганскаго облика молодого человѣка. Подпустивъ его къ себѣ шаговъ на десять, Зимогоровъ поднялся къ нему на встрѣчу. Вблизи незнакомецъ оказался больше молодцоватъ, чѣмъ моложавъ. Морщины на лбу и „густыя лапки“ въ углахъ глазъ ясно говорили, что незнакомецъ видалъ виды и либо много погулялъ на своемъ вѣку, либо, напротивъ, много потерпѣлъ. Опытный взглядъ рѣшилъ бы, впрочемъ, что всего бывало. И опытный взглядъ не ошибся бы.

— Семена Ивановича Зимогорова имѣю честь видѣть? — спросилъ молодой человѣкъ, приподнимая шляпу и видимо сдерживая улыбку.

— Да, я Зимогоровъ.

— Не узнаете?

— Извините, кажется не имѣю чести знать, — отвѣчалъ Зимогоровъ, какъ то ужъ слишкомъ серьезно вглядываясь изъ-подъ очковъ въ незнакомца. Гость уже не сдерживалъ улыбки и, блестя глазами и зубами, тоже смотрѣлъ хозяину прямо въ глаза. Въ памяти Зимогорова что-то замелькало, но онъ никакъ не могъ поймать, закрѣпить это что-то.

— А Разстанова помнишь? — спросилъ молодой человѣкъ, понижая голосъ, и совсѣмъ уже смѣясь.

— Разстановъ! Андриуша! — крикнулъ Зимогоровъ, обнимая гостя.

— Тс! — перебилъ тотъ все тѣмъ же, пониженнымъ, но ве-

селымъ голосомъ. Тс! Разстанова нѣтъ, исчезъ, провалился Андрей Разстановъ...

— Что ты городишь?

— Не городишь, а слушай и знай, какъ говорилъ бывало Адамантовъ. Помнишь Адамантова? Я—Соломѣрскій, Евграфъ Петровичъ, поручикъ въ отставѣ.

— Какъ такъ?

— Да такъ. Сказано: слушай и знай.

Зимогоровъ сталъ слушать и узналъ.

Пошли обыкновенные разговоры двухъ долго не видѣвшихся и не чаявшихъ увидаться пріятелей, сохранившихъ однако другъ къ другу хорошія чувства; веселые и вмѣстѣ затрудненные, сбивчивые разговоры, въ которыхъ то воспоминаніе прорвется, то сообщеніе изъ прожитаго врознь; то вдругъ, повидимому, изсякнетъ источникъ бесѣды и пріятели, похлопывая другъ друга по плечу или по колену, задумчиво говорятъ: „такъ-то, братъ!“ — „да, братъ, много воды утекло;“ а потомъ опять пользуются потерявшимися воспоминаніями и сообщеніями. Намъ нѣтъ надобности слѣдить за этими оборванными, безпорядочными вопросами, отвѣтами, воскликаніями, репликами, разсказами. Мы можемъ проще и яснѣе узнать въ чемъ дѣло.

Зимогоровъ и Разстановъ были земляки—боргородцы, учились въ одной и той же гимназіи, въ одномъ и томъ же университетѣ. Въ гимназіи они едва знали другъ друга, потому что Разстановъ былъ на нѣсколько лѣтъ моложе и притомъ аристократическаго происхожденія, тогда какъ Зимогоровъ былъ плебей. Но въ университетѣ, гдѣ разница лѣтъ, а тѣмъ болѣе происхожденіе не могло имѣть значенія, они сошлись очень близко. Сошлись сначала просто какъ земляки, которымъ было тѣмъ помянуть сообща хоть боргородскую гимназію, но потомъ ихъ сблизило, кажется, главнымъ образомъ рѣзкое различіе ихъ нравственныхъ фizioномій при большомъ сходствѣ взглядовъ. Очень ужъ пополняли другъ друга Разстановъ и Зимогоровъ.

Сынъ пьянаго и грубаго, почти звѣрообразнаго дьякона одной изъ самыхъ захолустныхъ боргородскихъ церквей, прошедшій суровую школу съ ранняго дѣтства, Зимогоровъ былъ угрюмъ, необщителенъ, усердно работалъ, находя для этого достаточно времени, несмотря на бѣганіе по урокамъ ради пропитанія. Разстановъ, напротивъ, въ качествѣ сына богатаго и родовитого предводителя дворянства одного изъ боргородскихъ уѣздовъ, получилъ чисто барское воспитаніе, имѣлъ, по студенчески, очень хорошія средства, и былъ отъ природы, какъ онъ

самъ выражался, темперамента „легкаго“. Вѣчно веселый, беззаботный, любитель приключеній, охотникъ и удачникъ по части женскаго пола, онъ однако глубоко уважалъ замѣнутаго и до педантизма строгаго къ себѣ Зимогорова. Тотъ въ свою очередь отвѣчалъ ему почти отеческою нѣжностью и частенько журилъ его за разныя похожденія. Онъ почему-то многого ждалъ отъ способностей Разстанова, дѣйствительно недюжинныхъ. Оба они были на математическомъ факультетѣ, но обоимъ имъ было какъ будто тѣсно, оба интересовались, кажется, рѣшительно всѣмъ. Близость эта оборвалась однимъ изъ университетскихъ волненій, послѣ котораго Разстановъ долженъ былъ удалиться. Потомъ онъ уѣхалъ за границу и Зимоговъ совершенно потерялъ его изъ виду. Года два тому назадъ Зимоговъ читалъ въ газетахъ отчетъ о политическомъ процессѣ, въ которомъ фигурировалъ, между прочимъ, бывшій студентъ Андрей Разстановъ, подвергшійся нелегкой карѣ: высиdvъ уже слишкомъ два года въ домѣ предварительнаго заключенія, онъ былъ сосланъ по рѣшенію суда въ мѣста довольно-таки отдаленныя. Оттуда онъ немедленно бѣжалъ, потомъ былъ неокончившимъ курса семинаристомъ Иваномъ Вознесенскимъ и, въ качествѣ такового, служилъ волостнымъ писаремъ, а теперь разгуливалъ съ фальшивымъ паспортомъ на имя отставнаго поручика Соломѣрскаго.

Далеко не такъ бурно текла жизнь Зимогова. Онъ мечталъ о профессурѣ, объ ученой карьерѣ, но смерть звѣрообразнаго отца вызвала его тотчасъ по окончаніи курса на родину, — надо было провѣдать и успокоить старуху мать. Ветхая дьяконица была очень плоха и молодому человѣку казалось жестокимъ оставить ее, такую одинокую, ветхую, любящую, полураздавленную. Она усиленно просила его остаться, чтобы „закрыть ей глаза“. Но слезящіяся, почти уже незрячіе глаза дьяконицы потухли только черезъ три года. Надо было жить и Зимоговъ взялъ мѣсто учителя гимназіи. Онъ утѣшалъ себя мыслью, что это только временная задержка на намѣченномъ пути. Но потомъ полюбилась ему сестра его товарища по службѣ, красивая, веселая, наивная „Женевьева“ Суровская. Онъ женился, родилась Маруся. Намѣченная цѣль исчезла въ какомъ-то туманѣ, изъ котораго выглядывала только изрѣдка, дразня и раздражая Зимогова. Такъ онъ и остался учителемъ гимназіи, давая въ тоже время много частныхъ уроковъ. Объ одномъ изъ нихъ Зимоговъ разсказалъ съ нѣкоторою подробностью. Это былъ урокъ совсѣмъ не по его спеціальности, именно по исторіи. Случилось это какъ-то нечаянно. Единственный сынъ богатаго

боргородскаго фабриканта, Дунина, очень способный, но избалованный молодой человѣкъ, не учившійся въ гимназiи, а готовившійся прямо на аттестатъ зрѣлости, услыхавъ однажды разговоръ Зимогорова на историко-политическую тему, пожелалъ присоединить его къ сонму своихъ учителей, и старикъ отецъ буквально вымолилъ у Зимогорова исполненiе желанiя баловня-сына. Гимназическiй учитель исторiи, очень скромный и добрый старикъ, ни мало не претендовалъ на это вторженiе въ его специальность. Учитель женской гимназiи, человѣкъ молодой и крайне самолюбивый, былъ недоволенъ, но по большому самолюбию старался ничѣмъ не выражать своего недовольства и даже пользовался всякимъ случаемъ, чтобы съ преувеличенною похвалою отозваться объ Зимогоровѣ.

— Дунинъ, ты говоришь? — переспросилъ Разстановъ. — А нѣтъ-ли у этого стараго чорта дочери или племянницы, Марья Гавриловны?

— Зовутъ его Гаврилой, Гаврило Петровичъ, но только дочери у него навѣрное нѣтъ. Говорю тебѣ: единственный сынъ, оттого и баловень. Да и племянницы, я думаю, нѣтъ, вообще, кажется нивакой родни: старикъ-вдовецъ, да сынъ. А тебѣ что?

— Такъ, есть у меня одна знакомая Дунина, Марья Гавриловна, и что-то, помнится, про здѣшнiя мѣста говорила.

— Нѣтъ... не знаю, да и самъ то старикъ не здѣшнiй... Ну, ладно, ты то что же такое теперь?

— Теперь... какъ бы тебѣ сказать? Сейчасъ вотъ въ родѣ какъ Чичиковъ. Тоже путешествую, вижу свѣтъ, коловращенiе людей, поучаюсь, ну и души скупаю, только не мертвыя, а живыя. Погоди и твою торговать буду...

Зимоговъ не успѣлъ выяснитъ свои недоумѣнiя и сомнѣнiя по поводу загадочныхъ словъ Разстановъ-Соломiрскаго. Прiатели на радостяхъ встрѣчи не обратили вниманiя, что Маруська съ самаго начала ихъ бесѣды убѣжала въ домъ. Теперь она возвратилась съ увѣдомленiемъ, что мама зоветъ папу и что кромѣ того его спрашиваетъ чужой дядя „Ладушникъ“.

— Какъ? какъ?

— Ладушникъ.

— А! знаю, — сказалъ, смѣясь, Зимоговъ, привыкшiй къ перестановкѣ буквъ и слоговъ въ жаргонѣ Маруськи. — Должно быть Оладушкинъ. Ты не слыхалъ такого?

— Оладушкинъ... Оладушкинъ... Фамилiя замѣтная. Что-то слышалъ. Кто онъ?

— Административный ссыльный, переведенъ къ намъ изъ Тмутаракани. Я о немъ понятія не имѣю, сейчасъ въ первый разъ увижу. Его кто-то моему шуруну рекомендовалъ, а тотъ сказалъ мнѣ, ну, онъ и проживетъ у меня лѣто или сколько тамъ, пока найдетъ какую-нибудь работу.

— Что-то слышалъ, а не помню. Много вѣдь нашего брата. Только вотъ что, Семенъ Ивановичъ, какой онъ тамъ ни есть, а я все-таки Соломѣрскій, вообще для всѣхъ, понимаешь?

— Понимаю, а теперь пока извини, пойду туда. Тебя пока не зову, потому что не знаю, какова жена, а съ Оладушкинымъ лучше одинъ на одинъ познакомиться. Хочешь, оставлю тебѣ эту дѣвицу для развлечения?

Зимогоровъ показалъ на Маруську, которая, тѣсно прижавшись къ отцу, искоса посматривала на незнакомаго гостя.

— Хочу, братъ, очень хочу. Эхъ, барышня, хороши я пѣсни знаю и сказки тоже. Ахъ, хороши!

Э—ахъ ты тируська, ты тируська бычекъ,
Молодая ты говядинка!

Залихватскій тонъ, которымъ запѣлъ Разстановъ, размѣшилъ и Зимогорова, и самого пѣвца и, главное, Маруську: она сразу соблазнилась. Зимогоровъ пошелъ въ домъ, но на половинѣ дороги остановился, задумчиво покачалъ головою и вернулся.

— Послушай, — сказалъ онъ: — какъ же ты здѣсь будешь? Вѣдь тебя, пожалуй, многіе помнятъ, какъ бы не узналъ кто?

— Полно-во! Волковъ бояться, такъ и въ лѣсъ не ходить. Да и кто меня здѣсь помнитъ? Оно, знаешь, какъ-то даже занятно въ родныхъ мѣстахъ инкогнито побывать. Особенная этакая пикантность...

— Твое дѣло!

Зимогоровъ отправился сначала къ женѣ и нашелъ ее еще лучше вчерашняго, она видимо поправлялась буквально не по днямъ, а по часамъ. Звала она мужа, во-первыхъ, затѣмъ, чтобы заявить, что ей скучно и хочется, чтобы онъ посидѣлъ съ ней; затѣмъ, во-вторыхъ, чтобы спросить, кто съ нимъ въ саду сидитъ. Узнавъ, что гость есть такой-то Соломѣрскій (Зимогорову даже не мелькнула мысль сообщить женѣ тайну своего друга), человекъ молодой и веселый, и что сверхъ того въ кабинетѣ сидитъ Оладушкинъ, мудрица очень повеселѣла и потребовала, чтобы все общество собралось у нея, въ этой самой, какъ будто нужной, а какъ будто и совсѣмъ ненужной комнатѣ съ длиннохвостыми синими птицами на стѣнахъ. Она сама хотѣла раз-

ливать чай, хотя бы и полулежа, и тотчасъ захлопотала о приведении въ порядокъ своего туалета и прически.

Зимогоровъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ. Тамъ его ждалъ худощавый, съ узкими плечами и впалую грудью молодой человекъ лѣтъ двадцати пяти-шести, въ черномъ потертомъ сюртукѣ, пуритански строго застегнутомъ на всѣ пуговицы. Густые рыжеватые волосы шапкой кудрявились надъ низкимъ лбомъ, такая же рыжеватая и кудреватая бородка окаймляла блѣдное лицо. Въ ожиданіи хозяина онъ медленно ходилъ изъ угла въ уголъ, заложивъ руки за спину и свѣсивъ голову на грудь.

— Я Оладушкинъ,—заговорилъ онъ, подавая Зимогорову руку. Заговорилъ онъ искусственно развязнымъ тономъ, плохо скрывавшимъ замѣшательство, и не глядя собесѣднику въ лицо; при этомъ однако его маленькіе сѣрые глаза не переходили съ предмета на предметъ, а были устремлены въ одну точку, съ видомъ мечтательнымъ и нѣсколько тупымъ. — Я Оладушкинъ. Вамъ говорилъ Евгеній Павлычъ... Я слышалъ, вы хорошій человекъ и, надѣюсь, избавите меня отъ необходимости размазывать... насчетъ того одолженія, которое...

— Помилуйте, какое же одолженіе,—ободрительно перебилъ Зимогоровъ. — Я очень радъ, городская квартира у меня все равно пустая стоитъ. Только вотъ... Виновать, не знаю, какъ васъ по имени и отчеству...

— Алексѣй Алексѣичъ.

— Такъ вотъ, Алексѣй Алексѣичъ, не знаю, какъ вы тамъ устроитесь, я тамъ никого не оставилъ. Можетъ быть, вамъ удобнѣе здѣсь, на дачѣ поселиться?

— Какъ нибудь устроюсь, привыкнѣ,—отвѣтилъ Оладушкинъ, криво усмѣхаясь и показывая при этомъ два ряда нехорошихъ зеленоватыхъ зубовъ, и потомъ продолжалъ съ прежнею напускною развязностью: — Суровской сказывалъ, что у васъ много книгъ; для него, вѣроятно, это и значитъ большая библіотека. — Оладушкинъ показалъ рукой и головой на маленькую полку и письменный столъ, на которыхъ лежало съ десятокъ книгъ.

— Библіотека у меня очень невелика,—хмурясь и съ замѣтною жесткою холодною возразилъ Зимогоровъ, непріятно покоробленный развязностью гостя: — но все-таки книги есть, въ городѣ остались. Она къ вашимъ услугамъ. Въ Тмутаракани, должно быть, по этой части плохо было?

— Тмутараканцы насчетъ литературы беззаботны. Общественная библіотека есть, да въ ней все Ракамболи больше, да порнографія.

— Скажите, пожалуйста, вы по какому собственно дѣлу попали въ Тмутаракань?

— По дѣлу! По бездѣлю развѣ...

Оладушкинъ видимо не хотѣлъ говорить объ этомъ предметѣ и съ горькою не то просто усмѣшкой, не то насмѣшкой надъ тѣмъ-то смотрѣлъ неподвижнымъ, мечтательно тупымъ взглядомъ на кончики своихъ сапоговъ. Зимогоровъ не продолжалъ распросовъ и предложилъ итти въ садъ. Они шли молча. Хозяинъ думалъ о гостѣ, гость думалъ о хозяинѣ. Зимогоровъ думалъ: самолюбивый человѣкъ... и смущенный; присмотрится, такъ и обойдется; нехорошо только, что на Суровскаго ни съ того, ни съ сего фыркаетъ.—А Оладушкинъ припоминалъ характеристику Зимогорова, сдѣланную „дуракомъ“ Суровскимъ (именно такъ непочтительно называлъ Оладушкинъ нашего мудреца, съ которымъ впрочемъ познакомился всего нѣсколько дней тому назадъ): умный и хорошій человѣкъ, только примѣниться къ нему надо,—угрюмъ, резонеръ, съ виду надмененъ.—Посмотримъ!—прибавилъ про себя Оладушкинъ.

Въ такихъ размышленіяхъ они дошли до Разстанова и Маруськи, которыхъ застали въ полномъ удовольствіи другъ отъ друга. Еще издали слышали они звонкій хохотъ дѣвочки. Она сидѣла на колѣняхъ у молодого человѣка и громко смѣялась, слушая, какъ онъ пѣлъ:

Сѣлъ комаръ на самоваръ,
Думаетъ онъ думу...

Хозяинъ познакомилъ молодыхъ людей. Соломірскій (будемъ ужъ и мы называть Разстанова этимъ фальшивымъ именемъ, если ему такъ хочется) посмотрѣлъ на всю маленькую и слабую фигуру Оладушкина гораздо внимательнѣе, чѣмъ отъ него можно было ожидать. Оладушкинъ же едва взглянулъ на Соломірскаго своимъ тусклымъ, меланхолическимъ взглядомъ и тотчасъ же опустилъ глаза. Пошли въ домъ. Маруська убѣжала впередъ.

Мудрица полулежала на кушеткѣ, передъ которой теперь стоялъ столъ съ бурлившимъ свою пѣсню самоваромъ и прочими чайными принадлежностями. Около него размѣстилось все общество. Евгенія Павловна съ большимъ оживленіемъ встрѣтила гостей, объяснивъ имъ, что ей такъ скучно и такъ надоѣло быть больной, когда она совсѣмъ здорова, что съ разрѣшенія мужа она рѣшилась принять ихъ въ такомъ „неприличномъ“ видѣ, — мудрица указала на свой только-что надѣтый щегольской пенъюаръ съ яркимъ голубымъ бантомъ на груди.

— Вы мою дочь совсѣмъ плѣнили, Евграфъ Петровичъ, — сказала она послѣ обычныхъ представленій и привѣтствій Соломирскому, кокетливо улыбаясь и глядя по головѣ прижавшуюся къ ея колѣнамъ Маруську.

— Ну, это значить взаимная страсть, счастливая, она меня тоже плѣнила. Чудесная дѣвчоночка!

— Баловница только... Но вѣдь вы и намъ споете?

— Помилуйте, какой я пѣвецъ! у меня и голосъ-то — *si-devant*: былъ да сплылъ.

— Не скромничаете?

— А вотъ спросите Семена Ивановича, умѣю ли я скромничать, онъ меня лучше меня самого знаетъ.

Болтовня пошла своимъ чередомъ вмѣстѣ съ чаепитіемъ. Бѣлый пенюаръ съ голубымъ бантомъ очень шелъ къ похудѣвшей Евгеніи Павловнѣ, и она это знала. Зимогоровъ и Соломирскій были еще полны радостью встрѣчи, и только Оладушкинъ не принималъ участія въ оживленной бесѣдѣ. Онъ отказался отъ рому къ чаю, прибавивъ, что никогда никакого вина не пьетъ; отказался отъ второго стакана, а черезъ нѣсколько минутъ неожиданно сказалъ: „а впрочемъ позвольте“, а отвѣтилъ разъ „да“ и разъ „нѣтъ“ на обращенные къ нему любезною хозяйкой вопросы. Онъ оживился только съ приходомъ Суровскаго.

Мудрецъ, какъ вошелъ, такъ и доставилъ публикѣ свидѣтельство своей мудрости. Онъ разсказалъ случай, бывшій съ нимъ сегодня утромъ. Ъхалъ онъ на извозчикѣ и пришлось имъ либо переѣхать дорогу солдатамъ, возвращавшимся съ ученья, либо пропустить ихъ и стоять вслѣдствіе этого на мѣстѣ довольно долго. Мудрецъ совѣтовалъ извозчику пропустить, потому что, — объяснилъ онъ, — солдаты идутъ съ ученья непременно усталые и сердитые, могутъ непріятность сдѣлать; но извозчикъ не послушался, за что и получилъ ударъ офицерской саблей плашмя по спинѣ, съ придачей очень крупныхъ русскихъ ругательствъ (фактъ)! Тогда извозчикъ, почесывая спину, сказалъ, что мудрецъ умный баринъ, и что онъ, извозчикъ, его помнить. А именно онъ везъ его прошлою осенью, въ распутицу, и получилъ отъ него къ слову совѣтъ не ѣздить сегодня къ театру, потому что боргородцы наровятъ ѣздить изъ театра цѣлой семьей на однихъ дрожкахъ, а дорога тяжелая. Извозчикъ однако и тогда не послушался, въ чемъ ему и пришлось раскаться: рессора лопнула, экономные боргородскіе любители драмы вывалились въ грязь, а самъ извозчикъ ночевалъ въ по-

лицейской части. „Фактъ!“ заключилъ Евгеній Павловичъ, по обыкновенію торжественно обводя глазами присутствующихъ. Всѣ похвалили проницательность Суровскаго, столь блистательно доказанную, а Оладушкинъ даже съ совершенно неожиданною живостью и нескрываемою насмѣшкой почти крикнулъ: „и вправду вы мудрецъ, Евгеній Павловичъ!“

Разговоръ перешелъ на театръ вообще и на боргородскій въ особенности. Постоянной труппы въ Боргородѣ не было, а играли любители, иногда прїѣзжіе актеры, большею частью плохіе. Такая бродячая труппа и сейчасъ гостила. Для Евгеніи Павловны это былъ поводъ еще разъ пожаловаться на свою болѣзнь, потому что „я страсть какъ люблю театръ“, — сказала она.

— Даже плохой? — спросилъ Оладушкинъ.

— Что же дѣлать, коли хорошаго нѣтъ. Всякому рада будешь.

— Я этого не понимаю, — продолжалъ Оладушкинъ, ни на кого не глядя. — Я люблю театръ и немножко смыслю въ этомъ дѣлѣ, но именно поэтому хожу въ театръ очень рѣдко. Не понимаю, какъ можно, любя театръ, смотрѣть всякую бездарность.

— Ну, можетъ быть, я ничего не смыслю, а просто люблю...

Оладушкинъ улыбнулся, опять показывая всѣ свои дурные зубы, и замолчалъ. Остальные тоже примолкли, потому ли, что не ожидали отъ молчаливаго молодого человѣка такой увѣренной рѣчи, или потому, что въ его словахъ была мысль, остановившая на себѣ ихъ вниманіе. Зимогоровъ особенно пристально посмотрѣлъ изъ-подъ очковъ на Оладушкина. Неловкое молчаніе было прервано Соломірскимъ, рассказавшимъ анекдотъ изъ быта провинціальныхъ актеровъ. Всѣ обрадовались этому анекдоту сверхъ мѣры его забавности, и Соломірскій немедленно сталъ центральнымъ пунктомъ вниманія всего общества. Онъ такъ и сыпалъ остротами, не всегда впрочемъ удачными разсказами, прибаутками, и наконецъ, по настоянію мудрицы, выразилъ согласіе пѣть, если ему достанутъ гитару. Убиравшая въ это время самоваръ молодая, краснощекая, франтоватая горничная Груша съ кокетливымъ жеманствомъ вызвалась сбѣгать на село къ волостному писарю, у котораго есть гитара. Явилась гитара, Соломірскій сталъ пѣть цыганскіе романсы, опереточные куплеты, пародировалъ итальянскихъ оперныхъ пѣвцовъ. Голосъ у него былъ дѣйствительно только „*si-devant* голосъ“, но неожиданность этого импровизированнаго развлеченія доставила всѣмъ много веселья. Зимогоровъ смотрѣлъ на своего разыгравшагося друга

съ такою нѣжностью, какую мудрено было ожидать встрѣтить на его сумрачномъ лицѣ. Суровской былъ очень веселъ и по временамъ подтягивалъ густымъ басомъ. Евгенія Павловна дѣлала пѣвцу самые свои выразительные глазки. Горничная Груша все наровила пройти мимо Соломѣрскаго, задѣть его шуршащимъ, туго накрахмаленнымъ ситцевымъ платьемъ и обдать запахомъ розы, струившимся отъ ея обильно намаженной головы. Маруська хохотала до упаду. Одинъ Оладушкинъ былъ пасмуренъ и даже все болѣе увядалъ по мѣрѣ того, какъ кругомъ становилось веселѣе. Онъ сидѣлъ молча, почти не поднимая глазъ, изрѣдка улыбаясь двусмысленной улыбкой и куря одну папиросу за другой. Хозяева пробовали сначала вовлечь его въ общую бесѣду, но такъ и отступились.

Веселье было прекращено старой нянькой Егоровной. Она уже во второй разъ пришла звать Маруську спать, — въ первый разъ дѣвочка рѣшительно отказалась, да и теперь ушла со слезами. Пора было отдохнуть и Евгеніи Павловнѣ.

ГЛАВА III.

Ночь въ Кочкахъ.

Дѣйствующія лица нашего повѣствованія, съ которыми до сихъ поръ познакомились наши читатели, провели эту ночь неодинаково, хотя и подъ одной крышей, — Соломѣрскій, Суровской и Оладушкинъ остались ночевать въ Кочкахъ.

Евгенія Павловна, утомленная давно не испытанными впечатлѣніями веселаго характера, какъ только свернулась калачомъ, такъ и заснула. Она видѣла во снѣ Соломѣрскаго. Онъ пѣлъ ей что-то ласкающее и нѣжное, только она не могла разобрать словъ. Мудрица всѣмъ своимъ существомъ чувствовала присутствіе нѣжной ласки, но тщетно напрягала она слухъ, тщетно старалась угадать слова по движенію губъ и по выраженію блестящихъ карихъ глазъ пѣвца, — слова не давались. И вдругъ эти глаза и губы, на которые было устремлено все ея вниманіе, подверглись досадной метаморфозѣ: глаза потускнѣли, затуманились, точно заволоклись меланхоліею, губы поблѣднѣли, улыбка скривилась, показались грязно зеленоватые зубы... Да это Оладушкинъ! Онъ подходитъ все ближе, ближе и при этомъ растетъ вверхъ и вширь, принимая фантастически огромные размѣры. И тоже безъ словъ... Но мудрица ужъ и не хочетъ словъ, она

боится ихъ, ей становится все страшнѣе, страшнѣе... Наконецъ, она съ крикомъ просыпается, вся въ поту и тяжело дыша.

Старчески чуткая нянька Егоровна прибѣжала на крикъ.

— Ничего, Егоровна, ничего, мнѣ гадкій сонъ приснился. Дай воды выпить, да посиди со мной, пока засну...

Черезъ минуту мудрица спала и Егоровна, шепча что-то себѣ подъ носъ, перекрестила спящую, потомъ ушла, осторожно ступая босыми ногами.

Тѣмъ временемъ мужчины отправились ужинать. Оладушкинъ однако отказался и прямо попросилъ указать ему комнату, гдѣ онъ будетъ спать. Ему вмѣстѣ съ Суровскимъ была отведена гостиная, гдѣ одну постель сдѣлали на широкомъ турецкомъ диванѣ, а другую на полу, на тюфякѣ. Но Оладушкинъ не сейчасъ легъ спать. Ему просто хотѣлось остаться одному, его раздражали пѣсни и шутки Соломірскаго.

Въ гостиной была дверь на большой балконъ, съ котораго шли ступеньки въ садъ. Садъ отдавалъ запустѣніемъ, и если бы кто-нибудь изъ длиннаго ряда его владѣльцевъ, покоящихся тамъ, на горѣ, у церкви, возсталъ отъ вѣчнаго сна, то отъ огорченія, можетъ быть, сейчасъ же попросился бы опять на кладбище. Дорожки заросли, деревья запущены, лопухъ и крапива на всей своей вольной волѣ растутъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ одинъ просвѣщенный предокъ водрузилъ солнечные часы. Затѣйливыхъ куртинъ и клумбъ и въ поминѣ нѣтъ, да если бы онѣ и были, такъ цвѣты заглушались бы непомѣрно разросшейся бузиной и акаціей. Въ ягодномъ отдѣленіи вырыты и раскорежены кусты малины, крыжовника, смородины, изъ ягодъ которыхъ варились нѣкогда такія прекрасныя варенья и дѣлались такія чудесныя наливки и водянки. Отъ бесѣдки въ швейцарско-китайскомъ вкусѣ остались только три столба, да рѣшетка, по которой спутанными, сбитыми клубками вьется хмѣль. Прудъ, небольшой, но дававшій когда-то пріютъ многочисленнымъ карасямъ, затянулся тиной и всякой дрянью и оглашается неустаннымъ верещаніемъ лягушекъ. Только дубы и липы устояли въ своей красотѣ, да и тѣ что-то ужъ очень мрачно и серьезно смотрятъ, точно они лучшія времена вспоминаютъ...

Если однако смотрѣть на садъ не изъ могилы добраго стараго времени, а просто съ балкона, такъ онъ былъ недуренъ именно своею запущенностью, а въ эту минуту даже очень хорошъ. Луна серебрила темную зелень дубовъ и грязноватую, отъ множества цвѣту, зелень липъ, скользя серебряными лучами и по бузинѣ и акаціи. За садомъ видѣлась тихая, точно

мертвая, извилистая лента рѣчки, прятая мѣстами въ густой тальникъ. Въ рѣчкѣ отражался тотъ же мѣсяцъ золотой полосой поперекъ воды. Было тепло и тихо. Липовый цвѣтъ наполнялъ воздухъ медовымъ запахомъ. Виртуозъ соловей старательно продѣлывалъ свои „колѣна“. Даже доносившееся съ пруда лягушечье верещанье было какъ-то умѣстно, и только глупый жукъ нарушалъ временами гармонію ночной красоты: вдругъ нелѣпо прожужжитъ, точно звуковую запятую поставить въ воздухѣ, а потомъ такъ же нелѣпо щелкнется обо что попало всѣмъ своимъ неуклюжимъ, крѣпкимъ тѣломъ...

Оладушкинъ медленно ходилъ по балкону, залажа руки за спину и свѣсивъ голову на грудь, — такова была его обычная, давно уже усвоенная манера. Въ соловьиныя трели онъ впрочемъ не вслушивался и въ посеребренную луной зелень не всматривался. Онъ смотрѣлъ внутрь себя и думалъ о томъ, что вотъ онъ, гонимый судьбою человѣкъ, не имѣетъ пристанища и гуляетъ по балкону чужого дома, у какого-то гимназическаго учителя, въ прекрасную, тихую ночь, при интересномъ лунномъ освѣщеніи; думалъ и любовался, и любовался онъ, пожалуй, всѣмъ, что было на балконѣ и передъ балкономъ, но больше всего ему нравилось въ картинѣ ночи то, чего онъ, за отсутствіемъ зеркала, видѣть не могъ: онъ самъ. А лунное серебро на зелени, лунное золото въ водѣ, колѣна соловья и вся эта благоуханная тишь ночи получала цѣну только уже черезъ него, какъ декорація и аксессуары.

Тѣмъ не менѣе, когда Суровской пришелъ спать и, выйдя тоже на балконъ, выразилъ удивленіе, что Оладушкинъ до сихъ поръ бодрствуетъ, тотъ презрительно сказалъ:

— Что я не сплю, это не удивительно, посмотрите и послушайте сами, — Оладушкинъ широкимъ размахомъ руки указалъ на посеребренный садъ: — а вотъ, что вы до сихъ поръ не спите изъ-за разныхъ пошлостей этого вашего Соломірскаго, этого я дѣйствительно не понимаю!

Тонъ и манера, съ какими были сказаны эти слова, ни мало не напоминали того Оладушкина, который напускалъ на себя развязность въ кабинетѣ Зимогорова и двусмысленно улыбался въ комнатѣ Евгеніи Павловны. Съ Суровскимъ говорилъ человѣкъ дѣйствительно развязный и притомъ глубоко убѣжденный въ своихъ преимуществахъ надъ собесѣдникомъ.

Суровской очень слабо защищалъ Соломірскаго въ томъ смыслѣ, что хотя-де это человѣкъ и въ самомъ дѣлѣ, кажется, пустоватый, но все-таки пріятный и много интереснаго на

своемъ вѣку выдавшій. Затѣмъ мудрецъ поторопился согласиться въ общихъ чертахъ, что красоты природы дѣйствительно... имѣютъ въ себѣ... ммм... нѣчто какъ бы сказать... Но, не докончивъ диссертациі о красотахъ природы, пожелалъ Оладушкину спокойной ночи,—онъ очень усталъ сегодня и притомъ имѣлъ неосторожность выпить за ужиномъ лишнюю рюмку водки...

— Вы гдѣ ляжете: на диванъ или на полу?

— Мнѣ все равно.

— Да и мнѣ все равно.

Случилось однако такъ, что хотя обоимъ было все равно, а болѣе удобное мѣсто на диванѣ осталось за молодымъ человѣкомъ, гонимымъ судьбою, а начинавшій плясать и кряхтѣть отъ гемороя, ревматизма и одышки мудрецъ улегся на полу. Можетъ быть такъ случилось потому, что мудрецу пришлось укладываться спать первому и онъ изъ простой деликатности выбралъ худшее мѣсто. Но, можетъ быть, съ другимъ Евгеній Павловичъ былъ бы не столь деликатенъ, равно какъ и Оладушкинъ былъ бы, можетъ быть, съ другимъ болѣе предупредителенъ. Пусть это, не особенно впрочемъ важное, обстоятельство остается неразъясненнымъ...

Оладушкинъ опять вышелъ на балконъ и продолжалъ любоваться молодымъ человѣкомъ, освѣщеннымъ луною. Одно обстоятельство дало его мыслямъ толчекъ въ новомъ направленіи. Среди своихъ размышленій онъ услышалъ въ ночной тиши шорохъ. Посмотрѣвъ въ ту сторону, онъ замѣтилъ, что кто-то осторожно крадется между деревьями. Оладушкинъ подумалъ сначала, что это воръ или вообще человѣкъ съ недобрыми намереніями, и если не поднялъ сію же минуту тревоги, такъ только потому, что воображеніе его слишкомъ быстро и обильно заработало на эту тему. Но пока въ головѣ его мелькали, перегоняя другъ друга, образныя представленія, какъ онъ пойдетъ будить Суровскаго, бросится вслѣдъ за недобрымъ человѣкомъ, закричитъ: „караулъ! держи!“ крадущаяся фигура успѣла выбраться изъ чащи бузины и акации на липовую аллею. Тутъ Оладушкинъ сразу призналъ горничную Грушу. Дѣйствительно, это была Груша. Она пробиралась къ калиткѣ, а за калиткой ее ждалъ волостной писарь, обладатель ея пылкаго сердца и той самой гитары, которая доставила сегодня неожиданное развлеченіе обитателямъ господской усадьбы. Оладушкинъ тотчасъ сообразилъ, что дѣвушка не по чему другому, какъ по пылости сердца, крадется въ эту тихую, чудную ночь, и ухмыльнулся. Свое наблюденіе и выводъ, въ связи съ общимъ тономъ подмы-

вающей, щекующей нервы благоуханной ночи, онъ немедленно ввелъ въ кругъ размышлений объ интересномъ молодомъ человѣкѣ, освѣщенномъ луною.

— Конечно, не Груша... Это что!.. А вотъ если бы та, тмутакакановская, Марья Гавриловна... черноглазая, чернوبرовая... И припасть бы теперь къ ея колѣнямъ и смотрѣться бы въ ея странные, широко раскрытые глаза... при лунѣ... Или вотъ на этой рѣчкѣ вдвоемъ на лодкѣ...—Оладушкинъ остановился на томъ мѣстѣ балкона, съ котораго было лучше всего видно рѣчку, и съ полною отчетливостью увидалъ себя и тмутакаканскую Марью Гавриловну въ лодкѣ: онъ сидѣлъ на веслахъ, она на рулѣ; онъ былъ если не красивъ, то интересенъ поэтической печатью страданія на лицѣ, она была вполне его достойна; весла чуть всплескивали въ сонной водѣ, потому что онъ собственно и не гребъ, лодка плыла по теченію; вотъ онъ совсѣмъ бросилъ весла и, шагнувъ къ кормѣ, опустился на колѣна передъ красавицей...—Ну ее къ чорту!—оборвалъ вдругъ Оладушкинъ эту поэтическую картину и даже головой тряхнулъ, чтобъ отогнать ее отъ себя. — Ничего этого не было и не будетъ! Тогда, тоже лѣтомъ въ саду, насмѣялась... кукла малеванная!.. Къ чорту, къ чорту! Нѣтъ, пусть бы распахнулось хоть то окно и пусть бы изъ него высунулась эта... какъ ее... Женевьева (дуракъ Суровской!) въ бѣломъ пеньюарѣ съ кружевами и голубымъ бантикомъ на груди, и густыми свѣтлыми волосами, и наивными бирюзовыми глазами, вся облитая луннымъ свѣтомъ. А онъ бы ходилъ по балкону со скорбной думой на блѣдномъ лицѣ, она бы съ разу поняла его скорбь... Онъ бы ходилъ, а она бы смотрѣла... Потомъ... А недурна бабенка эта Женевьева, — продолжалъ про себя Оладушкинъ, вдругъ впадая уже совсѣмъ въ игривый тонъ:—недурна и должно быть не прочь своему долговязому Сенѣ рога приставить. Какъ она съ этимъ пошлякомъ Соломірскимъ заигрывала то... А долговязый на него же любитесь! Другъ... Знаемъ мы этихъ друзей!..

— Евгеній Павловичъ, вы спите?—окликнулъ мудреца Оладушкинъ, входя въ гостиную.

— А? что?

— Были вы когда-нибудь влюблены?

— Что это вамъ вздумалось? Былъ... разъ.

— Ну и что же?

— Ну и ничего.

— Какъ ничего? Она-то васъ любила? предметъ-то вашъ?

— Говорила, что любить, да врала.

— Просто-таки надула?

— Не надула, меня не надуешь! А въ носу при мнѣ ко-
выряла, потому и узналъ.

— Это что же за признакъ?

— А такой признакъ, что никогда не станетъ этого женщина
при любимомъ человѣкѣ дѣлать, лучше себѣ носъ отрѣжетъ.
Фактъ! Будетъ вамъ полуночничать, ложитесь спать. Луна да
соловей, вотъ вамъ и лѣзетъ въ голову. А кабы блохи...

— Мудрецъ! — со смѣхомъ сказалъ Оладушкинъ и сталъ
раздѣваться.

Совсѣмъ иные разговоры происходили въ другой сторонѣ
дома, въ кабинетѣ хозяина, выходившемъ окнами на дворъ.
Тамъ всю ночь напролетъ бесѣдовали Соломирскій и Зимогоровъ...

Ник. Михайловскій.

СКАЗКИ И ПРИСКАЗКИ ДѢДА ЧМЫХАЛА.

Разложене старыхъ формъ жизни въ нашемъ уединенномъ уголкѣ Полтавской губерніи выразилось между прочимъ исчезновеніемъ сказочниковъ. Немного осталось у насъ стариковъ и старухъ, которые умѣютъ рассказывать сказки и еще меньше молодыхъ, перенявшихъ отъ нихъ это искусство. Въ прежнее время сказочники представляли у насъ своего рода сельскую интеллигенцію, поддерживавшую интересъ къ первобытнымъ формамъ народной литературы, уносившихъ слушателей своими увлекательными повѣствованіями въ заманчивую и таинственную область оторванныхъ отъ дразгъ повседневной жизни событій. По цѣлымъ часамъ держалъ, бывало, сказочникъ въ напряженномъ вниманіи кучку своихъ слушателей, заставлялъ ихъ переживать вмѣстѣ съ героями своей сказки цѣлую массу ощущеній и волненій, не вызываемыхъ никакими другими сторонами тихой и убогой жизни сельскаго человѣка. Въ послѣднее время интересъ къ сказкамъ ослабѣлъ настолько, что даже и старые сказочники стали забывать давно заученныя ими отъ отцовъ и дѣдовъ преданія старины глубокой, и старая интеллигенція мало-по-малу начинаетъ сходить со сцены. На смѣну ей идетъ интеллигенція новая, книжная; но замѣнить ее пока еще она не можетъ. Новая интеллигенція питается скуднымъ числомъ обращающихся въ ея средѣ великорусскихъ книжекъ и, смутно отражая маловразумительное для нея содержаніе ихъ въ своемъ сознаніи, лишена еще возможности передавать усвоенное неграмотной толпѣ съ такою легкостью и увлекательностью, съ какою когда-то передавались сказки.

Къ тому же новой интеллигенціи чуждо искусство вырази-

тельнаго чтенія, а потому даже и съ книгою въ рукахъ она безсильна увлечь даже и самаго внимательнаго слушателя; не говоря уже о томъ, что увлечь тѣмъ, чѣмъ самъ не увлекаешься, едва ли возможно? Неудивительно послѣ этого, что у нашихъ селянъ не существуетъ никакой защиты противъ набѣгающей на нихъ волны лавочной практичности и противъ обаянія героевъ великаго искусства „купить — продать“. Напоръ этой волны и блескъ этого обаянія выносить на поверхность нашей сельской жизни только тотъ сортъ людей, котораго ничѣмъ не проймешь, кромѣ милой и дорогой ихъ сердцу наживы и родной сестры ихъ — пьявки, сосущей кровь ближняго. О кобзаряхъ нашихъ не сохранилось и слѣдовъ въ народной памяти; не сегодня, завтра, исчезнутъ наши сказочники, и мы, конечно, такъ же легко и скоро забудемъ ихъ. Впереди у насъ какъ будто мерещится книга, но окутана она такимъ густымъ туманомъ, вырисовывается столь смутно на фонѣ какой-то сѣрой мглы, что результатовъ ея вліянія пока еще нѣтъ никакой возможности предвидѣть. Настоящій моментъ, какъ моментъ переходный, крайне безотраденъ. Душа нашего селянина оскудѣла, едва-едва замѣтенъ у него тотъ „первый признакъ“, по которому человѣкъ сознаетъ себя живущимъ въ *человѣческомъ обществѣ*, становится онъ все болѣе и болѣе *нѣмъ* для всего, что внѣ утробнаго интереса, вырождается въ тотъ низменный типъ, для котораго теоретическіе вопросы, умственные интересы, поэтическое настроеніе представляются наивнымъ ребячествомъ, не стоющимъ ничьего вниманія.

Сожалѣя объ исчезновеніи сказокъ, какъ того послѣдняго народнаго умственнаго достоянія, которое представляло залогомъ счастливыхъ возмозможностей, — виды на нѣкоторое будущее, — извѣстные зачатки, способные къ развитію, нельзя не пожалѣть вмѣстѣ съ тѣмъ объ утратѣ сказокъ и какъ матеріала, драгоценнаго для исторіи литературы, исторіи культуры, этнографіи, для науки вообще. Научное значеніе сказокъ въ послѣднее время очень возросло; считать въ настоящее время сказку только „материаломъ, служащимъ для уясненія культурныхъ вопросовъ, имѣющихъ значеніе въ изученіи первобытнаго состоянія индоевропейскихъ народовъ“, какъ то было лѣтъ тридцать тому назадъ, значило бы умалять научное значеніе сказки. Въ настоящее время начинаютъ смотрѣть на сказку какъ на зачаточную форму, изъ которой развилась не только литература, но и мифологія, и не однихъ только индоевропейскихъ народовъ, но и народовъ всего свѣта. Теперь, когда мотивы сказокъ оказались

повсемѣстно-тождественными, различающимися только степенями развитія, соотвѣтствующими извѣстнымъ условіямъ мѣста и времени, — теперь всякая сказка, становящаяся общеизвѣстною, вступаетъ во всемірный циклъ сказокъ и попадаетъ въ категорию матеріала, правильное пользованіе которымъ можетъ осуществиться только при оперированіи надъ нимъ сравнительнаго метода въ самомъ широкомъ значеніи этого термина; — широко не только по отношенію времени и мѣста, но и многосторонности обзрѣнія даннаго матеріала. Не огорчаясь предѣлами индо-европейскаго міра, сказка отвоевала еще свою долю и въ рѣшеніи многихъ вопросовъ, считавшихся прежде съ ней не соприкасающимися. Областью „эмбриологіи литературы“ не ограничивается теперь роль сказки, къ этой области приходится прилагивать и область „эмбриологіи мифологіи“.

Въ многотрудной и многосложной задачѣ изслѣдованія сказокъ можно разглядѣть теперь два главные, частью намѣченные, частью уже и разработанные, вопроса: приходится, во-первыхъ, установить соціально-психологическія условія зарожденія и развитія основныхъ сказочныхъ мотивовъ, и затѣмъ прослѣдить происхожденіе комбинацій этихъ мотивовъ и пути ихъ передачи. Оба эти вопроса находятся въ тѣсной связи и взаимно дополняютъ другъ друга, какъ и всякіе другіе соотносительные соціологическіе и историческіе вопросы.

Изученіе характера основныхъ сказочныхъ мотивовъ и повсемѣстнаго ихъ тождества показало, что соціально-психологическія условія зарожденія этихъ мотивовъ не могли быть иныя, чѣмъ тѣ, на почвѣ которыхъ развилась первобытное міросозерпаніе, обозначаемое теперь терминомъ „анимизмъ“. Сказки, передавая эпизоды жизни, рассматриваемые какъ бы сѣвозъ волшебныхъ стеколъ анимизма, отодвигаются къ первобытнѣйшимъ ступенямъ культуры: онѣ предшествуютъ мифу, а не являются его обломкомъ, и въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи вступаютъ какъ элементы въ процессъ образованія эпоса. Поднимаясь такимъ образомъ въ слои высшаго умственнаго развитія, сказки въ первоначальномъ своемъ видѣ остаются, какъ „переживаніе“, въ слояхъ низшихъ и, благодаря странствованіямъ своимъ, могутъ попадать въ такія страны, гдѣ имъ и приходится навсегда остаться только сказками. Такъ, напримѣръ, малороссійскими сказочниками и теперь еще рассказываются сказки весьма близкія къ одному изъ эпизодовъ легенды о Буддѣ, что не можетъ не бросаться въ глаза всякому.

Мотивъ сказокъ развертывался всегда на фонѣ мѣстной

обстановки. Даже африканскіе племена приспособили въ этомъ отношеніи ставшія имъ извѣстными европейскія сказки. Этнографическій интересъ сказокъ поэтому очевиденъ. Гораздо менѣе очевидно, а потому и менѣе разработано, значеніе сказки какъ представительницы первобытнаго мышленія и его современнаго „переживанія“—обыденнаго мышленія:—олицетвореніе понятій, заключеніе по аналогіи, взглядъ на причинную связь явленій и т. д. Не подлежитъ сомнѣнію однакоже, что разработка вопроса о гносеологическомъ значеніи сказки могла бы способствовать выясненію различія продуктовъ познавательнаго процесса отъ первичныхъ простыхъ элементовъ мышленія, что для многихъ еще представляется столь сбивчивымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ столь заманчиво увлекающимъ въ измышленію самыхъ разнообразныхъ и мнимо-глубокомысленныхъ теорій.

Я только-что сказалъ объ исчезновеніи у насъ сказочниковъ. Фактъ этотъ подмѣчается даже въ такой глуши, какъ наша Денисовка, стоящей въ сторонѣ отъ всякихъ путей сообщенія и связанной со всѣмъ остальнымъ одною только боковою дорожкой. Дорожка эта соединяетъ тотъ обтекаемый рѣкою Оржицею полуостровъ, на которомъ стоитъ Денисовка съ почтовою дорогою отъ г. Золотоноши въ г. Лубны; сквозного же проѣзда черезъ Денисовку нѣтъ по неимѣнію плотины на рѣкѣ. Уединенное положеніе Денисовки является такимъ образомъ исключительнымъ, и нельзя не признать, что такое положеніе налагаетъ нѣкоторый особый отпечатокъ на жителей нашего села. И все же, старинный бытъ, державшійся здѣсь дольше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, замѣтно отходитъ въ прошедшее, и не только сказки и пѣсни, для сохраненія которыхъ необходима извѣстная искра Божія, но и все, напоминающее старину, повѣрья, суевѣрія, преданья, заговоры, знахарство значительно поубавилось. Вся совокупность народныхъ воззрѣній, или фольклоръ, какъ теперь принято говорить, имѣетъ теперь въ Денисовкѣ очень ужъ небольшое число представителей, но и по этимъ живымъ образцамъ поразительно воспроизводится передъ нашими глазами характерный типъ первобытнаго вѣрователя въ живую, человѣкоподобную, непрестанно находящуюся въ общеніи съ нимъ, природу. Поговорите только съ какой-нибудь старушкой,—чего вы только не услышите? Она вамъ расскажетъ, какъ надо „выливать переполохъ“, заговаривать лихорадку или кровотеченіе. Она сообщитъ удивительныя приключенія изъ ея собственной жизни: разъ, напримѣръ, она шла и видѣла убогаго странника, внезапно свалившагося въ глубокое „провалье...“ Казалось ей, что и

костей его не собрать, а смотришь: вышелъ здоровъ и невредимъ и пошелъ себѣ какъ ни въ чемъ не бывало по дорогѣ. Кто былъ этотъ таинственный странникъ?—Этого баба вамъ ни за что не скажетъ, но только дастъ понять. Довольно съ васъ, что это былъ „онъ“. Расскажетъ она еще вамъ, какъ разъ волки перешли ей дорогу и не тронули ее, потому что она знаетъ, какъ уберечь себя отъ нихъ. И волки,—это опять были „они!“. Да гдѣ „ихъ“ только нѣтъ? Тамъ шмыгнула черезъ улицу кошка, тамъ подъ заборомъ валяется клубокъ нитокъ; прислушайтесь только: хлопнулъ ставень, скрипнула калитка, каркнула ворона... Ужели вы не угадываете значеніе всѣхъ этихъ явленій? Или, въ самомъ дѣлѣ, никто такъ не слѣпъ и не глухъ, какъ тотъ, кто не хочетъ видѣть и слышать! А наша баба все видитъ, все слышитъ, все понимаетъ... Надъ нею еще свѣтитъ солнце фольклора; ея мысль работаетъ надъ вопросомъ о причинной связи явленій и сущности вещей!

Однимъ изъ хранителей старины является и дѣдъ-сказочникъ казакъ Родіонъ Оедоровичъ Чмыхало. Характеристику его я далъ въ очеркѣ, помѣщенномъ въ апрѣльской книжкѣ журнала „Міръ Божій“, гдѣ читатель найдетъ и его портретъ. Теперь я скажу только, что дѣдъ Чмыхало представляетъ собою замѣчательно типичнаго интеллигента стараго закала, неграмотнаго пересказчика цѣлой массы сказокъ, которыя онъ умѣетъ передавать связно, ясно и выразительно. Языкъ его несомнѣнно чистъ и пестритъ великороссійскими вставками, но складъ его рѣчи очень характеренъ и сказки его слушаются всегда съ большимъ удовольствіемъ и интересомъ.

Для ознакомленія читателя съ этими сказками я избралъ частью чисто-волшебныя, частью волшебнo-бытовыя сказки, частью чисто-бытовые рассказы, которые дѣдъ нашъ называетъ присказками.

Начнемъ со сказки „Про Змію и ййі 11 сестеръ“. „Бувъ соби мужыкъ багатый и у його бувъ сынокъ Грыша. И померлы стари обое разомъ; Грыши еще було лѣтъ 17 одродѣ: Попродавъ вінъ усе чысто: на деньги перевивъ и землю, и гордѣ, и худобу, и купивъ соби коня,—давъ повторы тысячи,—и сидло, и зброю на коня; купивъ еще шаблю, ружжо-двустволку; попрощався зъ слободою зо своею, сказавъ: „прощайте, господа слобожане“, и пойхавъ соби на трыдевять земель, въ трыдесяте царство, у инше государство. Ййде, ажъ дывытьця—степь; була дорога, а то нѣту никакой. Уѣхавъ у травку, травкою ѣдетъ. Сутокъ десять ѣдетъ травкою, не выплутаетьця,

дороги не найде. И просыть Бога, щобъ давъ йому смерть, або щобъ звірь зъйивъ, або що. Слушае, ажъ щось гукае. Слушае гласъ хрыстіянський. — „Слава Богу“, каже, „щось гукае: чутъ хрыстіянський гласъ!“ — Пóтімъ подѣзжае ближе, гукае. И спитенувся конь — ставъ. Конь стоить. Гукае Змія изъ ямы: — „вытягни мене, Грыша, изъ ямы, изъ горлати!“ Уставъ вінъ, посмотрѣвъ. Думавъ, що тамъ яка-небудь женщына, ажъ то гадына у ями. — „Якъ же я тебе буду вытягати, якъ я тебе боюся?“ — „Подай мени орапныка конецъ, тагъ я схвачусь, тагъ ты мене и вытягнешь!“ — Схватывсь вінъ изъ лошади, подавъ йій орапныкъ; вона хватыла ротомъ за конецъ; и злякавсь, и дёрнувъ вінъ йій тагъ, що на пивъ гоны упала вона одъ його. Какъ упала, тагъ и йдѣтъ до його баришня така, що не здумати, не згадати, рази у оцѣй казцѣ сказать. Пришла: — „здравствуй“, говѣрять, „Грыша Ивановичъ!“ — За ручку; поручковались, поцѣлювались. — „Слава Богу! И де ты узався, що ты мене выпушывъ изъ ямы? Ну, теперь, Грыша, чы ты доволенъ, щобъ я тоби була женою, чы сестрою?“ — Подумавъ Грыша своею головою: вона Змія, а мени женою буде; пуцай буде сестрою. — „Будь ты мени сестрою, а я тоби братомъ!“ Поцѣлювались. — „Ну, рижъ зъ правои руки мызыньця, щобъ я поссала твоей крови, а ти моеи, щобъ мы были родни“. — „Какъ же ризать“, сестра, „якъ я боюсь ризать своего мызыньця“. — „Що бояться? Вить тамъ немножко уризать“. — Вынимае ножыкъ сама зъ своего кармана: — „на, братъ, хочъ ты самъ рижъ, хочъ я сама врикну“. — „Рижъ, сестра, сама, бо я боюсь“. — Уризнула вона трищечки шкурочки отъ мызыньця и попала собі у ротъ и ссе. Держала, держала у роти: — „ну, вынимай, брате; довольно!“ — Тоди узала уризала своего мызыньця: — „беры, брате, у ротъ, ссы и мою кровь!“ — Узавъ вінъ у ротъ вже йій мызынецъ и ставъ ссать кровь. Поссавъ; — „ну, довольно, брате! Теперь мы будемъ родни, одніей крови; ты мени братъ, а я тоби сестра“. — Идутъ собі; на руки поводы накинуды и речи розни розговорюють. Довго-недовго йшли, открылася дорога. Идутъ упъять дорогою. Довго-недовго, а тутъ выдать стадо коней; очыма не доглянешь — такое большое; нѣтъ його и краю. — „Чые это стадо, сеструшко, большое такое лошадей выдать?“ — „Это?“ говѣрять, „мое стадо“. — Помынулы те стадо и идутъ. Идутъ собі, розмовляють речи розны собі. Проишли верстовъ дви упъять отъ того стада, выдать упъять череда така, що и очыма не зоглянешь. — „Чья это, сеструшко, череда така, що и очыма не зоглянешь?“ — „Се“, каже, „моя череда“. — И думаетъ Грыша

своею головою: лучше була бѣ вона моею женою, чымъ сестрою: вона така багата! А потѣмъ пытае: „чый ото степъ, що я йихавъ десятеро сутокъ, а не найшовъ ни дорожки, ни чого поки ажъ тебе не найшовъ?“ — „То усе, брате, мои степы“. — Ну, йдуть собі; розговорюють упъять. Повинули череду верстовъ дви, открывається отара овецъ така, що и очыма не можно зоглянуть. — „Чюю, сеструшко, отару выдать, що и очыма не можно зоглянуть?“ — „Се“, каже, „моя отара“. — „Это“, говорить, „сеструшко, такъ много, що я и очыма не зогляну“. — „У мене“, каже, „пъятдесять тысячъ отары“. Помынули отару; идуть собі упъять. Выдать дерево оддалеки большое. — „Що это выдать за дерево оддалеки большое?“ — Это, брате, мой садъ; тамъ, за деревомъ, мои комнаты. Вотъ недалеко и дохдыть; верстовъ пъять“. Идуть собі, розговорюють, распитують: — „какого ты царства, какъ пойдывъ, какимъ родомъ?“ — „Мой отецъ“, каже, „бувъ багатый, я тако-то царства... Ось я жъ пойдывъ и попалъ ажъ сюды“. — Приходятъ вони до ййи дому; барканомъ садъ обкиданный, дома трѣйтажни, красками розными покрыты, усякими мережками, кружечками розными: зелеными, черными и розными красками. Подходятъ до ворить. Одъчиняе ворота сестра. Одъчинила; вѣйшлы; зачинила. Повелы лошадей на конюшню. Тамъ йе конюхы. Вона сказала: — „поставте лошадей у станокъ, годуйте ййи хорошо!“ — Брата бере за руку: пойдывы у комнаты. Уходятъ, а тамъ однадцать баришнѣвъ за столомъ сидятъ, шпують. Здраствуютьця: — „здраствуйте, баришны!“ — „Здраствуй, молодець!“ — „Ни“, каже, се не молодець; звить його братъ, бо мени и вамъ винъ братъ“. — Посадылы его за столъ; давай пыть, гулять. И вони йому крѣпко ради; не знаютъ чымъ його годувать и де його посадить. — „Пойдемъ“, каже, „братъ, у проходеу, у мой садъ“. — Пидылы у садъ, у проходку, у первую лыню. Пройшлы по первой лыни гонивъ изъ двое, лежить поперекъ лыни зализная кочерга. Переступыла вона и каже братови: — „возмы оцію кочергу и сыви изъ лыни, бо вона мыни увирылась: усе иду и усе спотыкаюсь“. — Ухватывсь винъ за ту кочергу, такъ и не здвинувъ зъ мѣста никакъ: така вона тяжда. — „Э!“ каже, „брате, яеа у тебе мелкая сила! Якъ ты по свитахъ йидывъ съ такою силою мелкою?“ — „Мени, сестро, не попадалось ни съ кымъ бытъця, такъ у мене и сила така; такая есть, каку Богъ давъ“. — Попереступалы ту кочергу, пидылы по саду, по лынямъ, по усимъ, уходятъ у комнаты. Давай вона сестеръ просить, щобъ дать нашему братови силу такую, якъ у ихъ есть. — „Нада, сеструшки,

старатьця усима силами, и намъ братови сылу дать таку, якъ у насъ есть.“ — И силы воны прясты сійчасъ хвунтового лёну уси дванадцать. Попрялы почонки по два, давай сійчасъ сновать и на верстать накидать и твать. Накинули и выткалы. И дванадцать квитѣкъ золотыхъ на сорочци нашылы, дванадцать сылт багатырьскихъ далы йому. Тутъ розвыднилось. Збудылы його и надылы ту сорочку на його“.

Волшебная сорочка превращаетъ робкаго „Грышу“ въ богатыря. Теперь онъ можетъ уже закинуть кочергу, которая такъ „увирылась“ одной изъ добрыхъ волшебницъ, „выше дерева“, и затѣмъ уѣзжаетъ искать счастья, давъ обѣщаніе никогда не снимать подарка двѣнадцати сестеръ. Далѣе слѣдуетъ его женитьба на царевнѣ, измѣна жены, смерть „Грыши“ отъ руки его „прймака“, возвращеніе ему жизни сестрами посредствомъ „сплюсщой и живущой“ воды, отнятіе волшебной сорочки у грабителя и *благополучное* окончаніе: расправа съ „прймакомъ“ и женою и новое супружество съ служанкою Оленушкою. На свадьбѣ присутствуютъ, конечно, и сестры. „Пьютъ, гуляютъ: — „що жъ, ты, Оленушко, може и ты такъ нашего брата кончишь, якъ кончила и та, перва?“ — „Нѣтъ, я мелкого состоянія, такъ я буду почитать, якъ Богъ велить“. — Пойихали сестры, а воны остальсь, и на томъ оснуваніи живутъ, хлибъ жують и постолѣмъ добро возють“.

Теперь я приведу еще одинъ образчикъ волшебной сказки, въ которыхъ роль добрыхъ волшебниковъ играютъ звѣри-пособники и въ изложеніи которой сквозить мѣстами нѣкоторый юморъ. Сказка эта повѣствуетъ о походе солдата, побратавшагося съ волкомъ, медвѣдемъ и соколомъ.

„Идѣтъ два солдата у гости домой. Зостричае йихъ на стовповой дорози царь. — „Здастуйте!“ — „Здрастуйте, ваше царьскѣ сіятельство!“ — „Що“, говорыть“, робята, домой? Чы по билету, чы у чыстую отставку, чы у гости?“ — „Нѣтъ, у гости, ваше царьскѣ сіятельство“. — „Що“, каже, „робята, чы хорошо службу понялы?“ — Одинъ каже: „хорошо понявъ“, а другый каже: понявъ и не понявъ. — „Ну, ты“, каже, „що понявъ и не понявъ“, — ступай домой, а ты, садысь сюды, поѣдемъ домой ко мни“.

Той и пойшовъ дорогою. Якъ узавъ иты, анъ узавъ иты, обняла ничъ; онъ звернувъ зъ дороги на-бокъ чы въ траву, чы въ хлибъ, тамъ давай почувать. Лѣгъ и заснувъ. Прыбигае вовѣкъ. — „Посторонись“, каже, „служивый, зъ моеи хаты: ты на моему дому легъ“. — „Ни“, каже, „се царьска земля, а не твой домъ; я утомывся, не хочу куражытьця“. — „Пожалуста, служивый, посторонитьця; на моихъ дверяхъ прямо лежыте,

нельзя войти!“ Уставъ солдатъ. Вовѣзъ одѣнные двери.—„Просимъ покорно“, каже, „служивый, въ мой домъ, можетъ вы голодни?“—Вѣйшовъ у домъ. Комнаты хороши: подъ золотомъ такъ и сѣе усе. Силы кушать. Покушалы. Полягали на кроватяхъ спать: той соби, той соби. Устаютъ по-утру; проходились, поумывались, позавтракали упѣять.—„Що“, каже, „ты служивый, служивъ—знаешь царьску службу?“—„А какъ же“. каже, „знаю“.—„А вовчу“, каже, „знаешь службу?“—„Ни“, каже, „разви я вовчу службу учивъ?“—„Ну, нада“, каже, „щобъ и вовчу службу ты знавъ“.

Стоить золотый кругъ у куточку.—„Ну, дѣзъ“, говорить, „служивый на кругъ, на этотъ!“—Поставивъ вѣнъ стульчкѣ, узавъ влѣзъ служивый и сивъ на крузи. Узавъ волеъ за кольцо и тильки разъ обкрутивъ, началъ кругъ вертетьца, такъ служивый и слетивъ зъ того круга.—„Теперь, служивый, знаешь вовчу службу?“—„Теперь знаю“.—„Какъ ты знаешь вовчу службу, такъ мы теперь побратаемся“.—Побратались. Покушалы упѣять.—„Ну, теперь, братъ, прощай, иты нада“.—„Прощай“.—Узавъ вырядивъ його, далъ булку и сто рублей денегъ на дорогу. Пѣйшовъ служивый.

Якъ узавъ иты, якъ узавъ иты до ночи; ночь обняла салдата. Звертае упѣять служивый зъ дороги и ложытьца спать. Чы спавъ, чы не спавъ, прыбигае ведмидь.—„Устанъ“, каже, „служивый зъ моего дома; ты лежишь прямо на дверяхъ; не можно войти“.—„Що вы“, каже, „ту ночь не дали спать и эту; де не ляжу, усе ваши домъ!“—„Пожалуста, служивый, устаньте“.—Уставъ служивый...

Послѣ повторенія у медвѣдя той же сцены, что и у волка, солдатъ попадаетъ такимъ же образомъ къ соколу, который на прощанье, кромѣ булки и ста рублей, даритъ ему перчатки (пальцатки), но ихъ не отдаетъ, объявляя что „воны теперь золоти, а якъ ты помрешь, то воны будутъ чорні якъ сажа; мы тебе будемъ черезъ ихъ помынать“. Случай для такихъ поминокъ является скоро: открывается война, царь вызываетъ желающаго достать ему „золоту бойную стрилу“, которую онъ забылъ съ собою взять; желающимъ совершить этотъ подвигъ является солдатъ, побратавшійся со звѣрями-пособниками; интриганы стараются помѣшати успѣху солдата и имъ удается даже убить его; но звѣри, узнавъ объ этомъ по перчаткамъ, берутся за дѣятельное вмѣшательство въ пользу солдата, оживляютъ его и доставляютъ полное, обычное въ сказкахъ, торжество.

Перейдемъ теперь къ сказкѣ „Три браты Кондраты“.

„Було соби тры браты и уси тры Кондраты, и пойихалы воны у поле ораты и дидивського буланого коня узалы, да забулы огня узаты, стали кашу варыть,—нѣту огня.—„Кому йихать за огнемъ?“ вазуть.—„А хто-жъ старшій, той и йидь!“ Осидлалы буланого коня:— Несы, конь, мене, буланъ, де бѣ огню достать, кашыцю варыть! „Конь, якъ стоявъ, таеъ и понись поверхъ комыша. Прыбигае конь до двора; дворъ чысто-коломъ оббытый, а на позаостринныхъ кольяхъ чоловичы головы стремлять. Прыйихавъ, на крючокъ коня буланого своего на-кынувъ; ворота сами одмыкаютьця, одчыняютьця; винъ идѣтъ у дворъ; ворота зновъ зачыняютьця и замыкаютьця. Уходитъ прямо у комнаты, здраствуеця:— „Здрастуй, дѣдушко!“ — „Здрастуй, небожь!“ Изъ трѣма головами людѣмъ сыдыть. Якъ той поздравствовався, винъ уставъ.— Дайте, дѣдушко, огню;—выйихала ораты, да забулы огню узаты.“ — „Дамъ я тоби, небоже, огню, тількы скажы мыни недумаючы прыказочки; а якъ прыказочки не скажешъ, то черезсидельныхъ здыму отъ потылыци до пояса, яшною половою натру, да по потылыци вдарю и выряжу, бо я у суткы тры раза кушаю; ось трехъ чоловика изѣвъ, такъ мени не нада ѣсты постоянно“. Якъ сказавъ оте дѣдушка, такъ винъ стоявъ, якъ воды у ротъ набравъ. Дѣдушка тоди на тры пальцы черезсидельныхъ отъ пояса до потылыци знявъ, яшною половою потеръ, по потылыци ударывъ и вырядывъ. Сидайе винъ на коня буланого: „несы мене, конь, до братовъ моихъ!“ Конь понись его поверхъ комыша; такъ и прынисъ его до братовъ. Браты пытають:— „Що, брате, огню привизъ?“ — „Ни, каже, не привизъ. Найшовъ у дѣдушкы, такъ не давъ дѣдушка мени огню.“ — „Ну, намъ безъ кашы нельзя жыть; теперъ, ты, подстаршій, сидай на буланого коня,—йидь!“ Сидайе подстаршій братъ, йиде.

Повтореніе инцидента со старшимъ братомъ. Затѣмъ доходить очередь до младшаго брата.

„Ось и каже меншій братъ:— „Я, каже, хочъ и дурень, а я прыйиду и привезу огню!“ — А йидь, привезешъ, може, якъ и мы привезлы. Сидайе винъ на буланого коня, йиде“.

Повтореніе прежняго инцидента. Людоѣмъ предлагаетъ младшему брату разсказать прыказку.

— „А, каже, будешъ, дѣдушко, слухать?“ — „Буду“, каже.— „Ну, садитесь!“ Посидалы обыдва.— „Тилькы зъ такимъ договоромъ, каже, щобъ вы не перебывали мойей прыказочки“. — „Нѣтъ, каже, перебывыть я не буду“.

„Ось и ставъ винъ казать свою прыказочку: — „жины мы

бѣдно изъ дѣдушкою, а то своимъ разумомъ де дали стали богатить, мого батька ще не було й на свити. Тамъ богатый чоловікъ у насъ, на кутку молотить гречку; я хожу туды гулять; тамъ мы розговорюємъ; я йимъ брешу се-те, вони слухають—сміютьця. У того багатого чоловіка здохла свиня, годована, большая. Вінъ узявъ—вытягъ йій у провальє; я спрашиваюсь у того чоловіка:—„чы позволите мені, дядюшко, изъ йеі шкуру стягты?“—„На що тобі, Кондрате, оця шкура?“—„Да я, дядюшко, бѣсый хожу, а мій дѣдушка уміє постолы морщить, такъ вінъ мени изъ сіеі свинячої шкуры постолы поморщить“. Изнявъ я шкуру изъ тіеі свини, прынясь до дѣдушки; вінъ мені сійчасъ постолы поморщивъ поверхъ щетиною, и большыи, якъ больша коробка. Поморщивъ, вони підсохлы; я обуваю и хожу до того багатыря, що гречку молотить, и тамъ балакаємъ, се-те тамъ выдумуємъ. И я тымы постолы усе подсовуюсь до вороха, поки понабираю повни постолы гречкы; тоді кажу:—„треба іты домой, бо буде дѣдушка мене ругать“.—Прийду до дому, роззуюся, гречку на ряденце высыплю изъ постолѡвъ и прынесу больше пудыка. Перевіємъ; дѣдушка зважить, похвалить:—„вотъ молодець у мене Кондратыкъ, що гречку носыть!“—Поносывъ я тіеі гречкы днивъ симъ, наносывъ я пудовъ симъ, и радимся:—„що будемъ, дѣдушка, робыть?“—Дѣдушка розумный, я отъ дѣдушки розумнійшый таки. Я дѣдушку слухаю, а дѣдушка мене слухае; другъ друга слухаємъ. — А що зъ тіеі гречкы робыть?“—„А насіймо мы, дѣдушко, тіеі гречкы“.—„Насіймо, каже дѣдушка. Да дежъ мы будемъ сіаты, якъ у насъ немае земли“.—„Насіймо, дѣдушко, у хати“.—Про мене; насіймо и у хати“.—Я проворненькый бувъ, заразъ побигъ у городъ, дви копаныци купывъ; давай изъ дѣдушкою у двохъ копать хату. Якъ узяли копать и скопалы хату усю, а печъ покынули дѣдушці жывить парыть. Дѣдушка каже:—„сіаты!“—„Ни“, кажу, наносу я воды, полью, а тоди будемъ сіаты. Наносывъ и поливъ. Посіялы гречку, и якъ узялы изъ дѣдушкою волочыть, волочылы трое сутокъ. Гречка у трое сутокъ зойшла. Зойшла и пійшла росты, лопуховата, хороша. Сутокъ за трое до пояса доходитъ наша гречка. Еще трое дойшли до потолоку, вершки сгинаютьця. — „А що, дѣдушко, треба потолокъ здймать. Узялы и зъ дѣдушкою потолокъ скинули; скинули стелю и покровлю. И пойшла наша гречка росты, и пойшла росты; сутокъ за трое, якъ задеремъ у верхъ голову видно вершки, да не дуже. И усе село сходятьця, люде дывуютьця, що изъ роду не выдиль такой гречкы, яка ростѣтъ у дѣдушки да у меня. — „Черезъ що у васъ така

гречка ростеть?" — „Черезъ то“, кажу я, що у насъ вона трудовная дуже. Я выдержавъ, а дѣдушка не выдержавъ; я дѣдушку шестеро сутокъ на печи парывъ.“ — Ще за трое сутокъ не выдать и вершковъ; до небесъ уже вершки пидходють. И поспила наша гречка; готова жать. — „А що“, каже дѣдушка, „чы будемъ жынцивъ приймаць, чы сами жать?“ — „Сами“, кажу, „будемъ жать“. Пойшовъ я на базарь, купывъ шыловъ четверо: — дѣдови двое и соби двое. Давай подколывать гречку; гречка падае до-долу. — „Вы, дѣдушко, якъ спина болить, то лежа подколуйте“. — Дѣдушка лежа подколует. Узялы мы изжалы гречку зъ дѣдушкою. Навязавъ я сто кипъ гречки и наклавъ дви скирты большихъ. Дѣдушка каже: — „чы будемъ молотныкивъ приймаць, чы будемъ сами молотыть“. Не надо, кажу молотныкивъ приймаць; будемъ сами молотыть. — Давай молотыть! А я проворненькый; дѣдушка мало помога, а я самъ надулужаю — та молочу. Избылы мы гречку и повіялы; трыста пудовъ гречки навіялы мы зъ дѣдушкою. Ну, дѣдушка и пытае мене: — „чы будемо у мельницю возыть, чы будемо якъ-небудь дома?“ — „Нѣтъ“, кажу, „у мельницы треби буде мирошнику магарычъ купыть, а винъ ще буде красты! Дома помелемъ“. А въ дѣдушки черепокъ большой изъ макитры, и я мну у тому черепку дѣдушці табакъ, такъ я и думаю: помелю у тому черепку гречку. И заходывся я молотъ ту гречку и зсыпать у бочки муку. За девъятеро сутокъ помоловъ я усю гречку, — триста пудъ. Пойшовъ у городъ, купывъ дровъ хорошихъ, нанявъ хвиру, привезлы до-дому. Купывъ ще я дви сковороды большихъ, давай дѣдушку пытать: „чы не пекты намъ оладочки? На базарь буду носыть; чы не буде намъ полза какая-небудь?“ — Пикъ я трое сутокъ и носывъ на базарь оладочки; и узявъ я у сутки по тридцать рублей серебра. За трое сутокъ девъяносто рублей узявъ. Дѣдушка мой не уміе оладочкивъ пекты. Якъ узявъ я дѣдушку приновлявать, — ставъ винъ пекты оладеи, якъ и я. Дѣдушка пече, а я ношу на базарь. Якъ вынесу: — „сюда, сюда, горяченькихъ оладочкивъ!“ — Сбижатьця, такъ и заметуть оладочки. А я проворный: бижу до дѣдушки, беру зновъ оладочки, зновъ гукаю. Попикъ дѣдушка десятеро сутокъ, а я усе ношу, и зсыпаетъ мы деньги у сундукъ нещитани. Выпикъ дѣдушка эту муку, я выносывъ уси. — „Ну, дѣдушко, давайте щитать: чы много мы денегъ за гречку узялы, за свою?“ — Простлалы рядно, высыпалы изъ сундука деньги. — „Личить, дѣдушко, да не помыляйтесь; на сотні у купки складайте!“ — Якъ узялы мы съ дѣдушкою щитать, и нащиталы три тысячи зъ карлючкою. — „Слава Богу, слава

Богу, що намъ Богъ давъ, що мы теперъ покрывемъ усю слободу. Наша теперъ слобода!"

"Жывемо мы зъ дѣдушкою; купуемо поштаныки, рубашки. — „Пора тебе женить, унукъ, каже дѣдушка“. — „Вы то знаете. Чы женить?—Женить! Мы своеі сумѣ не объявлялы у слободи, а люде думаютъ, що мы голи, а мени надо брать багатырку, у купця, чы у пана, у большого. Дайте мени повторы тысячи денегъ, такъ я пойду у ярмарокъ та куплю що-нибудь любимое, щобъ люде знали, що у насъ есть“. — Давъ дѣдушка повторы тысячи; пѣшовъ я у городъ на ярмарокъ. Прѣйшовъ; ярмарокъ большой, неисходный. И ходивъ я трое сутокъ, выбиривъ, щобъ купить любимое. Ходивъ, никакъ не найду, щобъ мени подошло по нраву. Иду; накнувъ окомъ лошадь большую и поближе до той лошади добираюсь. Добравъ до лошади, у мене стало тило трусытьця: большая лошадь, сильно большая, и слепая, на обое ока, и на трёхъ ногахъ. Дошовъ я, — тило трусытьця. И пытаю хозяина: — „що, хозяинъ, лошадь продажная?“ — каже хозяинъ: — „продажная“. — „Що за нея денегъ?“ — каже: — „такъ, щобъ не торговатьця, такъ пивторы тысячи“. — У мене тильки пивторы тысячи денегъ було, такъ я не торгувавъ, а якъ хозяинъ сказавъ, такъ я и отдавъ. Заплативъ я; купецъ подбитае, дае уже мени пѣять тысячъ за ней. — „Не продамъ я, господинъ купецъ, ни за якую суму; гараздъ, що у мойи руки попалася“. — Сивъ я на ней и пойхавъ домой, до дѣдушки. Не дойхавъ верстовъ пѣятнадцать домой, тамъ паньска гребля була, и обсадивъ панъ греблю вербами, и порослы вербы большими и злылись до мѣста. Прѣйхавъ я на тую греблю и йиду тою греблею, и голову нахиливъ я ныже гривы, щобъ вербы не зачпылалы, щобъ зъ лошади не спасты. И гильки такъ мене зачпылалы, що самѣй струпъ зробылы на спѣни. Перейхавъ я греблю эту, паньску, тутъ лугъ большой, паша больша; лошадь моя йисты хоче, хватаетъ комышъ этотъ — йистъ. — „Устану я зъ лошади; лошадь моя попасетьця, а я тоди зновъ поѣду до дѣдушки“. — Якъ я йихавъ, я назадъ не смотрю, а напередъ смотрю. Повернувся я вставаючы зъ лошади, а у лошади гилька вербова стремить, правая, больша. — „Дай-ка вырвать эту гильку!“ — Схватився, никакъ не вырвать: — прынялася. Такая думка: „нехай ростѣтъ; лошадь хороша, и верба буде хороша; якъ вырасте, тоди спыляю, такъ дѣдушци буде на трунѣ“. — Схватився зъ лошади, лигъ на земли оддыхать. Лежалъ я и заснувъ собі. Спавъ довго-не довго, чы часъ, чы два. Прокыдаюсь, гляну: де моя лошадь? Ажъ вона недалеко коло мене пасетьця. Гляну,

колы верба до самыхъ небесъ выросла, и тильки у гори гильліа, а то, якъ сосна, нема нигде и гилечкы. А я, проворный, якъ котыкъ, бывало деру яйца сорочи и воронячи по дереву. Прыйшовъ, заразъ на лошадь излизъ. На лошади—до тіеи вербы, и подрався на ту вербу, у гору, якъ котыкъ. И подлизъ шидъ самыи небеса, колы тамъ дирка; я туды и полизъ. Походывъ я на небесахъ скризъ, полюбовавъ. Тутъ хорошо, а тамъ у десятеро лучше, чымъ тутъ. Подумавъ я:—и тутъ бы мени хорошо жыть, такъ до дѣдушки треба явытьця; дѣдушку догудувать до смерти“.—Прыйшовъ я до тіеи диркы, де влазывъ, ажъ лошадь моя одишла: нельзя мени злизты; далеко падать: убьюсь.

Яшнои половы большой костеръ коло диркы насыпанный стоять. Давай я верёвку выть изъ сіеи половы. И лежыть рубѣль, що снопы втягаемъ. Переложывъ я этой рубѣль поперекъ на тому окни, привязавъ конецъ до того рубля, и вью и пускаю зъ горы на землю. Зывъ я усю ту полову на верёвку и пустывъ на землю, и показалось мени, що верёвка до земли достала. И пустывся я по тіеи верёвки на землю и дойшовъ до конца верёвки; гляну на землю,—далеко ще до земли: упаду—убьюсь. На мени рубаха калинкорова хороша була, я порвавъ йійі, на гнотыкы и доточую сіей верёвки. Порвавъ, выжу, ще далеко: упаду на землю—убьюсь. На мени поштанныкы были хороши, дорогі; я и поштанныкы порвавъ, доточувавъ верёвки; ще далеко до земли падать: упаду—убьюсь. Остався я голый, якъ мать народыла. На мени волоса были кучеряви, чорни, якъ уголь, и чубъ большой бувъ; и давай я на соби чубъ рвать, давай веревки доточувать. И обывравъ я чубъ, тымъ я и шолудывый. Вывивъ я, вывивъ, ще далеко до земли падать, высоко—убьюсь. Руки у мене помлилы, и взявъ я, що Богъ дастъ, пустывся на землю. Убьюсь? — Убьюсь! Упавъ, такъ пробывся ажъ на той свить...

— „Какъ же, небожъ, на тимъ свити?“ — обыврався людѣдъ.

— „На тимъ свити, дядьку, такъ, якъ хто заробывъ. Мій батько да твоимъ батькомъ у пекло дрова возыть“.

— „Э“, каже, „брешешъ, с... с..., щобъ твій батько да моимъ батькомъ у пекло дрова возывъ!“

— „А ты жъ“, каже, „дядьку, говорывъ, що не будешъ перебивать. На щожъ ты мене перебивъ?“

„Дурень“ расправляется съ людѣдомъ; но въ дальнѣйшемъ ходѣ дѣйствія сказки передъ нами остаются все же такіе три брата, изъ которыхъ, двое старшихъ—умные, а меньшій—„дурень“.

„Оци два жонатыхъ, а дурень — не жонатый. И помирае йѣхъ отецъ; и зовавъ йѣхъ у свою комнату и сказавъ: „смотреть, а це помру: щобъ вы не былѣся, щобъ не ругалѣся, щобъ усе на-трое мое имѣніе пишло и щобъ дурневи однаково що й вамъ було. Я помру, вы поховаете, и щобъ тры ночи вы ходылы на мій гробъ салтыря чытать;—усякъ свою ночь; той у ту ночь, а той—у ту“.

Помѣръ отецъ, заховали отця, зійшлись люде надъ кануномъ сыдѣть. Осмеркло, засвѣтылы свичу у хати. Старшый и каже:—кому жъ зъ насъ иты сю нічъ салтыря чытать на батькивъ гробъ?“ Дурень зъ печи и обзывается:— „кому жъ иты? Ты старшый, ты и иды у первую ночь!“— „Э, я не пійду“, каже, „я боюся. Кого бъ охотныка такого нанять, щобъ на батькивъ гробъ ишовъ салтыря чытать?“ Дурень зъ печи и каже:— „наймы мене; я пійду на батькивъ гробъ салтыря чытать“.— „Що жъ тобі“, каже, „дать, за ночь, за цю?“— „Дасы, брате, сто рублей грошей, та свій жупанъ святній, та сапаги святній, та дасы свій кисеть, та люльку“. Сто рублей грошей винъ унѣсь сейчасъ, и жупанъ, и сапаги, и кисеть, и люльку,—що требовавъ, те винъ йому и отдавъ.

Уставъ винъ, одягається у той жупанъ, сапаги обувае, бере салтырь и идетъ. Прыйшовъ на гробъ, сивъ и чытае. Пришла глупа ночь; ставъ гробъ стуготить; прыблѣжається ближе до земли батько и пытае:— „чы ты сынокъ старшый мой?—Мовчыть.— „Чи подстаршый?—Мовчыть.— „Чы ты сыну-дурню?“.

— „Я батюшка!“—Простромяе батько руку и подае бѣлу волосынку и каже:— „заховай эту волосынку; якъ тобі треба буде, прыпалышъ—бѣлый конь явытьця“.

Полѣзъ назадъ. Сей дочытавъ до свѣта, прышовъ домой. Пытаютьця:— „що тобі було, дурню?“— каже:— мене дурнемъ звешъ, а надъ тебе дурака нѣтъ, якъ ти, братъ! На повтораста рублей заплативъ за те, що я чытавъ ночь на батьковомъ гробу, такъ що ночи платы, такъ я буду ходыть!“— „Та що жъ тобі було?“— „Та не було, каже, ничего!“

Дали румку водкы дурневи; выпывъ, закусывъ, полѣзъ на печь.

Зойшлись браты, людей кыкнулы, обѣдають, поминають батька. И поминалы зъ утра покы и свичку засвѣтылы упѣять. Ну, подстаршый и каже: „се моя ночь иты, на батькивъ гробъ салтыря чытать. А може ты, дурню, наймѣся за мене салтыря чытать?“— „Наймусь, каже, абы ты мене наймавъ!“— „Що жъ тобі давать?“

— „Ты“, каже, „знаешъ. Що братови дававъ, за ту цѣну пійду и я за тебе“.

Послѣ обычнаго повторенія эпизода и съ подстаршимъ братомъ, „дурень“ въ третью ночь идетъ самъ за себя, получаетъ „волосынку ворону“ и въ свое время возвращается домой. Дали ему выпить и поѣсть.

— „Якъ попойишъ“, кажутъ, „иды конюшню вычыщать!“ — Попойивъ, пійшовъ конюшню вычищать. Вычистивъ конюшню, дали пообидать и шаньку: — „иды у лѣсъ по опеньки!“ — Пійшовъ, опенькивъ принисъ.

Тутъ чужой царь построивъ такой стовбъ: у десять аршинъ косовыхъ вышины первы палатки, а тамъ дѣли — у двадцать други, а третій ватажъ — то уже тридцать аршинъ косовыхъ у горѣ. И тамъ стульчыкъ поставленъ и убрата царивна на стульчыку сыдыть. И сказавъ той царь: — „кто може туды доскавать, даю ййі за-мижъ и царство свое одпысую“. И розославъ винъ по усихъ царствѣхъ, щобъ йихалы на таке-то чысло.

Сидлають браты Кондраты двое коней дывытьця на этое дыво. Воны, бачъ, жонати, такъ щобъ хочъ подывытьця на дыво. Дурень и каже: „дайте мени того коня, що я гной у провалье вожу: може бъ я доскочывъ сымъ конемъ, та царивну за себе узавъ“. — „Мовчы, дурню“, кажутъ воны. Чысты конюшню, а тамъ дадутъ шаньку, таеъ иды по опеньки“. „Ну“, каже, „я вамъ те згадаю, колы не дасте мени коняки!“ — „Эге,“ кажутъ, згадаешъ! Щобъ ты не згадавъ?“

Пойихалы воны по-утрѣ, дней за пять упередъ, щобъ дойхати до того чысла, якое тамъ назначено. Винъ конюшню по-вычыщавъ; дали йому молодыци пообидать. — „Иды“, кажутъ, по „опеньки“. — „Пущай“, каже, „завтрашній день пойду!“

Переночувалы; выпасвся, покушавъ; дають йому шаньку: — „иды по опеньки!“ „Узявъ и пойшовъ. Прийшовъ у лѣсъ, нагорнувъ у шаньку усякихъ печерыць; узавъ — на дуби шаньку повисывъ, тоді вынимае волосыну старшаго брата — бѣлу, прыпалюе. Земля трусытьця, лыть съ дерева сыплетьця, конь бижѣтъ. — „Пане мой любый, на що ты мене потребуешъ? — „Вотъ царь посадывъ на стовпи царивну, такъ чы можемъ мы доскочыть?“ — „Не то доскочыть, можемъ и перескочыть!“ — „Тильки що до трехъ разывъ будетъ винъ ййі садыть и збирать уси царствѣ, такъ теперъ доскочыть, ще не треба“. „Влизай же у лѣвое ухо, вылизай у правое; коня убирай и самъ убирайся ще чиче!“ — улизъ винъ и вылизъ, коня убравъ и самъ убрався таеъ, що сие якъ золото. — „Эй, пане мій мылый“, пытае конь, „якъ тебе несты:

чы поверху дерева, чы уплывъ дерева, чы посередъ свѣта?— „Неси“, каже, „мене посередъ свѣта!“ Сѣвъ, и понисъ конь посередъ свѣта.

Часовъ за тры нагоняе своихъ братовъ. Браты уже трети сутки йдуть. Коневы своему гово́рять:— „спускайся на землю; то мои браты йдутъ, нада имъ скинуть по орапнику“. Конь ставъ спускацца. Воны увидили, що спускаецца щось золотѣ огнѣне, такъ огонь и пашеть. Посхвачувалысь изъ своихъ лошадей, постановылысь на колѣнки, шапки поздймалы. Спустывся винъ до йныхъ, того разъ орапникомъ ударивъ, того разъ,—тоди зновъ у гору пиднявся, полетивъ собі.

Прылитае туды; тамъ уже полонъ дворъ: чужи царі, короли, зо всего свита понайиздылы. Вонъ прыбигъ, на первыйи палаткы ставъ лошадыю, одну минуту постѣявъ, упѣять сивъ и полетивъ. Не таке диво на царивну, якъ на такого багатыря: не по земли, по воздуси конемъ летыть...

Затѣмъ слѣдуетъ побѣда „дурня“ и послѣ обычныхъ испытаній, которыя въ данномъ случаѣ заключаются въ добываніи „дыкого баранця, свынны—золотои щетынки и жаръ-тыци“, „записываніе“ ему всего царства.

Теперь я перейду къ сказкѣ про „Золотую Гору“, представляющую бытовую повѣсть, перемежающуюся отъ времени до времени волшебными эпизодами.

Купеческій сыночекъ Иванька отправляется съ своимъ дядею на корабляхъ въ чужую сторону. Покончивъ свои дѣла, дядя отпускаетъ племянника въ городъ и даетъ ему триста рублей для того, чтобы тотъ купилъ себѣ что-нибудь на память. „Побигъ винъ красною улицею, верству-мѣста. Тамъ пѣтыѣтажни домъ стоять, и лѣсныця зъ долу ажъ у-гору. Тамъ играють дамы у гытары, у гармоніи, у ладони плещуть:—„сюда, господа купци!“—Винъ и бижить, смотрить на лѣсныцю, и посказавъ туда. Поздрастовався, поручковався тамъ зъ усякымъ.—„Это, господа, купчикъ! Какъ бы намъ познакомытьця? Садитесь, выпьемъ вонца стаканчикъ!“—Садовлять його за столъ, винъ сѣдае. Налывають, винъ пѣе.—Выпивайте для смѣлости увесь!“—Винъ выпивъ увесь. Черезъ минуту—мѣста изъ стульця упавъ. Воны сійчасъ узялы—изъ кармана деньги вынялы, його у попонеу, у коньску, обгорнулы, вынесли за городъ у провалье, де гной возять и зворащывають, туды бросылы и пишлы собі.

„Дядя дожыдае племянника; вотъ уже и часы пройшлы, пора и одряжатыця, а нѣту племянника. Ще часовъ тры подождавъ. Проспавъ Иванька у тому гною, встаеъ; штаны об-

теръ,—гайда до дяди пошвыдче. Прибигае.—„Де ты, Иваньку, бувъ? Довго такъ забыривсь! Ось ты и молодець, а не хорошо издѣлавъ, що долго бувъ?“—„Дядя“, говоритъ Иванька, „я вы-торговавъ таку штуку, що у нашому царствѣ нѣту. Трыста рублей давъ завдатку, а ще, дядя, дайте п'ятсотъ рублей“.—Вынимае дядя деньги, дае:—„тільки не барысь!“—„Ни“, каже, „не буду. То поки сторгувавъ, а теперъ сторговано; деньги оддамъ, заразъ возьму и прійду“.

„Узявъ деньги, бижить тією самою улыцею, що и тоди бигъ. На тихъ п'ятыйэтажнихъ домахъ тоди були игрыща, а теперъ ще чыще; гукають:—„сюды, сюды, купчыкы!“—и въ долони плещуть. Винъ добига и поскакавъ якъ зайчыкъ у гору по лѣсныци. Добигъ, поздраствовався, поручковався до усихъ. Просять: „садитьця, господинъ купчыкъ, за столъ до насъ“.—Сѣль, подносятъ йому стаканчикъ вонця.—„Выпийте, господинъ купчыкъ, для смѣлости; може попляшете, абышо? Черезъ минутумѣста изъ стульчыка упавъ на землю. Вытащылы у його деньги, завернулы у попонку и выкынули у провалье, у гной“.

„Дядя ждетъ, ждетъ; перешлы уже часы, немае Иванькы. Посылае прыкащывивъ,—не найшлы. П'ять часовъ ще пидождавъ;—надъ вечоры дѣло. Перекрестывсь, одрадывсь у путь-дорогу“.

Иванька остается въ чужомъ городѣ, и послѣ ряда приключеній, схожихъ съ приключеніями „Синдбада Мореплавателя“ изъ „Тысячи и одной ночи“, дѣлается обладателемъ не-смѣтнаго количества драгоцѣнныхъ камней и золота. Нагрузивъ свои сокровища на телѣги, Иванька возвращается въ городъ. „Дойиздытъ до города и дума: „де я дину таку дорогу вещь? Я не сего царства, у мене тутъ нема прычалу ніякого“. Версть за двадцять не дойихавъ до города, звернувъ у бокъ; тамъ була друга стовпова дорога изъ другого города, дорогу мынувъ, а такъ за версту мѣста лись, провалье. Узявъ винъ дойихавъ до того провалья, повозки поперевертавъ у провалье, у одно мѣсто, полѣзь туды, поодгортавъ до одной купки; бурьяна по-накидавъ, земли, лопухивъ,—щобъ не видно якъ сие. У карманы якихъ-нибудь мыліонивъ п'ятнадцать узявъ соби, тоди сивъ на повозкы и поихавъ у той городъ, у самый. Прыйихавъ у городъ, лошади зъ повозкамы попродавъ, купеческу одежду соби купывъ и похожае по городу и размышля своею головою:—„якъ бы мени усе оце золото и драгоцѣнны камни у свое царство преставытъ?“—Думае, такъ ніякъ не выдума. Ходывъ, ходывъ, зайшовъ у кабаць. У кабаці — салдатъ старый,—учора

выпивъ много, а сёгодня ничымъ йому опохмилытьця, такъ таѣтъ йому на похмѣльи нехарашо. Купецъ ходыть, руки заклавъ, и пытае:— „що, салдаты, учера выпивъ много, а сегоднѣ ничымъ опохмилытьця?“ — „Вчера, точно, много було, господынъ купчыкъ“, каже, „а сегоднѣ, хочъ бы румочки...—Нѣту!“ — „Подай, кабатчыкъ, восьмушку водки опѣму салдату“, гука купчыкъ. Кабатчыкъ пидноситъ. Выпивъ служивый.— „Подай закусочки!“ — „Подалы, закусывъ.“ — „Ну, благодарю васъ, господынъ купчыкъ, що вы мене немножко поправили!“ — „Що, на стану стала душа?“ — пытае.— „Ни, ще не на стану!“ каже.— „Подай ще восьмушку!“ — „Подавъ кабатчыкъ. Выпивъ солдатъ, закусывъ.— „Ну, благодарю покорно, господынъ купчыкъ, поправили!“ — „Чы на стану душа твоя стала?“ пытае купчыкъ. „Ни“, каже, „колыбъ третя посередѣ, то тоди якъ разъ на стану бы стала!“ — „Ну, подай, кабатчыкъ, третю!“ — „Подавъ винъ и третю.— „Поправився, служивый?“ — „Теперь, благодарю, господынъ купчыкъ, теперь якъ разъ на стану стала душа!“ — „Подай же закуску, кабатчыкъ, утыцю жарену, та булку“. — „Подавъ утыцю жарену и булку.— „Ну, кушайте теперь, господынъ служивый; выпылы, такъ кушайте!“ — „А вы, почему не кушаете?“ — „Я“, говорыть, „уже позавтрикавъ.— „Ты“, говорыть, „служивый! Чы есть у тебе тутъ чы сыны, чы дочки, чы братья?“ — „Ни“, каже, „я самъ-одынъ душею. Я отслужывъ царю двадцать пѣть лѣтъ, а теперь, якъ прыйшовъ, лѣтъ пѣятнадцять живу собі по городу, а у мене нѣту ни кола, ни двора“. — Ходыть собі купчыкъ по хати, руки назадъ заложывъ, и смутный такой. Служивый и говоритъ:— „вы мене подиравылы, а сами смутни“. — „Я“, говоритъ, „твоему горю поправывъ, и ты моему горю не поправышъ!“ — „Говорить, господынъ купчыкъ, признавайтесь, може я и поправлю.“ — „Нѣтъ, не поправышъ“. — „А може я такой, що и могу поправыть. Говорить, що такое?“ — „Выйдемъ, служивый, изъ кабака, я тоді расскажу“. — Выйшы, силы пидъ заборомъ.— „Я“, говоритъ, „такого-то царства купецъ, и у мене йе золото и драгоцѣнны камни; у нашому царствѣ йихъ нѣту; такъ какъ бы преставыть йихъ у наше царство?“ — „Я буду вамъ говорить, а вы слушайте: чы дѣло, чы не дѣло? Пойдите вы въ думу и призвѣть священныка и нехай вамъ позволятъ выстроитъ кампличку отъ на тимъ мисти, на стовповой дорози; вы скажите, що вамъ сонъ снывся, щобъ тутъ гроши збирать на церкву. А мене наймитъ оті гроши збирать и скажите, що разъ заложыте тысячы двѣ, чы тры; а що я сберу, то пійде на церкву, на вашу жъ. А я тамъ бѣля провалья буду робыть

цеглы и у середины буду складать драгоцѣнны камни и золото. А тамъ якъ-нибудь те цегло вы у ваше царство и представите". —

Проектъ солдата принять и осуществляется: солдатъ работаетъ, а Иванько ходитъ по городу, прислушивается и узнаетъ о такомъ происшествіи: —

"Того царства купецъ замотався. Дванадцать кораблей зъ матросами у його. Изъ казны, та у купцивъ много денѣгъ набравъ и не оплачуешьця теперъ, такъ циновка буде на оттакое чысло. Винъ розслухавъ про те и въ головы и держитъ те. Пидходить те чысло. Зѣйхалысь купци зо всего царства на циновку. Якъ узялы циновать: той дае стилькы мыліонивъ, той дае стилькы мыліонивъ. Мало одинъ разъ, крикнулы у другый: — „хто больше?" — Винъ обовзався: — „я чужого царства, чы мыни можно прибавлять?" — „Можно, хочъ и изъ чужого царства, абы больше!" — „Я стильки-то даю мыліонивъ", — сказавъ купчыкъ. Якъ крикнулы: — „хто больше?" — Нихто не отзываетсяця. Тоди въ долони заляпалы, у барабанъ выбылы, деньги отщытали и за нимъ осталось.

"Купецъ зомотанный бувъ; люде у його плохыи: не допывалы, не дойидалы, якъ мертвыи зробылысь. — „Я", каже, „васъ, господа, пидправляю". — „Слава Богу! у насъ бувъ и плохой хазяинъ, такъ мы слухалы, а якъ вы добри будете, то намъ ще лучше буде".

Нагружаетъ Иванька приобрѣтенные такимъ образомъ корабли кирпичемъ и отплываетъ на свою сторону. На пути онъ встрѣчаетъ дядю, продолжающаго на своихъ корабляхъ прежнюю торговлю. Иванька предлагаетъ стать на якорь всѣмъ и дня три попировать вмѣстѣ. Дядя соглашается. „И сказавъ Иванька: — „я отпускаю на трое сутокъ свое довольствіе своимъ и вашимъ матросамъ". — Дядя и каже: — де ты разбогатишь? Хочъ бы своимъ було у тебе що йисты!" — „я", каже, „дядя, не богатый, такъ я щедрый". — „Дядя и роспытуе: — „де ты наживъ оце усе, де ты ти корабли узявъ?" — „Дядюшко", каже, „якъ вы мене бросылы, такъ мени Богъ оте давъ" — „Почому, Иванько, Богъ мени не дае, якъ я оце литъ тридцять йизжу за товарами, а якъ тоби такъ Богъ и давъ?" — „Потому", каже, „дядюшко, що вы старіи грѣшныи, матросовъ обижаете, людей обманюете, такъ вамъ Богъ и не дае, а я чоловикъ молодой, никого не обманю, такъ мени Богъ и давъ".

Попылы, погулялы.

— „Ну, якы же у тебе, Иванько, товары?" — „Я везу, дядюшко", каже, „цеглу". — „Ты не есть купчыкъ", каже дядя, „а есть самый главный дуракъ! У твого батька скыльки цегла, що никуды и дивать, а ты везешъ еще цеглу!" — „Може, дя-

дюшко, я поставлю у себе конюшню абышо. Уже, каже, не поѣхну, коли везу“.

„Поговорили, попускалы корабли и ѣдутъ соби у свое царство.“

„Пройихалы сутокъ трое, дойихали до пороговъ, до каменныхъ;—стали. Тутъ треба кыдать лукавому гостынци, а то лукавый не пускае. Навъязуе дядя у платокъ: у шовковый, гостынци лукавому и каже:—„я и за тебе положу, бо у тебе ничымъ заплатитъ“.—„Я“, каже, „який товаръ везу, такой йому у зубы и даватому, такъ и пройду“.—„Не пройдешь! Черезъ тебе и мои корабли лукавый побѣтъ каменемъ“. „Нѣтъ. каже не побѣтъ!“ Вы, каже, сховайте свои товары, а я за васъ кыну дви цеглыны, та за себѣ дви, а мени за ти дви цеглыны, що я за васъ кыну, дайте мени подпыску, що воны стѣять, такъ що вы мени-бъ дома оплатылы“.—„У мене сколько тамъ мыліонивъ цеглыны, такъ возьмешь, якъ дома будемъ“.—„Чы возьму, чы не возьму, а дайте подпыску!“—Винъ и давъ подпыску. Узавъ винъ дви цеглыны, у платокъ увъязавъ, и у другой дви, и кынувъ за себе и за дядю лукавому на пороги. Тоди пошлы корабли изразу такъ тихо и ловко, що хто знае и якъ.

„Пишлы, трое сутокъ ишлы упъять. Подъйизжають подъ свое царство. Пройихалы ще сутокъ двое. Подъйихалы до одмыли проты царьскѣго дворця. Тоди позаякорувалы корабли, и дядя каже:—теперь поидемо до царя, понесемъ гостынчыкъ йому. У тебе, небожъ, нѣту гостынчыка: ты лукавому за мене заплатывъ; а се я наберу гостынци для царя, соби и тоби, у платокъ навъязу, та дамъ“.—„Нѣтъ, я, дядя, зъ каковыми товарами йиду, такими и царъ буду дарыть, а вашего не хочу.—„Ты мени страмъ здѣлаешъ“, каже дядя; „якъ же будешъ ты царю цегло дарыть?“—„Зъ якими товарами йиду, такими и царя буду дарыть!“.

„Набравъ дядя своего товара у платокъ, у шовковый, а племенныхъ дви цеглыны узавъ у платокъ, у свой. Силы на лѣгку лодку и пойихали до пристани. Нанялы бержу и пойихалы до царя. Прыйихалы до царя, уходятъ у комнаты, здравствуютця: Пытае царъ у старѣго купца:—„се що за купчыкъ, що я того не выдивъ ще?“—„Се мой племенной“, каже дядя. Кланяетьця старый купецъ, дае гостынецъ. Принимае царъ гостынецъ, кладѣтъ на столъ. Теперь сей кланяетьця соби, царю гостынци дае. Царъ сумливался, що цегло, а надо принимать. Узавъ царъ, положывъ на столи, одвернувся. Винъ простягае руки, кланяетьця, даетъ другую цеглыну. Царъ простягъ руки,

а сей норовыть такъ, щобъ упустыть до-долу. Упустывъ: цеглына упала на камень, розбылась, драгоцѣнны камни раско-тылысь, стали гратъ и комнату усю осіялы. Перестали камни гратъ, стышылысь; тоди позбиралы йихъ на тарелку, на каменну, и положиы на столъ. Тоди царь зрадовався и молодого куп-чика поцилувавъ у голову:—„се я“, каже, „якъ и царемъ ставъ, такъ не бачывъ, щобъ такы вещи дорогойи преставлялы у мое царство!—„И якъ бувало купци принесуть гостынци, такъ царь гуляе изъ нымы не больше, якъ тры часа, а сихъ купцовъ трое сутокъ державъ: пылы вони зъ имъ и гулялы.

„Подьякувавъ царя, одряжаютьця на свои карабли. Дядя выйшовъ уже зъ комнатъ на дворъ, а племянныкъ у комнатахъ остався.—„Завернить“, каже, „дядю у комнаты. Винъ мени давъ запыску, скилькы винъ мени денѣгъ выновать“.—Завер-нули.—„Се я“, каже, „завернувъ, що вы мени запыску далі, скилькы вы мени денѣгъ выновати“.—„Се“, каже, „дѣло пустое!“—„Нѣтъ, не пустое!“—Узявъ ту запыску, даѣтъ царю. Подывывся царь, що винъ за дядю кынувъ лукавому дви цеглыны и въ тихъ цеглынахъ тридцать двѣ штуки драгоцѣнного каменю: потребо-вавъ царь щотчыивъ изъ Сынода десять чоловика; и силы вони щытать на щоты. Янъ стали цокать, часовъ симъ цокалы“.

Результатомъ этого „цоканья“ оказалась такая задолжен-ность дяди племяннику, что царь присудилъ послѣднему все дядино имущество. Дядя мститъ вслѣдъ затѣмъ Иванькѣ измѣн-ническимъ нападеніемъ на его корабли. Матросовъ избиваютъ, драгоцѣнности грабятъ и Иваньку съ отрубленными руками и ногами оставляютъ на необитаемомъ островѣ. При помощи во-рона-пособника Иванька исцѣляется чудодѣйственной росой и затѣмъ слѣдуетъ обычный сказочный конецъ:—полное его тор-жество, супружество на царевнѣ и воцареніе.

Для ознакомленія съ „приказками“ дѣда Чмыхала я при-веду два отрывка: первый—изъ разсказа о двѣнадцати разбой-никахъ, второй—изъ анекдота „про Хвеська и його пана“.

Нѣкій парень, натенувшись случайно въ лѣсу на приста-нище шайки разбойниковъ, вздумалъ овладѣть всѣмъ ими на-грабленнымъ добромъ, разыгравъ передъ ними комедію приго-товленія къ людоедскому пиршеству. Онъ уговаривается объ этомъ со своимъ хозяиномъ, который соглашается ему помочь, и парень, запасшись колоссальными треногами, громаднымъ ка-заномъ и вырытымъ на сосѣднемъ кладбищѣ мертвымъ тѣломъ, окончательно устанавливаетъ въ разговорѣ съ хозяиномъ такую программу ихъ совмѣстныхъ дѣйствій:—„смотри, щобъ ты мене

дядюшкою называвъ и по отчеству: чы Ивановычъ, чы Мыхытовичъ? чы якъ? Щобъ такъ ты мене звавъ. Янъ прыйдемъ на мѣсто, то я испрошуся, щобъ насъ пустылы переночувать. Ты волю выпрягай, а я ляжу на бокъ. И будешъ ты стреногы здѣймать и розвѣшувать—кашу варить. И мене будешъ все спрашивать. Иванъ по батюшку!

„Побалакалы. Пійшовъ Иванъ лѣсомъ, а хазяинъ за нимъ пойхавъ. Дойизжають до разбойныкивъ. Разбойныки саме кашу отстаганювають.—„Здоровы, господа!“ оцей крычить. Благословить и намъ отутъ переночувать!“—„Ночуйте! чого намъ надо, те саме у руки и лизе! „Той лигъ на бокъ отдыхать, а той волю выпрягъ. Выпрягъ волю, привязавъ“.—Иванька Григоровычъ! „гукае хазяинъ“. Чы будемъ вечерять варить, чы, може, не будемъ?“—„Какъ? Ты не знаешъ? У насъ шеура болыть: йисты хочетьця!

„Дванадцять разбойныкивъ силы вечерять и ставныкы уже горять. Воны и обзываютьца:—„Господа, не трудитьця. Оце у насъ кашыци останетьця, то буде й вамъ“.—„Поминайте батька своего кашою своею! Мени вашего казанка не показувать!“

„Хазяинъ ставляе стреногы. Ти положиы ложки и посмоторюють, що такы стреногы большый и зъ цепомъ. Начыпляе казанъ. Наливае зъ бочки воды у казанъ; вода такъ и пудыть изъ бочки у казанъ.—„Чы будемъ повенъ варить, дядюшко Иванька Григоровичъ, чы не повенъ?“ гукае хазяинъ“.—„Ты, падлець, що испрашуешся? Ты знаешъ, що сей казанъ намъ помалый!“ Тоди винъ наливъ повенъ, якъ разъ у щерть. Бере тупоръ, и давай рубать осыну на дрова. Нарубавъ дровъ много. Подпалое теперъ куль соломы. Куль занявся здорово. Дрибненькыхъ дровецъ, що узавъ изъ дому, на розпалыны скынувъ. Осычныы наклавъ большую вупу. Занялася; сыльно такъ горыть, що и Боже, якъ горыть! Розбійныкы и ложки попускалы, та смотреть, якъ горыть. Знимае чоловика зъ воза, узавъ за чуба и водыть передъ огнемъ надъ казаномъ. Розбійныкы полякалысь и кажутъ:—„выдышь, воны людей йидать!“—Цей водыть мертвяка надъ казаномъ за чуба да й каже:—„дядюшко, оцей баранъ худой!“—„А чы ты не бачышь, де сытый? Ось у червоный рубашци, що усы напрутивъ, — той сытый: „отого, каже, беры, та у казанъ!“ А той схопытьця та до йихъ, а воны навтікачъ. Сей гукае: „переймай, ловы!“ Розбійныкы повтикалы. Усе покынулы, тилькы зъ душами поутикалы“.

Перейдемъ теперъ къ послѣднему изъ разсказовъ нашего дѣда—къ присказкѣ „про Хвеська и його пана“.

Одному пану донесли, что крѣпостной мужикъ его Хвесько сидитъ въ шинѣ, пьетъ водку и позволяетъ себѣ говорить нѣчто такое, что, по мнѣнію доносчиковъ, не отличалось благонамѣренностью, а именно: „що винъ свого пана не боитьця, Богови не вирыть, а про попа каже, що винъ дурнишый отъ його білои кобылы“...

Панъ, само собою разумѣется, требуетъ неблагонамѣреннаго Хвесько къ себѣ.

— „Черезъ що ты говоришь, що ты мене не оишся? — панъ пыта. — „А чого-жъ, пане, боитьця? Чы вы,“ каже, „вовель? Я вамъ, пане оброкъ отдавъ, тры дня одбувъ, такъ це мои тры дня, таеъ це я воленъ. Я васъ и не боюсь!“ — „Хорошо, точно, молодець Хвесько! Ты оброкъ отдавъ и тры дня одбувъ. А черезъ що ты говоришь, що Богу не вирышь?“ — „Въ четвергъ“, каже, була година добра, и я пойхавъ билою кобылою на степъ, и не взявъ зъ собою ни юпки, — ничего. Була година добра, тепла дуже; де хмарка узялась, хватилася буря, пишовъ дощъ большой, и я пройхавъ тилькы живой кобылою до-дому. Сутокъ трое мене парыла молодыця моя на печи: трохи не пропавъ! Такъ я“, каже, „колы не пойду: — година, не година, — буду брать одежу“.

— „Ну, хорошо“, каже, такъ, Хвесько! А черезъ що ты говоришь, що пипъ дурнишый отъ твоеи білои кобылы?“ — „Винъ дурнишый отъ моеи білои кобылы, пипъ нашъ. Оце візъ я билою кобылою до млына мишки и зъ заду йшовъ, а кобыла шла попереду и влизла въ бурчакъ зъ возомъ, такъ я людей попросивъ, и вытягли визъ зъ бурчака. Узявъ дугу, да давай быть кобылу, щобъ не лизла, туды куды не треба. Отъ тихъ поръ, яеъ не йиду, голову въ визъ ховаю, — до бурчака не навернетця. А пипъ“, каже, „ходить до моеи жинки, такъ я його бывъ и колинкомъ, и ломакою, и м'яломъ таеъ не отучу. Я узявъ дугу и дугою дуговавъ попа. Билу кобылу яеъ подуговавъ, такъ до бурчака не довернетця, а попа якъ подуговавъ, такъ усежъ до моеи жинки ходить!“ — „Молодець, Хвесько!“ каже панъ“.

Таковы рассказы дѣда Чмыхала. Изъ 35, сохранившихся въ его памяти, я тщательно записалъ уже 22 и надѣюсь, что мнѣ удастся записать и остальные лѣтомъ будущаго года, когда я снова буду имѣть удовольствіе бесѣдовать съ нашимъ талантливымъ и симпатичнымъ дѣдомъ.

В. Лесевичъ.

С. Денисова.
Авг. 94.

ВАЛЬНЕКЪ-ВАЛЬНОВСКІЙ.

(Изъ желѣзнодорожнаго выѣта).

I.

Вальнекъ-Вальновскій былъ...

Кѣмъ не былъ на своемъ вѣку Вальнекъ-Вальновскій? Все его прошлое представляло собой пеструю грудку какого-то хлама. Да вы встрѣчали Вальнека-Вальновскаго не разъ въ своей жизни.

Встрѣчали молодымъ въ блестящей формѣ беззаботно спѣвающимъ, не желающимъ чувствовать гнета жизни на своихъ 20-лѣтнихъ плечахъ.

Позднѣе вы его видѣли въ свадебной каретѣ своего богатаго тестя.

Вы, можетъ быть, слышали потомъ о какой-то непріятной исторіи въ полку изъ-за картъ.

Теперь вы не узнаете Вальнека въ этомъ сутуловатомъ, истасканномъ, съ брюшкомъ, господинѣ, въ пыльных дырявыхъ сапогахъ, въ истасканной крылаткѣ, въ бѣлой, грязной отъ пальцевъ фуражкѣ.

Его носъ сдѣлался мясистымъ и краснымъ, появилась колючая щетина; его голубые глаза полиняли и жадно бѣгаютъ по лицамъ прохожихъ. Но память сохранила воспоминаніе о быломъ, сохранилась ненавистная жажда жизни.

И свой послѣдній рубль онъ спускаетъ также, какъ нѣкогда спустил все.

Сколько было этого всего?

100... 200... 700 тысячъ, — больше или меньше, — право давности и нарастающихъ процентовъ за Вальнекомъ и всѣ онѣ

его, и чѣмъ больше ихъ было, тѣмъ меньше цѣны послѣднему рублю...

Есть еще что-то молодое и сильное во всей этой потасканной фигурѣ.

Всмотритесь въ эту массу подвижныхъ складокъ на лбу,—онѣ движутся, шевелятся, онѣ—отълики мыслей Вальнека, придающія всему лицу его какую-то неопредѣленную, но живучую подвижность. Всмотритесь въ его густую щетину, грязную, рыжую. Всѣ онѣ, эти щетины, каждая отдѣльно, торчатъ, лѣзутъ впередъ, точно также хотятъ говорить, энергично говорить... о чемъ? Все о томъ же, о сохранившейся силѣ своего хозяина...

Да, сила есть, и съ ней надо считаться... Она сама сочтется.

II.

На сорокъ шестомъ году жизни Вальнека, капризная судьба пожелала испытать свою закабаленную жертву въ новой специальности,—желѣзнодорожной, въ скромной доли десятника по изысканіямъ.

III.

Мѣсто въ 60 рублей въ мѣсяцъ на нѣсколько мѣсяцевъ обезпечено, 100 рублей подъемныхъ получены и уже съѣдены. Изъ нихъ ни копейки не отправлено женѣ и 7 дѣтямъ, изъ которой старшей 16, а младшій еще ползаетъ въ грязи немытаго пола.

Въ гостинницѣ за три недѣли съѣдено и выпито... Вальнекъ не считалъ сколько,—сочтутъ и безъ него.

Надо еще доѣхать до мѣста работъ на эти же деньги. На какія деньги? Вальнекъ рѣшительно ничего не понималъ.—Это мѣсто, о которомъ онъ мечталъ, какъ о какомъ-то недосигаемомъ блаженствѣ, хуже чѣмъ ничего!

Тамъ хоть поймалъ кусокъ, съѣлъ и мыслей нѣтъ. А здѣсь эти мысли шевелятся, жгутъ и не даютъ покоя.

Но сколько же надо Вальнеку денегъ?! Много, очень много... Сперва для себя... Завтра тоже для себя... а для семьи? Нѣтъ, еще для себя...

Сколько же?! Нѣтъ дна въ алчныхъ глазахъ Вальнека, нѣтъ счета его щетинамъ, и каждая торчитъ, каждая шевелится, каждая хочетъ—эта стомилліонная жадная гидра.

Чтобъ выѣхать въ мѣсту работъ и расплатиться, надо сейчасъ же еще 100 рублей. Гдѣ ихъ взять?

Есть выходъ. Техникъ получаетъ 100 рублей въ мѣсяцъ. Лишнихъ 40 рублей не много... Лишнихъ 500 было бы лучше, конечно, эти 500 больше принадлежатъ Вальнеку, ему, на всѣ руки способному Вальнеку, чѣмъ кому бы то ни было; но что дѣлать?

Было время, и онъ сидѣлъ за роскошнымъ столомъ, думалъ вѣкъ сидѣть... Теперь приходится хоть крохи отъ роскошнаго стола подбирать. А здѣсь ли еще не столъ, когда миллионы собираются поспать, какъ изъ дыряваго мѣшка.

Только умѣть подставить руки, знать, гдѣ стать.

О, Вальнекъ спокоенъ за себя! Отъ него не спрячутся, онъ сыщеть и накроетъ всѣхъ этихъ грѣющихъ руки и они раздвинутся, должны будутъ волей-неволей раздвинуться и дать мѣсто за этимъ столомъ Вальнеку.

Все придетъ и никуда не дѣнется! Теперь пока ступенька за ступенькой надо перейти изъ десятниковъ въ техники.

Для этого нужно знать, какъ ему сказали, нивелировке.

Что такое нивелировка?

Вальнекъ не зналъ, что такое нивелировка, но, судя по плюгавой фizioноміи техника, сообщавшаго ему о ней, Вальнекъ не высокаго мнѣнія былъ объ этой нивелировкѣ, — настолько не высокаго, что онъ уже заявилъ на всякій случай своему инженеру.

— Я не имѣю обыкновенія кричать о себѣ; господинъ начальникъ самъ увидитъ на дѣлѣ и не захочетъ обидѣть и безъ того обиженнаго жизнью человѣка.

— Я предложилъ вамъ все, что могъ предложить человѣку, знающему только пекитажъ. Если бъ вы умѣли нивелировать...

— Я умѣю, — скромно отвѣтилъ Вальнекъ.

— Если окажется, что вы умѣете...

— Я надѣюсь на себя и твердо вѣрю, что оправдаю довѣріе.

Было, конечно, рискованно такъ обнадеживать свое начальство; но Вальнекъ зналъ правило: кто не рискуетъ, тотъ не выигрываетъ; а чего другого желалъ Вальнекъ, какъ не выиграть?

Что выиграть? Все, все... весь міръ. Да и что такое вся жизнь, какъ не одинъ сплошной рискъ?

IV.

Свѣтъ не безъ добрыхъ людей, — изъ нихъ первый Вальнекъ, — но кто другой, который къ тому же подѣлился бы съ нимъ своими свѣдѣніями по нивелировкѣ?

Плюгавый техникъ?

О, какъ наивно и легкомысленно было бы со стороны Вальнека ввѣрить свою тайну этимъ потнымъ рукамъ, этому ничтожеству, сытому ошибками и промахами другихъ. Нѣтъ, гордый Вальнекъ не унижить себя! Да и глупость это была бы и большая глупость. Вся сила Вальнека въ своихъ надеждахъ на мѣсто техника кроется прежде всего въ соблюденіи строжайшей тайны о томъ, что Вальнекъ не техникъ. Пока эта тайна въ надежныхъ рукахъ. И ужъ, конечно, не онъ, Вальнекъ, ее выболтаеть. Другое дѣло тамъ на мѣстѣ, что будетъ...

Шелъ разъ по улицѣ Вальнекъ, заложивъ руки назадъ, и думалъ, гдѣ бы найти добрую душу, которая бы выучила его нивелировкѣ.

Поднялъ глаза Вальнекъ и видитъ въ окнахъ чертежные столы, а у самого окна стоитъ маленькій человѣчекъ точно съ заspanными глазами и смотритъ на Вальнека. Подумалъ Вальнекъ, повернулъ къ подъѣзду и позвонилъ.

Дверь открылась, и передъ Вальнекомъ стоялъ тотъ самый маленькій человѣчекъ, котораго онъ видѣлъ въ окно.

Маленькій человѣчекъ, какъ-то не-хотя, посторонился и тихо проговорилъ, пропуская Вальнека:

— Прошу.

Вальнекъ не заставилъ себя просить два раза.

Снять свою крылатку, шапку и, держа ее въ одной рукѣ, другой оправить свою щетину, прийти сразу въ самодовольное настроеніе, проговорить вторично, шаркнувъ ногой какъ старому знакомому, такъ свое „Вальнекъ-Вальновскій“, чтобы хозяинъ пригласилъ его Вальнека въ свой кабинетъ,—было дѣломъ привычнымъ для Вальнека. И хозяинъ не успѣлъ оглянуться, какъ Вальнекъ сидѣлъ уже въ креслѣ передъ хозяиномъ и жадно осматривалъ его, какъ цѣлящійся охотникъ, отыскивая болѣе вѣрное мѣсто своей жертвы,—жертвы потому, что все и ничего было девизомъ Вальнека—ничего и все; и гдѣ это все, тамъ или здѣсь,—въ этомъ хозяинѣ, въ этомъ, можетъ быть, ужъ ему принадлежащемъ кабинетѣ...

Хозяинъ только непріятно морщился отъ этой грязной, сутуловатой фигуры своего неожиданнаго гостя.

Вальнекъ началъ—было издалека, но хозяинъ, очевидно, зналъ хорошо этотъ сортъ людей и повтореннымъ вопросомъ о цѣли прихода поставилъ Вальнека въ необходимость приступить къ дѣлу.

Вальнекъ огорченно съ упрекомъ на мгновеніе уставился въ

человѣка, который не хочетъ ничего знать, кромѣ того, что касается лично его. Но тутъ же Вальнекъ подумалъ: „не хочешь, и чортъ съ тобой“, и приступилъ къ дѣлу.

Онъ, Вальнекъ, приглашенъ на предстоящія изысканія. Онъ имѣлъ основаніе отдать предпочтеніе именно этому приглашенію, хотя не можетъ не признаться, что теперь раскаиывается немного. Но что дѣлать? слово дано...

Меньше всего, конечно, Вальнекъ думалъ въ эту минуту, что разговариваетъ онъ съ лицомъ, тоже прикосновеннымъ къ дѣлу предстоящихъ изысканій.

По словамъ Вальнека выходило, что онъ приглашенъ на какую-то должность, очень большую.

— Вы собственно на какую должность приглашены?

Вальнекъ уклонился отъ прямого отвѣта и опять принялся путать.

Хозяинъ послушалъ еще и поставилъ болѣе опредѣленный вопросъ.

— Кто васъ пригласилъ?

Вальнеку ничего не оставалось, какъ назвать фамилію одного изъ начальниковъ партій.

Этимъ отвѣтомъ рѣшалось все.

— Вы десятникъ?—спросилъ хозяинъ, опуская глаза. Вальнекъ остановился такъ, какъ останавливается вдругъ съ разбѣгу человѣкъ. Онъ широко раскрылъ глаза и, вздохнувъ тихо, покорно проговорилъ:

— Десятникъ...

Вальнекъ опять заговорилъ, и на этотъ разъ голосъ его звучалъ скромно той искренностью, какою говоритъ паціентъ своему доктору, когда тотъ докопался, наконецъ, до причины, которая упорно не хотѣла сходить съ языка паціента. Фигура Вальнека потеряла свою напыщенность, грязная щетина опустилась, тѣло осунулось и, всматриваясь своими мутными глазами, которые уже ничего не искали въ собесѣдникѣ, кромѣ жалости къ нему—Вальнеку, онъ рассказалъ весь ужасъ своего положенія.

Онъ—семейный человѣкъ. У него жена и семь душъ дѣтей. Дѣти безъ воспитанія. Онъ бросилъ ихъ и жену въ Кіевѣ, и какъ они тамъ живутъ,—онъ и представить себѣ не можетъ. Онъ былъ богатъ, теперь нищій. Нѣтъ ужаснѣе этого перехода отъ роскоши къ неумолимой нуждѣ, когда неспособная голова и руки отказываются отъ непривычной работы, а тѣло привыкло къ нѣгѣ и удобствамъ. Жить такой жизнью и не видѣть выхода,—

что можетъ быть ужаснѣе? Умереть, лишить семью послѣдней поддержки? Легче умереть, чѣмъ жить, переживши самого себя. Вальнекъ смахнулъ слезу, которая появилась на его рѣсницѣ.

— Я не могу понять, чѣмъ я могу быть полезенъ...

Вальнекъ на мгновеніе остановился. „Ты можешь понять, какъ засунуть въ свое сытое брюхо еще одинъ лишній кусокъ, но человѣка въ несчастіи ты, конечно, не можешь понять, сытое дышло!“

Но Вальнекъ громко ничего этого не сказалъ и, вздохнувъ, заговорилъ равнодушнымъ упавшимъ голосомъ:

— Я могъ бы быть техникомъ, если бъ зналъ нивелировку... Я знаю ее, — жадно и поспѣшно проговорилъ онъ, видя вытянувшееся лицо хозяина, — но я забылъ... Это давно было... Я никогда не думалъ, что мнѣ опять придется возвратиться... Мнѣ надо освѣжить въ памяти... Я увидѣлъ въ окнѣ чертежные столы, васъ и подумалъ, что добраго человѣка посылаетъ мнѣ Господь на моемъ ужасномъ пути... и вотъ, отдавшись своему порыву, я вошелъ къ вамъ просить указать мнѣ лицо, которое могло бы помочь мнѣ вспомнить...

Хозяинъ внимательно всматривался въ гостя. Вальнекъ понималъ, что опять не убѣдилъ хозяина. Онъ почувствовалъ вдругъ всю горечь своего обнаженного униженія, обнаженного для того, чтобы въ добавокъ не повѣрили...

Сердце Вальнека закипѣло и въ какой-то безсильной тоскѣ, онъ устался въ полъ.

— Подождите немного...

Хозяинъ всталъ и вышелъ въ сосѣдную комнату.

Немного погодя, онъ возвратился съ молодымъ конфузливимъ человѣкомъ, который, быстро пожавъ руку Вальнеку, проговорилъ съ польскимъ акцентомъ...

— Я могу вамъ дать нужныя объясненія, но у меня нѣтъ нивелира.

— Нивелиръ я могу достать, — радостно отвѣтилъ Вальнекъ.

— Въ такомъ случаѣ завтра въ 11 часовъ утра...

— Ахъ, я не могу передать вамъ...

И воспрившій Вальнекъ, рассыпавшись въ благодарностяхъ, радостно выскочилъ на улицу и быстро зашагалъ въ квартиру своего начальника. Надо достать нивелиръ. У Вальнека сложился по этому поводу цѣлый планъ... Онъ пойдетъ къ начальству и попроситъ нивелиръ съ цѣлью сдѣлать будто бы одну работу въ сосѣдствѣ... Это была очень ловкая мысль. Вальнекъ,

не говоря ни слова, такимъ образомъ, уже превращался въ глазахъ начальства въ техника.

Но начальникъ Вальнека, выйдя къ нему въ переднюю, какъ только узналъ, зачѣмъ пришелъ Вальнекъ, какъ замахалъ руками и, проговоривъ: „у меня правило казенныхъ вещей не давать никому“, ушелъ совсѣмъ изъ передней, оставивъ Вальнека одного.

Вальнекъ только растерянно развелъ руками и вышелъ на улицу.

— Ну, чортъ его знаетъ, что за человѣкъ?!

— Ну, что это за люди?! Ну, ну, ну... Тьфу!

Вальнекъ плюнулъ отъ всего сердца и, совсѣмъ напыжившись, красный какъ ракъ, поплѣзъ по улицѣ.

— Пся кревь! Тьфу!—и Вальнекъ опять плюнулъ.

— Ну, что ему?! Ну, ну, ну...

Горькая обида, досада коробили, возмущали и волновали Вальнека—его, Вальнека-Вальновскаго, Вальнека, который въ свое время не пустилъ бы на порогъ къ себѣ этого хама! Сколько тебѣ? 5, 10, 15 тысячъ!—Дай и гони въ шею!

Вальнекъ бросилъ взглядъ въ сторону. Взглядъ попалъ на далекую спокойную рѣку, освѣщенную яснымъ лѣтнимъ закатомъ и въ мозгу Вальнека шевельнулось воспоминаніе о деревенскомъ домѣ тестя. Такой же былъ веселый вечеръ...— „Прочь!“—Вальнекъ прибавилъ шагъ, уходя отъ тяжелыхъ непріятныхъ воспоминаній. Онъ пришелъ въ свою гостинницу, отперъ номеръ и нажалъ электрическій звонокъ. Вошелъ номерной.

— Никто не спрашивалъ?

— Никто.

Кто могъ его спрашивать? Вальнекъ угрюмо посмотрѣлъ въ окно, подумалъ, сбросилъ крылатку и спустился въ буфетъ.

Буфетчикъ вопросительно взялся за англійскую, Вальнекъ молча кивнулъ головой. Буфетчикъ налилъ. Вальнекъ залпомъ выпилъ и началъ закусывать, жадно ловя вилкой какую-то гущу и набивая ею свой ротъ. Онъ выпилъ вторую, чѣмъ-то другимъ закусилъ и, сѣвъ за столъ, потребовалъ карточку. Стѣвъ два блюда и запивъ ихъ двумя бутылками пива, Вальнекъ, задумавшись, молча, сосредоточено ковырялъ въ зубахъ.

Мимо окна прошла женщина улицы, остановилась и внимательно осматривала фигуру Вальнека. Вальнекъ, встрѣтившись съ ней глазами, тоже сосредоточенно опершись о локоть, съ видомъ знатока уставился въ нее. Одинъ глазъ Вальнека прищурился и голова склонилась на бокъ. Затѣмъ Вальнекъ всталъ.

и, кивнувъ головой въ знакъ согласія на вопросъ записать на номеръ, вышелъ въ прихожую, куда съ улицы въ тоже время уже входила женщина, приглашенная имъ.

Ничего не говоря другъ съ другомъ, они молча стали подниматься по лѣстницѣ.

IV.

— Вальнеку вы приказали отпустить нивеллиръ?—спрашивалъ въ конторѣ главный техникъ у своего начальника.

— Какъ приказалъ? Я запретилъ ему.

— Онъ взялъ его.

— Ну, слава Богу, я сегодня эту дрянъ выгоню, я рѣшительно не въ силахъ больше выносить его. Вы знаете, онъ затѣялъ торговлю казенными инструментами. Инженеръ разказалъ всѣмъ, для чего Вальнеку понадобился нивеллиръ.

Вальнекъ только-что возвратился съ урока нивеллировки и веселый вошелъ въ пріемную.

Въ комнатѣ толпилось много разнаго народа.

— Нивеллиръ?!

Глаза инженера впились въ Вальнека.

— Тамъ нивеллиръ,—и Вальнекъ показалъ пальцемъ на переднюю.

— Вы позволили себѣ моимъ именемъ взять его изъ кладовой?!

Вальнекъ развязно, съ своей обычной манерой, собрался-было что-то отвѣчать.

— Вы совершенно достаточно обнаружили, что вы за личность! Вы больше не служите у меня!! Я васъ выгоняю вонъ...

— Пхе!—сдѣлалъ только Вальнекъ и, растерянно разведя руками, медленно пошелъ изъ комнаты.

— Гадость!!—кричалъ въ догонку инженеръ.—Не успѣлъ вступить, уже развелъ мерзость!

Вальнекъ быстро повернулся.

— Ну, пропалъ техникъ, ну, выгонять совсѣмъ, но онъ ничего не сдѣлалъ такого, за что его можно такъ съ грязью мѣшать.

— Али же я прошу снисхожденія у пана...

Началъ-было Вальнекъ, но инженеръ такъ раскричался, что Вальнекъ мгновенно опять повернулся къ двери и еще мгновеннѣе скрылся за нею.

— О тожъ пся кровь!—проговорилъ Вальнекъ, захлопнувъ

за собою дверь и въ недоумѣніи разводя руками,—что теперь дѣлать.

Маленькій господинъ съ сонными глазами, случайный свѣдѣтель всей этой суеты, разсказалъ инженеру о своемъ знакомствѣ съ Вальновскимъ и для чего нуженъ былъ ему нивелиръ.

— Здѣсь,—кончилъ маленький господинъ:—здѣсь вовсе не нажива, какъ видите... Если хотите здѣсь такой трагизмъ полный... Тамъ въ Кіевѣ семь человѣкъ,—во, во, во... и способная только любить женщина. Нѣтъ ужъ строгость вашу бросьте.

Инженеръ не былъ человѣкомъ злымъ. Это былъ просто влюбленный въ себя, въ свою аккуратность, въ свою точность, человѣкъ, видящій только себя, очень чуткій ко всему тому, что могло оскорбить или задѣть его ненасытное я. Теперь ему стало жаль Вальнека.

— Послушайте, почему вы не сказали прямо, чего вы хотите?—выскочилъ инженеръ въ переднюю, гдѣ уныло сидѣлъ Вальнекъ и тупо смотрѣлъ передъ собою. Вальнекъ всталъ и, сдвинувъ брови, молча слушалъ длинную рѣчь инженера о томъ, что первое и основное правило въ ихъ дѣлѣ не стараться быть больше того, что на самомъ дѣлѣ представляешь изъ себя. Это и бесполезно, и опасно для живого дѣла, въ которомъ каждая ошибка неминуемо откроется и повлечетъ за собой крупныя траты.

— У насъ бьютъ не за незнаніе, а за скрываніе своего незнанія,—кончилъ инженеръ.

Вальнекъ слушалъ и понималъ только одно, что его простили.

Когда, кончивъ занятія, инженеръ одѣлся и вышелъ на улицу, Вальнекъ пошелъ за нимъ, смотрѣлъ ему вслѣдъ и всѣ складки его подвижного лба устремлялись за инженеромъ.

— Господинъ начальникъ,—нагналъ его Вальнекъ у самого его дома:—я васъ покорнѣйше прошу—позвольте мнѣ денегъ...

— Я не могу... вы уже все взяли...

И инженеръ, прибавивъ шагъ, быстро ушелъ отъ Вальнека.

— Тьфу!—плюнулъ въ догонку ему Вальнекъ и угрюмо повернулъ назадъ.

V.

— Господинъ начальникъ!—пришелъ къ инженеру передъ самымъ отъѣздомъ Вальнекъ.—Я не могу ѣхать безъ денегъ.

— Вы останетесь.

— Но я не могу возвратить вамъ взятые уже 100 рублей.

— Что жъ дѣлать? я заплачу ихъ изъ своего кармана за науку.

Наступило молчаніе.

— Все, что я могу вамъ сдѣлать, — проговорилъ инженеръ: — это приказать взять вамъ билетъ третьяго класса.

— Изъ гостиницы не выпускають.

— Ну, ужъ я тутъ ничего не могу.

— Если я дамъ имъ росписку и попрошу вашу контору высылать имъ деньги изъ моего жалованія.

— Вы хозяинъ вашихъ денегъ.

— Я хотѣлъ просить васъ поручиться.

— Нѣтъ.

— Семьѣ хотъ что-нибудь выслать...

— Изъ жалованія за этотъ мѣсяцъ, если вы дадите адресъ, контора вышлетъ.

— За этотъ мѣсяцъ... чѣмъ же я жить буду? Чѣмъ заплачу за проѣздъ?

— Я ничего больше не могу сдѣлать.

— Господинъ начальникъ! ну, хоть вотъ что... Вамъ люди въ контору нужны — у меня есть племянница.. здѣсь.. возьмите ее чертежницей.

Инженеръ уже слышалъ объ этой племянницѣ, найденной на улицѣ, и быстро возмущенно отвѣтилъ:

— Ни въ какомъ случаѣ.

Вальнекъ отъ инженера отправился въ контору.

Тамъ уже шла предъотѣздная суতোлка: закупоривали инструменты, заколачивали ящики. Младшій инженеръ съ большими ногами бѣгалъ по комнатамъ, кричалъ и ругался.

Техники и десятники, разсѣвшись на стульяхъ и ящикахъ въ пріемной, вели веселые разговоры людей, которые завтра, послѣ-завтра бросаютъ этотъ, чуждый для нихъ, городъ съ тѣмъ, чтобъ никогда, вѣроятно, больше не возвратиться въ него.

Что-то сбродное, цыганское, безшабашное, а съ нимъ и веселое чувствовалось во всей этой группѣ случайно столкнувшихся между собою людей.

Вальнекъ, потерявъ надежду на то, чтобъ урвать денегъ у инженера, поднялся на новую комбинацію. У кого 5, у кого 10, у кого и рубль — Вальнекъ насобиравъ около 50 рублей у своихъ товарищей съ клятвеннымъ обѣщаніемъ возвратить ихъ немедленно послѣ первой получки.

VI.

Наконецъ, все было уложено и свезено на пароходъ, и инженеры, и техники, и десятники—все поѣхали, и въ моментъ отъѣзда все сбились въ одну кучу на палубѣ и все замахали шапками провожавшей ихъ толпѣ.

Махаль и Вальнекъ, хотя единственный знакомый ему человѣкъ въ этомъ городѣ, отысканная имъ племянница, ѣхала съ нимъ. Но ужъ таковъ обычай и Вальнекъ не хотѣлъ отступать отъ него.

Послѣ первой минуты общаго какъ будто сближенія, наступило быстрое разобщеніе.

Инженеры ушли въ первый классъ, гдѣ играли въ карты, ухаживали за дамами и рѣдко, развѣ посмотрѣть на закатъ, показывались на палубѣ.

Техники почти все время сидѣли на палубѣ 2-го класса, разговаривали, курили и сообщали другъ другу разные случаи изъ своей жизни.

Десятники ѣхали въ третьемъ классѣ, пили, курили, плевались, играли въ карты, заводили постоянныя ссоры съ пассажирами и врали имъ всякую ерунду о томъ, кто они.

Высокій, въ большой студенческой шляпѣ, въ высокихъ сапогахъ, нахальный молодой десятникъ толковалъ десятнику Еремину о порядочности и воспитанности.

— Я по крайней мѣрѣ такъ думаю.

Низкаго роста, съ прямыми волосами, безцвѣтный десятникъ Ереминъ ничего не имѣлъ противъ, и усиленно угощалъ своего воспитаннаго товарища. Но однажды напившись, онъ устроилъ вдругъ такую неприличность, что не только воспитанный десятникъ надавалъ ему пощечинъ, но и пошелъ еще съ жалобой къ хозяину Еремина—молодому инженеру съ большими ногами.

Онъ нашелъ инженера на палубѣ.

— Я имѣлъ удовольствіе познакомиться съ вашимъ десятникомъ Ереминымъ, — такъ началъ десятникъ, подходя къ инженеру.

— Съ чѣмъ васъ и поздравляю, — фыркнулъ молодой инженеръ.

— Не съ чѣмъ... Я имѣлъ удовольствіе нахлестать ему морду-съ...

— Удовольствіе небольшое...

— За невоспитанность...

— Именно за что-же?

— Это ужъ его спросите.

И, поднявъ свою студенческую шляпу, воспитанный десятиникъ величественно поклонился инженеру и проговорилъ:

— Еще одна негодная тварь затесалась къ намъ... Господинъ Вальнекъ со своей племянницей... Онъ тоже не минуетъ пощечины... Вы его предупредите: если онъ не желаетъ...

— Я предупрежу вашего инженера, чтобъ онъ вамъ внушилъ держать себя прилично, — вспыхнулъ молодой инженеръ. — Ступайте въ третій классъ!

Долговязый десятиникъ озадаченно посмотрѣлъ на инженера и зашагалъ внизъ по трапу.

На другой день, сверхъ всякаго ожиданія, вышло совершенно обратное: Вальнекъ далъ пощечину долговязому, о чемъ долговязый съ воемъ пришелъ доложить уже своему инженеру.

— Помилуйте, здѣсь бьютъ-съ... здѣсь нельзя ѣхать... здѣсь люди ѣдутъ, Богъ знаетъ, съ какими женщинами... Я лучше уѣду совсѣмъ...

— Ну и уѣзжайте, куда хотите, только убирайтесь вонъ, — проговорилъ презрительно „его“ инженеръ, занятый въ это время шахматнымъ ходомъ.

Когда десятиникъ ушелъ, инженеръ, его хозяинъ, обратился къ товарищамъ и сказалъ:

— Положительно разбойничья банда... А вашъ Ереминъ это ужъ совсѣмъ что-то невозможное...

— А вы вотъ посмотрите этого Еремина на работѣ...

— Господа, кто избавитъ меня отъ Вальнека? — спросилъ начальникъ.

Всѣ разсмѣялись и никому не хотѣлось его брать въ свою партію.

— Я не буду стѣснять... негодится, — хотъ въ первый день гоните...

— Братъ не стоило, — проговорилъ, помолчавъ, пожилой инженеръ, заглянувъ въ окно.

— Давайте мнѣ, — согласился младшій съ большими ногами инженеръ... У меня разговоръ короткій...

Инженеръ разсмѣялся.

— Слушайте, батюшка, только вы ужъ его хотъ немного...

— Э, нѣтъ!.. не вмѣшиваться, такъ уже не вмѣшиваться...

Да и нельзя же: можетъ, такъ можетъ; а не можетъ, кто-жъ за него будетъ работать?

Всѣ энергично поддерживали младшаго инженера.

На другой день Вальнекъ узналъ свой приговоръ и не обрадовался.

Не хорошо было вообще на душѣ у Вальнека.

Даже десятники, и тѣ сторонились. Техники еще больше драли носъ, а инженеры даже издали не подпускали къ себѣ.

Вальнекъ, стоя у борта съ своей племянницей, возмущался этой лѣстницей человѣческаго тщеславія, даже здѣсь, въ этой скромной каплѣ жизни и рассказывалъ ей о томъ времени, когда всю эту „сволочь“ онъ купилъ бы за 5, за 10, за 15 тысячъ, и дальше порога не пустилъ бы къ себѣ.

VP.

Приѣхавъ на мѣсто, инженеры день-два походили по новому городу, пока техники разбирали инструменты, а на третій день уже всѣ выѣхали къ мѣстамъ своихъ назначеній.

Линія младшаго инженера съ большими ногами начиналась тутъ же, по ту сторону рѣки.

Въ пять часовъ утра инженеръ, техники, Вальнекъ, Ереминъ и 15 рабочихъ усѣлись въ лодку и поѣхали на противоположный берегъ рѣки къ синѣвшему тамъ сосновому бору.

Весла мѣрно рѣзали свѣжую воду, свѣжія капли искрились на утреннемъ солнцѣ, туманъ таялъ и исчезалъ въ голубой дали пепельнаго неба.

Вальнекъ ежился отъ холода, смотрѣлъ въ бѣгущія струйки и уныло искалъ въ нихъ близкаго рѣшенія своей участи.

Лодка пристала къ берегу.

Инженеръ выскочилъ и, увязая своими большими ногами въ тяжелыхъ юхтовыхъ сапогахъ, запатгалъ по берегу.

Пройдись нѣсколько разъ взадъ и впередъ, онъ остановился на выбранномъ мѣстѣ и крикнулъ.

— Вешку!

Неопытный народъ продолжалъ смотрѣть, сбившись въ кучу, и только Ереминъ, не слѣша взявъ нѣсколько вешекъ, подошелъ къ инженеру.

Схвативъ одну, инженеръ воткнулъ вешку, поправилъ ее и тяжело запатгалъ къ лѣсу. Пройдя шаговъ тридцать, онъ опять остановился, взялъ новую вешку у слѣдовавшаго за нимъ Еремина и, еще разъ прицѣпившись на блиставшій издали городъ, воткнулъ ее въ землю.

— Вешки дальше,—обратился онъ къ Еремину.

Ереминъ, не спѣша, пошелъ впередъ и, отойдя саженой десяти, поставилъ, быстро прицѣлившись, по направленію первыхъ двухъ, третью вежу.

— Руби, — проговорилъ онъ, ударивъ по дорогѣ дерево.

Топоры застучали въ лѣсу.

— А, проклятый! — схватился рукой инженеръ, растирая на шеѣ перваго присѣвшаго комара. — Вальнекъ, ступайте искитаремъ... Начальный пунеть у воды...

Инженеръ покосился въ сторону техника, но тотъ и самъ зналъ свое дѣло и уже устанавливалъ нивелиръ, давая въ то же время нужныя объясненія неопытнымъ носильщикамъ реекъ.

— Живѣй, ребята, живѣй! — тихо раздавалась уже въ лѣсу собранная ласковая команда Еремина. — Ты что, — съ укоромъ обратился онъ къ одному изъ рубщиковъ: — бабу гладишь?

Ереминъ взялъ у него топоръ и, не спѣша, началъ ловко работать имъ. Рабочіе, убѣдившись, что онъ знаетъ свое дѣло, оживились и топоры весело заговорили въ лѣсу.

— Вотъ это работа, — проговорилъ подходя инженеръ, съ удовольствіемъ втягивая въ себя свѣжій смолистый воздухъ утра.

— За день-то помаешься этакъ, что и руки не подымешь, — отвѣтилъ ему одинъ изъ рабочихъ.

— Я вотъ тебѣ расскажу, какъ стрѣлки и колеса въ часахъ между собой перессорились...

И инженеръ рассказывалъ, а время незамѣтно шло, работа быстро подвигалась впередъ и только останавливалась, когда инженеръ, дѣлая поворотъ, устанавливалъ инструментъ и снималъ уголь.

Рабочіе въ это время стояли, вытирали потъ, били комаровъ и говорили тихо другъ другу:

— Ай-ай! ушли!

— Ай-ай? — насмѣшливо отзывался инженеръ. — Посмотрите вы, какъ пойдете у меня дальше.

— Неужто не настоящая еще работа?

— А вотъ я васъ съ версты съ завтрака поставлю... Какъ въ день-то придется рублика по два на человѣка, тогда, небось, интереснѣе будетъ.

— Неужто по два придется?

— Неужли врать стану? Въ нашемъ дѣлѣ хоть лопатой гребь деньги: только умѣй...

— Это ничего бы...

Прибѣжалъ техникъ и тихо сообщилъ инженеру, что Валь-

некъ и вретъ немилосердно, да и вообще никакого представленія о дѣлѣ не имѣетъ.

— Ереминъ, води линію такъ примѣрно на сотенный подъемъ, на поворотахъ я потомъ сниму углы.

— Да чего-же? и я сниму,—угрюмо отвѣтилъ Ереминъ.

— Только не наври...

Ереминъ не удостоилъ *отвѣтомъ* уходившаго инженера.

Вальнекъ совершенно растерянно шель за цѣпью, кричалъ до хрипоты, былъ весь въ поту, отмахивался руками и книжкой отъ комаровъ, смотрѣлъ съ ужасомъ на свои окровавленные руки отъ раздавленныхъ, напившихся его же кровью комаровъ, щупалъ волдыри и путалъ, путалъ и путалъ.

— Стойте!—грубо остановилъ его инженеръ.

Голосъ Вальнека, оравшаго на рабочаго, оборвался на полу-потѣ.

Рабочіе съ любопытствомъ положили цѣпь, бросили колья, смотрѣли на инженера и вполголоса, такъ, чтобъ онъ слышалъ, дѣлились впечатлѣніями о безтолковыхъ распоряженіяхъ Вальнека.

— Зѣваетъ, зѣваетъ, а ничего по дѣлу не-растолкуетъ... Точно съ цѣпи сорвался.

— Сбилъ на вовсе... Вишь народъ точно не свой сталъ...

— Розыскалъ же этакое...

И рабочій равнодушно сплюнулъ.

Вальнекъ озабоченно ласково, съ затаеннымъ страхомъ смотрѣлъ на инженера.

— Послушайте! Что жъ это у васъ такое,—говорилъ инженеръ, всматриваясь въ линію зигзагами набитыхъ колевокъ:—это по вашему прямая?

Вальнекъ всталъ около инженера, внимательно уставился въ линію и проговорилъ:

— Вотъ тотъ колъ надо вправо подвинуть.

— Кой чортъ тотъ,—заоралъ инженеръ.—Тутъ ни одного кола нѣтъ вѣрнаго!

Вальнекъ мрачно смотрѣлъ на ряды своихъ колевокъ.

— Да вы даже не понимаете, что такое прямая линія?!

— Господинъ инженеръ, я понимаю, что такое прямая линія, но я не вижу... у меня глаза плохи стали.

— Такъ на что же вы надѣялись?! Я вамъ что ли свои глаза дамъ?!

— Али не вы, но я разумѣлъ...

— Что вы разумѣли?! Что вамъ позволятъ здѣсь валять дурака?!

Вальнекъ усердно давилъ насѣдавшихъ на него комаровъ.

— Вы не можете работать...

— Господинъ инженеръ, — взмолился Вальнекъ.

— Послушайте, г. Вальнекъ, идиотъ вы окончательный, или что-нибудь, наконецъ, понимаете?! Вы понимаете, что то, что вы дѣлаете — ерунда, бессмысленная ерунда, бол-ва-нъ вы!

— Али-то зачѣмъ же такъ панъ инженеръ передъ рабочими...

— Да какъ же тебя не ругать?! Вѣдь ты ѣдешь за три тысячи верстъ и врешь, что знаешь свое дѣло. Мало того, что ты денегъ стоишь, ты время отнялъ, понимаешь ли ты, глупая твоя мо-о-рда, понимаешь?!

Инженеръ дрожалъ отъ бѣшенства и совалъ свои кулаки Вальнеку подъ самый носъ.

— Животное! Гдѣ я теперь здѣсь въ трущобѣ буду искать вмѣсто тебя человѣка?!

Вальнекъ быстро отошелъ и сѣлъ на срубленный пенъ.

Инженеръ постоялъ нѣсколько мгновений и проговорилъ упавшимъ голосомъ технику.

— Ведите искитаръ, — я пойду съ нивеллиромъ.

— Съ начала?

— Да, конечно.

Рабочіе, техники и инженеръ возвратились назадъ.

Работа быстро закипѣла въ искусныхъ рукахъ.

Техникъ съ своимъ отрядомъ уже прошелъ мимо все сидѣвшаго Вальнека.

Показался и инженеръ.

— Господинъ инженеръ... простите... не сердитесь... Я самъ вижу, что дѣйствительно... Ну, я думалъ, что мои глаза еще могутъ... ну, что же, ну я самъ вижу, что ослѣпъ... ну, что-жъ? ну, несчастье... Позвольте мнѣ нивеллировать...

— Да вѣдь вы не умѣете же.

— Умѣю, господинъ инженеръ...

Инженеръ, установивъ нивеллиръ, навелъ его на рейку и проговорилъ, обращаясь къ Вальнеку.

— Прочтите.

Вальнекъ прочелъ.

Инженеръ повернулъ трубу къ другой рейкѣ. Вальнекъ опять прочелъ.

— Десять лѣтъ нивеллировалъ.

— Не совсѣмъ вѣрно, — сморщился инженеръ, повѣряя чтеніе Вальнека, но, подумавъ, проговорилъ, пожимая плечами:

— Попробуйте.

Инженеръ ушелъ, крикнувъ:

— Завтракать!

Совершенно разбитый и усталостью, и комарами, и нравственнымъ потрясеніемъ, Вальнекъ съ наслажденіемъ пошелъ къ своей корзинѣ, въ которую племянница уложила ему хлѣбъ, жареный кусокъ говядины, соль и бутылочку съ водкой.

Но каковъ былъ ужасъ Вальнека, когда на говядинѣ, къ которой онъ наклонился съ такимъ аппетитомъ и чуть было не схватилъ ужъ ее руками, онъ вдругъ разглядѣлъ свернувшуюся гадюку.

Отскочить, толкнуть ногой корзину съ проклятой гадюкой, рассыпать оскверненную провизію по землѣ — было дѣломъ одного мгновенія, конечно, со стороны Вальнека, но завтракъ пропалъ и Вальнекъ въ угрюмомъ молчаніи, вмѣсто завтрака, все время просидѣлъ на пнѣ, ни на мгновеніе не переставая хлопать на себѣ назойливыхъ комаровъ.

Три оставшихся при немъ рабочихъ молча ѣли хлѣбъ свой и лукаво переглядывались.

Наконецъ, гнѣвъ Вальнека прошелъ, аппетитъ заговорилъ громче прежняго и Вальнекъ, сѣрѣя сердце, потянулся за хлѣбомъ, на которомъ не лежала гадюка. Водка разбилась отъ неосторожнаго толчка и Вальнекъ, жуя хлѣбъ и посыпая его солью, съ сожалѣніемъ смотрѣлъ на валявшіеся осколки.

Переднія партіи позавтракали и ужъ давно затихъ въ отдаленіи и говоръ ихъ, и стукъ топоровъ, а Вальнекъ все еще не подымался, потому что его всего разломало отъ непривычной работы, да и хотѣлось ему быть какъ можно подальше отъ проклятыхъ инженера и его прислужника техника.

Наконецъ, Вальнекъ всталъ и разбито, тяжело запаталъ къ инструменту. Каждый шагъ въ неприспособленныхъ тяжелыхъ сапогахъ въ этомъ лѣсу, въ этомъ царствѣ комаровъ былъ тяжелою пыткой для Вальнека. Онъ, гнавшійся только за деньгами, ненавидѣлъ ужъ всю эту каторжную должность свою.

Установивъ кое-какъ инструментъ, Вальнекъ навелъ трубу на рейку, крикнулъ: „держи“, приказалъ рабочимъ отмахивать вѣткой комаровъ и нагнулся къ трубѣ.

Вальнекъ смотрѣлъ, рабочій махалъ, махалъ... Рабочему надоѣло уже махать, когда, совершенно красный, Вальнекъ поднялся, растерянно оглянулся и опять сейчасъ же снова прильнулъ къ трубѣ...

Произошла какая-то непонятная исторія: волоски въ трубѣ, безъ которыхъ невозможно чтеніе дѣлений рейки, исчезли куда-то.

Все еще не вѣря исчезновенію волосковъ, Вальнекъ пригласилъ и рабочаго убѣдиться въ томъ же.

Рабочій присѣлъ, прицѣпилъ свой глазъ и съ нѣкоторымъ страхомъ заглянулъ въ трубу, а Вальнекъ замахалъ надъ нимъ.

— Ну, что, видишь волоски?

— Ничего не вижу.

— Не видишь потому, что инженеръ порвалъ ихъ.

— Порвалъ? — спросилъ рабочій и хлопнулъ руками себя по лямкамъ.

— Порвалъ, потому что молокососъ, — проговорилъ авторитетно Вальнекъ. — Кричать умѣть, али самъ съ инструментомъ обращаться не умѣть.

— Что за оказія? — проговорилъ рабочій и разсмѣялся. — Тотъ тебя коритъ, а теперь ты его. Кто же васъ разсудитъ?

— Старшій разсудитъ. Вечеромъ разборъ будетъ. Ты слышалъ, какъ онъ меня ругалъ?

— Всѣ, чать, слышали!

— Вечеромъ разберутъ.

— Та-а-къ. А теперь, что дѣлать станемъ?

— Да что-жъ теперь? За нимъ бѣжать, онъ вѣдь тоже волосковъ не придѣлаетъ.

— Знамо не придѣлаетъ... Эй-эй! Клади рей-й-ку! Машина изгадилась.

Реешники положили рейки и пришли къ инструменту. Еще разъ заглянули.

— Да нѣту, нѣту, — проговорилъ авторитетно Вальнекъ. — Хотя всѣ глаза просмотри.

— Что за оказія? — удивились рабочіе. — Теперь чего-жъ ему за это будетъ?

— Будетъ доволенъ. За все будетъ... Я вдвое противъ него старше и то смолчалъ, чтобъ примѣръ не подавать дурной, а онъ не можетъ? Ему надо ругаться?

— Неловко-то неловко, — ужъ и мы поняли.

— Вы вѣдь слышали?

— Когда не слышали. Эхе-хе! Вотъ они дѣла-то какія.

Чего жъ теперь дѣлать станемъ?

— Да чего жъ? — развелъ руками Вальнекъ: — спать.

— Ну?!

— Ну, а чего жъ?

— Да ничего, конечно, — согласился рабочій. — Хотя смотри, хоть не смотри. Нѣтъ, такъ нѣтъ. Эко дѣло-то...

— А какъ ень то придетъ, — проговорилъ другой рабочій: — да увидить, что мы спимъ да вмѣсто денегъ въ зашей настъ?

— Это мой отвѣтъ, — важно отвѣтилъ Вальнекъ.

— Знамо его, — поддержалъ Вальнека первый рабочій: — намъ что? Что велить, то и дѣлай. Что ень, что хоть ему прикажетъ, — хоть палку поставь, — велить слушать, — чего жъ тутъ? Слушай...

— Извѣстно, — согласился другой рабочій, — какъ ни зови, только корми... Такъ чего же? Спать, такъ спать...

VIII.

Уже солнце книзу пошло, когда возвратившійся за 6 верстъ назадъ инженеръ, напрасно поджидавшій Вальнека, наткнулся на мирно почившую группу. Часовой, поставленный Вальнекомъ отмахивать комаровъ и тотъ, свалившись на плечо Вальнека, укрывъ и его, и себя вѣткой, заснулъ богатырскимъ сномъ.

Грубо растолкавъ ногами спящую „сволочь“, инженеръ молча наблюдалъ, какъ подымался ошалѣвшій Вальнекъ, весь вздувшійся отъ сплошныхъ волдырей, съ лицомъ и затылкомъ, покрытымъ насосавшимися кровью, прилипшими и застывшими комарами, торчавшими грязно-кровяными пупырышками на вздутой поверхности.

Ничего не понимавшій, все забывшій, Вальнекъ сперва вытянулъ отекишія руки въ воздухъ, точно хотѣлъ поддержать какую-то навалившуюся на него тяжесть, потомъ быстро провелъ ими по чесавшемуся немилосердно лицу, бессмысленно установился на полосы крови, появившіяся на рукахъ, тупо осматрѣлся, остановился на инженерѣ и, наконецъ, все вспомнилъ и окончательно пришелъ въ себя отъ крика инженера съ большими ногами.

— Вонъ, мерзавецъ!!

Вальнекъ со сна такъ равнодушно сдвинулъ брови, какъ будто ругали не его, а кого-то другого.

— Да ругаться вы умѣете, али же и волосы рвать умѣете...

— Какіе волосы?

Вальнекъ только величественнымъ жестомъ показалъ на нивеллиръ и принялся равнодушно растирать новыхъ насѣвшихъ на шею комаровъ.

— Да какъ я могъ порвать волосы, когда ихъ нѣтъ... когда они на стеклѣ нарисованы...

— Пхе! ну такъ стекло разбили...

Рабочіе даже наклонились впередъ, когда инженеръ прильнулъ къ трубѣ.

Вальнекъ и тотъ не могъ отказать себѣ въ удовольствіи и въ полъ-оборота съ накипѣвшимъ злорадствомъ слѣдилъ за инженеромъ.

Рука инженера поднялась и что-то тронула у трубы.

— Пожалуйте, — проговорилъ инженеръ, обращаясь къ Вальнеку.

Вальнекъ лѣнливо и нехотя подошелъ къ трубѣ и нагнулся.

Вальнекъ смотрѣлъ, смотрѣлъ...

— Ну?!

Вальнекъ поднялся, наконецъ, растерянно оглянулся, развелъ руками, сдѣлалъ свое „пхе!“ и ничего не понялъ: вертикальный и горизонтальный волоски были на своемъ мѣстѣ.

— Десять лѣтъ нивелировали?! — спросилъ инженеръ съ непередаваемой интонаціей.

У Вальнека воздухъ захватило въ груди.

Все это вмѣстѣ, — и полное фiasco, и комары, и кошмарный сонъ, и разбитое тѣло, и болящія ноги, и весь этотъ проклятый лѣсъ, и воздухъ, точно пропитанный тонкими, колючими иглами, и, наконецъ, этотъ взглядъ, пронизывающій и рѣжущій безъ ножа, — все сразу раздавило ослабѣвшую волю Вальнека.

— Не мучьте... отпустите меня...

— Вечеромъ въ контору... Отвезите его на тотъ берегъ...

О, съ какимъ наслажденіемъ запагалъ Вальнекъ за рабочими изъ этого ада...

IX.

Вальнеку выдали на обратный проѣздъ 100 рублей и 60 жалованья за текущій мѣсяцъ, взявъ съ него расписку, что расчетомъ онъ доволенъ и претензій онъ имѣть не будетъ.

— Нѣтъ, не будетъ! Будьте вы всѣ прокляты.

Вальнекъ вышелъ на улицу и вздохнулъ полною грудью.

— Ситецъ, полотно голландское, носки, — такъ обратился приказчикъ, останавливая лакомые взгляды на желѣзнодорожниковъ Вальнека.

Единственное непріятное чувство, которое испытывалъ Вальнекъ — это была мысль о племянницѣ, которой надо еще объяснить неожиданную перемѣну, постигшую его, а, слѣдовательно, и ее. Вальнеку жаль было огорчать эту племянницу съ улицы,

уже успѣвшую укрѣпиться въ мысли, что завтрашній день ея обезпеченъ.

Вальнекъ вошелъ въ магазинъ и съ достоинствомъ, ему присущимъ, набралъ разныхъ утѣшеній своей спутницѣ на 150 рублей.

— Деньги двадцатаго... Росписку...

— Очень хорошо-съ...

Приказчикъ быстро написалъ счетъ и ловко положилъ его передъ невозмутимо сидѣвшимъ Вальнекомъ.

Вальнекъ отстранился, сдвинулъ брови и спросилъ оторванно-равнодушно:

— Гдѣ?

Приказчикъ указалъ пальцемъ.

Вальнекъ обмакнулъ перо, посмотрѣлъ на него на свѣтъ и росписался: Инженеръ-технологъ Вальнекъ-Вальновскій.

— Кстати, у васъ коварда и знакъ на шапку есть?

— Пожалуйте...

— Это ужъ такъ запомнимъ,—проговорилъ Вальнекъ, выходя къ нагруженному извозчику въ шапкѣ съ кокардой и знакомъ.

— Пожалуйста, не беспокойтесь...

Въ тотъ же день, подъ вечеръ, маленькій пароходъ отвалилъ отъ берега. Единственныхъ три пассажира: Вальнекъ, племянница и какой-то молодой господинъ, сидѣли на палубѣ.

Пріятная прохлада потянула съ рѣки отъ задвигавшагося парохода.

На душѣ у Вальнека было легко и спокойно.

Его племянница суетилась около чая, сервированнаго на чистой скатерти.

Вальнекъ давно уже не ощущалъ того удовольствія отъ семейной обстановки, такого отдыха души и тѣла, какой испытывалъ теперь.

И впереди пять, шесть дней и всѣ такіе-же, всѣ съ правомъ забыть вся и все и чувствовать полное удовлетвореніе сытой довольной жизни. А тамъ...

Вальнекъ отогналъ мрачныя мысли и оглянулся на свою спутницу. А какое удовольствіе у нея?!

Какъ преобразилась она и какъ стала похожа и она на счастливую, довольную женщину.

И Вальнекъ съ удовольствіемъ смотрѣлъ на свою племянницу: судьба уже слѣпила эти два оторванныхъ листка своей мастики.

А тамъ въ Кіевѣ?! мелькнуло въ головѣ Вальнека.

„Все будетъ хорошо“!—подумалъ строго вдохновенно Вальнекъ и перевелъ глаза на молодого человѣка.

Молодой человѣкъ почтительно смотрѣлъ на племянницу.

„О, люди, люди“!—подумалъ Вальнекъ.—„Давно-ли съ этой самой племянницей не хотѣли говорить, а теперь этотъ, вѣроятно, будетъ счастливъ, если я представлю его“...

Вальнекъ встрѣтился глазами съ молодымъ человѣкомъ и, сдѣлавъ нерѣшительное движеніе, подошелъ къ нему.

— Инженеръ, графъ Вальнекъ-Вальновскій,—прошу пана...

Вальнекъ величественно пожалъ руку и жестомъ пригласилъ къ чайному столу молодого человѣка.

— Графиня Вальнекъ-Вальновская — племянница... Прошу пана...

Хорошо засыпалъ Вальнекъ въ этотъ вечеръ подъ убаюкивающий говоръ воды и однообразный стукъ машины...

Не хорошіе сны только снились Вальнеку.

Снилось ему, что сидитъ у него на колѣняхъ оборванный десятилѣтній, грязный сынъ его Владекъ. Сидитъ и плачетъ, такъ плачетъ, и такъ болитъ его, Вальнека, сердце.

Ахъ, Боже мой, его ли то сынъ, его ли то Владекъ, котораго когда-то чистаго, въ шелковыхъ башмачкахъ, держалъ онъ на своихъ колѣняхъ и цѣловалъ его маленькія, нѣжныя ножки... Э-эхъ, какіе грязные, дырявые, вонючіе сапоги теперь на тѣхъ ножкахъ...

Ахъ, какъ плачетъ Владекъ, какъ сжимается сердце Вальнека.

— Не плачь, Владекъ, не плачь, мой сынъ любимый... Сжалится надъ нами Господь... вырастешь какъ-нибудь... Матка Бозка пошлетъ тебѣ богатую невѣсту...

Ахъ, плачетъ маленький Владекъ, плачетъ потому, что ѣсть хочетъ. И тяжело такъ Вальнеку: знаетъ онъ, какъ накормить сына, знаетъ, что есть у него, Вальнека, на груди завѣтный мѣшечекъ, куда зашилъ онъ свои деньги.

Уже не Владекъ, самъ Вальнекъ плачетъ, и воетъ и бьется его тѣло подъ гнетущимъ кошмаромъ.

Проснулся молодой человѣкъ и смотритъ на Вальнека сквозь просвѣтъ свѣтлой ночи. Всталъ тихо, подошелъ и опять смотритъ и видитъ, какъ выбился мѣшечекъ съ деньгами изъ-подъ рубахи и танцуетъ на бьющейся груди у Вальнека.

Подумалъ молодой человѣкъ, вынулъ ножъ и, отрѣзавъ осторожно шнурочекъ, положилъ деньги Вальнека въ свой карманъ.

Приснилось Вальнеку, что отдастъ-таки сыну онъ деньги,—

отдалъ, хоть и жалъ было. И опять заснулъ Вальнекъ такъ крѣпко, точно въ бездну какую провалился.

Тихо кругомъ, стала машина и вода не говорить больше: ночуетъ пароходъ у пристани.

Неясная тѣнь молодого человѣка скульзнула по трапу и скрылась на берегу въ селѣ въ предразсвѣтномъ туманѣ.

Вотъ звякнулъ почтовый колокольчикъ, залился и потонулъ въ сонномъ воздухѣ: на лошадяхъ поѣхалъ дальше молодой человѣкъ.

Все спитъ: и вода, и берегъ, и пароходъ, и другой пароходъ тамъ въ неясномъ отраженіи воды, и Вальнекъ.

Такъ хорошо тянетъ свѣжій воздухъ изъ отворенной двери, такой прохладой обдаетъ его истрепавшееся тѣло...

Н. Гаринъ.

ВЪ ТУНКУ.

(Изъ скитаній среди бурятъ В. Сивирѣ).

— Эхъ, вы! ну! „Съ горки на гореу, дастъ баринъ на водку!“, — выражаясь о себѣ въ третьемъ лицѣ, побуждаю я молчаливо сидящаго на козлахъ ямщика-бурята понукать его лошадей.

Бурятъ молчитъ и, натягивая вожжи, видимо, сдерживаетъ лошадей, слышавшихъ мой громкій окрикъ.

— Двигай же, двигай! Лошади хорошія, тарантасъ легкій, — ѣхать можно; поѣдешь тихо, не получишь на водку! — стараюсь я, при самомъ началѣ пути, обезпечить себя скорой ѣздой на протяженіи всего перегона.

Бурятъ оглядывается на меня, молча смотритъ мгновеніе, повидимому, изслѣдуя вопросъ о степени строгости и важности везомаго барина, и, не видя на моемъ лицѣ ничего устрашающаго, рѣшается сдѣлать возраженіе.

— Тарантасъ ладна, кони кароши, братски ¹⁾ ящикъ тоже малъ-мало ладна, только дорога, гора не ладна... — хвалитъ онъ себя, лошадей и мой тарантасъ, хуля въ то же время дорогу.

— Дорога гладкая, грязи нѣтъ, а ямщикъ плохой — везти, должно быть, не умѣетъ, — возражаю я буряту.

— Зачѣмъ плохой? Ямщикъ совсѣмъ ладна, вовсе ладна, свой дѣлъ вовсе хорошо знаетъ, свои кони сильна любитъ, и кони бурятски ямщикъ сильна любятъ, а гора не ладна, вовсе не ладна... Гора больша, съ этой гора нельзя прытеа бѣгать: конь разбѣжитъ, себя расшибетъ, тарантасъ расшибетъ, бурятски

¹⁾ Бурятскій.

ямщикъ убѣтъ. Гора крутой, малъ-мало вовсе крутой, повороту много будетъ... Тебѣ не видна, ничего здѣсь не видна, — ямщикъ знаетъ: повороту много, крутой повороту; прытко бѣгать — слѣтѣть можна: конь разбѣжить — братски ямщикъ силъ не хватить; не сдержитъ — пропадай голова, только и была!...

— Можетъ быть у тебя лошади съ горы спускать не привычны? — справляюсь я на всякій случай.

— Со всяка гора конь привышна, вовсе привышна, только малъ-мало вожжа держи крѣпко, онъ свое дѣло знать будетъ... Погляди самъ, какъ спускаетъ — можна ли лучше? Эти конь не спустить — никакой не спустить. Природна конь братскій, здѣшнимъ горамъ вовсе привышна.

Я гляжу на „природна конь братски, въ здѣшнимъ горамъ вовсе привышна“ и люблюсь ими. Высокія, широкогрудныя, сильныя, онѣ, кажется, способны сдвинуть цѣлую гору! Твердо, увѣренно ступаютъ онѣ по крутому каменистому спуску, вначалѣ казавшемуся мнѣ совсѣмъ незначительнымъ. Но за первымъ поворотомъ пошла еще большая кручь и, уходя въ даль и глубь, жесткая, каменистая, горная почтовая дорога тамъ ниже, неожиданно пропадая въ тайгѣ, видимо, дѣлала еще большій изгибъ по наклону. Пристяжки нѣсколько поджались къ передку тарантаса и шли вольно, нисколько не натягивая постромокъ, держась такъ увѣренно и свободно, какъ будто шагали по самому ровному полю. Коренникъ, держа на себѣ всю тяжесть надвигающагося на него грузнаго троечнаго тарантаса, шелъ ровно и твердо, повидимому, не дѣлая никакихъ особенныхъ усилій, хотя мѣстами оставшійся на спускѣ, обледенѣвшій снѣгъ, скользкій и твердый, значительно увеличивалъ естественное стремленіе тарантаса подъ гору.

Этотъ обледенѣвшій снѣгъ и увеличивавшаяся крутизна спуска невольно побудили меня возбудить вопросъ о необходимости подтормозить экипажъ.

— Бурятски почтовый конь горамъ малъ-мало сильна привышна — какой хошь гора сдержитъ — съ гордостью посмотрѣвъ на меня, отвѣтилъ ямщикъ.

— А этой горѣ, этому спуску скоро конецъ?

— Малъ-мало начало только. Этому спуску всего, почитай, трой верстъ будетъ.

Я вышелъ изъ экипажа, чтобы „промяться“. По круто спускающемуся каменистому грунту почтоваго тракта пошелъ я внизъ, вглядываясь въ темнѣющую впереди даль.

Мрачная и суровая въ своемъ еще зимнемъ нарядѣ, мерт-

венно-тихая здѣсь въ этотъ періодъ года, когда весенній расцвѣтъ природы еще почти не коснулся прибайкальской горной страны, безпредѣльная сибирская тайга сплошной темной стѣной стояла по обѣ стороны тракта. Узкая лента дороги, уходя круто внизъ, суживалась на-нѣтъ, совершенно затериваясь для глаза среди этихъ двухъ стѣнъ изъ могучихъ сосенъ, лиственницъ и кедровъ, ее окаймлявшихъ. Медленно-важно съ характернымъ шумомъ, наводящимъ на непривычнаго невольное уныніе и тоску одиночества, покачивались громадныя мшистыя ихъ вѣтви, распростертыя надъ моею головою, словно благословляя меня на путь дальній, или—судя по тревожному гулу въ верхнихъ вѣтвяхъ—скорѣе предостерегая путника итти дальше.

Съ вершины горы, откуда мы только-что начали спускаться, открывался величественный видъ на сосѣднія горы, на безпредѣльную „черную“ глухую тайгу, сплошь ихъ покрывающую. Куда только глазъ хваталъ, всюду виднѣлась эта безконечная, островершинная тайга, щетинистая крышка которой, то понижаясь, то опускаясь, то уходя куда-то глубоко, глубоко внизъ, или вдругъ обрываясь у виднаго издали бѣлаго скалистаго обрыва, то выдвигаясь вверхъ по самому разнообразному рельефу, вдали синѣла все больше и больше. Тамъ она сливалась съ горизонтомъ въ видѣ сплошной темной синевы, окраина которой мелко зубчатою неровною щетиной красиво выдѣлялась на свѣтлой синевѣ совершенно яснаго неба. Казалось, что находишься въ самомъ центрѣ горной страны, столь же обширной и безконечной, какъ сама сибирская тайга, потому-что всюду, гдѣ могъ усмотрѣть вооруженный биноклемъ глазъ—и сзади, и спереди, и съ боковъ, со всѣхъ сторонъ толпились высокія таежныя горы, одна другой выше, одна другой могучѣе и одна другой угрюмѣе.

— Рѣка Иркутъ тутъ подходитъ; около нея и толпится большая часть этихъ горъ,—объяснилъ мнѣ мой спутникъ, тоже вышедшій изъ тарантаса. Здѣсь рѣка эта, стѣсненная высокими прибрежными скалами, гребни которыхъ по самымъ вершинамъ обрамлены громадными кедрами и „листвягами“, снизу казущимися чуть замѣтными щетинками, имѣетъ чрезвычайно живописный видъ, обладаетъ значительною быстротою и образуетъ рядъ опасныхъ пороговъ.

Я силился разглядѣть если не ложе рѣки, то, по крайней мѣрѣ, опредѣлить то мѣсто, гдѣ горы, которыя составляютъ ея берега; но тщетно: въ этомъ хаосѣ горныхъ вершинъ, заслонявшихъ одна другую, не было возможности ориентироваться человѣку, незнающему съ мѣстностью.

Тѣмъ временемъ тарантасъ уже исчезъ за извилиной дороги, и только изрѣдка доносилось до насъ унылое позвякиваніе колокольчика. Мы стали быстро спускаться. По мѣрѣ спуска, сообразно поворотамъ дороги, измѣнялся и отрывавшійся глазамъ ландшафтъ. Тѣ, что съ вершины видно было плохо, здѣсь опредѣлялось яснѣе, или уходило еще больше въ даль и совсѣмъ исчезало изъ виду; тѣ, что раньше было не дурно, становилось виднѣе и красивѣе. Островоконечная верхушка, торчкомъ торчавшая среди ровной щетины зеленыхъ вершинъ, съ однимъ изъ поворотовъ пропала вовсе, и взамѣнъ ея выдвинулась на передній планъ куполообразная громада, сплошь закутанная въ темную таежную зелень. Громада эта, съ изгибами дороги, росла передъ нами все больше и больше и когда выдѣлилась прямо передъ глазами—„рукой подать“—уже ничѣмъ почти не заслоненная, кромѣ мелкихъ пигмеевъ-горъ,—ея сосѣдей, невольно поразила своей необъятной величиной меня, еще не бывавшаго въ горныхъ странахъ. Сколько тяжелаго компактнаго матеріала, сколько земли ушло на созданіе этой махины; какая страшная масса тяжести гнететъ въ этомъ мѣстѣ внизъ, въ центру земли, какая гигантская сила нужна была, чтобы выдвинуть эту громаду столь высоко кверху и такъ широко вправо и влево!—невольно подумалось мнѣ, глядя на гору. И всѣ горы, намъ видимыя, поражали не красотой и изяществомъ рельефа, а именно своей объемистостью, массивностью,—поражали огромностью массъ и тяжестей, скопленныхъ на громадномъ пространствѣ и, казалось, страшно давящихъ земную поверхность своимъ неисчислимо-тяжелымъ грузомъ. Но если не поражали своей красотой отдѣльныя вершины, то общій видъ этого горнаго пейзажа былъ красивъ настолько, что взоръ не могъ отъ него оторваться, и чѣмъ больше я смотрѣлъ, тѣмъ больше мнѣ хотѣлось проникнуть въ даль, заглянуть въ самые уюромные, самые тѣнистые и угрюмые уголки, лощины, пещеры, взобраться на самыя большія выси, на самыя крутыя лохматыя вершины и оттуда снова и снова полюбоваться этимъ суровымъ и дикимъ горнымъ пейзажемъ, живописныя детали котораго измѣнялись быстро, какъ цвѣтъ хамелеона, почти вслѣдъ за каждымъ нашимъ передвиженіемъ съ мѣста на мѣсто.

Внизу, въ концѣ спуска, гдѣ уже ожидала насъ тройка, у широкаго прочнаго моста, рѣчка, чрезъ которую онъ былъ перекинута, еще не освободилась отъ льда, хотя невадалекѣ виднѣлась большая полынья. Бѣлоснѣжный покровъ гладко замерзшей извилистой горной рѣчки—притока Ирвута—обрамленный тем-

ными островерхими елями и соснами, такъ манилъ къ себѣ взоръ, что я не удержался и, испробовавъ прочность льда, пошелъ вдоль по рѣкѣ. Она вертѣлась и извивалась, какъ угорь, — эта бѣлая лента, опущенная мрачной темнозеленой бахромой изъ могучихъ елей, задумчиво покачивавшихъ огромными вѣтвями и тихо шептавшихъ о чемъ-то безмолвной, застывшей рѣкѣ. Ледъ изрѣдка поскрипывалъ подъ ногами, и гулъ отъ шаговъ бѣжалъ по льду впередъ меня; пушистый сухой снѣгъ, недавно выпавшій, шуршалъ и похрустывалъ подо мною. А рѣка стояла безмолвная, скованная, и только отдаленная полынья весело играла на солнцѣ тысячью искръ отъ переливовъ бурливой волны горнаго порожистаго потока.

— Своротите направо къ берегу, остановитесь, наклонитесь и прислушайтесь! — крикнулъ мнѣ мой спутникъ.

Я исполнилъ его совѣтъ и тотчасъ же услышалъ прямо подъ своими ногами, подъ льдомъ гулъ и клокотанье воды, настолько сильное, настолько явственное, что мнѣ стало жутко стоять на этомъ мѣстѣ. — Такъ и казалось, что сейчасъ вода прорветъ стѣсняющій ее покровъ и вырвется наружу, поглотивъ меня навсегда. Попробовавъ крѣпость льда, я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по направленію наибольшаго шума и убѣдился въ томъ, что самый сильный гулъ, самый сильный прибой какъ разъ у самаго берега подъ могучей сосной, подмытой у самаго корня и безпомощно свѣсившейся надъ изрытымъ водою берегомъ.

— Сюда весь прибой рѣки; отраженный отъ вонъ-той скалы быстрый горный потокъ всею массою устремляется въ этотъ берегъ, — подъ эту, теперь погибающую сосну, чтобы отсюда крутымъ поворотомъ налѣво вновь перейти подъ противоположный берегъ и тамъ, въ свою очередь, разрушать все, что есть на берегу и подъ берегомъ, — объяснялъ мнѣ мой спутникъ.

— Но какова должна быть сила воды, если и изъ-подъ льда такъ гулко раздается ея неумолчное клокотанье?! — вслухъ подумалъ я, прислушиваясь къ шуму подъ ногами. — Удивляться надо, какъ могла здѣсь вода замерзнуть и сковаться льдомъ на цѣлую зиму.

— Таковы наши морозы. Впрочемъ рѣка не вся замерзаетъ зимою: та полынья въ самомъ быстромъ мѣстѣ открыта всю зиму; съ другой стороны, рѣка неглубока, потому морозу легче сковать ее льдомъ, и самый шумъ подъ льдомъ тѣмъ больше силенъ, чѣмъ болѣе мѣсто неглубоко, и вода съ силой бьется о камни, частью подводные, частью торчащіе здѣсь изъ воды даже надъ льдомъ, — вотъ какъ этотъ, что сѣрой массой торчитъ надъ облегающею его ледяною пеленой!

Изъ лѣсистой рѣчной долинки, со всѣхъ сторонъ замкнутой, среди толпящихся отовсюду горъ поѣхали мы дальше, все больше и больше забирая въ высь и безпрестанно оглядываясь по сторонамъ на непрерывно измѣняющійся горный ландшафтъ, который и назади, на уже пройденномъ и видѣнномъ пути, по мѣрѣ удаленія отъ него, представлялся чѣмъ-то новымъ, видоизмѣняясь на разные лады въ зависимости отъ переменъ мѣста наблюденія.

— Подымаясь и спускаясь, мы въ концѣ-концовъ достигнемъ самыхъ высокихъ мѣстъ на этомъ почтовомъ перегонѣ, гдѣ, вѣроятно, еще совсѣмъ не стаялъ снѣгъ, такъ что придется ѣхать нѣсколько верстъ съ колесами, до осей въ него погруженными, — предупреждалъ меня спутникъ. — А затѣмъ постепенно спустимся и въ долину Тунки къ излюбленнымъ вами бурятамъ.

— Въ славныхъ, братъ, мѣстахъ живешь ты, милый человѣкъ, — обратился я къ ямщику-буряту, снова усѣвшися въ тарантасъ.

Буряты недоумѣло оглянулись на меня.

— Хорошія, говорю, мѣста здѣсь, въ которыхъ вы, буряты, живете, — пояснилъ я ему.

— Братски здѣсь никто не живетъ: горы — мѣста не ладны, скоту пастись негдѣ, звѣрь обижаютъ; братски горы не любятъ, — въ горахъ польза нѣту: гора — штука не годна, никуда не годна.

— Для буряты „не годна“ — можетъ быть, для русскихъ годна? Для промысла — для охоты, вѣроятно, мѣсто удобное: звѣря много, кедръ растетъ — орѣхи собирать можно... Ну, лѣсу, конечно, сколько хочешь... — высказалъ я, не будучи въ состояніи повѣрить, чтобы столь красивая мѣстность была совсѣмъ бесполезна для человѣка.

За бурята мнѣ отвѣтилъ мой спутникъ, пояснивъ, что въ этой горной мѣстности почти никто не живетъ, что хотя лѣсу и много, да толку отъ него мало — большая часть его, произрастая въ горахъ, не можетъ быть чрезъ эти горы доставлена къ сплавной рѣкѣ. Охота и сборъ орѣховъ и ягодъ здѣсь дѣйствительно существуютъ и даютъ нѣкоторый заработокъ мѣстному, преимущественно русскому, населенію, но этимъ и исчерпывается вся польза, приносимая столь обширнымъ горнымъ райономъ, раскинувшимся здѣсь между Байкаломъ и Тункинскою долиной и сверхъ того сливающимся, съ одной стороны, съ Хамаръ-Дабаномъ и вообще съ прибайкальскими горами обоихъ береговъ Байкала, съ другой — съ Тункинскими Альпами и Саянами.

— Громадная площадь эта дика и пустынна; если здѣсь и

есть огромный, дѣйствительно огромный, просторъ, то лишь для звѣря, но не для человѣка. Красота мѣста далеко, знаете, не всегда идетъ параллельно съ пользой, имъ приносимой, — заключилъ свое поясненіе мой спутникъ.

— Какъ бы то ни было, а все-таки мѣстность очень красива. У насъ, въ слегка лишь волнистой „Россіи“, тысячи верстъ проѣдешь въ какую угодно сторону и не увидишь такой красоты, такого разнообразія рельефа. Наскучили мнѣ однообразные виды „Россіи“, и здѣшніе виды, на мой взглядъ, куда лучше!

— Ваши, говорю, мѣста, — обратился я на этотъ разъ опять къ буряту, желая и нѣсколько польстить ему, и узнать, что онъ мнѣ на это отвѣтитъ: — ваши мѣста, говорю, куда больше мнѣ нравятся, чѣмъ у насъ, въ „Россіи“.

— Наши степны мѣста — мѣста больна ладна, трава большой, утугъ ¹⁾ малъ-мала тоже ладна бываетъ, кочевать буряту вовсе ладна, — не понявъ меня, отвѣтилъ бурятъ.

— И лучше, говорю, ваши мѣста, чѣмъ тѣ, гдѣ я жилъ и откуда къ вамъ пріѣхалъ, лучше, чѣмъ у насъ, въ „Россіи“, — настаивалъ я на своемъ.

— Это вѣрно. Братски человѣкъ степь нада, братски городу не живетъ, ему городу не ладна...

— Я вѣдь не про городъ говорю, а сравниваю ваши мѣста съ тѣми, гдѣ я жилъ прежде въ „Россіи“.

— Въ Расіи?

— Да, въ „Россіи“.

— А какъ далеко?

— Очень далеко, — нѣсколько тысячъ верстъ отсюда...

— Тысячъ верстъ... тысячъ верстъ... а-а-а-а!!.. — качая головой, раздумчиво и удивленно отвѣтилъ бурятъ.

— За Иркутскомъ, значить? — переспросилъ онъ.

— Разумѣется, за Иркутскомъ.

— Большая городъ?

— Иркутскъ?

— Не... Я Иркутска городъ бывалъ, знаю, — городъ больша, больша городъ... А твой городъ больша?

— Въ которомъ я жилъ?

— Ну!

— Тебѣ же зачѣмъ — вѣдь ты его даже совсѣмъ не знаешь?

— Ты говорилъ...

¹⁾ Унавоженный покосъ.

— Я говорилъ про „Россію“, а ты про городъ...

— Вотъ-вотъ: „Расію“, я и сказывалъ: „Расію“... Большая городъ Расію?

— Это не городъ, а страна — большая страна, гдѣ много городовъ и много разныхъ губерній, — пояснилъ я, пораженный полнымъ невѣдѣніемъ російскаго подданнаго о томъ, что такое Россія ¹⁾.

— Ну-ну-ну!.. а-а-а!.. — удивленно махалъ руками и кивалъ головой бурятъ, слушая мои разъясненія по поводу того, что такое „Россія“. А мнѣ, глядя на него, невольно вспомнились щедринскія „Мнѣнія знатныхъ иностранцевъ о помпадурѣхъ“, гдѣ Ямудскій принцъ Изеддинъ-Музаферъ-Мирза спрашиваетъ своего воспитателя Хабибуллу Науматыловичъ, бывшаго служителя въ отелѣ „Бель-вю“: „какой-такой вещь Россія?“ и возмущенный такимъ незнаніемъ, воспитатель, въ изумленіи, восклицаетъ: „такой дурацкой вещь Россія не понимаешь?!...“

— Большая губернія, говоришь?

— Очень большая: тамъ нѣсколько, много губерній, много городовъ разныхъ у насъ въ Россіи, и народу живетъ разнаго много — и чисто русскихъ, и инородцевъ всякихъ, въ родѣ бурятъ, напимѣръ.

— А нашихъ братскихъ нѣту?

— Нѣтъ нѣту.

— А-а-а... це-це-це!!... — опять запричможивалъ онъ въ удивленіи.

— Плохой ваша губернія, должно быть, — заговорилъ снова ямщикъ: — братски не живетъ: должно быть, степи нѣту, — малъ-мало негодно мѣсто.

— Зато для другихъ народовъ и для иныхъ занятій хорошее мѣсто: для хлѣбопашества, для промысловъ разныхъ мѣсто хорошее на моей родинѣ. Ты, братъ, мою родину не хули, а то я обижусь, — шутя добавилъ я.

— „Родинъ“ — городъ больше Иркутска? — спросилъ опять любопытный бурятъ, и на этотъ разъ разсмѣшил даже моего спутника, привыкшаго уже имѣть дѣло съ бурятами.

Зашла рѣчь о самомъ бурятѣ и его родинѣ. Оказалось, что онъ живетъ въ одномъ изъ ближайшихъ тункинскихъ улусовъ, а на почтовой станціи, откуда мы выѣхали, служить ямщикомъ-работникомъ у богатаго бурята, содержащаго станцію.

¹⁾ Въ Сибири Европейскую Россію зовутъ просто „Россіей“ (все равно какъ въ Европейской Россіи Азіатскую Россію зовутъ просто „Сибирью“).

— Хозяйство у тебя есть? юрта есть въ улусѣ? — спросилъ его мой спутникъ.

— Юрта малъ-мало есть зимникъ, лѣтникъ нѣту.

— Не кочуешь?

— Юрта малъ-мало вовсе пуста, стоитъ заколоченъ, кочевать шабашъ: работникахъ круга годъ живу.

Въ поясненіе приведеннаго разговора надо сказать теперь же, что инородцы раздѣляются на осѣдлыхъ, кочующихъ и бродячихъ. Первые живутъ, какъ и русскіе, осѣдло, круглый годъ въ одномъ мѣстѣ; послѣдніе болѣе или менѣе часто, смотря по надобностямъ своего хозяйства и промысла, переселяются съ мѣста на мѣсто, останавливаясь на временное житіе каждый новый разъ тамъ, гдѣ удобнѣе, гдѣ больше понравится. Такъ называемые же кочевые инородцы имѣютъ для своихъ кочеваній опредѣленные мѣста, въ которыя обязательно возвращаются на житіе чрезъ извѣстные промежутки времени. Мѣсто, гдѣ они живутъ зимою, называется зимникомъ; тутъ обыкновенно строятся и дома, и юрты (громадное большинство бурятъ нынѣ живетъ уже въ домахъ, но старики-буряты многихъ мѣстностей Иркутской губерніи еще помнятъ то время, когда огромное большинство жило только въ юртахъ). Около юртъ въ зимникахъ имѣются навѣсы и стайки для скота, — собственно для молодыхъ животныхъ, которыя еще не привычны къ морозамъ, — и для помѣщенія рогатаго скота на ночь. Вообще же большая часть скота — въ особенности днемъ — и зимою находится подъ открытымъ небомъ. Навозъ, остающійся отъ этого скота, всю зиму бродячаго около улуса, удобряетъ почву на всемъ обыкновенно огороженномъ въ лѣтнее время пространствѣ, въ предѣлахъ котораго скотъ бродитъ зимою. Здѣсь же нарочно разбрасываютъ буряты и навозъ, скопляющійся въ ихъ стайкахъ и хлѣвахъ. На этомъ мѣстѣ лѣтомъ вырастаетъ хорошая трава, вообще болѣе питательная и болѣе цѣнная въ хозяйствѣ и въ продажѣ; сѣно, накашиваемое на этихъ удобренныхъ покосахъ, называется утужнымъ, такъ какъ самые покосы зовутся утугами. А такъ какъ съ наступленіемъ весны надо дать травѣ возможность расти безъ помѣхи, то является необходимость перегнать скотъ подалѣе отъ утуговъ. Ради этого, кочевые буряты переселяются на лѣтнее житіе въ другое, тоже разъ навсегда избранное для этого, мѣсто, называемое лѣтникомъ. По внѣшности лѣтники обыкновенно отличаются отъ зимниковъ тѣмъ, что въ нихъ больше юртъ и меньше домовъ, чѣмъ въ послѣднихъ (такъ какъ лѣтомъ сравнительно удобно жить и въ юртахъ); а по положе-

нію тѣмъ, что къ лѣтнику обыкновенно примыкають и лѣтнія пастбища для скота. Есть еще мѣстами отдѣльные улусы, имѣющіе, кромѣ лѣтниковъ и зимниковъ, весенники и осенники, куда буряты этихъ улусовъ переселяются на весеннее и осеннее время, опять-таки ближе къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ въ это время пасется ихъ скотъ ¹⁾. У нѣкоторыхъ, правда, немногихъ, улусовъ лѣтники расположены совсѣмъ близко—всего какихъ-нибудь въ 100—200 саженьяхъ отъ своихъ зимниковъ—въ зависимости отъ относительнаго расположенія зимнихъ и лѣтнихъ жилищъ утуговъ и лѣтнихъ пастбищъ; большею же частию разстояніе между лѣтникомъ и зимникомъ достигаетъ 2—3—5 и даже болѣе верстъ. И во всякомъ случаѣ, кочеваніе это весьма сходно съ практикующимися во многихъ деревняхъ Сибири переѣздами русскихъ крестьянъ на лѣто въ такъ называемыя „заимки“, или лѣтнія деревни, мѣстоположеніе которыхъ обыкновенно пріурочено къ положенію отдаленныхъ полей, куда далеко было бы ѣздить для пахоты и жнитва, а также за соломой и мякиной для прокорма скота, который, будучи перегнанъ на заимки же, можетъ быть снабжаемъ этимъ кормомъ на мѣстѣ ²⁾.

Чтобы больше отмѣтить разницу между осѣдлыми (ясочными тоже), кочевыми и бродячими инородцами, слѣдуетъ еще сказать, что они разнятся между собою и по размѣрамъ взимаемыхъ съ нихъ податныхъ тягостей.

Какъ элементъ, среди сельскаго населенія наименѣе культурный, буряты, и вообще инородцы, наилегче поддаются эксплоатации. Это подало нѣкоторымъ сибирякамъ поводъ, ради шутки, конечно, толковать значеніе и происхожденіе словъ: „кочевой“, „осѣдлый“, („ясачный“) и „бродячій“ слѣдующимъ образомъ. „Кочующій“—тоже что *коштующій*, потому что кочевникъ постоянно вынужденъ „коштовать“ свое начальство ³⁾ и кулаковъ; осѣдлый, или, какъ ихъ обыкновенно называютъ крестьяне, „осѣдланый“—осѣдланъ кулаками и начальствомъ; слово „ясачный“ происходитъ-де отъ „я“-„сакъ“, т.-е. это есть *сакъ*, изъ котораго инородческое начальство черпаетъ все для

¹⁾ Осенники, напр., обыкновенно находятся около отдаленныхъ пашень. Перебравшись туда послѣ жатвы, буряты пасутъ тамъ свой скотъ по живнью и кормятъ его соломой и мякиной, которую иначе далеко было бы возить въ зимникъ.

²⁾ Есть впрочемъ заимки, куда нѣкоторые жители перебираются на постоянное жительство—живутъ тамъ круглый годъ.

³⁾ Ближайшее начальство бурятъ: ихъ выборные тайши (старшины) и родовые старосты.

себя необходимое; а бродячіе инородцы постоянно-де *бродятъ* куда придется, въ вѣчно-тщетной надеждѣ избавиться отъ эксплоатаціи своего начальства.

Въ наше время, когда почти всѣ буряты имѣютъ въ зимнихъ дома, бурята, имѣющаго тамъ только юрту, а *ргіогі*, почти навѣрное можно считать за бѣдняка, не имѣющаго средствъ для покупки дома. А если у него—кочеваго бурята—нѣтъ въ лѣтнихъ даже и юрты, то сомнѣніе въ его зажиточности обыкновенно становится увѣренностью. Такимъ образомъ нашъ возница Кугунъ Балдашкинъ, какъ утверждалъ и самъ онъ, былъ бѣднякъ, не имѣющій хозяйства.

— Гдѣ же твое хозяйство, имущество, Кугунъ Балдашкинъ?

— Былъ хозяйство мало-мало ладно у Балдашки Шоботова, да просудился—ничего не стало.

Я съ недоумѣніемъ оглянулся на моего спутника...

— У какого Балдашки Шоботова?—я вѣдь про тебя самого спрашиваю...

— Вѣроятно, онъ говоритъ о своемъ отцѣ, пояснилъ спутникъ— у бурятъ есть только имя и отчество, а нѣтъ фамиліи, или, если хотите, есть имя и фамилія, но нѣтъ отчества: каждому бурятѣ при рожденіи дается имя, а отчество или фамилію,—считайте, какъ хотите,—онъ получаетъ отъ имени отца. Напр., нашего бурята зовутъ Кугунъ, его отца звали, Балдашкой, поэтому онъ—Кугунъ *Балдашкинъ*; его дѣда звали вѣроятно, Шоботомъ, поэтому его отецъ зовется Балдашка Шоботовъ. Вотъ спросите у самого Кугуна, если хотите удостовѣриться...

Любопытный Кугунъ, сидя въ полъ-оборота къ намъ и прислушавшись къ рѣчи моего спутника, тотчасъ подтвердилъ его слова.

— Это точно—моего батюки старикъ Шоботомъ звали. Пропалъ, дуракъ, ничего не оставилъ Кугуну, все просудился... Разорился и пропалъ!

— Куда пропалъ?

— „Пропалъ“, значить, умеръ,—вставилъ въ поясненіе мой спутникъ. Иначе сказать,—Балдашка Шоботовъ—его отецъ былъ зажиточенъ въ свое время, но просудилъ все свое имущество въ спорѣ съ кѣмъ-нибудь изъ своихъ сородичей и затѣмъ померъ, не оставя сыну ничего. Буряты, знаете, ужасные сутяги: иногда изъ-за пустяковъ просуживаютъ другъ съ другомъ массу денегъ, будучи, повидимому, весьма упорны или, можетъ быть, вѣрнѣе сказать, весьма упрямы въ преслѣдованіи своей цѣли. Знающіе люди говорятъ, что сутяжничество среди бурятъ особенно раз-

вилось съ того времени, какъ началось ихъ постепенное сближеніе съ русскими; если это вѣрно, то дикари, какъ это обыкновенно бываетъ, очевидно, переняли отъ русскихъ дурныя черты ихъ характера и въ томъ числѣ страсть къ сутяжничеству... Я не разъ задумывался надъ этой страстью и не могъ себѣ вполне уяснить, чѣмъ можно объяснить ея существованіе — не стоитъ ли оно въ связи прежде всего съ недостаткомъ умственнаго развитія, съ отсутствіемъ иныхъ болѣе высокихъ интересовъ и также съ изобиліемъ у бурята свободнаго времени, когда ему совершенно почти нечего дѣлать (зимою)? Кромѣ того не объясняется ли это и сложившимися у бурятъ отношеніями между высшими и низшими, слабыми и сильными?.. Сильный, богатый, держащій другихъ въ своихъ рукахъ, въ экономической кабалѣ — относится деспотически къ находящимся у него въ зависимости, а послѣдніе передъ нимъ раболѣпствуютъ, не стѣсняясь, при случаѣ, если нѣтъ риска претерпѣть за надутельство, обмануть своего „благодѣтеля“ наилучшимъ способомъ, продолжая тѣмъ временемъ буквальныйшимъ образомъ ползать у него въ ногахъ, униженнѣйше передъ нимъ кланяться и заискивать. Въ этихъ взаимныхъ отношеніяхъ, конечно, много градацій и переходныхъ степеней, и вотъ, мнѣ кажется, среди этой фальши отношеній юридически-равноправныхъ между собою сородичей, тоже лежитъ одна изъ причинъ ихъ страсти къ сутяжничеству, когда одинъ не хочетъ дѣлать уступки другому, считаетъ постыднымъ потерять въ спорѣ съ сородичемъ, домогается стать съ нимъ на равную ногу, или возвратить отобранное имъ у него по суду; другой стремится оттягать чужое имущество и т. п... Вообще, въ этомъ народѣ, насколько я его знаю, страшная смѣсь самыхъ разнообразныхъ и повидимому несомѣстимыхъ свойствъ: они раболѣпны, низкопоклонны и деспотичны, что впрочемъ одно съ другимъ всегда почти стоитъ въ извѣстной связи, они и коварны отчасти и трусливы, и любопытны до нельзя, хитры и въ то же время наивны и даже откровенны, какъ дѣти, — если дружески расположить ихъ въ свою пользу; они и сдержанны при своей трусливости и хитрости и въ то же время между собой болтливы чрезвычайно. При болтливости молчаливы, какъ пни, передъ чужимъ человѣкомъ, почему либо внушающимъ имъ страхъ, или опасеніе; при той же страсти болтать другъ съ другомъ отличаются недостаткомъ общности и далеко въ этомъ не доросли до русскаго мужа, хотя стадность — черта, весьма имъ присущая: куда большинство, туда и всѣ. Напр., многіе изъ толпы спустились ку-

паться—и почти всѣ остальные непременно туда же за ними, какъ бараны! Только ужъ въ отношеніи работы этой стадности нѣтъ, благодаря присущей имъ лѣни: хотя одни уже пошли на работу—у кого ея много,—другіе еще долго отлѣживаются, какъ бы приняться за дѣло попозже, хотя бы изъ-за этого и вышло нѣкоторое опозданіе, вредное въ хозяйствѣ.

Кугунъ Балдашкинъ, прислушивавшійся къ началу разговора, очевидно потерялъ его нить, не будучи въ состояніи понять мудренаго для него смысла рѣчей моего спутника. Поёрзавъ поэтому на козлахъ то въ ту, то въ другую сторону, и нѣсколько разъ оглянувшись на насъ, онъ рѣшилъ устремить свое вниманіе исключительно на лошадей и жестоко погналъ ихъ по глубокимъ колеямъ въ еще не растаявшемъ, но уже сильно запепелившемся снѣгѣ. Тарантасъ стало подбрасывать со стороны на сторону; мимо насъ замелькали изжелта-буроватые стволы сосенника съ ихъ зимнимъ пепельно-зеленымъ покровомъ, громадныя лиственницы съ опавшею зеленью, могучія и въ своей зимней спячѣ, отнимающей ихъ роскошный лѣтній нарядъ. Дорога опять какъ будто стала итти подъ гору.

Погода немного, разговоръ снова зашелъ о нашемъ возницѣ.

У тебя сколько женъ, Балдашкинъ? — спросилъ его мой спутникъ.

— Кугуна нѣтъ жена вовсе,—отвѣтилъ тотъ.

А была?

— Пробовалъ жениться, да не выженилъ никакъ. Бѣдна бурятъ плоха жить,—жена трудна достать...

Какъ же это ты пробовалъ жениться, да не „выженилъ“? Что это значить?—въ недоумѣніи спросилъ я Кугуна.

— Калымъ ¹⁾ не хватило. Бѣдну дѣвка хотѣла жену взять, чтобы мене калыму брали и то калымъ платить не хватила! Послѣ сговорилъ съ ней къ русски попъ бѣжать—выкреститься, чтобы безъ калыму жениться: самъ крестился, а дѣвку дорогой родные схватили—до русски попъ не допустили, въ улусъворотили. Такъ и остался Кугунъ безъ жена и крестился зря,—пользы не вышла. Послѣ ужъ махалъ рукой на жена—говорю: давай, Кугунъ, холоста станеть жить. Обойдется дѣло и безъ дѣвка!

Значить ты крещеный, Кугунъ?

— Крещена.

А какъ твое святое имя?

¹⁾ Выкупъ за невѣсту.

— Чего?

Какъ зовутъ тебя по крещенію?

— Какое имя попъ тебѣ далъ?—пояснилъ мой спутникъ.

— Забылъ мало-мало,—отвѣтилъ, подумавъ, Кугунъ.

Какъ забылъ?

— Малъ-мало давно было: много лѣтъ—лѣтъ два, или три назадъ было. Попъ сказалъ, бумажка далъ: „не теряй“, говорить. Бумажка пазухѣ долго носилъ, вся сторонѣ истрепалъ: мохната, грязна стала! Потомъ потерялъ, такъ и имя пропала...

— Отецъ и мать, значить, у тебя не крещены были?

— Крещены, крещены,—почему-то успокоительнымъ тономъ отвѣтилъ Кугунъ.

Мое недоумѣніе тотчасъ же разъяснилъ мнѣ мой спутникъ. По его словамъ, среди бурятъ нерѣдко бываетъ, что крещенные родители забываютъ или не считаютъ нужнымъ сообщать священнику о рожденіи дѣтей и послѣдніе остаются поэтому безъ крещенія.

— Что касается именъ, то крещенные кочевые буряты,—добавилъ онъ,—вообще рѣдко знаютъ свои православныя имена, такъ какъ, по старому обычаю, зовутся между собою бурятскими. Правда, у бурятъ мало своихъ специальныхъ именъ, но они этимъ не стѣсняются и употребляютъ, въ качествѣ именъ, названія всѣхъ извѣстныхъ имъ предметовъ, какія только имъ вздумается. Родился, напр., у бурятки сынъ, входитъ въ это время въ юрту какой-нибудь знакомый бурятъ, его и просятъ: „скажи имя сыну“. А онъ, ничтоже сумняшася, и даетъ ему первое пришедшее въ голову. Увидѣлъ, напр., въ это время, что собака въ юрту вошла—толчется не у мѣста—и скажетъ: „Собака“, или бросится ему въ глаза горшокъ, онъ и назоветъ новорожденнаго „Горшкомъ“. Такъ и станетъ жить на свѣтѣ какой-нибудь Горшокъ Пикущкинъ, или Собака Дураковъ, а отъ послѣдняго произойдетъ еще Дуракъ Дураковъ, или Яманъ, (т.-е. козелъ) Дураковъ и т. п.

— Разъ,—смѣясь, добавилъ онъ къ этому,—со мной былъ такой случай. Былъ я по дѣлу въ одномъ улусѣ, въ одной изъ юртъ завтракалъ между прочимъ... Ну, по обыкновенію, тарасуномъ¹⁾ меня буряты потчивали. Затѣмъ, кончивъ дѣло, уѣхалъ я оттуда въ сосѣдній улусъ. Только не успѣлъ я тамъ изъ саней выйти (дѣло, какъ видите, было зимою), стою на крыльцѣ, гляжу, какъ мои вещи изъ саней вытаскиваютъ... Вдругъ, вижу,

¹⁾ Водка собственного (бурятскаго) приготовленія.

во весь духъ катить въ крыльцу въ маленькихъ салазкахъ бурятъ, гонить коня что есть силы. Въ чемъ дѣло? Подкатилъ, выскакиваетъ. Гляжу: а это хозяинъ той юрты, откуда я только-что пріѣхалъ—и уже натарасунился: пьянь, еле лыко вяжетъ!

— Чего тебѣ говорю, Хуилганъ?

— Здравствуй, бачка, ваше превосходительство, будь добръ, большой просьба до тебя есть, сильна большой. Не осердись!!!

— Чего такого? говорю.

— Баба сына родилъ—какъ ты изъ юрты, сейчасъ и родилъ сразу сына! Дай, пажалста, имя сыну, не осердись—больна хочу, чтобы отъ тебя имя было. Пажалста—прошу!..

— Ну, чтожъ, вы и дали?—спросилъ я.

— Даль. Въ то время новый президентъ республики во Франціи былъ выбранъ, такъ я и назвалъ новорожденнаго бурятёнка: „Сади-Карно“ и тоже на бумажкѣ записалъ отцу на память, да далъ еще двугривенникъ „на зубокъ“. Такъ вотъ теперь вы и знайте, что кромѣ Сади-Карно во Франціи, есть еще Сади-Карно въ „Бурятіи“!..—смѣялся мой спутникъ.—И погналъ мой бурятъ своего коня домой, какъ шальной, чтобы дорогой не забыть трудное имя; а самъ, какъ не былъ пьянь, прежде переспросилъ у меня это имя разъ двадцать!..

Меня крайне интересовалъ еще вопросъ о крещеніи инородцевъ. Поэтому, хотя дорога опять сильно пошла подъ гору, такъ-что ямщику, пожалуй, было не до разговоровъ, я все-таки обратился къ нему съ вопросомъ о причинахъ, побудившихъ креститься его отца. Я ожидалъ услышать что-нибудь въ родѣ указанія, или хотя бы намека, на духовныя, нравственныя причины, побуждавшія къ переходу въ православіе. Но и отецъ его, оказывается, крестился тоже въ силу практическихъ соображеній!

— Судился много, тяжба больша велъ, хотѣлъ даже городскомъ суду жалоба подавать,—привелось креститься—потому братскому вѣры нѣтъ: все-равно что собака; крещена человекъ—русски человекъ: скорѣ дѣло на его польза присудятъ.

И все-таки проигралъ?!

— И тяжба просудилъ, и самъ послѣ пропалъ, и жена у него пропалъ.

— Жена? Твоя мать?

— Мать малъ-мало пораньше пропалъ; у него другой жена, другой баба былъ: молодая бралъ,—стара надоѣлъ, дѣтей пересталъ носить... Ну, и тотъ пропалъ... Я одинъ остался.

Я хотѣлъ разспросить еще, но случайно глянулъ въ сторону

отъ дороги. Вправо, между игольчатой листвою сосняка и ели ярко блеснуло что-то свѣтлое, какъ будто бѣлое, — блеснуло и пропало, потому что тарантасъ уже проѣхалъ дальше. Я воззрился въ ту сторону и долго ждалъ, прежде чѣмъ это что-то опять показалось и опять блеснуло оттуда.

— Что это такое? Свѣтъ? Снѣгъ? Чтò блеститъ тамъ? — невольно воскликнулъ я, крайне заинтересовавшись.

— Это снѣговья горы: Тункинскія Альпы, ярко освѣщенные солнцемъ. Погодите немного, — и вы увидите ихъ во всей красѣ.

Я сѣлъ нарочно бокомъ, почти вылѣзъ изъ тарантаса, и глядѣлъ, чтò называется, въ оба. Лошади спускали тихо, тарантасъ слегка покачивался на неровностяхъ дороги. Опять сверкнуло что-то изъ-за темной и густой зелени ельника и снова пропало. Я разглядѣлъ только что-то ярко бѣлое, большое, блестящее, вверху неправильно закругленное...

— Смотрите теперь прямо впередъ! — вдругъ сказалъ мнѣ мой спутникъ. — Прямо передъ вами Тункинская долина, направо гольцы — Тункинскія Альпы, налѣво Саяны; глядите и любуйтесь!

Я повернулся на зовъ и ахнулъ...

Прямо передъ нами, начиная отъ подножія спуска, по которому осторожно подвигалась наша тройка, и вдаль почти до безконечности — сколько глазъ хваталъ — тянулась ровная, какъ скатерть, почти еще не начинавшая зеленѣть, но уже совсѣмъ голая отъ снѣга, степь, — степь гладкая, „безъ сучка, безъ задоринки“! И эта-то безконечная ровная степь, теряющаяся на недосягаемомъ пространствѣ въ неизвѣстной дали, была обрамлена двумя рядами горъ. Налѣво Саяны — хребетъ, состоящій изъ нѣсколькихъ рядовъ горныхъ грядъ, сплошь окутанныхъ зимнею буроватою зеленью непроходимыхъ хвойныхъ лѣсовъ, — горный хребетъ темный, глухой, но вѣчно зеленый... Направо ярко блестящая ликующая, манящая къ себѣ, высокая, изобилующая разнообразіемъ очертаній, тѣней и оттѣнковъ, линія снѣговыхъ каменныхъ громадъ. То Тункинскія Альпы, по мѣстному „гольцы“, освѣщенные яркими лучами солнца, блѣдно оранжевыя, ярко блестящія съ разнообразными тонами и оттѣнками. Взоръ никакъ не можетъ отъ нихъ оторваться!.. Хочется разомъ оглядѣть всю картину: взоромъ пробѣжать изъ конца въ конецъ и отъ права налѣво долину, взглянуть въ разнообразіе горныхъ пейзажей Саянъ, всмотрѣться въ прихотливо извивающуюся, бѣлую отъ покрывающаго ея льда, ленту рѣки Иркутъ, выющую вдоль по степи и мѣстами, изрѣдка,

обрамленную мелкими кучами деревьевъ; хочется взглянуть и въ этотъ пестряющій издали черными точками хаосъ улусовъ и деревенежъ, живописно разбросанныхъ во всю ширину и длину степи. Одновременно хочется и остановиться на каждой подробности въ отдѣльности и запечатлѣть всю картину сполна, а взоръ все-таки невольно обращается къ этимъ блѣдно-оранжевымъ горамъ, къ этой безконечной, уходящей въ неизвѣстную даль и неимѣющей, кажется, конца, линіи снѣжныхъ гольцовъ, изъ которыхъ одинъ другого красивѣе, одинъ другого больше, одинъ другого разнообразнѣе въ рельефѣ, въ оттѣнкахъ, въ очертаніяхъ!..

Здѣсь эти Альпы, говоря словами ихъ изслѣдователей ¹⁾, „представляются изъ долины Иркута громадною цѣпью горъ ($7\frac{1}{2}$ —8 тыс. футъ средней абсолют. высоты), дикимъ каменистымъ массивомъ, съ короткими контрфорсами изъ трехгранныхъ пирамидъ, срѣзанныхъ каменистыми и крутыми трехъугольными площадками; на этой крутой каменной стѣнѣ зубцами расположены пирамидальные пики, изборозжденные глубокими рывинами, между которыми круто спускаются остросеребряные сваты изъ голаго камня, отвѣсно падающіе затѣмъ въ глубокія ущелья, по которымъ съ оглушительнымъ шумомъ и чрезвычайною быстротою низвергаются ручьи и небольшія рѣки. На всемъ этомъ протяженіи Тункинскія Альпы лишены растительности, и лишь въ самой нижней части ихъ склоновъ растутъ мелкая лиственница и кустарники; предгорія ихъ весьма круты, но правильно покаты къ долинѣ Иркута и поросли густымъ лѣсомъ. Гребень хребта покрытъ глубокимъ снѣгомъ съ августа и до іюля; не только зимою, но даже и лѣтомъ, онъ проходимъ съ большимъ трудомъ по немногимъ, пересѣкающимъ его, горнымъ тропинкамъ, извѣстнымъ мѣстнымъ охотникамъ“...

Никогда не бывавшему въ горныхъ странахъ съ снѣговыми вершинами, мнѣ кажется, что я вступаю въ какой-то рай... При яркомъ солнечномъ освѣщеніи все здѣсь представляется мнѣ „въ розовомъ свѣтѣ“,—все манитъ къ себѣ и тянетъ въ даль—туда, куда уходятъ эти лучезарныя Тункинскія Альпы, гдѣ эта гладкая ровная степь въ далекой перспективѣ замыкается горами и мохнатыя Саяны какъ будто сливаются съ бѣлоснѣжными гольцами. Кажется, что все тутъ должно жить хорошо и привольно, что стоишь у края благословенной страны, гдѣ

¹⁾ Цитировано по „Матер. по изсл. быта насел. Ирк. и Енисейск. губ.“, т. I, в. I., стр. 6—7.

люди живутъ какъ-то особенно, гдѣ природа какая-то совсѣмъ другая; условія жизни не тѣ, что тамъ позади—откуда пріѣхаль. На первый разъ не отдаешь себѣ отчета, почему все это должно быть такъ, какъ оно кажется, и въ какомъ видѣ оно должно быть въ дѣйствительности. Смутно соображаешь, что нѣтъ оснований предполагать что нибудь особенное, выдающееся, —слишкомъ хорошее... но оторваться отъ перваго... розоваго впечатлѣнія рѣшительно не можешь и всей душой, всѣмъ помысломъ стремишься туда... туда, въ самую даль и глубь, и какъ можно скорѣй!!...

Спускъ конченъ. Мы на той самой ровной степи, которая спряталась между Альпъ и Саянъ. Кугунъ остановилъ лошадей, чтобы дать имъ передышку и оправить сбрую. Кони обглядываются, отфыркиваются раздутыми, быстро двигающимися ноздрями и переступаютъ съ ноги на ногу; лѣвая пристяжка старается почесать себѣ шею объ оглоблю, чѣмъ, видимо, раздражаетъ приложившаго уже уши къ головѣ коренника, показывающаго весьма ясное намѣреніе укусить ее за безпокойство. Кугунъ оправляетъ сбрую и уходитъ по своимъ дѣламъ за задокъ экипажа. Тамъ онъ, по нашей просьбѣ, пробуетъ между прочимъ, прочно ли держится привязанный сзади чемоданъ и, возвращаясь оттуда, радостно восклицаетъ:

Шемаданъ ходитъ! —чѣмъ вызываетъ смѣхъ, у насъ обоихъ. Я вылѣзаю изъ тарантаса, чтобы убѣдиться, не „ходить“ ли чемоданъ и въ самомъ дѣлѣ, хотя радостный тонъ Кугуна, по-видимому, устраняетъ сомнѣніе въ смыслѣ имъ сказаннаго.

Пока лошади отдыхаютъ, я отхожу немного въ сторону на обрывистый край Иркута и наблюдаю.

Вдали за первымъ изгибомъ бѣлой ленты Иркута, еще одѣтаго по зимнему, черезъ него перебирается кто-то,—должно быть люди и лошади, представляющіеся отсюда въ видѣ мелкихъ черныхъ, перемѣняющихъ мѣста, точекъ. Вокругъ все тихо—торжественно тихо! И только изрѣдка гулкой дробью доносится издали и проносится дальше въ степь громогласное постукиваніе „желны“ въ прирѣчныхъ перелѣскахъ. А бѣлыя горы, по прежнему, изливаютъ свой оранжевый свѣтъ, въ нѣмомъ молчаніи прихотливо рисуясь на голубомъ фонѣ безоблачнаго неба!...

Отдаленный топотъ и говоръ доносится до моего слуха. Я оглядываюсь и вижу вдали тѣсную группу всадниковъ, легкой рысью ѣдущую къ намъ на встрѣчу. Видно, что они не спѣшатъ и оживлены разговоромъ. Постепенно вырисовываются ихъ длинныя, преимущественно синія, у нѣкоторыхъ уже сильно потре-

паннья, шинели съ маленькими краганами, ихъ круглыя остронощныя шапки съ серебряными шипаками, сѣдла съ высокими передками, обдѣланныя рѣзнымъ серебромъ, затѣмъ пояса, у нѣкоторыхъ тоже обложенные серебряными рѣзными украшениями, какъ и ножи, и кинжалы, торчащіе за этими поясами.

„Менду, менду“¹⁾! — раздается изъ нѣсколькихъ устъ сразу при приближеніи всадниковъ къ нашему тарантасу. Это проѣзжіе здороваются съ нами. „Менду, менду, менду“! — откликается Кугунъ на коллективное привѣтствіе, стараясь отвѣтить каждому. „Менду-раръ“²⁾ — съ особой отчетливостью, сопровождая слова болѣе глубокимъ поклономъ, произноситъ онъ, глядя на наиболѣе богато одѣтаго всадника, — какъ потомъ мы узнали мѣстнаго родового старосту и кулака, державшаго въ рукахъ и самого Кугуна, и массу ему подобныхъ. „Менду“, лѣнливо кивая головой отвѣчаетъ ему тотъ, вытаскивая изо рта монгольскую трубку, обдѣланную въ серебро, и энергично сплевывая въ сторону.

Мы двигаемся дальше. Временами то тамъ, то сямъ, въ сторонѣ отъ дороги, виднѣются въ беспорядкѣ разбросанныя постройки: юрты, хлѣвы, сараи, домики — болѣею частью небольшіе старенькіе, невзрачные, отнюдь не свидѣтельствующіе о высокомъ достаткѣ мѣстнаго населенія. То бурятскіе зимники и лѣтники, въ которыхъ вырисовываются мѣстами постройки высокія, просторныя, съ внѣшностью, бьющею въ глаза достаткомъ и зажиточностью — то постройки мѣстныхъ воротилъ.

— Это мѣстные сосуны! — говоритъ о нихъ мой всезнающій спутникъ. Они живутъ тѣмъ, что высасываютъ соки изъ своихъ болѣе бѣдныхъ сородичей и въ качествѣ беззащитныхъ паразитовъ быстро и сильно тучнѣютъ на постепенно, но замѣтно худѣющемъ тѣлѣ питающихъ ихъ организмовъ. Короче говоря, вы увидите здѣсь, въ этой благодатной на видъ, въ этой столь красивой странѣ, съ поэтическими видами, которые вамъ такъ понравились — бѣдность не покрытую, голодную, на ряду съ обширнымъ богатствомъ и завиднымъ изобиліемъ. Впрочемъ этимъ я отнюдь не хочу сказать, что среди тункинскихъ бурятъ царствуютъ только эти двѣ крайности: богатство и бѣдность; нѣтъ, тутъ есть, конечно, много и среднезажиточныхъ хозяйствъ. Я хотѣлъ только сказать, что и здѣсь, какъ и въ другихъ областяхъ, заселенныхъ бурятами, туземные богачи не менѣе ловко эксплуати-

¹⁾ Здравствуй, здравствуй!

²⁾ Высшая форма вѣжливости, сравнительно съ обычнымъ „здравствуй“ (менду) нѣчто въ родѣ: „мое почтеніе“.

рують своихъ сородичей. Но здѣсь это проявляется еще въ одномъ особомъ направленіи, которое, кажется, еще не приняла эта эксплуатація въ другихъ бурятскихъ вѣдомствахъ: здѣсь богачи, пользуясь своимъ могуществомъ, дѣлають значительные захваты земель изъ бурятскихъ пастбищъ, огораживаютъ ихъ и безнаказанно оставляютъ за собою въ „вѣчное“ и „безспорное“ владѣніе. Впрочемъ теперь, повидимому, здѣсь начинаются новыя теченія, поддерживаемыя, встаетъ сказать, тоже имѣющими вліяніе богачами изъ личной, партійной вражды къ нѣкоторымъ изъ тѣхъ богачей-захватчиковъ (а бурятскіе богачи вездѣ почти дѣлятся на враждебныя другъ другу партіи, воинствующія между собою изъ-за честолюбивыхъ вожделѣній, изъ-за власти надъ остальной сѣрой массой).

Я тутъ же приведу содержаніе подлиннаго приговора, официально засвидѣтельствованную копію съ котораго передалъ мнѣ тогда—въ качествѣ доказательства появленія новыхъ теченій—мой спутникъ для прочтенія, по пріѣздѣ на станцію.

„Родовые старосты, ихъ помощники и довѣренныя отъ инородцевъ Тункинскаго вѣдомства слушали (мартъ 1887 г.) предложеніе главнаго родоначальника ¹⁾ Дорофѣева, который заявилъ, что нѣкоторые инородцы Тункинскаго вѣдомства пользуются огромными пространствами сѣнокосной, степной и хлѣбопахотной земли; большая же часть населенія пользуется землею въ весьма ограниченномъ количествѣ... и пр.“ Выслушавъ это, бывшіе на сугланѣ (сходѣ) находятъ: земли, отведенныя инородцамъ Тункинскаго вѣдомства не раздѣлены и потому онѣ—мірскія; нѣкоторые родовичи захватили огромныя пространства удобной земли, чѣмъ уменьшили количество земель общаго пользованія, что, при увеличеніи населенія, неминуемо заставляетъ оставшуюся въ общемъ пользованіи землю дѣлить на мелкіе участки, а это ведетъ къ тому, что благосостояніе остальныхъ съ каждымъ годомъ уменьшается“... Богачи, захвативъ огромныя земельныя пространства, не несутъ тѣхъ повинностей и податей, которыя несутъ бѣдняки. Всѣ инородцы несутъ мірскіе сборы, между тѣмъ нѣкоторые богачи не несутъ ихъ, напр., Хомаковы не платятъ даже денегъ за наемъ трапезника и караульныхъ при церквѣ, прихожанами которой они состоятъ; всѣ инородцы несутъ натуральныя повинности правильно; богачи же для поправленія дороги, вмѣсто настоящихъ работниковъ, посылаютъ подростковъ и дряхлыхъ стариковъ; далѣе богачи, намѣтивъ

¹⁾ Тайши.

удобную землю, строить сначала на ней юрты, объявляя, что это ихъ лѣтники; перекочевывая въ нихъ года два-три, богачи унавоживаютъ эти земли и огораживаютъ ихъ. Захвативъ эту землю и намѣтивъ новую, они опять уже на новой строятъ юрты и захватываютъ эту землю, какъ и первую и т. д. "... „ А потому приговорили ¹⁾: *всѣ сѣнокосныя земли, луга и степныя пашни весной будущаго года раздѣлить между собой такъ, чтобы землями этими одинаково были надѣлены, какъ богатые, такъ и бѣдные; просить нашу Степную Думу (нѣчто въ родѣ волостного правленія) настоящій приговоръ привести въ исполненіе*“.

Приговоръ этотъ замѣчателенъ въ томъ отношеніи, что это — чуть ли не единственный въ жизни бурятъ Иркутской губерніи фактъ ясно выраженнаго желанія почти общаго для всѣхъ угодій земельного передѣла, такъ какъ у бурятъ владѣніе и пользованіе пахотной, а частію и луговой, сѣнокосной землей основано на характеризующемся неуравнительностью въ распредѣленіи земель — захватномъ правѣ (кто могъ и успѣлъ больше захватить, тотъ большимъ и пользуется) ²⁾. Свидѣтельствуя о беззастѣнчивыхъ дѣяніяхъ мѣстныхъ воротилъ, въ родѣ знаменитыхъ по всей Тункѣ Хомаковыхъ, состоящихъ во враждѣ съ неменѣе почти знаменитыми Дорофьевыми, приговоръ этотъ констатируетъ фактъ желанія цѣлаго бурятскаго вѣдомства — самаго крупнаго и по населенію, и по пространству въ Иркутскомъ округѣ — перейти отъ исконнаго захватнаго землевладѣнія пахотными и прочими угодьями къ чисто общинному съ душевыми передѣлами — фактъ непримѣрный въ исторіи бурятскаго землевладѣнія по Иркутской губерніи. Главнѣйшія его причины лежатъ, вѣроятно, во-первыхъ, въ наименьшей, сравнительно съ прочими бурятскими районами губерніи обеспеченности удобными землями, во-вторыхъ, чрезмѣрной, — наибольшей, сравнительно съ прочими мѣстностями, запутанности земельныхъ отношеній, выражающейся въ существованіи не только сильной череполосицы земель бурятскихъ съ крестьянскими, но и въ смѣшеніи между собою земель самихъ тункинскихъ бурятъ, принадлежащихъ къ различнымъ родамъ. Здѣсь, вопреки обычаю бурятъ другихъ мѣстностей, въ одномъ улусѣ живутъ обыкновенно представители не одного и не двухъ бурятскихъ родовъ, а очень многихъ, — иногда всѣхъ четырнадцати родовъ, имѣющихъ мѣсто-

¹⁾ Изложеніе приговора на бумагѣ, конечно, сдѣлано было не бурятами, а письмоводителемъ Степной Думы.

²⁾ Впрочемъ у большинства бурятъ *собственно покосныя* земли (обыкновенно луговые покосы) преимущественно передѣляются.

пребываніе въ обширной тунгинской долині. Такая смѣшанность и чрезполосица, и имѣютъ своимъ неизбѣжнымъ результатомъ, во-первыхъ, споры изъ-за земли, а затѣмъ и самовольные захваты земель русскими у бурятъ и (гораздо впрочемъ рѣже) бурятами у русскихъ, во-вторыхъ, захваты инородческихъ бурятскихъ земель богатыми бурятами...

Пятнадцать верстъ быстрой ѣзды по гладко укутанной степной дорогѣ, въ сосѣдствѣ съ блестящими Альпами, до которыхъ, кажется, рукой подать, а на самомъ дѣлѣ около 50 верстъ, среди живописно разбросанныхъ по сторонамъ бурятскихъ улусовъ и русскихъ — казацкихъ и крестьянскихъ — деревенекъ — ѣзды по оживленной дорогѣ съ постоянными встрѣчами верховыхъ и ѣдущихъ въ одноколесахъ бурятъ и бурятокъ, съ обычнымъ „менду“ и ихъ болтливымъ разговоромъ, безпрестанно долетавшимъ до нашего уха — прошли совершенно незамѣтно. Тройка остановилась у обширнаго деревяннаго зданія Тунгинской Степной Думы, часть котораго заключаетъ въ себѣ помѣщеніе для пріѣзжающихъ чиновниковъ (въ родѣ моего спутника), такъ называемую земскую квартиру, откуда отерывается видъ на площадь съ народнымъ училищемъ для бурятскихъ дѣтей *vis-à-vis*, и съ лѣсистымъ темнымъ Саяномъ на заднемъ планѣ.

Свыше тридцати верстъ ѣзды и пустой желудокъ, это что-нибудь да значить! И потому въ обоихъ насъ естественно пробуждается стремленіе къ самоварчику и къ надлежащей при этомъ ревизіи дорожныхъ запасовъ. А пока радостно пыхтящій самоварчикъ не появится передъ нетерпѣливо ожидающими его пріѣзжими, эти послѣдніе, сбросивъ себя лишнюю одежду, распаковываются, осматриваются и оглядываются; мелькомъ окидываютъ глазами лубочныя картинки на стѣнахъ и щели потрескавшейся печи, прочитываютъ какое-то печатное объявленіе, привѣшенное у стараго треснувшаго зеркала, освѣдомляются о томъ, куда ведетъ другая дверь изъ ихъ комнаты, и невольно прислушиваются къ голосамъ, доносящимся извнѣ.

— Слышите?! — обращается ко мнѣ мой спутникъ. — Слышите подтвержденіе моихъ рассказовъ о томъ, какъ буряты помнятъ свои имена?

Я оглядываюсь въ недоумѣніи.

Подойдите вотъ къ этой стѣнкѣ — она, очевидно, не больше какъ плохая досчатая заборка. Подойдите и прислушайтесь къ раздающимся оттуда голосамъ!

..... „н-не о томъ...“ услышалъ я чей-то хриплый густой басъ изъ-за тонкой досчатой перегородки. „Не о томъ, дурацкая

— бурятская твоя башка! Видь тебѣ на отлучку будетъ, поѣзжай ты съ нимъ хоть къ чорту на рога, хоть къ чортовой матери въ дышло: поѣзжай куда хочешь! Понимаешь? Будетъ тебѣ видъ, и ты его сейчасъ получишь, и отстань ты объ немъ меня просить разъ навсегда, когда я тебѣ сказалъ, что получишь... бурятская твоя образина!.. Русскимъ тебѣ языкомъ, кажется, говорю!..

— „Русскимъ, русскимъ“ — слышится мнѣ изъ-за перегородки боязливо поддаивающій слабый голосокъ неизвѣстнаго мнѣ бурята, произносящаго свой отвѣтъ самымъ успокоительнымъ тономъ. И мнѣ такъ и представляется маленькая темненькая фигурка, съ скуластымъ темнымъ лицомъ и мохнатой шапкой волосъ, униженно сгорбившаяся передъ начальствомъ и тщетно улавливающая смыслъ сыплющихся на него вопросовъ, задаваемыхъ, по всей вѣроятности, думскимъ письмоводителемъ, или его помощникомъ, очевидно, не умѣющимъ говорить по бурятски.

— „Русскимъ, русскимъ“, — съ злостью передразниваетъ его басъ и начинаетъ говорить снова. — „Ты слушай, черномазая мохнатая образина, что я тебѣ буду говорить, слушай внимательно!“ Басъ дѣлаетъ паузу, а слабый голосокъ опять успокоительно отвѣчаетъ:

— „Слушай, слушай... понимаю...“

— Ну, такъ вотъ что, я тебѣ опять — уже во второй разъ скажу. О твоёмъ сынѣ есть у насъ въ думѣ дѣло. Понимаешь?

— Сыну думѣ дѣло?

— „Ну!?“

— „Понимай... варошо понимаю...“ — быстро раздается въ отвѣтъ на грозное „ну“ изъ-за перегородки.

— „Такъ вотъ: дѣло! И по дѣлу этому намъ нужно знать, какъ зовутъ твоего сына по крещенію. Понимаешь?..“

И не ожидая отвѣта, басъ черезъ секунду продолжаетъ снова:

— „Ты ужъ мнѣ говорилъ, что твоего сына зовутъ Бутугунъ Оногоновъ — по вашему, по-дурацкому...“

— „Тима, тима, ¹⁾ по-дурацкому, — звучитъ слабый голосъ бурята, очевидно смѣшивающаго русское значеніе словъ — дурацкій и бурятскій.

— „Ну, такъ: Бутугунъ Оногоновъ! А какъ зовутъ его по крещенію? — спрашиваю я тебя опять“

— „Быль крещенію, быль крещенію...“ — успокоительно отвѣчаетъ робкій голосъ, послѣ нѣкотораго перерыва, очевидно, употребленнаго на обдумываніе.

¹⁾ Такъ, такъ.

— Опять? Опять, болванъ, путаешь, не понимаешь!.. Ахъ, дурья голова, ну, что я съ тобой буду дѣлать?! Переводчика нѣтъ, тайши нѣтъ... никого нѣтъ, перевести некому, а ты, болванъ, хоть бы слово!.. — очевидно уже въ отчаяніи воскликнулъ вдругъ басъ и задвигалъ стуломъ.

— „Чортъ знаетъ, что такое! Живутъ, болваны, въ русскомъ государствѣ и ни слова по-русски!? Вотъ народецъ! Ужъ истинно азіаты! — заговорилъ снова басъ, ходя по комнатѣ, и остановился.

— „Ну, азіаты! Ну, слушай, анафемская морда! Скажи мнѣ наконецъ—спрошу я тебя иначе,—еловая, пустая, мохнатая твоя башка, чертова шишка, глупая образаина, бурятская морда!.. Вѣдь не двадцать же часовъ буду я съ тобою говорить все одно и то же, чудовище бурятское!..

Басъ остановился, чтобы передохнуть, и изъ-за перегородки тотчасъ же послышалось самое ласковое и успокоительное:

— „Тима, тима...“

— „Ну, слушай ты „Тима“! — уже съ усмѣшкой продолжалъ басъ, которому, очевидно, понравилось бурятское согласіе на всякія прозвища. „Скажи ты мнѣ—снова я тебя спрошу уже на выворотъ, ужъ совсѣмъ иначе, т.-е. съ другого, такъ сказать, конца—скажи ты мнѣ пожалуйста: не Иваномъ ли Павловымъ, по крещенію, зовутъ твоего сына? Припомни ты мнѣ, пожалуйста, говорю я тебѣ, Оногонъ, припомни: не Иваномъ ли—говорю—Павловымъ назвалъ нашъ русскій попъ твоего сына, когда его крестили?.. Потому что у насъ есть въ дѣлахъ переписка о какомъ-то Иванѣ Павловѣ, по-бурятски зовущимся Бутугуномъ, а вѣдь Бутугуновъ много, Бутугунъ же Оногоновъ одинъ; въ дѣлахъ нашихъ свѣдѣній о бурятской—того Бутугуна—фамиліи не имѣется—мы и не можемъ никакъ добраться. А вотъ, если ты припомнишь, что сына твоего зовутъ Иванъ Павловъ, значить онъ и будетъ тотъ самый... Бутугунъ Оногоновъ. „Тима?“

— „Тима, тима... Иванпавла не помнилъ, Бутугунъ Оногоновъ отецъ я!—Будетъ вѣрно!!..—слышится хотя попрешнему робкій, но уже значительно болѣе увѣренный и съ удареціемъ на послѣднихъ словахъ отвѣтъ изъ-за перегородки и въ моемъ воображеніи опять рисуется усиленно кланяющаяся фигура, боязливо-испытующе заглядывающая въ глаза своему большому и строгому начальству...

А. С. Личковъ.

О СУЩНОСТИ ГУМАНИТАРНАГО ОБРАЗОВАНІЯ¹⁾

I.

Предметъ, которому посвящена настоящая статья, — сущность гуманитарнаго образованія. Я вижу всю сложность этого вопроса, понимаю, что обстоятельное и всестороннее его разсмотрѣніе потребовало бы цѣлаго тома, и тѣмъ не менѣе рѣшаюсь говорить о немъ на нѣсколькихъ страницахъ. О каждомъ предметѣ вѣдь можно говорить коротко и подробно, и короткое изложеніе можетъ дать точное понятіе о предметѣ, если предметомъ его будетъ только одно существо дѣла. Я какъ разъ и думаю сказать о сущности гуманитарнаго образованія, а не обо всемъ, что только о немъ можетъ быть сказано. Ради экономіи мѣста я теперь безъ дальнѣйшихъ предисловій войду прямо in medias res.

Никто не станетъ отрицать, что главнымъ образовательнымъ средствомъ служить наука. Наука изучаетъ окружающій насъ міръ явленій, а явленія эти классифицируются прежде всего,

¹⁾ Въ этой статьѣ съ нѣкоторыми измѣненіями я воспроизвожу по сохранившемуся конспекту публичную лекцію, читанную мною въ Москвѣ 26 февраля 1895 г. въ пользу одной основывавшейся тогда народной школы. Конспектъ этой лекціи былъ составленъ вслѣдъ за окончаніемъ и во время печатанія моихъ „Бесѣдъ о выработкѣ міросозерцанія“, писать же настоящую статью мнѣ приходится немедленно послѣ того, какъ я написалъ новую книжку — „Мысли объ основахъ нравственности“: немудрено поэтому, если въ статьѣ повторятся мысли, высказанныя въ обѣихъ этихъ работахъ. Но лучшей темѣ для статьи въ сборникъ, издаваемый въ пользу студентовъ, я въ данную минуту не могъ придумать, а время не терпитъ.

какъ міръ *природы* и міръ *человѣка*. Всякій знаетъ, что науки, изучающія міръ природы, называются *естествознаніемъ*, а тѣ, которыя занимаются изученіемъ міра человѣка — *науками гуманитарными*. Такое раздѣленіе, однако, очень грубо и далеко неточно. Идя далѣе, мы находимъ, что и человѣкъ можетъ быть предметомъ естествознанія, когда именно — въ анатоміи, въ физиологіи, въ антропологіи, составляющей лишь часть зоологіи, — онъ изучается, какъ животный организмъ, т.-е. въ матеріальной сторонѣ своего бытія. Дѣло въ томъ, что міръ природы и есть міръ *матеріи*, и вотъ посколькѣ человѣкъ, какъ вещественный предметъ, есть часть природы, онъ и дѣлается однимъ изъ объектовъ естествознанія. Но у человѣка есть и другая сторона — сторона *духовная*: она-то и есть, собственно говоря, предметъ наукъ гуманитарныхъ. Къ духовнымъ явленіямъ я причисляю и общественныя, посколькѣ сама общественность немыслима среди неодушевленныхъ вещей. Поэтому, я и сказалъ бы, что въ широкомъ смыслѣ слова гуманитарныя науки изучаютъ явленія психическаго и соціальнаго характера. Такимъ образомъ мы свели противоположность міра природы и міра человѣка къ противоположности матеріи и духа. Беру эти оба термина не въ смыслѣ метафизическихъ сущностей, за каковыя я, впрочемъ, самъ ихъ не признаю, а въ смыслѣ обобщенія двухъ категорій явленій, изъ коихъ одни мы сознаемъ внѣ себя, другія — прежде всего въ самихъ себѣ, и затѣмъ уже во внѣшнихъ проявленіяхъ своихъ внутреннихъ процессовъ. Но и на заявленіи, что естествознаніе изучаетъ міръ матеріи, а науки гуманитарныя — міръ духа, еще нельзя остановиться. Психическая и соціальная жизнь существуетъ и у животныхъ. Разъ мы выдѣляемъ міръ человѣка въ особый міръ, для этого нужны и основанія, противъ которыхъ ничего нельзя было бы возразить. Эти основанія существенны. Всѣ предметы въ мірѣ матеріальномъ называются *вещами*: слова „вещество“, „вещественны“, „вещественность“ указываютъ на то, въ чемъ именно мы полагаемъ матеріальность природы. Правда, подъ вещами мы привыкли подразумевать предметы ближайшей нашей обстановки, но въ сущности и мое тѣло, и лошадь, на которой я ѣзжу, и домъ, въ которомъ я живу, и весь земной шаръ, и солнце со всей своей системой, все это — вещи, вещественные предметы, матеріальныя тѣла. Вѣдь естествознаніе и человѣка изучаетъ именно какъ вещь, какъ тѣло. Возьмемъ духовную сторону человѣка, т.-е. его мысли, чувствованія, желанія: это все уже не вещи, и самъ человѣкъ равнымъ образомъ тутъ уже не вещь, а *личность*. Лич-

ность мы приписываемъ только человѣку. Что мы полагаемъ ее не въ простой одушевленности, это явствуетъ изъ того, что ни собаекъ, ни кошекъ личностями мы не называемъ: онѣ лишь одушевленные вещественные предметы, какъ и человѣкъ былъ бы только одушевленнымъ вещественнымъ предметомъ, если бы не былъ сверхъ того и личностью. За послѣднюю мы признаемъ нѣкоторое внутреннее достоинство, которое требуетъ отъ насъ уваженія къ себѣ. Люди могутъ ошибаться относительно того, въ чемъ заключается это достоинство. Напр., римское право полагало, что оно дается рожденіемъ въ свободномъ состояніи (или отпущеніемъ на волю) и потому лишь въ свободномъ человѣкѣ признавало личность (*personam*), полагая, что рабы — только вещи (*res*), какъ греки думали, что рабы — только тѣла. Мы смотримъ такъ лишь на животныхъ, потому что у насъ другія понятія о человѣческомъ достоинствѣ. Теперь мы и можемъ сказать, что естествознаніе имѣетъ дѣло съ вещами, а науки гуманитарныя съ личностями (и ихъ общественными соединеніями).

Позвольте еще одинъ вопросъ поставить: одинаково ли мы относимся къ вещамъ и личностямъ? Конечно, каждый изъ васъ не затруднится отвѣтить на это въ отрицательномъ смыслѣ, и я говорю, что *нѣтъ*, что мы неодинаково относимся къ вещамъ и къ людямъ. Человѣкъ убѣжденъ, что всѣ вещи созданы на его потребу. Быть можетъ, онѣ и не созданы для него, но онъ-то такъ смотритъ на тѣ вещи, которыми распоряжается ради тѣхъ или другихъ своихъ нуждъ. Однимъ словомъ, онъ думаетъ, что онъ въ правѣ безусловно ими распоряжаться: всякая вещь можетъ быть средствомъ или орудіемъ. Мясомъ воловъ мы питаемся и пользуемся силою вола, чтобы распахать землю, на которой посѣяны будутъ хлѣбъ, — опять-таки для нашей пищи. Дерево мы рубимъ на дрова, чтобы нагрѣть наше жилище, но изъ этого же дерева мы можемъ сдѣлать телѣгу, на которой будутъ привезены кирпичи для нашей печи, нагрѣвающей это жилище. Пусть каждый изъ васъ теперь спроситъ, согласился ли бы онъ, чтобы имъ распоряжались, какъ орудіемъ или средствомъ, чтобы на него смотрѣли, какъ на вещь? Конечно, нѣтъ, но почему? А потому, что каждый изъ васъ сознаетъ въ себѣ личность, приписываетъ себѣ *человѣческое достоинство*, которое въ томъ и состоитъ, чтобы каждому быть цѣлью самого себя, *не быть орудіемъ или средствомъ* въ рукахъ другого для достиженія постороннихъ самому человѣку цѣлей. Мы сдѣлали такимъ образомъ еще шагъ впередъ. Естествознаніе занимается вещами, которыя могутъ быть употребляемы, какъ орудія или средства

для цѣлей, имъ совершенно постороннихъ, науки гуманитарныя имѣютъ дѣло съ личностями, видящими въ самихъ себѣ цѣль собственнаго своего бытія. Это новое различіе особенно легко прослѣдить не на чисто-теоретическихъ наукахъ, а на наукахъ прикладныхъ, или искусствахъ: когда мы имѣемъ дѣло съ вещами, мы спрашиваемъ себя, какъ нужно пользоваться знаніемъ, чтобы употреблять вещи, могущія служить нашими орудіями или средствами, но когда дѣло идетъ о личностяхъ, то и вопросъ мѣняется: какъ нужно пользоваться знаніемъ, чтобы осуществлять цѣли личности.

Вообще, и къ природѣ и къ человѣку возможны три рода отношеній: утилитарное, эмоціональное и теоретическое, а къ человѣку еще и четвертое — этическое. Утилитарное отношеніе есть вообще прежде всего отношеніе экономическое: это отношеніе къ вещи, которая можетъ быть моимъ орудіемъ, моимъ средствомъ для достиженія какой-либо моей цѣли. И человѣкъ есть вещь, когда мы видимъ въ немъ лишь его тѣло, его физическую силу. Были времена, когда люди питались человѣческимъ мясомъ; были времена, когда на людей смотрѣли, какъ на скотовъ: людоедство и всѣ формы личной несвободы (рабство, крѣпостничество) суть именно такія отношенія. Пользованіе трудомъ свободнаго наймита или вступленіе въ сотрудничество съ свободнымъ человѣкомъ, смотря по тому лишь, что возможно, удобнѣе и выгоднѣе, принадлежать къ этой же категоріи. Въ эмоціональныхъ отношеніяхъ сама вещь насъ къ себѣ влечетъ или насъ отъ себя отталкиваетъ, не какъ полезная или выгодная, а какъ непосредственно пріятная или непріятная. Таково эстетическое чувство, которое одинаково вызывается и вещественными предметами, и людьми съ произведеніями ихъ духа; таково чувство привязанности, которую мы можемъ ощущать и къ людямъ, и къ вещамъ: сюда относятся чувства сожалѣнія, страданія, любви къ дорогимъ людямъ, равно какъ вообще любовь къ природѣ и любовь къ человѣку. Теоретическое отношеніе имѣетъ свою основу въ любознательности человѣка: оно состоитъ въ отвлеченномъ интересѣ къ вещамъ и людямъ, какъ къ предметамъ знанія. Одинъ и тотъ же предметъ можетъ вызывать во мнѣ всѣ три вида отношеній: я могу воспользоваться водопадомъ, какъ средствомъ привести въ движеніе мельничное колесо; могу любоваться его красотой и находить удовольствіе отъ успокаивающаго шума падающей воды; могу, наконецъ, изслѣдовать на немъ законы паденія воды. Но у человѣка къ человѣку есть еще четвертое отношеніе—отношеніе

этическое, вытекающее изъ признанія въ человѣкѣ извѣстнаго внутреннего достоинства. Оно одно образуетъ почву для истинной морали. Утилитарное отношеніе къ человѣку можетъ быть или эксплуатаціей чужого труда, или коопераціей, сотрудничествомъ, соединеніемъ труда на равныхъ основаніяхъ. Кооперация, или ассоціація этичнѣ эксплуатаціи, но въ основѣ у нихъ одинъ и тотъ же принципъ: если съ чисто экономической точки зрѣнія я признаю ассоціацію болѣе возможной, удобной и выгодной для меня, чѣмъ эксплуатацію, то это еще не значитъ, что я вижу въ своемъ сотрудникѣ личность, а не простую рабочую силу, которую я соединяю съ своею силою, т. е. я еще не признаю за нимъ человѣческаго достоинства, а если и вынужденъ признать извѣстныя права за своими товарищами, то это не суть права человѣческой личности вообще: за всякимъ, стоящимъ внѣ тѣснаго экономического союза, я могу, оставаясь на утилитарной точкѣ зрѣнія, не признавать никакихъ правъ. Симпатія, альтруизмъ, любовь къ другому равнымъ образомъ распространяется въ дѣйствительности лишь на извѣстный кругъ: за предѣлами семьи, рода, племени, націи, государства и т. п. я могу къ другимъ людямъ чувствовать антипатію, быть крайнимъ эгоистомъ (не въ личномъ только смыслѣ), относиться съ враждой. Въ смыслѣ теоретическаго интереса разницы между вещами и людьми тоже нѣтъ, и ученый специалистъ будетъ, напр., чувствовать величайшій интересъ къ тому, что дѣлается на солнцѣ, оставаясь совершенно равнодушнымъ къ тому, что совершается вокругъ него въ сферѣ общественной жизни. Но именно на теоретической почвѣ не безъ содѣйствія со стороны альтруизма возникаетъ и развивается этическое отношеніе къ человѣку, отношеніе, которое и можетъ быть только къ человѣку, коего не можетъ существовать къ вещамъ. Если я дорожу своимъ человѣческимъ достоинствомъ, правами своей человѣческой личности и признаю эти права въ полезныхъ и близкихъ мнѣ людяхъ, то нѣтъ никакихъ теоретическихъ основаній не признавать это достоинство, эти права за всѣми вообще людьми. Отсюда этический законъ: не дѣлай другимъ того, чего ты не хочешь, чтобы другіе тебѣ дѣлали. Этическое отношеніе есть уваженіе къ достоинству и правамъ личности: вотъ почему его и не можетъ быть къ вещамъ.

Остановимся на этомъ немного больше. Вещи мы приписываемъ лишь одно существованіе, не налагающее на насъ никакихъ по отношенію къ ней обязанностей. Этическое отношеніе есть уваженіе не къ простому факту существованія, но къ

чему-то другому: личность, какъ и вещь, есть *фактъ*, есть *явленіе*, но въ этотъ фактъ мы владываемъ *идею*, въ этомъ *явленіи* усматриваемъ *принципъ*, и рядомъ съ этимъ возводимъ эту идею, этотъ принципъ на степень *долженствующаго быть*, на степень *идеала*, въ коемъ мыслимъ совершенную личность, на степень *нравственнаго закона*, коимъ считаемъ себя обязанными руководиться. Человѣческое достоинство личности, какъ нѣчто требующее уваженія и охраны, и права, отсюда вытекающія, суть не только нѣчто *существующее*, но гораздо болѣе нѣчто *долженствующее быть*. Въ вопросахъ знанія о мірѣ природы мы интересуемся тѣмъ, что есть, какъ оно есть, въ вопросахъ міра человѣка — и тѣмъ, что должно быть, сверхъ интереса къ тому, что есть, какъ оно есть. Положимъ, и о вещахъ мы можемъ имѣть представленія, какими онѣ должны быть, чтобы нравиться намъ или приносить пользу, но тутъ дѣло идетъ не о томъ, чтобы вещь соответствовала своему внутреннему достоинству, а о томъ, чтобы была приспособлена хорошо выполнить свое внѣшнее назначеніе: цѣль — мы, наши удовольствія, наша выгода. Другое дѣло, когда мы говоримъ, чѣмъ должна быть личность, какъ мы должны къ ней относиться въ своемъ поведеніи: тутъ рѣчь идетъ о соответствіи съ идеаломъ личности, который есть самъ по себѣ цѣль, съ правами личности, которыя вытекаютъ изъ ея внутреннего достоинства.

Отсюда и разныя оцѣнки для вещей и для людей, взятыхъ въ ихъ вещественности, съ одной стороны, и для личностей, съ другой. Можно говорить о пріятности или непріятности того или другого, о полезности и вредности, о выгодности и невыгодности, о цѣлесообразности или нецѣлесообразности, объ основательности или неосновательности, о вѣрности или невѣрности, но лишь къ личностямъ, къ этическимъ воззрѣніямъ личностей (не къ теоретическимъ, эстетическимъ и экономическимъ воззрѣніямъ, поскольку послѣднія касаются только вещей), а также къ поведенію личностей, имѣющему отношеніе къ другимъ личностямъ, возможно примѣнять этическую оцѣнку.

Говорятъ, что она противорѣчитъ научности, разъ вносится въ область теоретическаго отношенія къ человѣку и обществу. Посмотримъ, однако, вѣрно ли такое утвержденіе. Есть, конечно, извѣстные принципы, на которыхъ только и можетъ держаться научность всякаго теоретическаго знанія какъ явленій матеріальныхъ, такъ и явленій духовнаго и общественнаго характера. Если я покажу, что этическая оцѣнка не только не противорѣчитъ требованіямъ научности, но нѣкоторымъ образомъ даже

совпадаетъ съ ними, то вы, конечно, по крайней мѣрѣ, задумаетесь надъ будто бы существующею непримиримостью научности и этичности. Первый принципъ научности — ограничивать область знанія однимъ міромъ явленій, не дѣлая попытокъ проникать въ недоступную знанію сущность вещей. Явленія духа суть такъ же, какъ явленія матеріи, только явленія. Этическое отношеніе къ личности отнюдь не требуетъ того, чтобы мы къ изслѣдованію вопросовъ о томъ, что такое представляютъ изъ себя явленія міра человѣка, какъ явленія, прилагали другіе по существу методы изслѣдованія, чѣмъ къ явленіямъ природы. Второй принципъ знанія явленій можетъ быть основанъ лишь на опытѣ и наблюденіи. Этическое отношеніе къ личности не требуетъ, чтобы, изучая міръ человѣка, какъ міръ известной категоріи явленій, искали какихъ-либо иныхъ, помимо опыта и наблюденія, основаній для констатированія явленій: внутренній опытъ психологіи есть все-таки опытъ, самонаблюденіе есть все-таки наблюденія. Въ-третьихъ, всѣ явленія управляются законами, которые суть или законы причинности (каузальные), или законы развитія (эволюціонные). Этическое отношеніе къ личности отнюдь не влечетъ за собою отрицанія закономерности въ мірѣ человѣка: оно не требуетъ ни признанія свободы воли въ ложномъ смыслѣ безпричинности, ни признанія того, будто высшія духовныя проявленія человѣка не суть результаты развитія его психической природы, а изначала вложены въ его духъ. Наконецъ, въ силу четвертаго принципа теоретическое отношеніе къ дѣйствительности, претендующее на научность, должно быть совершенно свободно отъ соображеній эмоціональнаго и утилитарнаго характера: я долженъ думать о вещахъ и людяхъ то, что вытекаетъ изъ приложенія къ ихъ познанію — законовъ мышленія и научныхъ методовъ, т.-е. то, что обязываютъ меня думать логика и факты, хотя бы пріятнѣе или полезнѣе для меня, или кого бы тамъ ни было, было думать иначе. Этическое отношеніе отнюдь не противорѣчитъ этому требованію научнаго объективизма: оно даже прямо изъ него вытекаетъ и его дополняетъ. Что такое теоретическій, научный объективизмъ, какъ не чистое стремленіе къ истинѣ безъ всякаго пристрастія къ чему бы то ни было, что такъ или иначе могло бы исказить истину? Безпристрастіе — одно изъ самыхъ важныхъ требованій научности, но оно же, безпристрастіе, является однимъ изъ важнѣйшихъ требованій этики. Въ вопросахъ теоретическихъ пристрастіе можетъ существовать въ ущербъ истинѣ, а потому оно и ненаучно, въ практическихъ же дѣлахъ оно наноситъ вредъ справедли-

ности, а потому здѣсь оно неэтично. Въ основѣ теоретическаго и этическаго безпристрастія, этого требованія научной и нравственной объективности, лежитъ одно и то же: любовь и уваженіе къ правдѣ, которая есть въ одно и то же время и истина, и справедливость, правда теоретическая и правда этическая. Одинаково и ненаучно, и неэтично, когда правда приносится въ жертву пристрастіямъ или интересамъ отдѣльнаго лица, или какой-либо группы, будетъ ли это группа маленькая (семья, пріятельскій кружокъ, частная ассоціація), или большая (государство, національность, вѣроисповѣданіе). Личные вкусы или выгоды, групповые предразсудки и интересы, вторгающіеся въ область знанія, раздѣляютъ людей: только истина и справедливость, не пристрастныя къ извѣстнымъ мнѣніямъ, вытекающимъ изъ неодинаковыхъ вкусовъ, выгодъ, предразсудковъ и интересовъ, не могутъ быть равными, не могутъ раздѣлять людей, вотъ почему настоящее знаніе и истинная нравственность сближаютъ отдѣльныхъ людей и цѣлые народы на одной и той же почвѣ правды, вотъ почему наука и этика общечеловѣчны и почему вмѣстѣ съ тѣмъ дѣйствительно этическое отношеніе въ области гуманитарнаго знанія отнюдь не противорѣчитъ отношенію научному.

Еще разъ теперь я васъ приглашаю вернуться къ той параллели между естествознаніемъ и гуманитарными науками, которую я сталъ проводить съ самаго начала настоящей статьи. И такъ, можемъ мы сказать, все естествознаніе, кромѣ прикладныхъ своихъ частей, основанныхъ на утилитарномъ отношеніи, основано на *теоретическомъ отношеніи* къ природѣ, тогда какъ науки гуманитарныя—на *отношеніи теоретическомъ и этическомъ*. Этика требуетъ справедливаго отношенія, но справедливость есть понятіе, которое немислимо прилагать къ нашимъ отношеніямъ, имѣющимъ своимъ предметомъ вещи: этическаго отношенія къ вещамъ и *быть не можетъ*. Но оно должно быть къ личностямъ, а всякое научное сужденіе о личностяхъ *должно быть* полно, полнымъ же оно быть не можетъ, если мы намѣренно будемъ устранять этическую оцѣнку, напр., будемъ говорить объ умѣ человѣка, о принесенной имъ пользѣ, но объ его нравственныхъ качествахъ, о его поведеніи—ни слова.

II.

Я уже сказалъ и повторилъ это не разъ, что предметомъ наукъ гуманитарныхъ въ послѣднемъ анализѣ является человѣкъ—

ческая личность и что личность есть явленіе духовное, психическое, не матеріальное, не физическое. Но въ мірѣ реальныхъ явленій мы не знаемъ личности, которая не была бы неразрывно связана воедино, въ одно цѣльное существо съ имѣющимъ извѣстныя свойства организмомъ, не знаемъ психическихъ явленій, которыя существовали бы отдѣльно отъ явленій матеріальнаго характера, не знаемъ души безъ тѣла, духа безъ матеріи. Какъ организмъ, какъ совокупность физическихъ явленій, какъ тѣло, какъ матерія, человѣкъ есть предметъ естествознанія, но въ томъ или другомъ рѣшеніи двухъ научныхъ вопросовъ, возникающихъ на этой почвѣ, весьма заинтересованы и науки гуманитарныя, а потому заинтересовано и гуманитарное образованіе. Одинъ вопросъ—о мѣстѣ человѣка въ природѣ, другой—о взаимныхъ отношеніяхъ души и тѣла. Это вопросы, одинъ—антропологии въ широкомъ смыслѣ слова, другой—психофизиологии. Названныя двѣ части стоятъ, такъ сказать, на рубежѣ естествознанія и наукъ гуманитарныхъ.

Первою гуманитарною наукою является наука о душѣ, берущая человѣка, не какъ животный организмъ, а какъ личность: психология изслѣдуетъ явленія и законы душевной жизни, не ставя себѣ задачъ иного рода, кромѣ одной—узнать то, что есть, узнать, каковы явленія душевной жизни и законы, этими явленіями управляющіе. Психическія явленія суть или явленія ума (интеллектуальныя) или явленія воли (волюнтаристическія) съ сопровождающими послѣднія чувствованіями (эмоціональными явленіями). Психология, повторяю, беретъ своимъ предметомъ явленія умственные и волевые, какъ они даны намъ въ опытѣ и нами наблюдаются, но по отношенію къ человѣку у насъ возникаютъ (какъ, другой вопросъ) представленія о должномъ. Мы не довольствуемся описаніемъ и объясненіемъ умственныхъ явленій, а хотимъ еще знать, какимъ законамъ долженъ подчиняться нашъ умъ для того, чтобы наше мышленіе было правильно, чтобы оно приводило насъ къ истинѣ, а не къ заблужденію. И вотъ рядомъ съ психологіей, стремящейся къ изслѣдованію законовъ душевной жизни вообще, законовъ существующаго, возникаетъ логика, изслѣдующая въ частности законы мышленія, во какъ законы должнаго, т.-е. не всякаго, а правильнаго мышленія. Психология—наука объясняющая (экспликативная), логика—наука, устанавливающая нормы (нормальная). Человѣкъ нуждается, однако, въ нормахъ не только для своего мышленія, но и для своего поведенія. Психология изслѣдуетъ законы волевыхъ явленій, каковы они есть, этика устанавливаетъ

и предписывает законы воли, какъ она должна себя вести, чтобы осуществлять благо. Между логикой и этикой въ этомъ случаѣ полная параллель, такъ что одна есть нормальная наука теоретическаго отношенія къ природѣ и человѣку, другая—нормативная наука практическаго отношенія ¹⁾). Поскольку для каждаго отдѣльнаго человѣка наиболѣе характеристично не то, какъ совершаются въ немъ процессы мышленія, а какова его воля, его стремленія и желанія, его характеръ и его поведеніе съ отраженіемъ всего этого на его умъ и въ области его чувствованій, то этика и есть наука вообще о личности, какъ она должна быть. Психологическая точка зрѣнія есть точка зрѣнія чисто-теоретическая, отъ которой мы и отличаемъ точку зрѣнія этическую, какъ практическую. Этический вопросъ можетъ и долженъ существовать не только по отношенію къ единицѣ, но и по отношенію къ обществу. Этика можетъ быть индивидуальной и социальной.

Психологія и этика (индивидуальная) изучаютъ человѣческую личность, какою она есть и какою она должна быть, но человѣкъ есть животное общественное, и его психическая жизнь переходитъ въ духовную жизнь цѣлаго общества, которая заключается въ особыхъ болѣе сложныхъ явленіяхъ психическаго характера, разумѣется, подчиняющихся этимъ законамъ. Я говорю о вліяніи душевной жизни однихъ людей на душевную жизнь другихъ, о явленіяхъ психическаго взаимодѣйствія, къ сожалѣнію, такъ мало еще изученныхъ, о результатахъ коллективной психической жизни, данныхъ намъ въ духовной культурѣ народовъ, въ ихъ языкахъ, въ ихъ нравахъ, обычаяхъ, приличіяхъ, въ ихъ вѣрованіяхъ, настроеніяхъ, стремленіяхъ, въ ихъ религіи, философіи, наукахъ, искусствѣ; говорю, наконецъ, о вліяніи коллективной психической жизни на вырастающія на ея почвѣ практическія отношенія общества. Это — цѣлая область коллективной психологіи, отличной отъ психологіи индивидуальной. И къ вопросамъ культуры можно предъявлять требованія этики.

Практическія отношенія въ обществѣ суть или отношенія хозяйственныя, или правовыя, или государственныя: теоретически и этически они изучаются спеціальными науками, которыя называются экономикой, юриспруденціей и политикой, и эти же явленія составляютъ предметъ общаго ученія объ обществѣ—соціологіи.

¹⁾ Эту идею я подробно развиваю въ „Мысляхъ объ основахъ нравственности“.

Такія науки, какъ психологія (индивидуальная и коллективная) и соціологія (съ экономикой, юриспруденціей и политикой) изучаютъ людей, ихъ духовную культуру и ихъ общественную организацію теоретически не только въ противоположеніи теоріи этикъ (знанія того, что есть, знанію того, что должно быть), но и въ противоположеніи теоретическаго изслѣдованія того, что всегда бываетъ при извѣстныхъ условіяхъ, историческому изслѣдованію о томъ, что было только одинъ разъ, при однажды существовавшихъ обстоятельствахъ. Предметъ исторіи и есть именно послѣдовательность и развитіе культурныхъ и соціальныхъ явленій, которыя имѣли въ прошломъ свое опредѣленное мѣсто и время и болѣе не возвращались (историческіе факты).

Мы нашли принципъ, обособляющій гуманитарныя науки отъ естествознанія, и сейчасъ только обозначили, въ чемъ заключается вся область гуманитарнаго знанія. Мы видѣли, что это главнымъ образомъ — психологія (съ логикой) и этика, соціологія (съ экономикой, юриспруденціей и политикой) и исторія. Теперь намъ нужно показать, какъ принципъ личности, — а личность изучается психологіей и этикой, какъ общество — соціологіей и исторіей, — объединяетъ собою все внутреннее содержаніе гуманитарнаго знанія.

Для этого нужно доказать, что общественныя науки суть тоже науки гуманитарныя, что ни экономика, ни юриспруденція, ни политика, ни соціологія, ни, наконецъ, исторія немыслимы безъ психологической основы и безъ этического элемента. Я это и сдѣлаю, насколько это возможно сдѣлать въ краткомъ изложеніи.

Были не разъ сдѣланы попытки натуралистическаго объясненія общества изъ однихъ матеріальныхъ началъ, но всѣ онѣ оказываются несостоятельными. Въ новѣйшее время ихъ было три: перенесеніе въ соціологію цѣликомъ біологической теоріи Дарвина, отождествленіе человѣческаго общества съ естественнымъ организмомъ, какъ его понимаетъ современная біологія, и стремленіе свести всю общественность и духовную культуру на одни матеріальныя отношенія, лежація въ основѣ народнаго хозяйства.

Но теорія Дарвина беретъ человѣка, не какъ личность, а какъ животный организмъ, и притомъ объясняетъ подлежащія ей вѣдѣнію явленія изъ борьбы за существованіе, тогда какъ въ основѣ общества лежитъ солидарность. Эту солидарность и подхватила органическая теорія, чтобы отождествить общество съ организмомъ, покоящемся на тѣсной связи всѣхъ его частей.

Однако, одно дѣло — человекъ, какъ самостоятельное цѣлое, и другое дѣло — клѣточка, эта служебная часть, поглощенная въ организмъ, да и связь между клѣточками организма физическая, тогда какъ связь между людьми въ обществѣ не физическая. Да, говоритъ экономическій матеріализмъ, общество основано на борьбѣ за существованіе, но не индивидуумовъ, а классовъ, внутри коихъ и существуетъ солидарность, а то, что разъединяетъ и соединяетъ людей, это не непосредственная физическая связь, а матеріальный интересъ. Тутъ мы ближе къ истинѣ, но вѣдь при всей борьбѣ классовъ на полѣ экономическихъ интересовъ, мы наблюдаемъ массу случаевъ, когда разные классы выступаютъ солидарно, какъ нація или вѣроисповѣданіе, а это указываетъ, что людей можетъ объединять не одинъ матеріальный интересъ, но и нѣчто другое — общая духовная культура, да и самого экономического отношенія человека къ человеку не существовало бы безъ психического взаимодѣйствія. Дарвинизмъ въ социологіи, въ коемъ совсѣмъ неповиненъ самъ Дарвинъ, органическая теорія общества и экономическій матеріализмъ думали построить всю науку объ обществѣ на биологіи и экономикѣ, минуя психологію. Дальше всего отъ истины органическая теорія: она, смотря на общество, какъ на естественный организмъ, на человека смотритъ даже не какъ на организмъ, а какъ на клѣточку организма, какъ на вещь. Въ дарвинистической социологіи, нынѣ всѣми позабытой, человекъ тоже рассматривается такъ, какъ будто бы онъ былъ *только* животный организмъ и ничего болѣе. Объ теоріи не доходятъ до психологіи. Экономическій матеріализмъ черезъ нее за то перескакиваетъ и беретъ за основной фактъ то, что есть фактъ производный и не единственный. Общество и его хозяйственная дѣятельность были бы невысказанными безъ существованія психического взаимодѣйствія личностей, а это психическое взаимодѣйствіе дѣлаетъ возможными не только явленія утилитарнаго взаимоотношенія (экономика), но и явленія эмоціональнаго и интеллектуальнаго взаимоотношенія, порождающаго духовную культуру. Психическія явленія въ генетическомъ и логическомъ порядкѣ предшествуютъ экономическимъ. Социологія, часть коей составляетъ экономика, невысказанна безъ психологической основы, которая сама въ частности нужна и для экономики. Но въ этой же основѣ нуждается и юриспруденція, и политика. Что касается до исторіи, то, имѣя дѣло съ человѣческими дѣйствіями (прагматическая исторія), она не можетъ обходиться безъ психологіи, а съ другой стороны, исторія не можетъ ограничиться изученіемъ одной социальной организаціи,

т.-е. не касаться совсѣмъ духовной культуры. Безъ психологическаго элемента, безъ идеи личности, социальныя науки впадаютъ въ теоретическія ошибки, которыя суть въ то же время и этическія заблужденія. Вотъ примѣръ. Политическая экономія учитъ, что въ производствѣ матеріальныхъ благъ участвуютъ дары природы, накопленные результаты прежняго труда и трудъ (земля, капиталъ и трудъ) и что продуктъ раздѣляется на ренту за землю, прибыль на капиталъ и плату за трудъ. Что такое дары природы, земля?—Вещь.—Что такое результаты прежняго труда, капиталъ?—Разныя вещи.—Ну, а трудъ? Есть ли это вещь?—Нѣтъ, не вещь, а дѣятельность.—Чья?—Конечно, чело-вѣка.—Но отдѣлима ли она отъ чело-вѣка?—Нѣтъ.—Но тогда трудъ, это—самъ чело-вѣкъ, не правда ли?—Да, трудъ, это—чело-вѣкъ.—А самъ чело-вѣкъ вещь... Вотъ когда политическая экономія не различала между вещами (землей и капита-ломъ), съ одной стороны, и личностью съ другой, смотря на трудъ, лишь какъ на физическую силу; это было, какъ нынѣ признается, ненаучно, и вмѣстѣ съ этимъ было и неэтично.

На этомъ примѣрѣ мы видимъ, что научное (теоретическое) и этическое совпадаютъ. Но идемъ далѣе.

Природу мы изучаемъ теоретически. Этическое отношеніе къ ней немислимо. Мы беремъ ее такъ, какъ она есть, пользуемся тѣмъ, что она намъ даетъ, но не предъявляемъ ей требованій, чѣмъ она должна быть. Иное—общество. Оно есть дѣло рукъ чело-вѣческихъ, хотя и связанныхъ законами причинности и развитія; оно существуетъ не только чрезъ чело-вѣка, но и для чело-вѣка. Обществу мы предъявляемъ извѣстныя требованія—во имя блага личности, во имя счастья чело-вѣка. Эти требованія имѣютъ свою основу въ этикѣ. Намъ мало знать, каковы бываютъ общественныя явленія, какія существуютъ формы общества и государства и какими законами причинности и развитія все это управляется, мы еще хотимъ знать, чего не должно быть и что должно быть въ области народнаго хозяйства, права, государства, дабы имѣть правильныя социальныя воззрѣнія для руководства въ нашей дѣятельности. Или совсѣмъ отказаться отъ идеаловъ высшей общественной культурности, болѣе справедливой общественной организаціи? они ненаучны? Но если у насъ есть идеалъ того, чѣмъ должна быть личность и чѣмъ должно быть общество, неужели будетъ искаженіемъ научной истины, если объективно, безпристрастно воспроизведши историческое прошлое, дѣла людей и формы быта, мы будемъ разсматривать все сюда относящееся со всѣхъ точекъ зрѣнія, кромѣ этической, что было умно и что глупо, что цѣле-

сообразно и что непѣлесообразно, что полезно и что вредно и пр. и пр., обходя только вопросъ о томъ, что было нравственно или безнравственно, справедливо или несправедливо. Этическая точка зрѣнія, это—не морализированіе, не превращеніе исторіи въ собраніе нравственныхъ примѣровъ и поученій, а просто человѣческое сужденіе о человѣческихъ дѣлахъ, лишь бы оно не искажало фактовъ. Наконецъ, когда мы говоримъ о прогрессивности или регрессивности тѣхъ или другихъ историческихъ перемѣнъ, о ихъ значеніи въ исторіи культурнаго и соціального развитія, по ихъ качественному отношенію къ развитію и счастью человѣческой личности, когда мы ко всему процессу всемірной исторіи прилагаемъ мѣрку прогресса, желая узнать, въ какомъ направленіи совершался объективный ходъ исторіи, мы становимся тоже на этическую точку зрѣнія. Это есть точка зрѣнія философіи исторіи.

Психологическое и этическое понятіе личности одно сообщаетъ наукамъ, занимающимся предметами, которые возникаютъ изъ нашего стремленія вѣрно понимать явленія человѣческой жизни и правильно пользоваться своимъ знаніемъ, гуманитарный характеръ. Явленія духа, отвлеченныя отъ личности, въ которой и чрезъ которую эти явленія только и существуютъ, превращаются въ предметы, подобные вещамъ, и лишаются всякаго этического характера, будутъ ли этими предметами языкъ, изучаемый грамматикой, разнаго рода памятники человѣческаго творчества, коими занимается археологія, или произведенія духа, на которыя тоже вѣдь можно смѣтрѣть, лишь какъ на книги, и дѣлать предметомъ какой-нибудь библіографіи. Все это—спеціальныя точки зрѣнія, и съ такихъ точекъ зрѣнія можно смѣтрѣть и на многое, возникающее на общественной почвѣ, что мы и видимъ въ такихъ наукахъ, какъ полицейское или финансовое право. Не въ грамматикѣ гуманитарное образованіе, какъ и не въ финансовомъ правѣ или другомъ чемъ-либо подобномъ соціологическій элементъ этого образованія.

III.

Прошу не забывать, что я, говоря о гуманитарныхъ наукахъ, имѣлъ постоянно одно въ виду, именно значеніе этихъ наукъ въ дѣлѣ общаго образованія. Не сразу, конечно, науки, занимающіяся міромъ человѣка, получили должный характеръ. Онѣ, какъ органъ гуманитарнаго образованія, имѣютъ свою исторію.

Весьма любопытно прослѣдить вкратцѣ эту исторію, чтобы вполне уяснить себѣ сущность гуманитарнаго образованія въ его развитіи. Замѣчу, что въ данномъ случаѣ я, конечно, буду говорить не о школѣ, которая есть вообще только первая ступень въ дѣлѣ приобрѣтенія знаній и пониманія, отличающихъ образованнаго человѣка отъ необразованнаго, а буду говорить о томъ образованіи, которое приобрѣтается чтеніемъ философскихъ научныхъ и литературныхъ произведеній. Другими словами, это — то образованіе, которое заключается въ идеяхъ, въ данное время обращающихся въ томъ или другомъ обществѣ, которое отражаетъ на себѣ общую исторію духовной культуры.

Естествознаніе стало дѣлаться органомъ общаго образованія лишь въ послѣдніе два вѣка. Гуманитарное образованіе старше естественно-историческаго. Отличая первое отъ послѣдняго, мы должны еще различить между образованіемъ гуманитарнымъ, которое впервые возникло въ Греціи, и образованіемъ религиознымъ, возникшимъ у народовъ древняго Востока. Тому интересу къ внутреннему міру человѣка и къ міру его общественныхъ отношеній, на почвѣ коего возникли и развились гуманитарныя (и социальныя) науки, въ исторіи культуры предшествовалъ интересъ къ сверхъестественному, къ сверхчувственному, къ тому, что составляетъ содержаніе религиозныхъ вѣрованій. Первая философія, вся философія древняго Востока была религиозною, и первой интеллигенціей, выражаясь современнымъ терминомъ, были жрецы. Свѣтская и „человѣческая“ философія впервые зародилась и получила развитіе въ Греціи. Здѣсь не работалось прочнаго теологическаго преданія съ его священными книгами, здѣсь не развилось жречества. Но и тутъ сначала главный интересъ умозрѣнія былъ направленъ на космогонію. Нужно было извѣстное развитіе личности для того, чтобы самъ человѣкъ, его внутренній міръ, его личное начало сдѣлались предметомъ философскаго интереса. Это произошло въ эпоху софистовъ и Сократа, когда, съ одной стороны, человѣкъ былъ объявленъ „мѣрою всѣхъ вещей“, а съ другой, философія была сведена съ неба на землю, къ людямъ, въ ихъ города. Тогда именно и началась разработка психологическихъ и этическихъ вопросовъ. Конечно, это было лишь начало, но именно важно то, что начало было уже положено для психологіи и этики, этихъ двухъ, какъ мы видѣли, основныхъ наукъ гуманитарнаго образованія. Недостатокъ древней греческой постановки гуманитарнаго образованія заключался въ томъ, что оно было черезчуръ индивидуалистично, взявъ и съ психологической, и этической точки зрѣ-

нія человѣческую личность особнякомъ. Психологія долгое время и впослѣдствіи оставалась исключительно индивидуальной. То же самое можно сказать и объ этикѣ: стоитъ вспомнить только моральныя системы стоиковъ и эпикурейцевъ, которые брали высшее благо, какъ благо единицы, не возвышаясь до понятія о высшемъ благѣ въ смыслѣ благополучія. Это не значитъ, конечно, что древнегреческая мысль совсѣмъ не интересовалась человѣкомъ, какъ животнымъ общественнымъ. Само опредѣленіе человѣка, какъ *ζῷον πολιτικόν* принадлежитъ Аристотелю, первому научному мыслителю, положившему начало политической наукѣ. Но предметъ „политики“ великаго греческаго философа, да и вообще предметъ политики, какъ науки, есть государство, которое можно брать совершенно отвлеченно, какъ бы забывая, что государство существуетъ не только чрезъ личности, но и для личностей. Аристотель имѣлъ передъ глазами античное государство, а въ послѣднемъ, какъ извѣстно, совершалось поглощеніе личности человѣка. Старая политика поэтому не знаетъ личности, не знаетъ человѣка: ей извѣстенъ только гражданинъ, но ему впослѣдствіи предстояло превратиться въ подданнаго, — гражданинъ, разсматривающійся, какъ служебный членъ великаго цѣлаго — государства, какъ клѣточка, поглощенная въ высшемъ организмѣ. При такомъ пониманіи государства и гражданина вопросъ о границахъ власти перваго надъ вторымъ и вопросъ о правахъ второго по отношенію къ первому не ставился да и ставиться не могъ: для того, чтобы могли возникнуть эти вопросы, нужно было развитіе понятія о человѣческомъ достоинствѣ, объ естественныхъ правахъ личности, между тѣмъ Аристотель не возвысился еще до этого понятія: онъ знаетъ гражданина, но не знаетъ человѣка, ибо иначе онъ не могъ бы принципиально защищать рабства. Правда, стоики превозгласили, что и рабъ — человѣкъ, и что достоинство человѣческой личности заключается въ ея внутренней свободѣ, но и они не возвысились до отрицанія рабства, какъ учрежденія, противнаго человѣческому достоинству, до отрицанія полной и безграничной власти государства надъ личностью, за которою было признано право на внутреннюю свободу, противорѣчившее совершенному поглощенію личности въ государствѣ. Правда, новый взглядъ на человѣка у стоиковъ заимствовали римскіе юристы, объявивъ, что по естественному праву всѣ люди рождаются свободны, но они не реализировали этой естественной свободы личности въ положительномъ правѣ, по которому попрежнему одни люди были лицами, другіе вещами. Какъ греки создали политику, такъ

римляне создали юриспруденцію, но римская юриспруденція съ своимъ формализмомъ и чисто профессиональнымъ характеромъ еще дальше, чѣмъ греческая политика, была отъ того, что могло бы интересовать личность, какъ таковую, именно какъ человѣка, а не какъ гражданина или какъ субъектъ права. Разъ государство и право мыслились столь отвлеченно отъ личной жизни, политика и юриспруденція при всей своей важности, какъ науки спеціальныхъ, не могли быть органами гуманитарнаго образованія.

Христіанство провозгласило принципъ личнаго достоинства человѣка. То, чѣмъ было у грековъ государство, то, чѣмъ сдѣлалось у римлянъ право, весьма часто то же самое представлялъ собою законъ у іудеевъ. Это была „суббота“, требовавшая, чтобы для нея, для этой субботы, существовалъ человѣкъ, тогда какъ христіанство провозгласило, что „не человѣкъ существуетъ для субботы, а суббота для человѣка“. Этотъ принципъ, однако, не получилъ развитія въ дальнѣйшей исторической жизни того міра, въ коемъ явилась новая религія. Въ эпоху паденія античной образованности общественная мысль стала работать въ особомъ направленіи, давшемъ въ результатѣ средневѣковой католицизмъ. Всѣ помыслы человѣка направлялись именно на вопросы загробнаго существованія. Философія сдѣлалась „служанкой“ богословія (*philosophia est ancilla theologiae*), и научный интересъ не только къ внѣшнему міру природы, но и къ внутреннему міру человѣка совершенно палъ на очень продолжительное время. Человѣкъ былъ прямо объявленъ существомъ испорченнымъ, сосудомъ грѣховныхъ страстей и гнѣва Божія, недостойнымъ того, чтобы имъ интересоваться ради его самого. Этический идеалъ личности видѣли въ аскетизмѣ, требовавшемъ прямо отреченія отъ личной жизни, отреченія отъ своего я, отъ инстинктовъ человѣческой природы, отъ радостей земного существованія, отъ интереса къ міру въ смыслѣ общественнаго бытія людей. Углубляться въ самого себя дозволялось только ради созерцанія своей скверны, ради покаянія въ грѣхахъ. Умственнымъ плодомъ средневѣковаго настроенія была схоластика, которая менѣе всего занималась живою человѣческою личностью съ ея внутреннимъ міромъ и идеальными порывами: недаромъ схоластика сдѣлалась синонимомъ сухого, отвлеченнаго, формалистическаго отношенія къ вопросамъ мысли и жизни.

Первыми людьми, пробившими брешь въ аскетическомъ и схоластическомъ міросозерцаніи, накладывавшемъ свою печать на средневѣковую образованность, были итальянскіе ученые и писатели IX — XV вв., получившіе названіе гуманистовъ,

совершенно правильно имъ данное за ихъ человѣческій интересъ ко всему человѣческому. Каждый изъ этихъ людей, съ коихъ человѣческая личность переросла традиціонную культуру своей эпохи, могъ бы сказать, что „онъ человѣкъ и что ничто человѣческое не считаетъ для себя чуждымъ“, а наиболѣе видные изъ нихъ исходили изъ того интереса къ своему собственному внутреннему міру, изъ того „познай самого себя“, которые характеризуютъ греческихъ софистовъ и Сократа. Они—гуманисты сначала итальянскіе, а затѣмъ въ другихъ странахъ западной Европы—и были настоящими родоначальниками новаго гуманитарнаго образованія. Средневѣковымъ занятіямъ божественнымъ (*divina studia*) они противоположили занятіе человѣческими вещами, тѣмъ, что за тысячу лѣтъ передъ ними интересовало древнихъ мыслителей и поэтовъ. Изъ античной литературы они на первыхъ порахъ брали лишь то, что представляло психологическій и этический интересъ: оставляя въ сторонѣ, напр., греческую метафизику и римскую юриспруденцію, которыя по своей отвлеченности и отдаленности отъ того, что болѣе всего занимало ихъ собственную мысль, слишкомъ напоминало имъ схоластику. Гуманистическое движеніе было движеніе освободительное: личности, забытой схоластикой, отрицавшей аскетизмъ, нужно было вернуться къ самой себѣ и утвердить себя въ своихъ правахъ. Аскетизмъ все готовъ былъ признать грѣхомъ. Стремясь оправдать инстинкты человѣческой природы, гуманисты должны были противъ аскетической морали выставить другой принципъ, и они нашли его ранѣе всего въ античномъ стоицизмѣ съ его признаніемъ личнаго достоинства человѣка. У гуманистовъ былъ, далѣе, большой теоретическій интересъ къ чужому внутреннему міру, но этотъ интересъ былъ нѣсколько эгоистичный, вѣрнѣе, въ моральномъ и социальномъ отношеніяхъ индифферентный. У нихъ не было того альтруизма, той любви къ другому человѣку, любви къ ближнему, которое проповѣдано было евангеліемъ. Но и средневѣковой аскетизмъ былъ эгоистиченъ, ибо не только заставлялъ человѣка заботиться исключительно о личномъ спасеніи за гробомъ, но и удалялъ людей изъ міра, т. е. изъ жизни среди другихъ людей: эгоистическій аскетизмъ среднихъ вѣковъ гуманисты замѣнили хотя и болѣе соответствующимъ человѣческой природѣ, но столь же эгоистическимъ, индифферентнымъ къ чужимъ радостямъ и горестямъ стоицизмомъ. Они прямо забывали достоинство другого человѣка и возвращались къ античному представленію государства съ безправною по отношенію къ нему личностью. Вспом-

нимъ политическія идеи Макиавелли. У этого виднаго гуманиста политическая наука—руководство для правителя государства, которое само есть все, по отношенію къ которому личность является лишенною какихъ-бы то ни было правъ, религія—простымъ орудіемъ власти. Такая политика, такое ученіе о государствѣ, имѣвшее въ виду не удовлетвореніе любознательности человѣка вообще, не принимавшее въ расчетъ желаній и стремленій личности, и не могло быть орудіемъ настоящаго гуманитарнаго образованія,—это политика политиковъ, а не просто образованныхъ людей, какъ и юриспруденція продолжала быть наукою для юристовъ, для специалистовъ, а не для обыкновенныхъ смертныхъ. Въ этомъ духѣ между тѣмъ былъ написанъ цѣлый рядъ политическихъ трактатовъ, изъ коихъ ни одинъ, пожалуй, не доходилъ до столь принципиальнаго отрицанія личности и ея правъ, какъ трактаты Гоббза: этотъ англійскій философъ прямо говорилъ, что самъ человѣкъ не имѣетъ права считать что-либо добромъ или зломъ, а долженъ на этотъ счетъ повиноваться рѣшеніямъ государства.

Какъ бы тамъ ни было, однако, все-таки гуманисты пробрили брешь въ схоластическомъ образованіи среднихъ вѣковъ и положили начало настоящему гуманитарному образованію, каковы бы ни были его недостатки съ этической и политической точекъ зрѣнія. Отчасти въ этихъ недостаткахъ, отчасти потому, что европейское общество не доросло тогда до полнаго усвоенія свѣтскаго направленія гуманизма, только послѣдній не удержался на поверхности культурнаго движенія XVI в. Исторія поставила тогда на очередь реформу церкви, и религіозные вопросы, рѣшеніемъ коихъ занялись тогда реформаторы разныхъ направленій, были болѣе по плечу тогдашнему обществу, чѣмъ философскіе и научные вопросы, интересовавшіе гуманистовъ. Если религіозные вопросы и для части гуманистовъ представляли большой интересъ, то въ рѣшеніи ихъ весьма важную роль играла этическая точка зрѣнія. Она была исходнымъ пунктомъ и реформации, но мало-по-малу въ протестантизмѣ возродилась въ новыхъ формахъ старая схоластика. Гуманизму, повидимому, предстояло исчезнуть совершенно безслѣдно изъ общества, въ которомъ совершилось это обновленіе средневѣковой церковности. То, чего не могли сдѣлать протестанты, повидимому, предстояло сдѣлать иезуитамъ, явившимся для противодѣйствія всѣмъ новымъ началамъ культурной жизни. Они заимствовали у гуманистовъ то, что составляло ихъ силу, заимствовали ихъ литературное и научное образованіе, но для того только, чтобы при помощи этого

умственного средства достигнуть подавления личной мысли и личной жизни *ad maiorem dei gloriam*. Цѣлью ихъ педагогика, какъ извѣстно, было не воспитаніе, а дрессировка личности.

Но гуманизмъ окончательно не погибъ. Онъ возродился въ „просвѣщеніи“ XVIII в., осложнившись важными культурными пріобрѣтеніями реформаціонной эпохи. Гуманисты не могли, разумѣется, не видѣть, что ихъ выводы не совпадаютъ съ ученіями католицизма, и вотъ, желая обезпечить за собой свободу личной мысли, но не желая приходить въ столкновеніе съ церковною традиціей, они придумали теорію, по которой истинное въ теологіи можетъ быть ложно въ философіи и, наоборотъ, ложное съ богословской точки зрѣнія—истиннымъ съ философской. Такой выходъ изъ затрудненія свидѣтельствовалъ объ изворотливости ума, но въ то же время и о не особенно развитой совѣсти. Реформація выдвинула на первый планъ именно голосъ совѣсти, во имя коего и раздался самый сокрушительный для католицизма протестъ, выдвинула такимъ образомъ впередъ этический элементъ, который, будучи приложенъ къ общественнымъ вопросамъ, внесъ въ сознаніе представленіе о правильномъ государственномъ устройствѣ. Гуманисты въ своей теоретической политикѣ приносили начало личности въ жертву государственному интересу, понятому совершенно отвлеченно: для нихъ религія, въ коей протестанты и особенно сектанты видѣли дѣло индивидуальной души, была не чѣмъ инымъ, какъ политическимъ орудіемъ, откуда—подчиненіе религіозныхъ вѣрованій государству, подчиненіе, которое впослѣдствіи проповѣдовали еще въ XVII в. Гоббсъ, въ XVIII—Руссо. Протестантизмъ выставилъ идею свободы совѣсти и въ этой формѣ поставилъ впервые на очередь общій вопросъ о правахъ личности, о принципиальномъ ограниченіи власти государства. Благодаря этому и многимъ другимъ жизненнымъ вліяніямъ, бывшій у гуманистовъ чисто теоретическимъ интересъ къ человѣку и обществу у просвѣтителей сталъ дѣлаться и этическимъ, какъ одновременно съ этимъ болѣе чисто эстетическій интересъ къ природѣ, который характеризуетъ гуманистовъ, мало-по-малу, благодаря великимъ научнымъ открытіямъ XVII в., сдѣлался интересомъ теоретическимъ у просвѣтителей XVIII столѣтія, послѣ чего только и возможнымъ стало постепенное включеніе естествознанія въ программу общаго образованія.

Итакъ, „просвѣщеніе“ XVIII в. было осложненнымъ гуманизмомъ, и то гуманитарное образованіе, начало коему положили гуманисты, расширилось въ XVIII столѣтіи, включая въ себя интересъ къ общественности человѣка, взятый со стороны

ея отношенія къ человѣческой личности, со стороны интересовъ и правъ послѣдней. Чисто теоретическое отношеніе къ государству, какое мы видѣли у Аристотеля или Макиавелли, т.-е. отношеніе, не принимающее въ расчетъ этической идеи личнаго достоинства человѣка, правъ человѣческой личности, могло быть вполнѣ понятнымъ лишь немногимъ, и этими немногими могли быть только государственные дѣятели да политиканы; обыкновенной человѣческой личности съ ея стремленіями такое представленіе говорило очень мало. Новое отношеніе къ общественности не могло не отразиться и на исторіи, которая лишь съ XVIII в. получаетъ окончательно свой гуманитарный характеръ. На первыхъ порахъ исторія была почти исключительно исторіей государствъ и потому имѣла преимущественно характеръ науки строго политической; психологическій элементъ былъ въ ней представленъ лишь въ формѣ біографій, которыя, замѣтимъ кстати, были въ большомъ ходу у гуманистовъ. Впервые XVIII вѣкъ обратилъ вниманіе на общественную психику, на духовную культуру, на то, что Вольтеръ въ своемъ извѣстномъ сочиненіи назвалъ „правами и духомъ народовъ“. Съ другой стороны, этическое отношеніе къ человѣку, дававшее въ болѣе ранней исторіографіи поводъ къ безплодному морализированію на счетъ индивидуальныхъ или общественныхъ добродѣтелей и пороковъ, поставило для философской мысли новую проблему — разсмотрѣть, каковъ былъ ходъ исторіи, взятый съ точки зрѣнія усовершенствованія человѣка и улучшенія внѣшнихъ условий его жизни, въ томъ числѣ, конечно, и общественныхъ условий. Въ античномъ мірѣ не было представленія объ историческомъ прогрессѣ: вѣрили въ успѣхи ума, которые сводились къ большому знанію природы и къ болѣе надъ нею власти, но думали, что въ нравственномъ отношеніи, какъ это въ XVIII в. повторилъ Руссо, — умственное развитіе влечетъ за собою нравственную порчу, и что въ общественной сферѣ совершается простой круговоротъ временныхъ улучшеній и ухудшеній. Впервые идея прогресса нравственнаго была заявлена христіанствомъ, но дальнѣйшаго развитія она въ средніе вѣка не получила, да и получить не могла, а въ эпоху гуманизма, подъ вліяніемъ классическихъ воззрѣній, античное представленіе исторіи опять стало входить въ сознаніе мыслящихъ людей. XVIII вѣкъ соединилъ античное ученіе о прогрессѣ умственномъ съ христіанскимъ ученіемъ о прогрессѣ нравственномъ, дополнивъ ихъ еще ученіемъ о прогрессѣ социальномъ въ смыслѣ улучшенія общественныхъ формъ, а именно формъ гражданскаго быта (Кантъ) и формъ эконо-

номическаго строя (Сень-Симонъ въ началѣ XIX в., въ сущности бывшій прямымъ наслѣдникомъ мысли XVIII столѣтія). Пока исторія была только политикой и біографіей, она, разумѣется, не могла имѣть ни того интереса для развитой человѣческой личности, ни того значенія съ точки зрѣнія задачъ гуманитарнаго образованія, какіе приобрѣла благодаря внесенію въ нея культурнаго и соціально-этическаго элемента.

IV.

Уже въ XVIII столѣтіи зародилось новое отношеніе къ вопросамъ общественной жизни — оцѣнка общественныхъ явленій, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ихъ исторія съ точки зрѣнія правъ и интересовъ личности, съ точки зрѣнія ея благополучія. Лишь благодаря этому, и отдѣльныя общественныя науки могли въ послѣдствіи, уже въ XIX в., отрѣшиться отъ своей первоначальной, чисто спеціальной постановки, чтобы сдѣлаться органами и болѣе общаго, гуманитарнаго образованія.

Первая причина того, что общественныя науки стали важнымъ элементомъ гуманитарнаго образованія въ наше время, заключалась въ томъ, что въ нихъ мало-по-малу сталъ выдвигаться все болѣе и болѣе впередъ вопросъ о личности. Я уже говорилъ, что политика первоначально была искусствомъ государственной мудрости, что на эту же точку зрѣнія нерѣдко становилась исторія, что при этомъ личность приносилась въ жертву всепоглощающему государству и что интересъ историка къ личности ограничивался одной индивидуальной психологіей, къ коей и сводилась біографія въ историческихъ сочиненіяхъ. Въ эпоху реформации впервые былъ — въ сферѣ отношеній религіозныхъ — поставленъ вопросъ о правахъ личности, о ея положеніи въ государствахъ, о томъ, чѣмъ должно быть государство, чтобы не нарушались въ немъ естественныя, прирожденныя и неотъемлемыя права личности. До обобщенія этого вопроса у Локка и особенно до преобразованія всей политической науки въ XIX в. съ новой, индивидуалистической точки зрѣнія, наука эта могла быть, повторяю, только наукою государственныхъ людей и лицъ, практически занимающихся политикой, затѣмъ, конечно, и для теоретиковъ спеціалистовъ, но общаго значенія получить не могла. На юриспруденціи, которая и до сихъ поръ остается наукою спеціальною, а не общаго образованія, мы можемъ видѣть, чѣмъ была бы и теперь политика, если бы она продол-

жала ставить свои вопросы попрежнему. Несомнѣнно, тѣмъ же самымъ была бы и по сей день политическая экономія, если бы изъ-за народнаго хозяйства, своего спеціальнаго предмета, забывала человѣческую личность. Наука эта возникла въ XVIII в. съ характеромъ политической науки въ старомъ смыслѣ, откуда и самое ея названіе — „политическая экономія“, по образцу коего впоследствии создали другое — „національная экономія“. Это была наука прежде всего о производствѣ народнаго богатства, и въ ней, какъ мы видѣли, трудъ въ качествѣ одного изъ факторовъ этого производства, трудъ, который на самомъ дѣлѣ есть человѣкъ, человѣческая личность, — ставился на одну доску съ вещами, съ землею, съ капиталомъ. Когда вопросы политической экономіи ставились такъ, что можно было подуматъ, будто человѣкъ существуетъ для богатства, а не богатство для человѣка, наука эта была преимущественно наукой промышленниковъ, торговцевъ, финансистовъ, государственныхъ людей и публицистовъ: для обыкновеннаго смертнаго наука, представлявшая дѣло такъ, какъ будто человѣкъ существуетъ для богатства, не могла имѣть большей привлекательности, нежели наука, смотрѣвшая на дѣло такъ, будто не государство существуетъ для человѣка, а человѣкъ для государства. Какъ политика, такъ и экономика получила общій интересъ, когда въ нее внесено было этическое понятіе личности, идея личнаго достоинства производителей богатства, идея правъ труда, переставшаго ставиться на одну доску съ вещами, когда интересъ съ богатства былъ перенесенъ на человѣка, для котораго оно существуетъ, на личность рабочаго, создающаго это богатство, на народную массу, какъ на совокупность лицъ, живущихъ трудами рукъ своихъ, когда, однимъ словомъ, наука о народномъ хозяйствѣ прониклась гуманнымъ, этическимъ отношеніемъ къ человѣку.

Это, по моему мнѣнію, первая причина, объясняющая намъ, почему въ наше время общественныя науки, бывшія прежде предметомъ интереса для однихъ теоретическихъ и практическихъ специалистовъ, могли сдѣлаться общеинтересными и вмѣстѣ съ этимъ необходимыми органами общаго, гуманитарнаго образованія: вниманіе къ человѣческой личности, къ ея нуждамъ, интересамъ, правамъ, объясняетъ намъ здѣсь все. Но есть на мой взглядъ и другая причина, содѣйствовавшая тому же самому.

До XIX в., собственно говоря, не существовало общей науки объ обществѣ. Изучались отдѣльно государство (политика), право (юриспруденція), народное хозяйство (политическая экономія),

но вѣдь, кромѣ того, существуетъ общество, отдѣльныя стороны жизни котораго и представляютъ изъ себя государство, право, народное хозяйство съ прибавкою къ нимъ всей духовной культуры въ ея національныхъ, вѣроисповѣдныхъ и иныхъ проявленіяхъ. Въ XIX в. явилась мысль, — явилась и стала мало-помалу осуществляться, — о соціологіи, т.-е. наукѣ объ обществѣ во всѣхъ существенныхъ сторонахъ его бытія. Соціологія стоитъ гораздо ближе къ основной чертѣ гуманитарнаго образованія, чѣмъ политика, юриспруденція и экономика. Первая изъ этихъ наукъ видитъ въ человѣкѣ прежде всего гражданина или подданнаго государства, вторая — субъектъ права, третья — производителя и потребителя богатства, но ни одна изъ этихъ наукъ не беретъ человѣческую личность во всѣхъ ея общественныхъ проявленіяхъ и отношеніяхъ, не беретъ человѣка, какъ члена общества со всѣми его этическими взаимоотношеніями съ обществомъ. Соціологія, минующая совершенно понятіе личности, — какъ то мы видѣли, говоря о попыткахъ основать эту науку помимо психологіи, — противорѣчила бы принципу научнаго реализма, требующаго, чтобы предметы изученія ставить такъ, какъ они даны въ дѣйствительности, а дѣйствительность такова, что общество существуетъ только чрезъ личность — и, прибавимъ еще, для личности. Какъ бы тамъ ни было, соціологическая постановка вопросовъ политики, юриспруденціи и народнаго хозяйства главнымъ образомъ и была одною изъ причинъ, что названныя науки получили значеніе въ общемъ гуманитарномъ образованіи. Стоило бы съ этой точки зрѣнія перебрать обычное содержаніе, напр., курсовъ политической экономіи, чтобы отмѣтить, какія части этихъ курсовъ имѣютъ интересъ и съ общей, т.-е. соціологической точки зрѣнія, и какіе — только съ точки зрѣнія специально-экономической: мы увидѣли бы, почему читатели набрасываются, напр., на вопросы о взаимныхъ отношеніяхъ земли, капитала и труда (т.-е. человѣка) въ производствѣ и при распредѣленіи продуктовъ и почему, напр., такіе предметы, какъ деньги, банки, акціи и т. п. уже не представляютъ такого интереса. Вообще лишь то, что соціологически важно, и въ политикѣ, и въ юриспруденціи, и въ политической экономіи привлекаетъ къ себѣ вниманіе средняго читателя, стремящагося не къ специальнымъ знаніямъ въ той или другой области, а къ общему образованію.

Психологическая и соціологическая точка зрѣнія вносятъ въ старыя соціальныя науки, т.-е. въ политику, юриспруденцію и экономику вопросъ о личности и обществѣ, какъ совокупности

личностей, живущихъ общею духовною, хозяйственною, правовою и государственною жизнью. Но есть въ настоящее время еще одна общая почва для встрѣчи между собою отдѣльныхъ общественныхъ наукъ: я говорю объ исторической наукѣ въ ея современномъ пониманіи. Мы уже видѣли, какъ исторія сдѣлалась наукою болѣе гуманитарною, чѣмъ была прежде, и сдѣлалась ею, благодаря тому, что занялась изученіемъ духовной культуры. Изъ всѣхъ общественныхъ наукъ съ одною лишь политикою исторія находилась всегда въ болѣе или менѣе тѣсной связи. Юриспруденція и экономика были сначала науками чисто-догматическими, и стояли далеко отъ исторіи, равно какъ и она отъ нихъ. Въ этомъ отношеніи изученіе права и народнаго хозяйства раздѣляло общую судьбу съ изученіемъ языка, литературы, искусства, философіи. Въ XIX столѣтіи эти послѣдніе предметы были поставлены на историческую почву, и то же самое произошло съ правомъ и народнымъ хозяйствомъ. Въ началѣ вѣка возникла историческая школа права, въ серединѣ вѣка — историческое направленіе и въ политической экономіи. Но не только юристы и экономисты сблизились съ исторіей, усвоивъ себѣ ея точку зрѣнія и ея методъ, но и историки, занимавшіеся раньше только политическими и культурными фактами, обратили вниманіе на право и народное хозяйство. Идеалъ общей исторіи, это — изученіе взаимной связи культурныхъ, экономическихъ, юридическихъ и политическихъ фактовъ въ ихъ отношеніи къ благополучію и развитію личности, къ зависящему отъ этого благополучія и развитія умственному, нравственному и общественному прогрессу человѣчества.

Личность, общество и ихъ исторія, — вотъ три понятія, сблизившія между собою отдѣльныя соціальныя науки и придавшія имъ дѣйствительно гуманитарный характеръ.

На этомъ я могъ бы и кончить, но еще два-три слова въ заключеніе.

Гуманитарное образованіе имѣетъ своимъ предметомъ чело-вѣка и чело-вѣчество, и, какъ таковое, оно не можетъ не быть чело-вѣчнымъ, гуманнымъ. Оно, именно какъ образованіе гуманитарное и гуманное, сдѣлалось вполне возможнымъ лишь тогда, когда понята была внутренняя сущность чело-вѣка, къ какому бы народу, къ какой бы вѣрѣ, къ какому бы государству, общественному классу, культурному слою онъ ни принадлежалъ. Принципъ гуманитарнаго образованія осуждаетъ всякія пристрастія и всякую исключительность, какъ ненаучныя и вмѣстѣ съ тѣмъ неэтичныя. Будучи гуманнымъ, чело-вѣчнымъ, оно не можетъ

не быть вмѣстѣ съ тѣмъ универсальнымъ, общечеловѣческимъ. Это разъ. Съ другой стороны, не къ простому созерцанію дѣйствительности зоветъ насъ истинное гуманитарное образованіе, а къ работѣ во имя развитія человѣческой личности въ себѣ, во имя развитія личности въ другихъ, во имя умственного, нравственного и общественнаго прогресса всѣхъ, ибо это единственный путь, ведущій къ осуществленію идеала человѣчности.

Н. Карѣевъ.

С. Аносово, іюль 1895.

ЗАДАЧИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ УНИВЕРСИТЕТСКАГО КУРСА ГРАНОВСКАГО.

Въ Историческомъ Музеѣ въ Москвѣ хранятся нѣсколько тетрадей составленнаго Грановскимъ курса по средневѣковой исторіи. Рукопись написана четко и набѣло; въ первыхъ тетрадяхъ текстъ законченъ настолько, что слова выписаны вполне, предложенія слѣдуютъ другъ за другомъ въ связной рѣчи и рукопись можетъ быть прочтена, какъ готовое сочиненіе. Есть, однако, много признаковъ того, что мы имѣемъ дѣло съ набросками, которые авторъ не предназначалъ для публики въ той формѣ, какъ они дошли до насъ. Тамъ и сямъ встрѣчаются описки и шероховатыя выраженія, которыя несомнѣнно были бы устранены въ окончательной редакціи; мало-по-малу текстъ становится отрывочнѣе и принимаетъ видъ конспекта; наконецъ, изложеніе довольно сухо и лишено той художественности, которая составляла неотъемлемую принадлежность какъ лекцій, такъ и литературныхъ произведеній Грановскаго. Въ общемъ, рукопись имѣетъ видъ курса, заготовленнаго профессоромъ до начала лекцій, какъ основаніе для послѣдующихъ чтеній, заготовленнаго, притомъ, тщательно и, пожалуй, робко, съ такимъ расчетомъ, чтобы на всякій случай имѣть передъ собою полный текстъ, но, по возможности, не держаться его буквально, а какъ бы вышивать по нему свободной рѣчью. Грановскій не нуждался въ такихъ предосторожностяхъ, когда созналъ свою силу: рѣдко кто владѣлъ въ такой степени даромъ свободного и литературно-законченнаго изложенія. Намъ, потомкамъ, приходится даже сожалѣть объ этомъ, потому что, какъ всѣ настоящіе ораторы, Грановскій неохотно писалъ. Но былъ моментъ въ его дѣя-

тельности, когда естественно было держаться именно той системы, которая намѣчена въ разсматриваемой рукописи: мы имѣемъ, конечно, въ виду начало университетской дѣятельности знаменитаго профессора. Онъ писалъ Н. В. Станкевичу о первыхъ своихъ лекціяхъ: „Краснорѣчіе мое тебѣ извѣстно, слѣдовательно, тебя удивить, что я читаю не по тетради, а по подробному конспекту. Иначе никакъ нельзя. Самое лучшее приходитъ въ голову уже во время чтенія“ ¹⁾).

Едва ли можно сомнѣваться, что хранящіяся въ Историческомъ Музеѣ тетради составляютъ часть именно того „подробнаго конспекта“, о которомъ сообщаетъ Грановскій. Когда нибудь тетради эти будутъ, вѣроятно, изданы, какъ памятникъ труда человѣка, которому русское образованное общество многимъ обязано. Въ настоящее время я позволяю себѣ, съ разрѣшенія А. В. Станкевича, напечатать начало этого наброска. Рѣчь идетъ въ нихъ о предметѣ, который особенно интересовалъ Грановскаго и къ которому онъ постоянно возвращался — о цѣли и значеніи Всеобщей Исторіи.

Въ актовѣ рѣчи 1852 года, характеризуя различные элементы исторической науки, Грановскій обращаетъ особенное вниманіе слушателей на широкую перспективу общенія съ естественными науками. „Исторія, по необходимости, должна выступить изъ круга наукъ филолого-юридическихъ, въ которомъ она такъ долго была заключена, на обширное поприще естественныхъ наукъ“. Изученіе географическихъ условій и человѣческихъ породъ уже проникаетъ въ область исторіи; статистика предупреждаетъ послѣднюю и обнаруживаетъ закономерную правильность явленій общественной жизни; методъ естествознанія усваивается въ приложеніи къ законамъ исторической аналогіи. Въ связи съ естественно-научнымъ направленіемъ актовѣ рѣчи стоятъ сильно подчеркнутыя возраженія противъ діалектическаго пониманія исторіи у Гегеля. Мысль Грановскаго несомнѣнно находилась въ это время подъ сильнымъ вліяніемъ подготовлявшагося переворота въ міровоззрѣніи европейскаго общества и на немъ вполне оправдывались его собственныя слова: „Быть можетъ, ни одна наука не подвергается въ такой степени вліянію господствующихъ философскихъ системъ, какъ Исторія. Вліяніе это обнаруживается часто противъ воли самихъ историковъ, упорно отстаивающихъ мнимую самостоятельность своей науки.

¹⁾ Письмо къ Станкевичу въ ноябрѣ 1839 г. А. Станкевичъ, „Т. Н. Грановскій“, М. 1869, с. 103.

Изъ окружающей его умственной среды заимствуетъ историкъ свою точку зрѣнія и мѣрило, прилагаемое имъ къ описываемымъ событіямъ и дѣламъ". (Соч. I, 19). Можно сказать, что подъ вліяніемъ общаго направленія умовъ въ 50-хъ годахъ Грановскій особенно остановился въ своей рѣчи на точкахъ соприкосновенія между исторіей и естественными науками. Но въ его міросозерцаніи была и другая сторона, на которую также можно найти указанія въ актовой рѣчи. „У Исторіи двѣ стороны“, говоритъ онъ, „въ одной является намъ свободное творчество духа человѣческаго, въ другой—независимыя отъ него, данныя отъ природы условія его дѣятельности. Новый методъ долженъ возникнуть изъ внимательнаго изученія міра духовнаго и природы въ ихъ взаимодѣйствіи. Только такимъ образомъ можно достигнуть до прочныхъ началъ, т.-е. до яснаго знанія законовъ, опредѣляющихъ движеніе историческихъ событій“ (I, 23). Характеристика историческаго процесса съ точки зрѣнія идеалистической философіи не проведена, однако, такъ же подробно и настоятельно, какъ характеристика естественно-научныхъ основаній. Вообще, актовая рѣчь представляетъ скорѣе критику прежнихъ способъ изученія и разъясненіе современныхъ методовъ, чѣмъ точное опредѣленіе задачъ и границъ науки. Самое разнообразіе и богатство указаній какъ будто мѣшаетъ автору дать окончательное рѣшеніе, его мысль какъ бы выведена изъ равновѣсія обиліемъ новыхъ идей.

Интересно отъ рѣчи, произнесенной въ зрѣломъ возрастѣ, обратиться къ очерку, составленному при подготовкѣ перваго университетскаго курса. Та сторона, которая такъ значительно развита въ актовой рѣчи—характеристика связи между естественными науками и исторіей—едва намѣчена въ наброскѣ 1839 года. Авторъ протестуетъ противъ самовольнаго перекраиванья матеріала во имя такъ называемой философіи исторіи, но не ограничивается критикой и характеристикой направленій и методовъ, а старается прежде всего выяснить идею, которая объединяетъ содержаніе его науки и ставитъ ей границы. При этомъ обнаруживается могущественное вліяніе школъ Савиньи и Гегеля. Нѣтъ разнообразія свѣдѣній и красоты изложенія, которыя отличаютъ рѣчь 1852 года, очертанія работы сухи и угловаты, но она хорошо продумана и итоги ея подведены точно.

Какъ видно изъ сохранившихся записей, Грановскій часто пользовался темой о задачахъ всеобщей Исторіи въ качествѣ введенія къ своимъ курсамъ, и я считаю нелишнимъ привести въ дополненіе къ очерку 1839 года нѣкоторые мѣста изъ курса

1843—44 г., записанного покойным профессором К. К. Герцемъ. Въ этой редакціи еще сильнѣе, чѣмъ въ собственноручномъ конспектѣ выдвигается значеніе Гегелевскихъ идей для уясненія задачъ всеобщей исторіи. Предлагаемый матеріалъ, мнѣ кажется не лишенъ интереса для изучающихъ исторію умственного движенія въ Россіи ¹⁾.

Для того, чтобы читателямъ было легче ориентироваться въ сообщаемомъ наброскѣ 1839 года, я предпосылаю ему краткую схему его содержанія. Первые страницы не сохранились. Судя по сличенію съ вступленіемъ къ учебнику и университетскими курсами, на этихъ страницахъ говорилось о цѣляхъ древней и средневѣковой исторіографіи и недостаточности такъ называемой „прагматической“ исторіи. Затѣмъ переходъ къ попыткамъ XVIII вѣка построить историческую науку. Критеріи пользы и вліянія. Недостаточность „всемирной исторіи“ и „исторіи человѣчества“. Односторонность міровоззрѣнія XVIII вѣка. Его теорія прогресса.

Переходъ къ XIX вѣку. Теорія прогресса у Гердера, Канта и Гегеля.

Отношеніе между философіей и исторіей.

Современная руководящая идея органическаго развитія. Приложение ея къ отдѣльнымъ народностямъ, историческимъ эпохамъ и общей жизни человѣчества ²⁾.

П. Виноградовъ.

...Къ этому началу *полезности* присоединилось другое: важны и достопримѣчательны собственно тѣ факты и лица, которые имѣли *вліяніе* на цѣлыя народы, части свѣта или даже все человѣчество. Но прежде всего надлежало бы въ этомъ случаѣ опредѣлить понятіе объ историческомъ величіи, о родѣ историческаго вліянія, дабы не впасть въ ошибку Шлецера и принявъ за главное отношеніе количество миль и душъ, не по-

¹⁾ Ср. мою публичную лекцію о Грановскомъ, Русская Мысль за 1893 годъ.

²⁾ Несомнѣнные описки исправлены нами въ текстѣ, но чтенія подлинника сообщены въ примѣчаніяхъ. Пропущенныя слова вставлены въ скобкахъ (), когда ихъ можно было возстановить съ вѣроятностью.

ставить Нина ¹⁾ и Тимура на равнѣ съ Александромъ и Цезаремъ, а Аѳинъ (не счесть) мелкимъ городкомъ передъ имперіей монголовъ. Истина ускользнула здѣсь отъ рефлексіи: важность народа стала опредѣляться не тѣмъ, что онъ былъ самъ по себѣ, а тѣмъ, чѣмъ былъ для другихъ; и самая цѣль Всемирной Исторіи сдѣлалась снова частной, т.-е. указаніе всего того, что имѣло вліяніе на современность ²⁾.

Вліяніе фактовъ было не только главнымъ мѣриломъ при выборѣ оныхъ и главнымъ средствомъ для подведенія цѣлаго къ единству. Всемирная Исторія имѣетъ дѣло съ событіями въ ихъ связи между собою. Въ этомъ она сходится съ прагматической исторіею, для которой причинность имѣетъ величайшее значеніе, ибо ея практическая цѣль требуетъ изложенія причинъ, намѣреній дѣйствующихъ лицъ, ихъ средствъ и обстоятельствъ, содѣйствовавшихъ къ приведен(ному) результату ³⁾. У новыхъ главный интересъ заключается въ уразумѣніи фактовъ чрезъ знаніе ихъ происхожденія и послѣдствій. Отсюда—характеристика, разложеніе отношеній—блестящія части прагматической исторіи. Это стремленіе къ понятному соединенію причинъ съ слѣдствіями ставитъ прагматическую исторію выше, чѣмъ стояла исторія въ средніе вѣка; но для Всемирной Исторіи это превосходство не столь важно, ибо чрезъ оное не достигается ея основное условіе—единство, потому (что) дѣло идетъ не объ общихъ, глубокихъ причинахъ, а объ отдѣлностяхъ, событіяхъ, лицахъ и т. д., которыя только внѣшнимъ образомъ дѣйствуютъ одно на другое, причѣмъ важную роль играютъ случай и произволь. Но начало прагматической исторіи, если мы будемъ послѣдовательно развивать его, доводитъ до нелѣпости. Ибо всякая причина слагается изъ множества составныхъ частей и новыхъ причинъ: эта цѣпь безъ конца. Въ мемуарахъ можно показать субъективныя и случайныя причины великихъ событій—эгоизмъ и т. д. И въ этомъ же духѣ былъ результатъ Всемирной Исторіи, что міръ въ основаніи одинъ и тотъ же, что новаго нѣтъ ничего—такимъ образомъ исторія сама признавала ничтожество своихъ результатовъ. Всеобщая Исторія не такова.

Между тѣмъ какъ Всемирная Исторія оказывалась неспособной возвыситься до Всеобщей Исторіи, явилось новое ученіе съ такими же притязаніями. Въ 1764 г. швейцарецъ Изелинъ на-

¹⁾ Чингисхана—курсъ 1843—4 года.

²⁾ Въ курсѣ 4^{3/4} Грановскій ссылаясь на вступительную лекцію Шиллера.

³⁾ Къ приведен. результату. Рук.

печатають первую *исторію человечества*; многіе нѣмецкіе и англійскіе ученые пошли по его слѣдамъ. Цѣль такой исторіи, вообще, показать, какъ человѣкъ, при извѣстныхъ вліяніяхъ климата, образа жизни, общества переходитъ отъ состоянія дикости къ образованности. Это не есть собственно исторія, а размышленія, отвлеченныя отъ фактовъ: большею частью дѣло идетъ о до-историческихъ кочующихъ и охотничьихъ племенахъ; между тѣмъ какъ о различныхъ степеняхъ образованности, которыхъ разнообразіе составляетъ исторію, говорится какъ объ одномъ и томъ же. Въ началѣ XIX вѣка это поле было снова оставлено, но оно уже успѣло принести плодъ для Всеобщей Исторіи. Во-1-хъ, было выставлено, хотя поверхностно, понятіе о человечествѣ, потерявшееся въ подробностяхъ Всемирной Исторіи; во-2-хъ, высказана идея о совершенствованіи, прогрессѣ человечества. Въ средніе вѣка, какъ въ древнихъ теократическихъ государствахъ, господствовала нехристіанская мысль о постоянномъ упадкѣ человечества, который начался ⁴⁾ такъ рано, что времена, непосредственно слѣдующія за Христомъ, уже назывались *aetas decrepita*. XVIII столѣтіе примкнуло здѣсь къ греческимъ идеямъ, по которымъ міръ съ помощью боговъ или чрезъ борьбу съ разными потребностями, переходитъ отъ состоянія дикаго или даже животнаго къ цивилизаціи. XVIII вѣкъ гордо признавалъ свои подвиги и смотрѣлъ на дикихъ, съ которыми такъ часто приводили его въ сношеніе открытія путешественниковъ и торговля, какъ на первобытныхъ людей, между состояніемъ которыхъ и европейскаго человѣка лежалъ длинный рядъ ступеней развитія. Необходимость прогресса доказывать было нетрудно. Она заключается не въ одномъ стремленіи человѣка къ улучшенію, но и въ умножающейся непрерывно суммѣ знаній, опытовъ и т. д., которое преданіе хранитъ для общества. Такимъ образомъ, въ 1795 г. Кондорсетъ математически вычислилъ необходимость прогресса. Записные историки возстали противъ этой идеи и справедливо, если подъ человечествомъ должно разумѣть всѣхъ жителей земного шара. Исторія являетъ намъ зрѣлище непрерывныхъ перемѣнъ, процвѣтанія и увяданія, жизни и смерти. Большая часть земли цѣлыя тысячелѣтія погружена въ невѣжество и нѣкоторыя страны по природѣ своей, кажется, навсегда обречены на такой удѣлъ. Даже у образованныхъ народовъ, при философскомъ изслѣдованіи, оказываются тѣ-же страсти, пороки, какъ и у дикихъ,

⁴⁾ Которое началось. Рук.

слѣдовательно различіе только внѣшнее. Споръ шелъ о подобныхъ мелочахъ, важныхъ въ глазахъ легкомысленнаго вѣка ⁵⁾.

Посмотримъ теперь на жизненное начало повидимому враждебныхъ (другъ другу) Всемирной Исторіи и Исторіи человѣчества. Мы тотчасъ увидимъ, что и та, и другая находились подъ владычествомъ разсудочной философіи Локка и Кондильяка ⁶⁾. Вообще, едва-ли какая другая система имѣла такое вліяніе. Для нея человѣкъ самъ по себѣ собственно ничто, безъ содержанія и направленія, безъ опредѣленія, простой матеріаль, который получаетъ форму и все извнѣ, чрезъ стеченіе обстоятельствъ: климата, рода жизни, пищи, принужденія, примѣра ⁷⁾. Отсюда высокое значеніе этихъ причинъ, въ отысканіи которыхъ заключалась задача историка-философа; здѣсь исторія человѣчества сходится съ прагматической. Изъ того же источника выходитъ гордое самосознаніе исторіи, которая явилась наставницей и крѣпко настаивала на своихъ правахъ; ея ненависть ко всѣмъ явленіямъ, которыхъ она не могла объяснить: она учила, что изъ человѣка можно все сдѣлать; учрежденія и религія, наравнѣ съ другими изобрѣтеніями, могутъ быть даны человѣку извнѣ, если только предразсудки и страсти не помѣшаютъ. Исторія и человѣкъ—простые матеріалы безъ внутренняго содержанія и развитія. Субъектъ сталъ единственнымъ (основаніемъ) такого единства въ исторіи. Отсюда же поверхностныя характеристики: всѣ люди равны, различія внѣшнія, образованность, утонченность. По этому, исторія образованности человѣчества—такая же внѣшняя, какъ и другія; ея содержаніе—происхожденіе и прогрессивный ходъ наукъ, искусствъ, учреждений, какъ товара, который переходитъ изъ рукъ въ руки постепенно увеличиваясь, слѣдствіемъ чего должно быть просвѣщеніе, удобство жизни и смягченіе нравовъ, изъ-подъ котораго, впрочемъ, виденъ еще старый Адамъ. Что цивилизація есть въ то же (время) источникъ нравственнаго улучшенія, чему, впрочемъ, противорѣчили исторія и дѣйствительность, этого болѣе желали, но не рѣшались говорить утвердительно.

Славнѣйшій врагъ этой сухой теоріи прогресса былъ Гердеръ ⁸⁾.

⁵⁾ Курсъ 4³/₄ г.: XVIII вѣкъ былъ послѣдователенъ въ своихъ требованіяхъ. Такъ какъ въ концѣ своемъ онъ провозгласилъ равныя права всѣмъ людямъ, такъ далъ всѣмъ народамъ мѣсто въ Исторіи. Для него все равно—что дикій житель африканскій, что образованный грекъ; и тѣ, и другіе получили отъ него право гражданства въ Исторіи.

⁶⁾ См. добавочныя примѣчанія.

⁷⁾ Пищу, принужденіе, примѣръ. *Рук.*

⁸⁾ Ср. съ послѣдующимъ Соч. II, 460.

Онъ не могъ совершенно отдѣлиться отъ заблуждений вѣка, но его превосходное твореніе: „Ideen zur Philosophie der Geschichte“ содержитъ въ себѣ сѣмена, изъ которыхъ должна была выйти новая наука исторіи. Признаніе индивидуальных особенностей національных характеровъ, вмѣсто абстрактнаго представленія объ общей человѣческой природѣ, источникъ которыхъ живалъ, по внутреннему закону развивающаяся сила, которая въ соединеніи съ обстоятельствами опредѣляетъ ходъ событій, вмѣсто простой внѣшней причинности, наконецъ, понятіе о всеобщей исторіи, какъ о прогрессѣ силъ и формъ, а не накопленіи и наслѣдственности внѣшнихъ средствъ—суть нынѣ идеи, общія всѣмъ историкамъ. Но полное торжество надъ понятіями XVIII вѣка, въ приложеніи ихъ къ исторіи, суждено было нѣмецкой философіи.

Въ одномъ году съ твореніемъ Гердера (1784) вышло сочиненіе Канта: „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht.“ Полное развитіе всѣхъ способностей человѣчества есть требованіе разума, котораго исполненіе возможно только при совершенномъ государственномъ устройствѣ и правильныхъ внѣшнихъ отношеніяхъ государствъ между собою; эта идея должна служить намъ нитью для соединенія безобразнаго агрегата человѣческихъ дѣлъ въ стройную систему. Онъ самъ не развилъ эту идею, и его ученики, пытавшіеся совершить это, немного сдѣлали. Система, которая не признавала познаваемости предметовъ, которая переносила изъ субъекта на нихъ соединяющія формы причинности, могла произвести внѣшнюю схему, а не философію исторіи. Творцомъ ея былъ Шеллингъ, который въ своей „Identitätsphilosophie“ положилъ основную идею, который обработалъ философію духа особеннымъ образомъ и приложилъ ее къ историческому матеріалу. Но у Шеллинга только намеки; большое обѣщанное сочиненіе еще не выходило. Лекціи Гегеля о Философіи Исторіи изданы въ 1837 году. Это одно изъ его слабыхъ произведеній. Философіей исторіи заключается у него философія права, ибо онъ также подъ Исторіей разумѣлъ только политическую Исторію народовъ, ограничивая, такимъ образомъ, ея значеніе. Но онъ самъ дополнилъ и исправилъ себя въ Философіи религіи, Эстетикѣ, Исторіи Философіи.

Простое начало, на которомъ основана Философія Исторіи, есть выражаемое уже въ языкахъ согласіе зримаго съ незримымъ, природы съ духомъ, тождество реальнаго съ идеальнымъ, бытія съ мышленіемъ. Это только двѣ стороны одной сущности,

вышедшія изъ одного корня — изъ абсолютнаго или понятія, или, лучше сказать, это — само абсолютное, открывающее себя въ явленіи; оно осуществляетъ и составляетъ зиждительную силу исторіи и природы; субъективный духъ и міръ подчинены одному закону, совершаютъ одинъ и тотъ же процессъ развитія. Одно отражается, какъ въ зеркалѣ, въ другомъ задолго до Философіи Исторіи, въ темномъ предчувствіи тождества законовъ природы съ законами человѣчества, стали употреблять образныя выраженія: произрастаніе, цвѣтъ, увяданіе и пр., для означенія отдѣловъ человѣческой жизни. Но несовершенное не можетъ быть полнымъ выраженіемъ совершеннаго. По Гегелю только сознающій себя внутренно духъ обладаетъ полнымъ и яснымъ уразумѣніемъ Исторіи и природы; онъ узнаетъ въ ней (Исторіи) свою сущность, собственную исторію, какъ онъ изъ темной глубины сознанія постепенно чрезъ различныя формы мышленія достигаетъ до полнаго самосознанія. Извлечь изъ глубины этого, стоящаго выше всякаго опыта, самосознанія общія понятія, лежащія въ основаніи историческихъ явленій — разумное, существенное съ ихъ внутреннею, логическою необходимостью, показывать, что случившееся должно было случиться по внутреннему логическому закону, оправдать исторію — вотъ задача Философіи Исторіи⁹⁾.

Историки возстали и противъ этихъ идей, отчасти вслѣдствіе заносчивости, съ какою милосифы прилагали ихъ, отчасти вслѣдствіе уваженія къ собственной наукѣ. Она не должна вступать въ службу¹⁰⁾ системы, еще не побѣдившей всѣхъ противорѣчій, еще находящейся въ борьбѣ. У Исторіи, какъ и у Философіи, есть опредѣленная ея собственнымъ понятіемъ граница, за которую она не должна переходить. Ея содержаніе составляютъ факты, данные опытомъ, опредѣленные обстоятельствами, ея форма не есть чистая отвлеченная мысль, а живое созерцаніе. Конечно, Всеобщая Исторія должна восходить отъ отдѣльных явленій къ общему, къ неизмѣнному, къ закону; но она идетъ путемъ обыкновеннаго размышленія и только то, что въ ней самой открывается, имѣетъ въ ней мѣсто. Подобно естественнымъ наукамъ должна она ограничиться наблюденіемъ однообразно повторяющихся случаевъ и выводомъ закона или общаго правила¹¹⁾.

Но, при всѣхъ усиліяхъ, Исторію невозможно охранить

⁹⁾ См. добавочныя примѣчанія.

¹⁰⁾ Службы. Р.

¹¹⁾ Ср. Соч. I, 18 и слѣд.

отъ чуждыхъ вліяній. Каждый вноситъ въ нее собственныя предположенія, которыя опредѣляютъ весь его взглядъ на науку: если не самая Философія, то идеи ея, отрѣшенные отъ строгой научной формы и живущія въ общемъ сознаніи, проникаютъ въ Исторію. Тѣ же люди, которые такъ гордо отстаивали независимость Исторіи, защищали ее противъ насилія новой философской системы, сами, безъ сознанія, были приверженцы старой, уже отжившей системы. Теперь Философія стала необходимымъ пособіемъ для Исторіи, она дала ей направленіе къ всеобщему, усилила ея средства и обогатила ее идеями, которыя изъ самой Исторіи не могли скоро развиться.

Самая плодотворная изъ этихъ идей есть взятая изъ естествознанія идея органической жизни. Она произвела въ послѣднія 2 или 3 десятилѣтія перемѣну въ обработываніи исторіи и другихъ наукъ, какъ-то языкознанія. Она сообщила внутреннее единство, существенное условіе Всеобщей Исторіи. Мы сначала покажемъ понятіе о народѣ.

Выходящее изъ этой идеи понятіе противоположно рефлектирующей исторіи, ибо оно содержитъ въ себѣ не внѣшности, а внутреннее ¹²⁾. Народъ не есть скопленіе внѣшне-соединенныхъ лицъ, но живое единство, система многообразныхъ силъ, надъ которыми владычествуетъ одна основная сила. Причины его существенныхъ измѣненій лежатъ въ немъ самомъ. Основная сила есть народный духъ, который, при безконечномъ разнообразіи лицъ и круговъ, къ которымъ они принадлежатъ: племена, общины, кланы, отражается во всемъ, и, несмотря на разнородность частныхъ цѣлей, удерживаетъ одно общее направленіе. Народъ не составляется атомистически вслѣдствіе произвола, соглашенія или гнета обстоятельствъ, также какъ языкъ его не произвольно сочиняется. При всемъ могуществѣ внѣшнихъ вліяній, котораго отрицать невозможно, внутренняя сущность народа, его особенность выходить не изъ нихъ. Духъ ея—живая, дѣятельная сила, а не страдательная масса; онъ усваиваетъ себѣ все приходящее извнѣ и кладетъ на него свою печать, какъ господинъ и хозяинъ.

Врожденный геній народа, происхожденіе котораго непроницаемо, сущность таинственна, выходитъ изъ своей сокровенности къ сознанію и Исторіи чрезъ проявленія свои и получаетъ болѣе или менѣе твердый образъ, смотря по мѣрѣ силъ своихъ и успѣховъ. Дѣла народа, его судьбы, учрежденія, ре-

¹²⁾ См. добавочныя примѣчанія.

лигія, языкъ, искусство—суть откровенія народнаго духа, органы его дѣятельности, дѣятельныя силы Исторіи.

Всякая жизнь условлена борьбою противоположныхъ силъ, которая наконецъ заключается какимъ-нибудь продуктомъ, полезнымъ для цѣлаго, которому принадлежать эти силы. Въ великомъ организмѣ народа совершаются такія же борьбы, не только лицъ, но и круговъ, на которыя подраздѣляется народъ. Такимъ образомъ одинъ простой законъ владычествуетъ въ непрерывныхъ повтореніяхъ природы и человѣческаго міра, но съ тѣмъ различіемъ, что въ природѣ этотъ процессъ совершается какъ однообразное круговращеніе, въ Исторіи онъ совершается надъ вѣчно новыми предметами, ибо ни одинъ моментъ не равенъ другому. Вѣчно новыя противоположности, и никогда не возвращаются онѣ къ прежнимъ пунктамъ, изъ борьбы ихъ исходятъ вѣчно новыя результаты. Въ строгомъ смыслѣ онѣ не существуютъ современно одинъ съ другимъ, но послѣдовательно смѣняютъ другъ друга, потому что самая могучая сила одолеваетъ другія и дѣлается господствующею, такъ что она заступаетъ болѣе или менѣе мѣсто народнаго духа, пока она не достигнетъ высшаго напряженія своего и не произведетъ сама собственной гибели. Эти колебанія отъ одного къ другому до крайностей суть шаги Исторіи.

Въ понятіи органической жизни вообще и духа въ особенности лежитъ, что его основа (Anlage) не вдругъ переходитъ въ дѣйствительность, но развивается въ извѣстномъ порядкѣ, и что этимъ движеніямъ внутренней сущности соотвѣтствуетъ измѣненіе органовъ и внѣшнихъ образовъ. Это развитіе или Исторія совершается независимо отъ случая и произвола—по законамъ, какъ явствуетъ изъ простаго заключенія, что всякое великое явленіе, всякое опредѣленное направленіе народной жизни—поэзія и проза, наука и искусство, различныя формы правленія, религіозныя воззрѣнія—имѣютъ въ цѣломъ опредѣленное во времени мѣсто, когда они цвѣтутъ; между тѣмъ какъ искусственные способы доставляютъ имъ только мимолетное и бѣдное бытіе. Каждое такое направленіе предполагаетъ особенное расположеніе, преобладаніе особенныхъ духовныхъ силъ, которыя только однажды достигаютъ до полнаго могущества и потомъ уступаютъ мѣсто другимъ, приносящимъ другіе плоды, какъ случается и въ жизни отдѣльнаго человѣка, что давно было предчувствовано въ Исторіи и выражено сравненіемъ ея эпохъ съ возрастами человѣческой жизни. Каждый возрастъ образуетъ особый періодъ, котораго границы не могутъ быть рѣзко означены, потому что

переходы незамѣтны, и вообще въ Исторіи нѣтъ рѣзкихъ отдѣловъ: упадокъ стараго и происхожденіе новаго взаимно условливаютъ одно другое и отличаются особенностью характера уже въ эпохи полнаго развитія. Въ младенчествѣ народовъ жизнь, связанная природою, обычаемъ, вѣрой, течетъ тихо и однообразно; одни учрежденія и идеи переходятъ отъ поколѣнія къ поколѣнію, и немногія перемѣны совершаются такъ постепенно, такъ бессознательно для народа, что онѣ не составляютъ почти предмета для Исторіи, которая должна ограничиться описаніемъ этихъ неизмѣняющихся положеній и немногихъ внѣшнихъ событій. Историческое время открывается переходомъ отъ юношества къ возмужалости, пробужденіемъ духа изъ природы и его раскрытіемъ въ многообразіи формъ и индивидуальностей на основаніи прежней, общей родовой жизни, наконецъ стремленіемъ свободно и обдуманно создать и расширить свое бытіе; но тогда начинается борьба возникающихъ противоположеній, борьба тѣмъ болѣе упорная, чѣмъ упрямѣе въ требованіяхъ пробудившійся къ сознанію духъ и отвердѣлыя внѣшнія формы, тѣмъ болѣе рѣзкая и общая, чѣмъ болѣе въ нее входятъ идеи, а не практическія потребности. Съ непрерывно ускоряющейся скоростью повторяются эти переходы отъ періодовъ спокойнаго образованія къ переворотамъ, разрушающимъ эти формы и зиждущимъ новыя, до тѣхъ поръ, пока наступитъ время, когда истощенныя силы перестанутъ производить новыя явленія и содержать въ порядкѣ уже существующія, оцѣпенѣютъ и потеряются. Тогда наступаетъ старость народа, которая высказывается въ медленномъ замираніи прежнихъ живыхъ формъ, въ возрастающемъ равнодушіи, въ отвращеніи къ собственному духу народа, къ его обычаямъ, его вѣрованіямъ и государству, въ безпрепятственномъ вторженіи чуждыхъ, даже враждебныхъ элементовъ, въ усиленіи частныхъ интересовъ и въ государственномъ механизмѣ, послѣдней внѣшней связи между мертвыми атомами; высшее произведеніе этого періода народной жизни есть глубокое самосознаніе, исходящее изъ созерцанія пройденнаго пути и изъ стремленія къ высшему бытію, лежащему за предѣлами народной жизни. Народъ, дошедшій до такой степени, можетъ обновиться только чрезъ принятіе новаго начала жизни. Весьма немногимъ народамъ суждено было пройти чрезъ всѣ періоды органическаго развитія — и между ними одни греки, которыхъ развитіе отъ дѣтства до кончины намъ вполне извѣстно и потому разливаютъ свѣтъ на жизнь еще не заключившихъ свое поприще народовъ.

Исторія, принятая какъ развитіе органической жизни, получаетъ единство и средоточіе, изъ котораго исходятъ и къ которому сходятся всѣ отдѣльныя явленія и силы. Выборъ фактовъ также получаетъ твердое основаніе; важно то, что характеризуетъ духъ въ его разнообразныхъ переходахъ и дѣйствуетъ опредѣляя на его развитіе; но такъ какъ степени этого вліянія различны, то объемъ можетъ быть болѣе или менѣе по произволу, лишь бы было правильно опредѣлено соотношеніе фактовъ по степени вліянія. Такъ какъ въ человѣческомъ тѣлѣ нѣтъ ничего постояннаго, но душа преимущественно обнаруживается въ извѣстныхъ частяхъ, нѣкоторые органы при жизненныхъ отправленіяхъ играютъ главную роль; такъ въ Исторіи—великіе люди, цвѣтъ народа, котораго духъ въ нихъ является въ наибольшей красотѣ; между событіями—великіе перевороты, которыми начинаются новые круги развитія; между положеніями—тѣ, въ которыхъ развитіе достигаетъ полноты своей; наконецъ, между формами—великія общества, въ которыхъ народная жизнь просторнѣе движется и чище выражается: Церковь и Государство. Государство есть самая обширная и существенная изъ внѣшнихъ формъ народа, путеводная нить въ его Исторіи, но она не есть высшая, главная; содержаніе, чрезъ которое оно становится выше простаго юридическаго учрежденія, получаетъ оно отъ другихъ духовныхъ силъ, именно отъ религіи, въ которыхъ духъ народа гораздо непосредственнѣе и чище отражается. Польза такимъ образомъ понятой Исторіи состоитъ теоретически въ познаніи человѣка не въ ежедневности бытія, а въ торжествѣ его высочайшихъ подвиговъ, практически въ познаніи закона временъ, которыми въ обширномъ смыслѣ опредѣляется всякая дѣятельность ¹³⁾.

Слѣдовательно, Всеобщая Исторія имѣетъ, по понятію своему, предметомъ не весь родъ человѣческій, а только общее, существенное въ немъ. Она есть Исторія развитія человѣчества.

Что идея организма приложима къ цѣлому человечеству, не подлежитъ сомнѣнію: если части живутъ органически, то и цѣлое ¹⁴⁾. Человѣчество одушевлено однимъ духомъ, который обособляется въ болѣшіе и меньшіе круги, и идетъ правильнымъ путемъ развитія. Примѣромъ такого общаго, объемлющаго отдѣльные народы духа можетъ служить древняя Исторія, которая образуетъ полный періодъ міровой жизни. Но это не освобож-

¹³⁾ См. добавочныя примѣчанія.

¹⁴⁾ См. добавочныя примѣчанія.

даетъ насъ отъ необходимости показать эту идею во всей Всеобщей Исторіи. Народы относятся къ человѣчеству, какъ индивиды къ народу. Одни народы живутъ съ другими въ разнообразныхъ отношеніяхъ, которыхъ вліяніе обнаруживается не на однѣ внѣшнія судьбы, но и на духовные переходы, особливо тамъ, гдѣ существуетъ связь племенная. Еще тѣснѣе ихъ отношеніе въ послѣдовательности времени даже тамъ, гдѣ съ паденіемъ древнихъ народовъ и появленіемъ новыхъ, кажется, обрывается нить. Какъ отдѣльные народы существуютъ при непрерывной перемѣнѣ индивидовъ чрезъ рожденіе и смерть и поколѣнія наследуютъ поколѣніямъ, такъ вносятъ борьбы народовъ, которыя кончаются побѣдою одного, паденіемъ другого, новую жизнь въ Исторію, результаты ихъ—смѣшеніе народностей и обмѣнъ ихъ умственныхъ сокровищъ. Обыкновенно побѣдитель усваиваетъ себѣ, какъ сильнѣйшій, плоды духовной дѣятельности побѣжденнаго. Вообще, послѣдняя ступень жизни народа имѣетъ то высокое значеніе, что она совпадаетъ съ эпохою распространенія его цивилизаціи, которая именно въ эту пору легко передается другимъ, потому что съ нея уже стерлась оригинальность и особенность, дѣлавшія ее годной для одного только народа. Законный наследникъ этого сокровища, которое не можетъ приносить пользы въ рукахъ бывшаго хозяина, есть побѣдитель, для котораго оно дѣлается плодотворнымъ сѣменемъ лучшей и высшей цивилизаціи. Такія смѣны народовъ сходны съ переворотами, чрезъ которые жизнь отдѣльнаго народа переходитъ съ одной степени на другую; и здѣсь, и тамъ это времена искаженія, упадка, броженія смѣшанныхъ стихій, варварства, изъ которыхъ возникаетъ новый міръ: таково переселеніе народовъ, когда дѣло образованія, повидимому, надобно было начать съ начала. Но это круговращеніе, періоды силы и упадка не исключаютъ прогресса, шествія впередъ человѣчества, ибо законъ природы равнодушенъ къ содержанію.

Успѣхъ очевиденъ даже въ томъ, что принадлежитъ, собственно, преданію. Въ особенности это можно сказать о результатахъ цивилизаціи, или знаніяхъ, искусствахъ, вытекающихъ изъ общества, [которыя] накаплиются до безконечности трудами всѣхъ и не пропадаютъ уже потому, хоть на нѣсколько времени и могутъ быть неупотребляемы. Таковы древнія цивилизаціи въ средніе вѣка. Онѣ составляютъ безпрестанно увеличивающееся наследіе человѣчества, основаніе торжества разума надъ природою. Но онѣ только средство и переходящая собственность и не касаются до глубокой сущности духа; ихъ успѣхъ не доказываетъ напряженія его силъ и наоборотъ. Другое должно ска-

затѣ о такихъ элементахъ образованности, каковы, напримѣръ, творенія классической древности и христіанство; происхожденіе ихъ было глубже и они стали для новыхъ поколѣній источникомъ умственного улучшенія и укрѣпленія. Но, не говоря о внѣшнемъ присвоеніи, они предполагають, для того, чтобы быть принятыми, восприимлемость и особое расположеніе, которое не вездѣ и не всегда существуетъ, почему нельзя говорить о необходимомъ и постоянномъ успѣхѣ классическаго образованія [и] христіанской жизни. Наконецъ, опытъ научаеъ насъ, что возможно одно постепенное усвоеніе и перерабатываніе этихъ стихій; полное воспроизведеніе ихъ невозможно.

ДОБАВОЧНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ.

6) *Курсъ 1843/4 г.* „И всемірная исторія, и исторія человѣчества вышли изъ одного корня, укоренились на одной почвѣ, въ философскомъ ощущеніи внѣшнемъ (въ философіи внѣшняго ощущенія?), въ сенсуализмѣ, которое началось во Франціи и Англіи. Эта форма (философія?) брала человѣчество, какъ нѣчто неопредѣленное, совершенно пустое, принимающее все содержаніе, всѣ впечатлѣнія извнѣ. Такъ какъ человѣкъ по этому ученію былъ не что иное, какъ пустая форма, дополняемая извнѣ, такъ и исторія. Отъ этой безсознательной исторіи (философіи?) происходить смѣлость тѣхъ историковъ XVIII вѣка, которые не уважали силы преданій, не понимали, что въ человѣкѣ есть сердечное глубокое убѣжденіе, думали, что легко измѣнить религію, нравы, государственный порядокъ, что для этого стоитъ только измѣнить нѣкоторыя предразсудки. Здѣсь совершенно внѣшняя исторія (внѣшнее пониманіе исторіи?). Но въ этой внѣшности заключается сила XVIII вѣка, сила реформы. Онъ не встрѣчалъ никакихъ трудностей, а гдѣ встрѣчалъ ихъ, то ломалъ ихъ безъ угрызенія совѣсти. Всѣ дорогія вѣрованія, завѣщанныя годами минувшими, онъ называлъ предразсудками“.

9) *Курсъ 1843/4 г.* Философія исторіи, какъ понимаютъ ее современники, истекаетъ изъ философіи тождества, этого великаго завоеванія, сдѣланнаго нашимъ вѣкомъ. Основныя положенія (философіи) тождества заключаются въ единствѣ законовъ духа и внѣшней природы, въ единствѣ субъективнаго духа съ окружающимъ міромъ. Это единство, разгаданное вполнѣ только въ наше время и философски утвержденное, было предчувствуемо и прежде, и прилагалось къ исторіи человѣчества вообще и къ исторіи человѣка въ отдѣльности. Это можно замѣтить изъ нѣкоторыхъ выраженій, какъ-то: процвѣтаніе, увяданіе, которыя въ обыкновенной рѣчи переносятся изъ царства природы въ царство человѣческой дѣятельности. Аналогія, существующая между развитіемъ человѣка въ отдѣльности и исторіи человѣчества вообще съ явленіями внѣшней природы, предугадываемая прежде, вошла теперь въ число истинъ, навсегда приобрѣтенныхъ. Духъ узналъ себя въ исторіи, субъективный духъ

прочелъ свою собственную исторію въ исторіи цѣлаго человѣчества и черезъ это получилъ ключъ къ уразумѣнію исторіи природы.

Задача философіи исторіи заключается въ наше время въ отысканіи вѣчныхъ, не подлежащихъ никакому опыту началъ, лежащихъ въ глубинѣ нашего духа. Эти законы, по которымъ развивается субъективный духъ, надобно указать и въ исторіи. Съ перваго взгляда это кажется труднымъ, но, смотря на исторію разумно, увидимъ, что въ ней господствуетъ то же органическое развитіе, та же послѣдовательность моментовъ, которая является въ правильномъ развитіи каждаго человѣка. Аналогіи между исторіею развитія отдѣльнаго человѣка и человѣчества никогда не должно терять изъ виду. На ней основана идея органическаго развитія, благотворная идея для всѣхъ наукъ, измѣнившая совершенно науку филологическую.

12) *Курсъ 1843/4 г.* Съ точки зрѣнія органическаго развитія народъ является не агрегатомъ лицъ, соединенныхъ случайностью, гнѣтомъ, виѣшнимъ договоромъ, какъ принималось прежде: въ XIX столѣтіи онъ является органическимъ цѣлымъ, системою живыхъ силъ, надъ которыми господствуетъ и которыя соединяетъ одна главная сила—народный духъ. До этого народного духа, до этихъ живыхъ силъ, которыя составляютъ характеръ народный, въ особенности до таинственной ихъ сущности, до сокровеннѣйшихъ началъ ихъ такъ же трудно дойти, какъ до сокровенныхъ началъ растенія. Этотъ народный духъ выходитъ на солнце исторіи. Откровенія его: дѣла народа, учрежденія, искусства, которыя въ то же время суть живые дѣятели исторіи. Всякая жизнь въ природѣ слагается изъ борьбы разнородныхъ силъ; эта борьба разрѣшается результатомъ, способствующимъ къ развитію силъ, одержавшихъ верхъ. Такою же борьбой отдѣльныхъ силъ, замѣчаемыхъ въ природѣ, борются всѣ силы въ народѣ. Слѣдовательно простой законъ, подмѣченный въ царствѣ природы, господствуетъ и въ исторіи народовъ, но здѣсь владычество его уже не имѣетъ той ограниченной сферы. Въ природѣ законъ этотъ обнаруживается въ вѣчномъ, однообразномъ круговращеніи; тамъ постоянно возобновляется одинъ и тотъ же процессъ силъ и постоянно разрѣшается въ одномъ результатѣ. Въ исторіи этого нѣтъ. Здѣсь процессъ совершается непрерывно надъ новыми предметами, одинъ результатъ несходенъ съ другимъ, каждый новый результатъ становится точкой исхода для новой борьбы, одна сила смѣняетъ другую и на время становится представительницей народного духа.

13) *Курсъ 1843/4 г.* „Идея органическаго развитія даетъ исторіи единство изложенія, которое такъ долго искали предыдущіе вѣка. Мѣрило для выбора фактовъ—тѣ, которые сколько-нибудь характеризуютъ извѣстные возрасты народные. Только изъ такого созерцанія можемъ мы узнать законы временъ, безъ которыхъ невозможна историческая дѣятельность. Однимъ словомъ, идея органическаго развитія есть самая плодотворная, которая пала когда-нибудь на почву исторіи“.

14) *Курсъ 1843/4 г.* „Но если части развиваются органически, то, необходимо, и цѣлое должно подлежать такому же развитію. И въ исторіи человѣчества совершается тотъ же великій процессъ развитія, вслѣдствіе тѣхъ же законовъ, коимъ подвержены растеніе, человѣкъ, народъ. Дѣло въ томъ, что въ отношеніи къ всеобщей исторіи народы играютъ ту же роль, какую въ отношеніи къ исторіи народной играютъ лица и поколѣнія. Одинъ народъ смѣняетъ другой на поприщѣ всемірно-исторической жизни, дѣлаясь наслѣдникомъ всѣхъ умственныхъ сокровищъ, накопленныхъ предшествовавшими поколѣніями. Эти сокровища умственные становятся сѣменами новой цивилизаціи, которую

народъ долженъ развить и въ свою очередь передать поколѣніямъ грядущимъ. Рааумѣется, намъ остается много изслѣдовать въ этой сферѣ, еще не всѣ явленія подведены подъ законы и не всѣ законы выяснены. Но (нельзя) не вѣрить въ эту таинственную жизнь, связующую народы чуждые, не соединенные внѣшними обстоятельствами. Когда народъ всемірно-историческій умираетъ, когда имъ овладѣваетъ равнодушіе, апатія, безстрастіе, тогда его образованіе дѣлается достояніемъ другого народа, тогда стирается его упрямый, оригинальный характеръ, цивилизація обобщается, и въ этомъ обобщеніи удобнѣе принимается другими народами. Кромѣ того, передъ смертью своей всякій всемірно-историческій народъ обнаруживаетъ стремленіе къ лучшей жизни, которое высказывается въ послѣднихъ попыткахъ—въ религіозныхъ формахъ. Но ему не остается силы осуществить это желательное стремленіе, оно изнемогаетъ въ попыткахъ и остается при одномъ безысходномъ желаніи. Тогда на сценѣ исторіи является новый народъ, ничѣмъ не связанный съ предъидущимъ и осуществляетъ тѣ формы и потребности, къ которымъ бесплодно стремился его предшественникъ.

Всеобщая исторія, въ смыслѣ органическаго развитія, есть не что иное, какъ исторія нѣкоторыхъ благословенныхъ народовъ, которымъ досталась высокая участь быть наставниками человѣчества и развивать историческія идеи, составляющія достоинство человѣчества. Въ наше время нѣтъ такой послѣдовательности между народами: всѣ народы европейскіе составляютъ отдѣльные моменты живого понятія. Такимъ образомъ въ исторіи осуществляется прогрессъ логическихъ идей, отъ неопредѣленнаго абстрактнаго бытія до живого понятія. Мы имѣемъ уже въ виду, разумѣется въ отдаленной будущности, исторію полного человѣчества, которая обхватитъ всѣ доселѣ негруппы исторіею части земли, и время, когда всеобщая исторія перестанетъ быть исторіей отдѣльныхъ народовъ.

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ИЗЪ ИСТОРИЧЕСКИХЪ ЛЕГЕНДЪ.

Въ ряду многочисленныхъ легендъ, созданныхъ относительно событий и дѣятелей французской революціи и все болѣе и болѣе исчезающихъ подъ дѣйствіемъ критическихъ изслѣдованій послѣдняго времени, существуетъ одна, которой почти не коснулась рука исторической критики. Я разумѣю то мнѣніе, которое создалось по вопросу о продажѣ церковныхъ имуществъ во время революціи, въ первые три года ея, мнѣніе, повторяемое постоянно, едва ли не обратившееся въ аксіому.

Какъ извѣстно, Леонсъ де Лавернь, въ своихъ работахъ о провинціальныхъ собраніяхъ во Франціи до революціи и затѣмъ о сельскомъ хозяйствѣ во Франціи съ 1789 г. (1861 г.) одинъ изъ первыхъ высказалъ это мнѣніе. Два вывода были имъ сдѣланы: одинъ, представлявшій собою лишь повтореніе сказаннаго раньше мнѣнія Токвиля, что продажа національныхъ имуществъ не увеличила количества мелкихъ собственниковъ, другой, исключительно принадлежавшій уже самому Лаверню, что продажа эта была гораздо болѣе выгодна для средней, а не для мелкой собственности, такъ какъ, по его словамъ, „первая была гораздо болѣе подготовлена для того, чтобы воспользоваться продажей, чѣмъ вторая“. На дѣлѣ, по его увѣренію, получилось лишь то, что „происходила перемѣна въ лицѣ собственниковъ, а не въ размѣрѣ самой собственности“. То, что являлось у Лаверня, какъ самый общій выводъ, у Авенеля, въ его статьѣ о національныхъ имуществахъ (1872 г.), получило болѣе детальную разработку, и легенда явилась уже въ самомъ полномъ видѣ. „Въ октябрѣ 89 г., доказывалъ Авенель, стали говорить объ

экспроприации части церковныхъ земель, въ видахъ покрытія общественнаго долга, т.-е. въ видахъ удовлетворенія рантье, банкировъ, а никакъ не бѣдняковъ. 19 декабря издали декретъ о продажѣ на сумму въ 400 милліоновъ, а шесть мѣсяцевъ спустя—уже на 1500 милліоновъ. Общины, компаніи были наравнѣ съ частными лицами допущены къ подачѣ ходатайствъ о покупкѣ. Между тѣмъ въ рѣчахъ, произносимыхъ по этому случаю, въ декретахъ, касавшихся продажъ, ни звука о пролетаріяхъ, сотни тысячъ которыхъ тѣснились въ это самое время въ благотворительныхъ мастерскихъ главнѣйшихъ городовъ королевства“. „И вотъ, продолжаетъ Авенель, начиная съ августа (?) 1790 г., стали поспѣшно, съ яростью продавать, продавать до января 1791, до марта, до іюля, постоянно, не переставая. Общины, компаніи: французскія, англійскія, голландскія, буржуа, богатые крестьяне дрались изъ-за клочковъ земли“. Всѣ выгоды продажи были, такимъ образомъ, на сторонѣ обезпеченныхъ классовъ. „Крестьянамъ, увѣрялъ Авенель, дали пріобрѣсть лишь столько, сколько необходимо было, чтобы быть увѣреннымъ въ привязанности ихъ къ дѣлу революціи“. Купить достаточное количество земли они, крестьяне, не могли, „ибо крупныя компаніи спекулянтовъ убили своими сдѣлками всякую конкуренцію“.

Мнѣніе, высказанное съ такою убѣдительностью и столь категорически, не возбудило даже сомнѣній и принято было, какъ вполнѣ безспорное въ исторической литературѣ. Выиграли или нѣтъ отъ продажи тѣ, кто собственными руками обрабатывали землю, т.-е. различныя категоріи крестьянскаго сословія, этотъ вопросъ не считали нужнымъ даже и ставить... И когда, въ 1884 г. вопросъ о продажѣ національныхъ имуществъ былъ поднятъ на ежегодно созываемомъ съѣздѣ провинціальныхъ ученыхъ обществъ и департаментскихъ архивовъ, въ залахъ Сорбонны, — онъ поднятъ былъ исключительно для рѣшенія того, какъ и насколько повліяла продажа національныхъ имуществъ во время революціи на размельчаніе вообще собственности во Франціи, а не на *распределение* ея между собственно земледѣльческимъ, крестьянскимъ классомъ, съ одной, и неземледѣльческими классами, буржуазіей, съ другой стороны. Новый изслѣдователь вопроса, членъ Общества земледѣльцевъ во Франціи, Mark Haut, представившій собранію свой докладъ о мелкой собственности во Франціи до и послѣ революціи, совершенно не коснулся вопроса о *распределеніи* и ограничился, по вопросу о продажѣ церковныхъ земель, лишь тѣмъ, что повторилъ мнѣніе на этотъ счетъ Лаверня. На *одинадцати* строкахъ весь вопросъ былъ

имъ исчерпанъ. „Просматривая акты продажи (procès verbaux des ventes), составленные въ 1790, 91 и 92 гг., говорилъ онъ, убѣждаешься въ томъ, что земли продавались въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ существовали раньше: здѣсь продавалась ферма, тамъ мельница, здѣсь лугъ, тамъ клочокъ земли, и это потому, что собственность духовенства и монастырей далеко не была компактной, не представляла однихъ отрубныхъ участковъ; ея размѣры были крайне разнообразны, являлись такими, какими создали ихъ случайныя даренія, съ благочестивыми цѣлями—этотъ главный источникъ церковныхъ имуществъ. Въ такомъ видѣ земли эти и продавались, и мы не видимъ и слѣда раздробленія ихъ на участки (lots), какъ это дѣлалось позже. Вотъ почему вполне истинно и точно то, что говоритъ Лавернь, именно, что „имущества духовенства перемѣнили руки, но не измѣнили размѣровъ“. И это буквально все, что сказано Навт'омъ по вопросу о продажѣ церковныхъ земель. Установившееся на этотъ счетъ мнѣніе не подвергнуто имъ критической оцѣнѣ, и въ результатѣ изслѣдованія получилось не болѣе, какъ повтореніе стараго вывода. Тѣмъ не менѣе работа Навт'а послужила какъ бы новымъ аргументомъ, и въ этотъ разъ уже, повидимому, и окончательнымъ, ибо какихъ-либо поправокъ въ созданное мнѣніе внесено въ послѣдующее время не было, если не считать такими обвиненія конституанты за то, что она не допустила той помощи, какую въ дѣлѣ приобрѣтенія земель крестьянами могло оказать начало ассоціаціи, будто бы воспрещенное уже при конституантѣ, или за то, что, какъ это давно доказывалъ Авенель,—конституанта не создала дешеваго кредита, земельныхъ крестьянскихъ банковъ и т. п.

Если теперь мы обратимся къ тѣмъ аргументамъ, къ тѣмъ даннымъ, на которыхъ основано было и основывается указанное мнѣніе, то прежде всего насъ поразитъ полное почти отсутствіе ихъ въ работахъ какъ Лаверня, такъ и Авенеля. Въ такого рода вопросахъ, какъ вопросы о распредѣленіи поземельной собственности между различными группами населенія, о томъ, у какого изъ данныхъ классовъ увеличилось, уменьшилось или осталось неизмѣннымъ количество поземельной собственности и т. п., прежде всего, разъ вопросъ ставится на научной почвѣ,—требуется представить серіозныя статистическія данныя, всѣ ли въ ихъ совокупности или по отдѣльнымъ, типическимъ мѣстностямъ. Для даннаго вопроса такія данныя имѣются почти въ полномъ видѣ. Это акты продажи національныхъ имуществъ, хранящіеся въ департаментскихъ архивахъ Франціи, акты, соста-

вляющіе главнѣйшій и безусловно необходимый источникъ въ данномъ случаѣ. Что Лавернь не только не пользовался, но и не былъ знакомъ съ ними, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Нигдѣ онъ и не ссылается на нихъ, да и ни въ одномъ изъ департаментскихъ архивовъ онъ ни разу и не работалъ. Свои выводы онъ основалъ лишь на предположеніяхъ: на предположеніи о томъ, что у крестьянъ было мало средствъ для покупокъ, далѣе на томъ обстоятельстве, что и до революціи количество мелкихъ собственниковъ было громадно и, по мнѣнію Лаверня, не увеличилось и послѣ революціи, и только ни одного вѣскаго и убѣдительнаго факта или свидѣтельства онъ не даетъ. Слова Токвиля, основанныя на пересмотрѣ имъ актовъ продажи, (Токвиль имѣлъ подъ руками лишь акты продажи по одному департаменту Вьенны), что большая часть земель куплена была тѣми, кто владѣлъ уже землею, были приняты на вѣру Лавернемъ, и въ этомъ ясное подтвержденіе того, что ему были совершенно неизвѣстны эти акты. Въ нихъ, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, вовсе не отмѣчено, собственникъ ли или нѣтъ данный покупатель. Да и какая надобность была для покупателя или для продавцевъ, членовъ директоріи даннаго дистрикта, одному объявлять, другому записывать, имѣлъ ли или нѣтъ собственность данный покупатель и въ какомъ количествѣ? Отмѣчалось, да и то не всегда, къ какому классу населенія принадлежитъ покупатель, и только. Авенель, какъ мы видѣли, пошелъ далѣе Лаверня въ своихъ выводахъ, но также мало, какъ и послѣдній, основалъ ихъ на сколько нибудь серьезныхъ фактахъ. Какъ и Лаверню, и ему были совершенно неизвѣстны акты продажи; какъ и послѣдній, онъ ни разу не работалъ надъ ними въ департаментскихъ архивахъ. Онъ говоритъ о компаніяхъ, ихъ дѣятельности, но не даетъ ни одного факта, подтверждающаго его выводы, ни одного указанія на то, откуда почерпнуты имъ данныя для нихъ. Болѣе того. На каждомъ почти шагу онъ впадаетъ въ ошибки, отрицая то, что на дѣлѣ имѣло мѣсто. Онъ утверждаетъ, напр., что ни въ рѣчахъ, ни въ декретахъ ни слова не говорилось о неимущихъ. Но какъ согласить это его увѣреніе съ тѣмъ, что мы читаемъ въ рѣчахъ и епископа Отэнскаго, и въ словахъ Туре (23 октября), и въ цѣломъ рядѣ заявленій, сдѣланныхъ въ теченіе 1790 г.? Стремясь доказать вредныя послѣдствія продажъ, Авенель доходитъ даже до того, что увѣряетъ, вопреки очевидности, что земли эмигрантовъ продавались не по участкамъ (lots), а попали въ руки однихъ спекулянтовъ, поставщиковъ армій и т. п. лицъ. И это въ то время,

когда законъ конвента требовалъ раздѣла на мелкіе участки продаваемыхъ земель, и повсюду эти земли, земли эмигрантовъ, сосланныхъ, земли, принадлежавшія церквамъ, мальтійскому ордену и т. д., продавались исключительно почти въ раздробь.

Рѣшительно ни одного серьезнаго аргумента въ пользу установившагося мнѣнія не далъ и Mark Haut. Какъ мнѣ извѣстно, онъ имѣлъ въ рукахъ акты продажи только одного единственнаго департамента, именно департамента Сены и Марны, и только. На основаніи ихъ просмотра онъ утверждаетъ, что церковныя земли продавались въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ существовали раньше. Но какъ согласить это его утвержденіе съ текстомъ закона, изданнаго конституантой и предоставлявшаго возможность покупать данную землю, пущенную въ продажу въ цѣломъ ея видѣ, по отдѣльнымъ кускамъ? Конституанта вѣдь декретировала, чтобы во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда цѣна, предложенная за весь участокъ, будетъ равна цѣнѣ, предложенной за отдѣльныя части этого участка, предпочтеніе оказывалось покупщикамъ по мелочамъ? А между тѣмъ декретъ вовсе не былъ мертвою буквою, какъ это утверждалъ Авенель и какъ склоненъ думать Haut. Если даже допустить, что въ департаментѣ Сены и Марны дѣло стояло такъ, какъ увѣряетъ Haut, то какъ согласить это его увѣреніе съ тѣмъ, что въ дистриктѣ Сомюрскомъ (деп. Котъ д'Оръ) и др., около половины земель было продано раздробленными участками, что тоже имѣло мѣсто и въ департаментахъ Па-де-Кале, Устьевъ Роны, Нижнихъ Альпъ, Верхней Гаронны и др.? Какъ затѣмъ, обратно, согласить его и съ другимъ фактомъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ, напр., въ дистриктахъ Сент-Омерскомъ, Аррасскомъ (деп. Па-де-Кале), въ департаментѣ Котъ д'Оръ, въ департаментѣ де л'Энь (l'Aisne), земли, принадлежавшія двумъ или большому числу монастырей, продавались вмѣстѣ?

Если, такимъ образомъ, оказывается, что установившееся мнѣніе, созданная легенда не представляются обоснованными на сколько нибудь точныхъ и серьезныхъ данныхъ, если они почерпнуты менѣе всего изъ главнаго и необходимѣйшаго источника, т.-е. актовъ продажи, то откуда и какимъ путемъ могли они создаться, гдѣ и въ чемъ ихъ источникъ? Я думаю, что его, этотъ источникъ, можно было бы найти при внимательномъ изученіи какъ преній, происходившихъ въ національномъ собраніи во время обсужденія вопроса о продажѣ національныхъ имуществъ, такъ и тѣхъ брошюръ, которыя по тому же вопросу издавались во Франціи въ это время.

Извѣстно, каково было отношеніе большинства представителей духовенства къ тѣмъ предложеніямъ, которыя касались церкви и вносились депутатами національнаго собранія. Если въ ночномъ засѣданіи 4 августа всеобщій энтузіазмъ заразилъ и нѣкоторыхъ изъ духовныхъ, то это длилось весьма недолго. Охлажденіе послѣдовало очень быстро. „Когда и вы приглашали насъ соединиться съ вами, вы приглашали насъ во имя мира, теперь ясно, что вы сдѣлали это, чтобы задуть насъ“, воскликнулъ одинъ изъ кюре во время преній о десятинѣ, и это не было выраженіемъ лишь личнаго мнѣнія. Въ засѣданіи 6 августа большая часть депутатовъ отъ духовенства употребляла всѣ усилія, чтобы затормозить рѣшеніе вопроса о десятинѣ, перерѣшить его. Уже съ совершенно нескрываемымъ негодованіемъ отнеслось духовенство къ предложенію о церковныхъ имуществѣхъ. Рѣчь Бюзо, его заявленіе о необходимости объявить церковныя земли національною собственностью (6 авг.) были встрѣчены громкими криками негодованія, раздавшимися съ той стороны собранія, гдѣ засѣдали депутаты отъ духовенства, и такой же пріемъ встрѣтило и болѣе рѣшительное предложеніе о продажѣ церковныхъ земель, какъ національной собственности, два дня спустя, 8 августа, внесенное маркизомъ Лакостомъ и поддержанное Ламетомъ. „Сильнѣйшіе крики со стороны духовенства покрыли послѣднія слова Ламета, потребовавшаго, чтобы церковныя земли были отданы въ залогъ кредиторамъ государства“ (Moniteur, 8 августа). Очевидно было, что по вопросу о своей собственности, духовенство рѣшилось не дѣлать ни малѣйшихъ уступокъ, что оно будетъ защищать свое право всѣми средствами. Бурная сцена, разыгравшаяся въ собраніи 29 сентября при чтеніи протокола 28 сентября, гдѣ значилось, что монахи монастыря S.-Martin des Champs жертвуютъ на алтарь отечества все свое имущество, ясно и недвусмысленно свидѣтельствовали о настроеніи духовенства. Но до октября дѣло не дошло до открытой борьбы: предложенія о церковныхъ земляхъ не встрѣтили поддержки въ большинствѣ депутатовъ и не были даже подвергнуты обсужденію. Положеніе дѣлъ рѣзко измѣнилось со времени знаменитаго засѣданія 10 октября, когда епископъ Отанскій, Талейранъ, прочелъ въ собраніи свое длинное предложеніе о продажѣ церковныхъ имуществъ. Motion (въ полномъ видѣ см. въ *procès verbaux de l'assemblée nationale*) была вызвана тѣмъ казавшимся безвыходнымъ состояніемъ, въ какомъ очутились финансы страны, — состояніемъ тѣмъ болѣе ужаснымъ, что въ теченіе 2 предшествовавшихъ мѣсяцевъ, два же займа

въ 30, а затѣмъ въ 80 милліоновъ потерпѣли полное фіаско. Въ виду такого положенія дѣлъ требовались, по выраженію Талейрана, крупныя, большія мѣры, такъ какъ обыкновенныя средства всѣ уже были испробованы и истощены. Народъ отягощенъ чрезъ мѣру, малѣйшее, самое легкое, обложеніе его будетъ для него просто невыносимо; чрезвычайныя ресурсы испытаны, да они предназначены были лишь для удовлетворенія текущихъ потребностей. Между тѣмъ ресурсы нужны для будущаго, для полного восстановленія порядка. Такимъ ресурсомъ, — заявлялъ Талейранъ, — ресурсомъ громаднымъ и вѣрнымъ являются церковныя имущества. Продажа ихъ дѣло необходимое и настоящее. Благодаря ей будетъ уничтоженъ, по мнѣнію Талейрана, громадный долгъ, тяготящій на странѣ, она явится и весьма важной, и полезной и съ другой точки зрѣнія. Новое количество земельной собственности, пущенное въ продажу, увеличить доходы государства, и, съ другой стороны, доставить провинціямъ возможность удержать у себя и создать большое число собственниковъ, заинтересованныхъ въ томъ, чтобы не покидать родины и обрабатывать новую свою собственность. Съ этою цѣлью Талейранъ предлагалъ принять въ формѣ декрета рядъ мѣръ для успѣшнаго регулированія дѣла продажи. Именно: продажу земель не отрубными участками, а подѣленными на болѣе мелкіе (что должно было быть сдѣлано до продажи земли съ публичныхъ торговъ), допущеніе къ покупкѣ всѣхъ и каждаго, а не однихъ кредиторовъ государства и т. п. Что здѣсь, въ предложеніи такой рѣзкой мѣры, какъ конфискація громадной массы земель, въ основѣ лежали фискальные и финансовыя интересы, что этимъ главнымъ образомъ руководилъ Талейранъ, внося свое предложеніе, и собраніе, принимая его большинствомъ голосовъ, — не подлежитъ сомнѣнію и не требуетъ доказательствъ. Но рядомъ выставлялась и другая цѣль, неявно выраженная въ проектѣ и въ мотивахъ къ нему и развитая болѣе опредѣленно въ рѣчи Туре, въ засѣданіи 23 октября. „Франція, — сказалъ между прочимъ Туре, — обладая громаднымъ населеніемъ, въ высшей степени заинтересована въ томъ, чтобы увеличить, насколько то возможно, количество поземельныхъ собственниковъ, съ цѣлью уменьшить число лицъ, не имѣющихъ ея, не обладающихъ ничѣмъ... Какъ страна по преимуществу земледѣльческая, Франція должна обратить все свое вниманіе на умноженіе продуктовъ ея почвы, этого главнѣйшаго источника ея богатства. Вотъ почему въ высшей степени важно для нея раздать земли дѣйствительнымъ собственникамъ, которые разнесли бы по всѣмъ угол-

камъ страны ничѣмъ незамѣнимую страсть и привязанность къ собственности, а не оставлять массы земель въ рукахъ фиктивныхъ собственниковъ, постоянно замѣняемыхъ временными пользователями, естественными врагами собственности, или управляющими, мало интересующимися дѣломъ". (*Procès verbaux*, VI, *Motion Thouret*).

Что въ глазахъ духовенства всѣ эти аргументы не имѣли ровно никакого значенія, — незачѣмъ и говорить. Раздраженіе, вызванное въ средѣ большинства депутатовъ отъ духовенства предложеніемъ Талейрана, подхваченнымъ и въ рѣзкой формѣ формулированнымъ Мирабо, было страшное, и это тѣмъ болѣе, что опасность въ этотъ разъ была гораздо большей, чѣмъ въ началѣ августа. 7 засѣданій (съ 13 окт. по 2 ноября) длились пренія, шла упорная борьба. Духовенство боролось и на почвѣ принциповъ, по вопросу теоретическому: имѣетъ ли нѣтъ церковь право владѣть собственностью и составляютъ ли принадлежащія церкви земли ея собственностью или нѣтъ, — и съ помощью прозрачныхъ угрозъ, въ родѣ неизбежности при конфискаціи аграрной анархіи и т. п. Всѣ усилія оно направило, чтобы какъ-нибудь отстранить вопросъ, отложить его или просто похоронить, и все напрасно. Тогда оно прибѣгло къ новому орудію борьбы. Открыто, устами Балора, епископа Нима, оно объявило о тѣсной, неразрывной связи вопроса о церковныхъ земляхъ съ вопросомъ о бѣдныхъ и судьбою ихъ. Оно заявляло, что готово сдѣлать уступки тамъ, гдѣ дѣло касается средствъ на содержаніе богослуженія или служителей церкви, но никогда и ни въ какомъ случаѣ тамъ, гдѣ вопросъ возникаетъ о священной, неотчуждаемой и вѣчной патримоніи бѣдныхъ. Конфискацію земель церкви, этой патримоніи, собственности бѣдняковъ, оно приравнивало къ простой споліаціи, къ воровству. Если конфискація будетъ произведена, воскликнулъ епископъ Нима, „бѣдные увидятъ, что для покрытія долговъ не остановились предъ пожертвованіемъ тѣмъ, что принадлежитъ имъ въ церковныхъ имуществѣхъ. Вы желаете вознаградить ихъ. Но развѣ вы въ состояніи будете дать имъ болѣе прочное и болѣе вѣрное обезпеченіе? А что, если нація очутится въ такомъ положеніи, что и государству, и гражданамъ будетъ грозить гибель? Кто придетъ тогда на помощь бѣднымъ?“ То былъ ловкій и опасный приѣмъ, но имъ однимъ не ограничились. Была съ неменьшимъ искусствомъ затронута и другая сторона вопроса о тѣхъ послѣдствіяхъ, къ какимъ приведетъ продажа земель. Ораторы большинства говорили о расширеніи и увеличеніи мелкаго землевладѣнія, о поднятіи уровня

земледѣлія. Депутаты отъ духовенства предсказывали, что результатомъ продажи будетъ полная гибель земледѣлія, ибо, какъ они утверждали, земледѣліе немислимо безъ крупнаго землевладѣнія. Болѣе того. Они утверждали, что вся операція продажи, если она совершится, ни въ малой степени не пойдетъ на пользу народа, земледѣльческихъ классовъ. Защитникъ правъ церкви, виконтъ Мирабо, самыми мрачными красками обрисовалъ судьбу земель церкви, разъ они будутъ проданы. „Продажа имуществъ духовенства, — вскричалъ онъ среди страшнаго шума, — сопряжена съ крупными опасностями: она разоритъ провинціи, ослабитъ земледѣльческую дѣятельность, обогатитъ капиталистовъ, которые, вдобавокъ, не всѣ и французы. Я сейчасъ докажу вамъ это. Кто можетъ выиграть и обогатиться насчетъ продажъ? Женевцы, голландцы, нѣмцы, въ рукахъ которыхъ государственныя бумаги. А между тѣмъ, какое страшное зло будетъ создано для страны, если собственники нашихъ земель не будутъ потреблять продуктовъ съ этихъ земель? А увѣрены ли вы, что предложеніе такого разрушительнаго характера, какимъ является предложеніе епископа Отэнскаго, не вызоветъ протестовъ? Эксплуатація земли аббатства — одна изъ самыхъ мягкихъ, арендныя платы — въ высшей степени умѣрены. И вотъ, раньше, чѣмъ пройдетъ годъ, разъ иноземцы сдѣлаются собственниками, провинціи будутъ разорены въ конецъ“. Аббатъ Мори упрекалъ собраніе въ томъ, что оно грабитъ церковь и въ то же время „увѣряетъ новопривывшихъ изъ глубины провинцій депутатовъ, что нѣтъ во Франціи ни капиталистовъ, ни ажіотажа, ни народныхъ пиявокъ“, въ томъ, что оно не занимается вопросомъ о „корнѣ зла, объ откупщикахъ, нажившихъ плутовскимъ образомъ громадныя состоянія“. Съ полной увѣренностью онъ предсказывалъ, что продажа церковныхъ земель сдѣлается предметомъ спекуляціи, ажіотажа, увѣрялъ, что даже и въ данную минуту существуетъ уже во Франціи цѣлый еврейскій заговоръ, что „евреи и настаиваютъ теперь такъ сильно на пріобрѣтеніи гражданскихъ правъ лишь для того, чтобы вмѣстѣ съ титуломъ гражданина заполучить и собственность церкви“. Позже, въ засѣданіи собранія 11 апрѣля 1790 г. епископъ Нанси выразилъ то же мнѣніе, доказывалъ, что вся система, выработанная насчетъ продажи церковныхъ имуществъ, заключается въ слѣдующемъ: „ограбить наилучшимъ образомъ галликанскую церковь, чтобы обогатить капиталистовъ и ажіотеровъ“ (Moniteur, т. XXVI).

То, что далеко не вполнѣ высказывали депутаты отъ духовенства и ихъ союзники въ своихъ рѣчахъ, чего касались вскользь,

нашло самое полное и обстоятельное выраженіе въ массѣ брошюръ, издаваемыхъ подъ непосредственнымъ руководствомъ и вліяніемъ духовенства, нерѣдко и самими членами духовнаго сословія. Уже въ 1789 г., но еще больше въ 1790 г., *гораздо раньше*, чѣмъ началась продажа національныхъ имуществъ, вотъ что писали въ этихъ брошюрахъ, выдержки изъ которыхъ я позволю себѣ привести текстуально, такъ какъ они особенно характерны и важны для цѣлей настоящей замѣтки. Замѣтимъ только, что чѣмъ ближе дѣло продажи приходило къ окончательной развязкѣ, тѣмъ съ большею горячностью и рѣзкостью обрисовывались въ брошюрахъ ужасающія послѣдствія продажъ, предстоявшихъ въ ближайшемъ будущемъ. „Въ какія руки, спрашивалъ авторъ брошюры, „Peuple français! vous êtes trompés“ (1790), перейдутъ церковныя имущества, которыми завладѣли въ противность праву и которыя рѣшили продавать? Въ руки народа? Раздадутъ развѣ суммы, полученныя отъ продажи бѣднымъ?“ О! Конечно нѣтъ! Всѣ эти земли перейдутъ въ руки нѣсколькихъ капиталистовъ или нѣсколькихъ кредиторовъ государства, обогатившихся и насчетъ государства, и насчетъ бѣдняка. — Бѣднякъ лишится тѣхъ правъ, которыя онъ имѣлъ на имущества церкви, — правъ, которыя будутъ потеряны, разъ земли эти перейдутъ въ чужія руки. — И вотъ, когда вамъ представляли, какъ общественное благо, то, что декретировали относительно церковныхъ имѣній, васъ, народъ Франціи, какъ видите, просто на просто обманывали“. Брошюра: Arrêtez les fripons (безъ даты) уже въ деталяхъ предсказывала ближайшее будущее. „Банкиры, спекулянты, финансовыя дѣльцы, евреи, французскіе и чужеземные протестанты, — вотъ кто скупить за дешевую цѣну, почти за ничто земли духовенства“. „Духовенство обокрадено. Что же произойдетъ съ церковными землями“, спрашиваетъ авторъ третьей брошюры, Consultation sur l'interessante question pour le peuple s'il y a sûreté à acquérir les biens du clergé (1790). И отвѣтъ на вопросъ — ясенъ: „церковныя земли попадутъ въ руки безсовѣстныхъ и безнравственныхъ капиталистовъ. А они извлекутъ изъ этого двойную выгоду: купятъ землю за дешевую плату и вдобавокъ получаютъ полностью свои гнусные проценты“. Еще дальше идетъ авторъ или авторы несомнѣнно клерикальной брошюры: Avis aux pauvres sur la révolution présente et les biens du clergé (безъ даты). Это даже не просто брошюра, а настоящая прокламація, вызывающая къ энергической дѣятельности, къ подачѣ протестовъ отъ приходовъ, протестовъ противъ мѣръ, рѣшеній, всей дѣятельности національнаго собранія. На 25 мил-

ліоновъ, составляющихъ населеніе Франціи, гласить брошюра, 20 милліоновъ не имѣютъ никакой поземельной собственности и живутъ исключительно трудами рукъ своихъ. Спрашивается, что же для этого многочисленнаго класса населенія сдѣлала французская революція? И отвѣтъ дается вполне ясный и опредѣленный. „Французская революція гораздо больше приноситъ вреда недостаточнымъ классамъ общества, чѣмъ даже собственникамъ и богатымъ людямъ“. Да, и въ самомъ дѣлѣ, что сдѣлала она для бѣдныхъ? „До нынѣшняго злополучнаго времени не существовало ни одного города, ни одного прихода въ королевствѣ, гдѣ не устраивались бы ежегодно болѣе или менѣе изобильные сборы для облегченія положенія бѣдныхъ. Къ кому же прибѣгнуть они, эти бѣдняки, теперь, разъ святотатственное воровство, произведенное по отношенію къ церковнымъ учрежденіямъ, лишило ихъ помощи, довело до полнаго нищенства? Изъ какихъ источниковъ будутъ оказывать помощь бѣднякамъ? Что станетъ съ больными? Однако они, эти бѣдняки, обладаютъ правами на достояніе церкви... Хотя не мало сказано было по вопросу о церковныхъ имуществахъ, тѣмъ не менѣе недостаточно еще останавливались на томъ, что бѣднымъ принадлежитъ неоспоримое право на значительную часть этихъ имуществъ. Обратитесь къ бѣднякамъ, спросите ихъ, и они отвѣтятъ, что нѣтъ епископа, нѣтъ капитула, нѣтъ монастыря, которые не раздавали бы регулярно и ежедневно милостыни, и они скажутъ, что большая часть аббатствъ распространяли вокругъ себя благосостояніе. Вообще всѣ духовныя лица распредѣляли всегда доходы между потребностями своего учрежденія, личными своими надобностями и подаваніемъ неимущимъ. Ясно, что бѣдняки обладаютъ безспорнымъ правомъ на церковныя имущества, что эти послѣднія въ извѣстной долѣ принадлежатъ имъ, что грабежъ духовенства есть воровство, произведенное и у нихъ, что, слѣдовательно, они имѣютъ полное право оказать открытое сопротивленіе“. И это понятно. „Если эти имѣнія и церкви бѣдняковъ будутъ проданы, къ кому должны будутъ тогда обращаться они, эти бѣдняки? Будутъ ли они имѣть право сказать покупателямъ церковныхъ имѣній (очевидно, по мнѣнію автора брошюры, капиталистамъ) то, что теперь они говорятъ владѣтелямъ бенефицій: намъ принадлежитъ право на ваши земли, они даны вамъ лишь для того, чтобы вы дѣлили ихъ съ нами? Новые владѣльцы уплатятъ за приобрѣтаемыя земли или будутъ считать себя уплатившими за нихъ, они заявятъ, что земли принадлежатъ имъ, или покажутъ видъ, что вѣрятъ въ это, они

скажутъ, что земля — законная ихъ собственность, что они купили ее въ чистомъ видѣ, не обремененною какими бы то ни было обязанностями“. Въ заключеніе, брошюра увѣряла бѣдняковъ, что народъ возстаетъ, грозить висѣлицей тѣмъ, кто осмѣливается покупать земли церкви, и затѣмъ приглашала ихъ протестовать.

Такого рода брошюръ выходило не мало въ то время во Франціи, и въ нихъ съ такимъ упорствомъ и такъ систематически проповѣдывались ужасныя послѣдствія, долженствующія произойти для крестьянъ, что одинъ изъ депутатовъ вынужденъ былъ обратить на эти брошюры вниманіе собранія. 11 мая 1790 г. Ревбель обратился съ слѣдующими словами къ собранію: „крайне затруднительно и тяжело мое положеніе, — я считаю себя вынужденнымъ тѣмъ не менѣе указать на факты, которые необходимо знать собранію, надъ которыми оно должно призадуматься. Одинъ изъ депутатовъ, представитель эльзасскаго духовенства, напечаталъ и повсюду распространяетъ протестъ, въ которомъ онъ обращается къ народу съ такими словами: „благодаря продажѣ церковныхъ имуществъ вы будете доведены до полной нищеты; евреи скупаютъ всѣ тѣ земли, которыми вы теперь пользуетесь“... У меня въ рукахъ одинъ образчикъ протеста, присланный изъ Эльзаса и подписанный. Въ настоящую минуту тамъ заняты составленіемъ общаго протеста противъ всѣхъ декретовъ національнаго собранія, изданныхъ по дѣлу о церковныхъ земляхъ. Подписи собираются въ деревняхъ... И кѣмъ же подписаны эти протесты? Заинтересованными лицами, *фермерами*. Подъ предлогомъ протеста является римско-католическая религія; но нужно замѣтить, что въ числѣ подписавшихся не мало протестантовъ и лютеранъ“. Замѣтимъ, что собраніе, видимо, было сильно испугано настроеніемъ умовъ, создаваемыхъ брошюрами, и подъ вліяніемъ страха отвергло предложеніе Дюпона, требовавшаго прекращенія фермерскихъ контрактовъ, изгнанія фермеровъ съ церковныхъ земель, которыя они держали. Дюпонъ видѣлъ въ этомъ одно изъ средствъ дать случай возможно большому числу лицъ участвовать въ покупкѣ земель. „Если фермерскіе контракты не будутъ прекращены, — говорилъ онъ, — нельзя будетъ покупать фермъ иначе, какъ цѣликомъ. Сохраненіе контрактовъ — препятствіе для продажи и раздробленія собственности“. Чтобы убѣдить собраніе въ опасности предложенія Дюпона, Мерлену пришлось сообщить рядъ фактовъ, подобныхъ тѣмъ, о которыхъ говорилъ Ревбель, и доказывать, что далеко не всѣ церковныя земли отдаются въ аренду

большими участками... (Moniteur, миланское изданіе, XXVI, 192—5).

Таковы были тѣ мнѣнія, тѣ предсказанія, которыя въ такомъ изобиліи высказывали защитники старыхъ порядковъ въ моментъ выработки закона о продажѣ церковныхъ земель, *гораздо раньше* даже, *чѣмъ начато было дѣло продажи*, чѣмъ какое-нибудь имѣніе монастыря или церкви поступило въ продажу. Очевидно, что въ рукахъ духовенства всѣ эти мрачныя предсказанія служили орудіемъ для того, чтобы или повліять на отсрочку рѣшенія вопроса, или путемъ протестовъ и т. п. вызвать чувство страха въ собраніи и тѣмъ принудить его отказать отъ принятія мѣръ для облегченія продажи.

Посмотримъ теперь, каковы же были мнѣнія защитниковъ продажи, каковы цѣли, которыхъ они думали достигнуть, декретируя продажу національных или бывшихъ церковныхъ земель. Были ли они осуществлены или нѣтъ, — мы касаться здѣсь не будемъ: для нашей цѣли важнѣе всего сопоставить мнѣнія большинства собранія съ мнѣніями депутатовъ духовенства и авторовъ брошюръ.

Мы видѣли уже, что имѣли въ виду тѣ, кто во время октябрьскихъ засѣданій защищалъ дѣло продажи церковныхъ имуществъ. Въ ясныхъ и недвусмысленныхъ выраженіяхъ опредѣлили они, въ особенности Туре, ту цѣль, къ которой они, между прочимъ, стремились: создать возможно большее число мелкихъ поземельныхъ собственниковъ. То была цѣль, которой и во все послѣдующее время ни на минуту не упускало изъ виду національное собраніе. — цѣль, на которую постоянно указывали и комитеты, и отдѣльные ораторы. Въ 1790 г. (въ маѣ и въ іюнѣ) комитетъ, которому поручено было выработать проекты закона о порядкѣ продажи церковныхъ имуществъ и инструкцію, комитетъ національных имуществъ представилъ два своихъ доклада. Докладчики, говорившіе отъ имени комитета, высказывались вполне ясно и открыто въ пользу продажи мелкими участками, въ пользу созданія мелкой собственности. „Вашъ комитетъ, — говорилъ Даллей Дажіе, — старался всячески о томъ, чтобы призвать къ собственности возможно большее число гражданъ. Поэтому онъ отдалъ полное предпочтеніе покупателямъ по мелочамъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда цѣна, предложенная покупателями, была бы равна цѣнѣ, предложенной единичнымъ покупателемъ. А установленіемъ справедливой и удобной системы расплаты по срокамъ комитетъ сдѣлалъ то, что житель деревни не побоится вступить въ конкуренцію съ капиталистомъ, вслѣд-

ствіе чего капиталы послѣдняго не въ состояніи будутъ сдѣлать его властелиномъ при покупкахъ. Наконецъ, комитетъ, убѣждаясь все болѣе и болѣе въ томъ, что продажа церковныхъ и доманіальныхъ земель, которую *нѣкоторые лица стараются представить, какъ временную финансовую мѣру*, должна въ будущемъ и съ теченіемъ времени оказать сильное вліяніе на все населеніе, на промышленность и торговлю, твердо убѣжденъ, что нація обязана ускорить и облегчить это вліяніе, должна употребить всѣ мѣры и средства, какими только она располагаетъ, для того, чтобъ возможно больше подѣлать и подраздѣлить продаваемыя земли“ (Procès verbaux, t. 21, rapport fait par Dalley d' Agier). Въ томъ же духѣ и направленіи говорилъ и другой докладчикъ, Ла-Рошфюко. „Замѣняя казенное управленіе болѣе дѣятельнымъ и болѣе способнымъ къ труду личнымъ интересомъ, вы увеличите сумму богатствъ въ странѣ. И въ то же время,—и въ этомъ заключается для васъ не меньшій интересъ,—этому вы придаете меньшее значеніе, — вы призываете громадное число гражданъ къ собственности, путемъ ряда облегченій, которыя вы создадите для покупателя, путемъ установленія сроковъ уплаты, и такого раздѣленія продаваемыхъ участковъ, которые даже бѣдняку, желающему приобрести клочокъ земли, дадутъ полную возможность купить его“. И онъ выражаетъ увѣренность, что собраніе приметъ всѣ мѣры, служащія къ облегченію покупокъ даже самыми бѣдными, что оно не пожелаетъ пожертвовать „такимъ великимъ и крупнымъ дѣломъ“ для финансовыхъ цѣлей, не поддастся на такую „приманку“, какъ „полученіе сразу и цѣликомъ всей суммы за продаваемую землю“ (тамъ же, т. 23, rapport fait par la Rochefoucauld). И то не было лишь личнымъ мнѣніемъ докладчиковъ или даже большинства членовъ комитета, а мнѣніемъ, которое раздѣляло большинство. Мирабо недвусмысленно выразилъ это, когда въ засѣданіи 11 мая убѣждалъ собраніе не перерѣшать своихъ постановленій. „Будьте осторожны, не довѣряйте мотивамъ, скрывающимъ личные интересы и спекуляціи частныхъ лицъ. Существуетъ не мало такихъ господъ, для которыхъ очень важно или помѣшать продажѣ, или обезцѣнить въ такой мѣрѣ земли, чтобы небольшая кучка капиталистовъ могла легко скупить ихъ“. Нѣкоторые депутаты настаивали даже на принятіи самыхъ рѣшительныхъ мѣръ, съ цѣлью облегчить покупки мелкими участками. Депутатъ Реньо предлагалъ, чтобы собраніе декретировало раздѣленіе на мелкіе участки всѣхъ земель, а Дюпонъ, какъ мы видѣли, требовалъ, согласно съ заявленіями, сдѣланными въ cahiers

крестьянъ и заключавшими въ себѣ просьбу ограничить размѣръ арендъ, чтобы прекращены были всѣ арендные договоры. Если собраніе не приняло второго предложенія, то это, — какъ мы показали, — изъ страха предъ начавшимися крупными волненіями, а если отвергло первое, то единственно изъ опасенія, что принятіе его потребуетъ страшныхъ расходовъ на наемъ оцѣнщиковъ и въ сильнѣйшей степени задержать операцію продажи (см. *Moniteur*, отъ 10 и 11 мая 1790 г.). Но зато, за исключеніемъ указанныхъ предложеній, весь проектъ и закона, и инструкціи, какъ они были выработаны комитетомъ, цѣликомъ и безъ измѣненій, почти безъ преній были приняты большинствомъ голосовъ собраніемъ. Собраніе текстуально почти воспроизводило въ своихъ декретахъ все то, чтò говорили докладчики о необходимости увеличенія числа собственниковъ, и предписывало администраціямъ дистриктовъ, на которыхъ возлагалось дѣло продажи, „раздѣлять пускаемыя въ продажу земли елико то возможно, насколько то допускаетъ характеръ, качество и положеніе земли, съ цѣлью облегчить, насколько то возможно, спросъ на мелкіе участки и тѣмъ самымъ содѣйствовать умноженію числа собственниковъ“ (*Duvergier, coll. des lois, т. I, procès verbaux, т. 23*). Въ этихъ видахъ не только было принято предложеніе комитета о томъ, чтобы отдавать безусловное предпочтеніе покупателямъ мелкими участками предъ покупщикомъ единичнымъ, но и установлены были сроки платежей, создана была разсрочка въ уплатахъ. Установленъ былъ для уплаты 12-лѣтній періодъ времени, причемъ тѣ, кто покупалъ, напри- мѣръ, пахоть, луга или виноградники, обязаны были до вступленія во владѣніе уплатить 12% цѣны, а остальную сумму вносить ежегодно въ теченіе 12 лѣтъ равными долями съ приплатой 5%. Если собраніе употребляло такіа выраженія, какъ: „насколько это возможно“ и т. п., то употребляло ихъ совершенно въ томъ же смыслѣ, какъ употреблялъ ихъ позже и конвентъ, когда декретировалъ продажу уже прямо мелкими участками, отдѣльно cadaquo. И при конвентѣ земли дѣлились на участки сообразно „природѣ ихъ“ и „насколько то возможно“, и тамъ, гдѣ оказывалось невозможнымъ дѣлить данную землю, ее продавали цѣликомъ, въ видѣ отрубного участка, какъ то показываютъ акты продажъ земель эмигрантовъ и другихъ, съ которыми мнѣ удалось ознакомиться въ шести департаментскихъ архивахъ.

Таковы были тѣ два теченія, съ которыми мы встрѣчаемся во время революціи, въ первые два года ея существованія,

предшествовавшие самой продажѣ національныхъ имуществъ; одно открыто заявлявшее увѣренность, что продажа конфискованной у церкви земли поведетъ къ созданію мелкой собственности, къ приобрѣтенію даже бѣдняками земли; другое, съ еще большею смѣлостью и увѣренностью доказывавшее, что вся операція выгодна не для кого иного, какъ для однихъ зажиточныхъ классовъ капиталистовъ, спекулянтовъ, компаній, богатой буржуазіи и т. п.

Если мы спросимъ теперь, какое же изъ двухъ высказанныхъ тогда предсказаній оказалось на дѣлѣ болѣе вѣрнымъ и обратимся къ литературѣ, къ изслѣдованіямъ, то очутимся, какъ я сказалъ въ началѣ замѣтки, предъ крупнымъ и серьезнымъ затрудненіемъ: полнымъ отсутствіемъ точныхъ данныхъ, которыя одни способны оправдать или то, или другое изъ этихъ предсказаній. Акты продажи, какъ мы знаемъ, не тронуты изслѣдователями. Между тѣмъ въ исторической литературѣ долгое время господствовало убѣжденіе, что не только продажа церковныхъ земель и земель такъ называемаго второго происхожденія была выгодна для крестьянскаго населенія, но что она-то и создала мелкую крестьянскую собственность во Франціи. Тѣ, кто утверждали это, опирались на рѣчахъ и заявленіяхъ большинства національнаго собранія, на изданныхъ имъ законахъ, указанныхъ выше, и только. Болѣе тщательнаго изслѣдованія тогда произведено не было. Изслѣдованіе Токвиля, доказавшаго, что мелкая собственность существовала и до революціи, подорвало въ корнѣ установившееся мнѣніе, такъ какъ отняло у него самое главное его основаніе. Затѣмъ создавалась новая гипотеза, развитая въ наиболѣе полномъ видѣ Авенелемъ и принятая большинствомъ историковъ, но такъ же, какъ и первая, не была обоснованная на вычисленіяхъ по актамъ продажи перехода собственности въ новыя руки. А если это такъ, — а въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, — то спрашивается, изъ какого источника, изъ какихъ данныхъ порождена она была, разъ другихъ данныхъ, кромѣ разсмотрѣнныхъ нами предсказаній депутатовъ отъ духовенства и авторовъ клерикальныхъ брошюръ, не было и нѣтъ?

И. Лучицкий.

Кіевъ.
1 октября 1895 г.





[6p]



